

Р. А. Стивенсон

ПОХИЩЕННЫЙ



БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

КАТРИОНА









Библиотека
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

4

ИЗДАТЕЛЬСТВО

*«Детская
литература»*

МОСКВА

1966



Р. Л. Стивенсон



ПОХИЩЕННЫЙ



КАТРИОНА



И (Англ)

С 80

Перевод с английского

О. В. Ротштейн

Оформление

Ю. Киселева

Рисунки

Т. Шишмаревой

ТУЗИТАЛА

(Роберт Льюис Стивенсон. 1850 — 1894)

Однажды возле острова Уполо в архипелаге Самоа бросила якорь морская яхта. На берег сошли высокий длинноусый, болезненного вида человек — владелец яхты, его жена и пасынок — юноша лет двадцати двух. Человек этот купил у туземцев небольшой участок земли, построил два дома: один для себя с женой, другой для пасынка, и навсегда поселился здесь, по соседству с чуждыми ему темнокожими островитянами. Архипелаг Самоа известен своим здоровым климатом. Новый обитатель острова был очень болен. Он кашлял, часто вынужден был лежать в постели, а когда здоровье его улучшалось, часами просиживал у себя в кабинете за письменным столом.

Удивительные истории записывала на бумаге его рука — худая, с длинными костлявыми пальцами. Из своего окна он видел неподвижную, точно растворившуюся в солнечном блеске ширь южного океана, а писал он о штормах и о кораблекрушениях у голых шотландских скал, о мрачных ущельях Гайлэнда, о простых сердцем и мужественных людях прошлых времен, о погонях, о рукопашных схватках, о любви, преодолевающей все испытания, наконец, о кознях злодеев, которые побеждает честность и храбрость. Цветы невиданных форм и необы-

чайной раскраски цвели у него под окном, ветер приносил запахи лимона и ванили, а он писал об однообразных, поросших вереском равнинах Шотландии, где стаями бродит серая куропатка и пасутся дикие козы.

Иногда, ослабев от изнурявшей его болезни, он диктовал пасынку свои истории. Он любил этого юношу и любил беседовать с ним. Однажды он ему сказал: «Я не являюсь человеком какого-то необычайного таланта, Ллойд, я начал с очень скромными возможностями. В моем успехе я всецело обязан моей системе: доводить то, что у меня есть, до высшей степени развития. Если человек начинает развивать одну способность и делает это с неутомимой настойчивостью, он может сделать чудеса».

Туземцы вскоре узнали, какое сердце у этого белого человека. Пришелец не только охотно вступал с ними в беседы, слушал их песни и предания, но горячо защищал их права в столкновениях с хищной администрацией островов. Ни один белый не мог похвастать таким уважением к себе со стороны туземного населения, какое вскоре завоевал этот пришлый человек. Его выбрали главой племени, почитали его, как божество. Белые называли его Королем Самоа, а темнокожие островитяне дали ему другое прозвище — «Тузитала», что значит «повествователь».

Это было верное прозвище. Больной, поселившийся на острове человек был Роберт Льюис Стивенсон — писатель, имя которого славилось во всех цивилизованных странах.

Стивенсон по праву мог говорить пасынку о своем успехе. История мировой литературы знает немного случаев, когда писатель с такой быстротой добился бы всемирного признания. Свой первый роман «Остров сокровищ» он написал в 1881 году в возрасте тридцати одного года, вовсе не думая о том, что эта книга сразу поставит его в один ряд с лучшими писателями его времени. Рассказывают так: однажды он для забавы нарисовал карту несуществующего эстрова, на котором морские разбойники зарыли клад, и надписал на ней «Остров сокровищ». Маленький Ллойд, его пасынок, потребовал, чтобы он все подробно рассказал ему про клад и про остров. Стивенсон — инженер и юрист по образованию, безымян-

ный, начинающий литератор, всего лишь автор нескольких путевых очерков,— начал писать роман. Все, что он сам любил в детстве, все, что много лет назад волновало его воображение, все слышанные им истории о старых морях, о парусных кораблях, пересекавших океанские просторы, ожили в его памяти. И вот на первых же страницах романа появились моряк с косичкой и с багровой от пьянства физиономией, дикая песня «Пятнадцать человек на ящике с мертвецом — ио-хо-хо! — и бутылка рому!» и таинственная морская карта, найденная в сундучке, окованном медью.

Каждую написанную главу Стивенсон читал по вечерам пасынку, жене и другим членам семьи. Когда, некоторое время спустя, роман вышел из печати, его сразу же перевели на несколько языков, им зачитывались дети и взрослые, изысканные ценители художественной литературы и малограмотное население беднейших классов Англии. Книга, которая была написана для того, чтобы в семейном кругу скоротать у камина зимние вечера, стала народной книгой. В течение ближайших тридцати лет «Остров сокровищ» выдержал в Англии 92 издания, то есть роман расхodziлся и вновь выходил из печати каждые 3—4 месяца. Это был поистине беспримерный успех.

Такой же успех принес Стивенсону другой его роман — «Похищенный», напечатанный в 1886 году. За двадцать пять ближайших лет роман этот выдержал (только в Англии) 72 издания.

Критика восторженно писала о Стивенсоне. В представлении современников он складывался как писатель исторический, как своеобразный продолжатель традиций великого Вальтера Скотта. Но в том же 1886 году Стивенсон выпустил еще новую свою повесть, которая называлась «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайта». Опубликование этой повести с острым фантастическим сюжетом, в которой, однако, действовали современные люди, явилось сенсацией. И это был новый, совсем другой, вовсе не «исторический» Стивенсон.

По свидетельству близких, он нашел сюжет этой загадочной и вместе с тем глубокой по смыслу повести... во сне. Он спал, кричал во сне, ему снилось нехорошее; жене пришлось его разбудить. «Зачем ты меня разбуди-

ла? — сказал он с досадой. — Мне снился превосходный рассказ». Так это или не так, но в три дня он написал свою «Странную историю» о человеке, духовное существо которого обладает способностью жить порознь, то в оболочке доктора Джекиля, то в оболочке мистера Хайта. И если доктор Джекиль — благовоспитанный, добропорядочный английский джентльмен, то все злое, все нечистое, что таится в глубинах его подсознания, воплощает в себе его отвратительный двойник мистер Хайт — другой, реально существующий образ одного и того же человека.

В самом деле, странная история, странная выдумка, казалось бы не имеющая под собой никаких оснований. Но это не так.

Отбросим в сторону психологическую теорию, получившую за последние полвека чрезвычайное распространение на Западе в науке и в художественной литературе, — теорию, согласно которой поведение человека обусловлено прежде всего бессознательными влечениями и инстинктами. Мало того, темные эти силы, таящиеся в глубинах человеческого естества, будто бы определяют самое развитие общества: революции, войны, культурная, творческая деятельность человека — все, согласно фрейдистскому учению, будто бы коренится в биологической, то есть животной природе человека.

Ложные умствования, ложное учение, искажающее объективные законы психической жизни. Но инстинктивное, врожденное, присуще человеческой природе — это данность, которую нельзя отрицать. Еще И. П. Павлов учил о сложных цепочках безусловных рефлексов (чем на языке физиологии и является инстинкт), находящихся в сложном подчинении второй сигнальной системе, то есть мышлению, речи, иначе говоря, именно тем свойствам, которые и делают человека человеком.

Так, значит, эти темные, врожденные силы обезврежены в человеческой психике, как бы спят глубоким сном? Да, спят, но могут и пробуждаться в определенных социальных условиях, в определенной социальной среде, и пробуждение их бывает пугающим.

Я пишу эти строчки, а передо мной лежит последний выпуск «Литературной газеты» со статьей чешского академика Эрнеста Кольмана по поводу новых «изысканий»

западногерманского журнала «Шпигель». «Любящие отцы», — пересказывает Кольман редакционную статью в журнале, — которые, уходя из дома, глядят по головке своего ребенка, несколько минут спустя, когда они сидят за рулем своей машины, со злобой дают мальчика или девочку, случайно перебежавших дорогу».

Так ведь об этом мы же и читаем у Стивенсона в его «Странной истории»! Герои ее ездили не в автомашинах, а в кэбах (кариках), тем не менее совпадение полное: чудовищный мистер Хайт сбивает попавшегося ему под ноги ребенка и безжалостно наступает на его тельце!

А статья в западногерманском журнале, посвященная некоторым явлениям современной жизни (разумеется, западного мира), разъясняет их так, что преступления, ежечасно совершающиеся в больших городах, больше того, навеки закрепившиеся в памяти человечества гитлеровские лагеря смерти — очаги массового истребления людей, современные средства и методы войны, к которым в наши дни, в частности, прибегают Соединенные Штаты в джунглях Вьетнама, — все это явления совершенно естественные, изначальные. В сущности, они даже не подлежат осуждению, потому что корень их — именно двойственная природа человека, врожденные и неизменные его свойства.

Все это говорится к тому, что Стивенсон, творчество которого обычно расценивается как уход от действительности в область чистого вымысла, на самом деле очень зорко вглядывался в современную ему действительность. Английское буржуазное общество всегда славилось своей благопристойностью, особенно в ту эпоху, так называемую «позднюю викторианскую», когда «владычица морей» — самая великая колониальная держава по тем временам — находилась на вершине своего могущества и благополучия. И респектабельный доктор Джеккиль, капиталист, ученый-медик, — это собирательный, чрезвычайно характерный для своего времени образ. Разглядеть в докторе Джеккиле его чудовищного двойника, нравственного уроды мистера Хайта, мог только на редкость пронизательный писатель, не только не отворачивавшийся от окружающего его мира, напротив, глубоко постигавший его двойственную природу. А средства, которыми Стивенсон выразил свою удивительную догад-

ку — фантастическая повесть, — что ж, форма эта не хуже других. Фантазия не искажает правды, она лишь придает ей особую выразительность.

Итак, популярность Стивенсона возрастала от романа к роману. Чем же никому не ведомый романист сумел так захватить миллионы читателей самого разного возраста, разного языка и культуры? Мастером сюжетного чтения в литературе западных народов в ту пору было достаточно. Стивенсон, бесспорно, умел строить увлекательные сюжеты, но делал это совсем иначе, нежели прославленные романисты Габорио, Понсон дю Террайль или Ферри. Стивенсон был настоящим поэтом, а это значит: приключение вовсе не являлось конечным и главным содержанием его творчества, но представляло собой лишь неотъемлемую часть его общего поэтического восприятия жизни.

Скажем ясней: в своем творчестве Стивенсон не ставил перед собой задачи во что бы то ни стало построить сюжет, богатый неожиданными поворотами и острыми положениями. Истинный художник, настоящий писатель, он прежде всего писал о жизни. А эта жизнь, в которую он верил и которую любил, изобиловала драматическими острыми столкновениями человека с природой, человека с человеком, одной сильной натуры с другой. И вот отчего в романах его то и дело возникали кораблекрушения и странствия, полные опасностей, побег и погони, схватки и поединки. И это не обязательно поединки на шпагах — чуть ли не каждый разговор у Стивенсона по существу поединок, где что ни слово, то выпад, удар, и победа принадлежит тому, у кого ясней разум, крепче воля и чище совесть.

Описания природы, обстановки, в которой разворачиваются судьбы героев, у Стивенсона по-настоящему поэтичны. Будь то необозримые вересковые плоскогорья в «Похищенном» или в «Сент-Иве», или ничем не примечательный на первый взгляд, поросший редким лесом и в то же время полный тайн и опасностей берег в «Острове сокровищ», или черная, бесснежная, истинно английская зимняя ночь в саду — ночь, когда два брата сходятся, чтобы при свете ламп, поставленных прямо на мерзлую землю, драться на шпагах («Мастер Баллантрэ»), или непроницаемая морская глубь, открывающая-

ся с обрыва, в которой предвестником близкой беды время от времени скользит тень большой рыбы («Веселые ребята»), — все это настоящая поэзия. В то же время обстановка у Стивенсона вовсе не доведок к сюжету. Ощущение тайны, предчувствие опасности он описывает иногда подробнее, нежели самую развязку. И подробное описание зловещей ночи в «Мастере Баллантрэ» — это предвестник драмы, которая разыграется дальше, точно так же, как пустынный, ничем не примечательный берег «Острова сокровищ» именно в этой своей обыденности и таит предчувствие новых тайн, новых опасностей и столкновений.

Люди в романах Стивенсона написаны превосходно. Не только верны исторически их портреты — верны исторически их характеры, точные для своего времени и своей среды.

О Стивенсоне как о писателе реалистического таланта лучше всего судить по его романам «Похищенный» и «Катриона». Действие этих романов происходит в 50-е годы XVIII века непосредственно вслед за подавлением последнего вооруженного восстания шотландских горцев («гайлэндеров»), выступивших против английского короля Георга II за восстановление на английском троне шотландской династии Стюартов. Этим событиям предшествовал длительный исторический период борьбы Шотландии с Англией. Последний представитель шотландских Стюартов Яков II в 1688 году в результате «славной революции» был свергнут с английского престола и бежал во Францию. Реакционные английские дворяне, которых поддерживали жители горной Шотландии, несколько раз делали неудачные попытки вернуть корону сначала Якову II, затем его сыну Якову, получившему прозвище «Претендента» (1709—1715) и, наконец, его внуку, так называемому «Молодому претенденту» Карлу-Эдуарду Стюарту, известному в Шотландии под именем принца Чарли. Высадившись в Шотландии (1745), он собрал ополчение из горцев, но после первых военных успехов был разбит английскими правительственными войсками и бежал (1746). Поддерживая монархию Стюартов, горные шотландцы мечтали отстоять свою национальную независимость и сохранить свой клановый родовой строй, который стал приходить в упадок после насильственного

соединения Шотландии с Англией по договору 1707 г. Однако после поражения восстания 1745—1746 гг., о котором часто упоминается в обоих романах Стивенсона, клановый строй был окончательно разрушен, вожди кланов казнены или изгнаны, родовой суд, родовые обычаи и даже шотландская национальная одежда запрещены.

Герой обоих романов — молодой человек Давид Бальфур, сын сельского учителя, по рождению неимущий мелкопоместный дворянин (наследственное владение Шоос вместе с титулом возвращается к нему лишь под конец повествования), — это далеко не романтический герой в нашем обычном представлении. Он хорошо обучен латыни и не умеет владеть шпагой. Он претерпевает по ходу повествования опаснейшие приключения и злоключения, причем мужество его таково, что ему завидует даже такой профессиональный вояка и отчаянный дуэлянт, как его новоявленный друг, шотландский дворянин Алан Брек. Вместе с тем молодой человек, герой романа, вовсе не гонится за приключениями. По складу своему он, пожалуй, даже из тех, о ком говорят «скучный человек». Благоразумно он мечтает о том, чтобы «жить впредь по собственному усмотрению, пользоваться своим состоянием и увеличить его, посвятить некоторое время своей юности на ухаживание за Катрионой, что, во всяком случае, было бы для меня более подходящим занятием, чем прятаться, бежать, переносить преследование, точно вор». Странствующий рыцарь готовит себя к самой будничной профессии юриста, стряпчего, ходатая по судебным делам! И хотя в обоих романах Стивенсон вновь переносит нас в излюбленный им XVIII век, на столетие назад от современной ему действительности, в бурную, поистине романтическую эпоху религиозных войн и племенных междоусобиц, «романтический» его герой, с опасностью для жизни тайно поджидая преследуемого Алана Брека, рассуждает так: «Говорят, что есть свои резоны сажать капусту и что даже в религии и этике есть место для здравого смысла». Не знаю, как насчет отхода от реалистических традиций Диккенса и Теккерея, но разрушение романтической традиции у Стивенсона явное.

Но, может быть, не этот неотесанный деревенский юнец Давид Бальфур, а офицер-якобит (то есть сторон-

ник претендента на английский престол короля Якова Стюарта, разбитого войсками короля Георга) предстает в романе олицетворением рыцарской доблести, благородства, воинского искусства — словом, всех тех качеств, которые присущи романтическому герою? Пусть читатель внимательно прочтет ту главу, где повествуется о схватке Алана с командой брига «Конвент», руководимой ее вероломным капитаном. Алан Брек храбр. Он не собирается даже баррикадировать дверь рубки: пусть «большая часть моих врагов будет передо мной, а там-то я и желаю их видеть». Один против пятнадцати (Бальфур только время от времени стреляет из пистолетов) он поистине творит своей шпагой чудеса под стать прославленным мушкетерам Дюма из его пятитомной романтической эпопеи. «Шпага в руках Алана мелькала, как ртуть». Враги бегут. «Алан гнал их вдоль палубы, как собака загоняет овец». В бою он даже слагает песню, слова и мотив, прославляющую его ловкость, его шпагу.

И как же вместе с тем он тщеславен, суетен, этот храбрец, какие смешные стороны его натуры раскрываются нам уже при первой встрече с ним! Он позер. «Он очель кичился своей победой и принимал такие изящные позы, что казался непобедимым». А в песне, сложенной им, он даже забывает упомянуть Давида Бальфура, от выстрелов которого все-таки пало несколько человек, всю честь победы приписывая только себе.

А дальше, в совместном их путешествии по Гайлэнду — дикой горной Шотландии, — где же благородство Алана Брека? В карточной игре с одним из вождей разгромленных горцев он проигрывает деньги не только свои, но и своего товарища по скитаниям. Раздраженный, злой, сущий задира-дуэлянт, он издевается над своим юным спутником, ослабевшим в пути, он оскорбляет его, он готов даже сразиться с ним на шпагах и, стало быть, наверняка убить. И ссора кончается бурным раскаянием, едва ли не сопровождающимся слезами. «Дэви, — сказал он, — я дурной человек, у меня нет ни ума, ни доброты, я забыл, что ты еще ребенок, что ты умираешь на ходу». Весь он такой — с его смешной заносчивостью, бахвальством, легкомыслием и чистым сердцем, способным на искреннюю любовь и самоотверженную дружбу.

Алан Брек — сложный характер, написанный рукой

писателя-реалиста, следует сказать — подлинного сердцеведа. «Нет людей совершенно дурных, — размышляет Давид Бальфур, — у каждого есть свои достоинства и недостатки». Это, в сущности, исходная позиция и самого Стивенсона в изображении его героев, которых он тем не менее любит, несмотря на их недостатки, даже восхищается ими. А приключения — кровавые схватки, погони, заговоры, океанские штормы? Так ведь именно оттого, что действующие в его романах лица — обыкновенные люди, а не ходульные герои, самые невероятные, самые романтические приключения приобретают в наших глазах совершенную достоверность. Мы никогда до конца не поверим Александру Дюма, хотя воображение наше пленяют образы его мушкетеров или образ «благородного мстителя» графа Монте-Кристо. Стивенсону мы верим. Романы Дюма — великолепный, увлекательный спектакль с богатейшими декорациями и бутафорией; романы Стивенсона — жизнь.

В России Стивенсона знали плохо. В сознании русских читателей он занял безусловно не подобающее ему малое место, едва ли не в одном ряду с такими бойкими закройщиками сюжетного чтения, как Л. Буссенар или Луи Жаколио. Правда, романы Стивенсона, по мере их опубликования на родном языке, переводили и печатали наши наиболее распространенные «взрослые» журналы того времени («Русский вестник», «Вестник Европы»), но впоследствии Стивенсон выходил из печати только в серии писателей-«приключенцев», так сказать, «по второму разряду», тогда как Брет-Гарт, Киплинг, Джек Лондон занимали и у нас первенствующие места. Тут, нет сомнения, произошла историческая ошибка: критика наша не разглядела Стивенсона-реалиста, поэта, писателя глубоких психологических проникновений, поверхностно заметив одну только сторону его дарования — мастерство интриги.

Сам же Стивенсон знал русскую литературу гораздо лучше, чем его современники. По утверждению самих англичан, именно русская литература оказала огромное влияние на его творчество. В частности, романы Достоевского он читал во французских переводах и восхищался ими задолго до того, как Достоевский был переведен на английский язык.

Стивенсон прожил трудную жизнь. Тяжелое хроническое заболевание (туберкулез) с детских лет подолгу держало его в постели. Ему пришлось по состоянию здоровья дважды бросать свою профессию (сначала — инженера, потом — юриста), много скитаться по Европе в поисках места, наиболее благоприятного для того, чтобы работать и жить. Климат родной и горячо им любимой Шотландии был вреден ему.

Скитаясь по Европе, он встретился с вдовой состоятельного американца миссис Осборн, которая впоследствии стала его женой. Он последовал за ней в Америку и после кратковременного посещения родных мест больше уже не возвращался в Европу. Слава и достаток пришли к нему поздно, когда здоровье его было уже сильно подточено.

Последние четыре года своей жизни Стивенсон, как сказано, прожил на одном из островов Южного полушария. Здесь им был написан роман «Катриона» (продолжение «Похищенного») и, совместно с его пасынком, роман «Потерпевшие кораблекрушение». Ллойд Осборн писал вводную бытовую часть о приключениях героя в Париже и в Сан-Франциско, Стивенсон — все то удивительное, что произошло дальше на корабле во время его плавания в южных морях.

«Берег Фалеза» (повесть из цикла «Вечерние беседы на острове») — это не просто романтическая повесть о канаках (полинезийцах) и белых, нравы которых Стивенсон хорошо узнал за годы своих скитаний по Океании. Это повесть огромного социального смысла, тем более беспощадная к белым хозяевам островов, что герой ее — торговец копррой Уильтшайр — человек, в сущности, не хуже, а лучше, нравственнее своих соотечественников. И все-таки он лжив, жестокосерден, развратен и, по существу, глубоко презирает наивных и добродушных туземцев.

Иначе относился к своим темнокожим друзьям Р. Л. Стивенсон. Он не только писал о них, но писал и для них: чудесная сказка «Бутылка дьявола», в основе которой лежит старинная легенда европейского происхождения, была написана им специально для туземных читателей. Героев этой сказки он сделал канаками, действие перенес в Океанию.

Последний свой роман «Сент-Ив» — прекрасную книгу о похождениях в Англии пленного наполеоновского офицера — он диктовал пасынку, уже не в силах подняться с постели. Он умер, не закончив своей работы. (Впоследствии роман был дописан известным в свое время писателем Квиллер-Коуч.)

В ночь его смерти туземцы проложили тропу на вершину горы, возвышавшейся над островом, и перенесли туда тело Тузиталы-повествователя. Плита серого камня прикрыла его могилу. На ней была высечена надгробная надпись в стихах, сочиненная Стивенсоном, и библейский текст: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить, народ твой будет моим народом...»

Всеволод Воеводин



ПОХИЩЕННЫЙ

Записки о приключениях Давида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел крушение; о его страданиях на пустынном острове; о его странствовании по диким горам; о его знакомстве с Аланом Бреком Стюартом и другими выдающимися якобитами шотландской горной области; и обо всем, что он претерпел от рук дяди своего Эбenezера Бальфура, ложно именовавшегося владельцем Шооса, писанные им самим и ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Дорогой мой Чарлз Бакстер! Если вы когда-нибудь читаете этот рассказ, то, вероятно, зададите себе больше вопросов, нежели я мог бы дать ответов. Так, например, вы спросите: каким образом убийство в Анпине пало на 1751 год; каким образом Торренские скалы придвинулись так близко к Эррейду или почему опубликованный отчет об этом деле совсем ничего не говорит обо всем, что касается Давида Бальфура? Ведь эти орехи мне не по зубам. Но если вы меня спросите о том, виновен ли Алан или невиновен, то я полагаю, что могу постоять за свой рассказ. Вы могли бы сами убедиться в том, что местное предание в Анпине и донднесь явно высказывается в пользу Алана. Если вы наведете справки, то можете узнать, что потомки «другого человека», того, что стрелял, и теперь еще существуют в той местности. Но можете спрашивать сколько угодно, а имени этого «другого» вы не услышите: горцы свято соблюдают эту тайну, уважая вообще всякие тайны, и свои собственные и своих сородичей. Я могу с успехом оправдывать один пункт, но должен признать, что другой пункт оправдать невозможно; лучше уж признаться сразу, как мало интересует меня желание быть точным. Я пишу книгу не для школьной библиотеки, а для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже кончены и приближается время сна. Честный Алан, который в свое время был лихим воякой, в своем новом перерождении выведен мною не с каким-либо особым злодейским умыслом, а только затем, чтобы отвлечь внимание какого-нибудь юного

джентльмена от Овидия и обратить его хоть ненадолго на горную Шотландию и на минувшее столетие и отпустить его в постель в таком настроении, чтоб в его снах появились кое-какие заманчивые образы.

От вас, мой дорогой Чарлз, я не могу и требовать, чтоб этот рассказ вам пришелся по вкусу. Но он, может быть, понравится вашему сыну, когда он подрастет; ему будет приятно найти имя своего отца на форзаце книги. В то же время мне отрадно начертать это имя здесь в память о многих днях, большею частью счастливых, хотя иногда и грустных, но о которых теперь с интересом вспоминаешь. Если мне кажется удивительным, что я могу бросить взгляд назад сквозь двойное расстояние времени и пространства на приключения нашей юности, то для вас это, быть может, еще удивительнее, как для человека, который ходит по тем же самым улицам и может завтра же отворить дверь старой залы, где мы начали свое ознакомление со Скоттом и Робертом Умметом и с нашим возлюбленным, но так малоизвестным Мекбином; или пройти в тот уголок, где собирались митинги великого общества I. J. R., где мы пили свое вино и сидели на тех же местах, где когда-то сиживал Бернс со своими друзьями. Мне кажется, что я вижу, как вы ходите по этим местам среди белого дня, видите их своими собственными глазами, тогда как для вашего товарища все это может быть только предметом сновидений. Как прошлое звучит в памяти во время перерывов среди текущих дел и занятий! Пусть же это эхо чаще звучит для вас и будит в вас мысли о вашем друге.

Р. Л. С.

Скерривор,

Бурнемут.



1. Я отправляюсь в Шоос-гауз

Рассказ о моих приключениях я начну с июньского утра 1751 года, когда в последний раз я запер за собою дверь отчего дома. Пока я спускался по дороге, солнце едва освещало вершины холмов, а когда дошел до дома священника, в сирени уже свистали дрозды и предрасветный туман, висевший над долиной, начинал подниматься и исчезать.

Добрейший иссендинский священник, мистер Кемпбелл, ждал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услышав, что мне ничего не нужно, после дружеского рукопожатия ласково взял меня под руку.

— Ну, Дэви,— сказал он,— я провожу тебя до брода, чтобы вывести тебя на дорогу.

И мы молча двинулись в путь.

— Жалко тебе покидать Иссендин? — спросил он немного погодя.

— Я мог бы вам на это ответить, если бы знал, куда

я иду и что случится со мной,— сказал я.— Иссендин — славное местечко, и мне было очень хорошо здесь, но ведь я ничего больше и не видел. Отец мой и мать умерли, и, оставшись в Иссендине, я был бы от них так же далеко, как если бы находился в Венгрии. Откровенно говоря, я уходил бы отсюда очень охотно, если бы только знал, что на новом месте положение мое улучшится.

— Да! — сказал мистер Кемпбелл.— Прекрасно, Дэви. Значит, мне следует открыть тебе твое будущее, насколько это в моей власти. Когда твоя мать умерла, а отец твой — достойный христианин! — почувствовал приближение смерти, он отдал мне на сохранение письмо, сказав, что оно — твое наследство. «Как только я умру,— говорил он,— и дом будет приведен в порядок, а имущество продано (все так и было сделано, Дэви), дайте моему сыну в руки это письмо и отправьте его в Шоосгауз, недалеко от Крамонда. Я сам пришел оттуда,— говорил он,— и туда же следует возвратиться моему сыну. Он смелый юноша и хороший ходок, и я не сомневаюсь, что он благополучно доберется до места и сумеет заслужить там всеобщее расположение».

— В Шоосгауз! — воскликнул я.

— Никто не знает этого достоверно,— сказал мистер Кемпбелл.— Но у владельцев этой усадьбы то же имя, что и у тебя, Дэви. Бальфуры из Шооса — старинная, честная, почтенная семья, пришедшая в упадок в последнее время. Твой отец тоже получил образование, подобное его происхождению; никто так успешно не руководил школой, как он, и разговор его не был похож на разговор простого школьного учителя; напротив (ты сам понимаешь), я любил, чтобы он бывал у меня, когда я принимал образованных людей, и даже мои родственники, Кемпбеллы из Кильренета, Кемпбеллы из Денсвайра, Кемпбеллы из Минча и другие, все очень просвещенные люди, находили удовольствие в его обществе. А в довершение всего сказанного вот тебе завещанное письмо, написанное собственной рукой покойного.

Он дал мне письмо, адресованное следующим образом: «Эбенезеру Бальфуру, из Шооса, эсквайру, в Шоосгауз, в собственные руки. Письмо это будет передано ему моим сыном, Давидом Бальфуром». Сердце мое сильно забилося при мысли о блестящей будущности, внезапно

открывшейся предо мной, семнадцатилетним сыном белого сельского учителя в Эттрикском лесу.

— Мистер Кемпбелл,— сказал я прерывающимся голосом,— пошли бы вы туда, будь вы на моем месте?

— Разумеется,— отвечал священник,— и даже не медля. Такой большой мальчик, как ты, дойдет до Крамонда (недалеко от Эдинбурга) в два дня. В самом худшем случае, если твои знатные родственники — а я предполагаю, что эти Бальфуры тебе сродни,— выставят тебя за дверь, ты сможешь через два дня вернуться обратно и постучать в дверь моего дома. Но я надеюсь, что тебя примут хорошо, как предсказывал твой отец, и со временем ты будешь важным лицом. А затем, Дэви, мой мальчик,— закончил он,— я считаю своей обязанностью воспользоваться минутой расставания и предостеречь тебя от опасностей, которые ты можешь встретить в свете.

При этих словах он немного помешкал, размышляя, как бы поудобнее сесть, потом опустил на большой камень под березой у дороги, с важностью оттопырил верхнюю губу и накрыл носовым платком свою треугольную шляпу, так как солнце теперь светило на нас из-за двух вершин. Затем, подняв указательный палец, он стал предостерегать меня сперва от многочисленных ересей, которые нисколько не соблазняли меня, и убеждать не пренебрегать молитвой и чтением библии. Потом он описал мне знатный дом, куда я направлялся, и дал мне совет, как вести себя с его обитателями.

— Будь уступчив, Дэви, в несущественном,— говорил он.— Помни, что хотя ты и благородного происхождения, но воспитан в деревне. Не посрами нас, Дэви, не посрами нас! Будь обходительным в этом большом, многолюдном доме, где так много слуг. Старайся быть осмотрительным, сообразительным и сдержанным не хуже других. Что же касается владельца, помни, что он — лэрд¹. Скажу тебе только: воздай всякому должное. Приятно подчиняться лэрду; во всяком случае, это должно быть приятно для юноши.

— Может быть,— отвечал я.— Обещаю вам, что буду стараться следовать вашему совету.

¹ Лэрд — в Шотландии то же, что лорд в Англии.

— Прекрасный ответ,—сердечно сказал мистер Кемпбелл.— А теперь обратимся к самой важной материи, если дозволено так играть словами, или же к нематериальному. Вот пакетец, в котором четыре вещи.— Говоря это, он с большим усилием вытащил пакет из своего бокового кармана.— Из этих четырех вещей первая принадлежит тебе по закону: это небольшая сумма, вырученная от продажи книг и домашнего скарба твоего отца, которые я купил, как и объяснял с самого начала, с целью перепродать их с выгодой новому школьному учителю. Остальные три — подарки от миссис Кемпбелл и от меня. И ты доставишь нам большое удовольствие, если примешь их. Первая, круглая, вероятно, больше всего понравится тебе сначала, но, Дэви, мальчик мой, это лишь капля в море: она облегчит тебе только один шаг и исчезнет, как утренний туман. Вторая, плоская, четырехугольная, вся исписанная, будет помогать тебе в жизни, как хороший посох в дороге и как подушка под головой во время болезни. А последняя, кубическая, укажет тебе путь в лучший мир: я буду молиться об этом.

С этими словами он встал, снял шляпу и некоторое время в трогательных выражениях громко молился за юношу, отправляющегося в мир, потом внезапно обнял меня и крепко поцеловал; затем отстранил от себя и, не выпуская из рук, долго глядел на меня, и лицо его было омрачено глубокою скорбью; наконец, повернулся, крикнул мне: «Прощай!» — и почти бегом пустился обратно по дороге, которою мы только что шли. Другому это показалось бы смешным, но мне и в голову не приходило смеяться. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду: он все продолжал торопиться и ни разу не оглянулся назад. Мне стало ясно, что причиной всего была разлука со мной, и совесть стала сильно упрекать меня; сам я был очень счастлив, уходя из тихой деревенской глуши в большой, шумный дом, где жили богатые и уважаемые дворяне одного со мной рода и имени.

«Дэви, Дэви,— думал я,— видана ли где такая черная неблагодарность? Неужели при одном намеке на знатность ты можешь забыть старых друзей и их расположение к тебе? стыдно, Дэви, стыдно!»

Я сел на камень, с которого только что встал добрый священник, и открыл пакет, чтобы посмотреть подарки.

Я догадывался, что то, что мистер Кемпбелл называл кубической вещью, было, конечно, карманной библией. То, что он называл круглой вещью, оказалось шиллингом; а третья вещь, которая должна была так замечательно помогать мне, и здоровому и больному, оказалась клочком грубой желтой бумаги, на котором красными чернилами были написаны следующие слова:

«Как готовить ландышевую воду. Возьми херес, сделай настойку на ландышевом цвете и принимай при случае ложку или две. Эта настойка возвращает дар слова тем, у кого отнялся язык; она помогает при подагре, укрепляет сердце и память. Цветы же положи в плотно закупоренную банку и поставь на месяц в муравейник, затем вынь и тогда увидишь в банке выделенную цветами жидкость, которую и храни в пузырьке; она полезна здоровым и больным, как мужчинам, так и женщинам».

Внизу была приписка рукой священника: «Также ее следует втирать при вывихах, а при коликах принимать каждый час по столовой ложке».

Я, разумеется, посмеялся над этим, но то был нервный смех. Поскорее повесив свой узел на конец палки, я перешел брод и стал подниматься на холм по другую сторону речки. Наконец я добрался до зеленой дороги, тянущейся среди вереска, и кинул последний взгляд на иссендинскую церковь, на деревья вокруг дома священника и на высокие рябины на кладбище, где покоились мои родители.

II. Я достигаю места назначения

Наутро второго дня, достигнув вершины холма, я увидел перед собой всю расположенную на склоне страну, до самого моря, а посреди этого склона, на длинном горном кряже,— Эдинбург, дымивший, как калильная печь. На замке развевался флаг, а в заливе плавали или стояли на якорях суда. Несмотря на очень далекое расстояние, я мог все ясно разглядеть, и мое деревенское сердце от радости готово было выпрыгнуть из груди.

Затем я миновал дом пастуха, где мне довольно грубо указали, как добраться до Крамонда. И так, спрашивая

то одного, то другого, я шел мимо Колинтона все к западу от столицы, пока не вышел на дорогу, ведущую в Глазго. А на ней, к великому моему удовольствию и удивлению, я увидел солдат, маршировавших под звуки флейт; впереди на серой лошади ехал старый генерал с багровым лицом, а сзади шла рота гренадеров в шапках, напоминавших папские тиары. Во мне зашевелилось чувство гордости при виде военных в красных мундирах и при звуке веселой музыки.

Немного дальше мне объяснили, что я в Крамондском приходе. Тогда я стал осведомляться о Шоос-гаузе.казалось, что мой вопрос всех удивляет. Сперва я подумал, что моя простая деревенская одежда, запыхавшаяся в дороге, плохо вязалась с величием этого места. Но, после того как двое или трое, одинаково взглянув на меня, уклонились от ответа, мне начало приходить в голову, что в самом Шоос-гаузе есть что-то странное.

Чтобы рассеять свои опасения, я переменил форму вопросов, и, увидев честного малого, который ехал по проселочной дороге, стоя на телеге, я спросил, слышал ли он когда-нибудь про Шоос-гауз.

Он остановил телегу и посмотрел на меня так же, как и другие.

— Да,— отвечал он.— А что?

— Это большая усадьба? — спросил я.

— Разумеется,— отвечал он.— Дом очень большой.

— Ну,— спросил я,— а что за люди живут там?

— Люди! — воскликнул он.— С ума ты сошел! Там нет людей.

— А мистер Эбенезер? — спросил я.

— О да! — сказал он.— Если тебе нужен лэрд, то он там. Какое у тебя к нему дело, любезный?

— Мне сказали, что могу найти у него место,— сказал я, стараясь казаться как можно скромнее.

— Что? — закричал человек так громко, что даже лошадь вздрогнула.— Вот что, любезный,— продолжал он,— это, конечно, не мое дело, но ты кажешься мне порядочным малым... Послушай-ка моего совета и держись подальше от Шоос-гауза.

Потом я встретил юркого человечка в красивом белом парике и понял, что это цирюльник, который совершает свой обход. Так как мне было известно, что все цирюль-

ники большие болтуны, то я без обиняков спросил его, что за человек мистер Бальфур из Шоос-гауза.

— О,— сказал цирюльник,— он очень мало похож на человека!

И начал хитро расспрашивать, что мне нужно, но я был еще хитрее, и он пошел к своему клиенту, не узнав ничего больше того, что знал сам.

Не могу описать, какой удар это все нанесло моим ожиданиям! Чем туманнее были обвинения, тем они мне меньше нравились, так как оставляли обширное поле для воображения. Что же это за дом, когда один вопрос: «Где он находится?» — заставляет весь приход вздрагивать и таращить глаза? И что это был за лэрд, когда дурная слава о нем бежала по всем дорогам? Если после часовой ходьбы я мог бы вновь очутиться в Иссендине, то бросил бы свою затею и вернулся бы к мистеру Кемпбеллу. Но я забрался уже так далеко, что самолюбие не позволяло мне отступить, не проверив, в чем дело; из одного только самоуважения я должен был довести его до конца. И хотя мне было очень не по душе все, что я слышал, я все-таки, хотя и замедлив шаги, продолжал спрашивать дорогу и идти вперед.

День близился к закату, когда я встретил полную темноволосую женщину с угрюмым лицом, устало спускавшуюся с холма. Когда я обратился к ней с моим обычным вопросом, она круто повернула назад, проводила меня до вершины, с которой только что спустилась, и показала мне на громадное строение, одиноко стоявшее на лужайке в глубине ближайшей долины. Местность вокруг была очень красива. Невысокие холмы были покрыты лесом и богато орошены, а поля, на мой взгляд, обещали необыкновенный урожай. Но самый дом мне показался какой-то развалиной. К нему не вело дороги; ни из одной трубы не шел дым, а вокруг него не было ничего похожего на сад. У меня упало сердце.

— Как?.. Это! — воскликнул я.

Глаза женщины враждебно сверкнули.

— Это Шоос-гауз! — закричала она. — Кровь строила его, кровь остановила постройку, кровь разрушит его. Смотри,— воскликнула она,— я плюю на землю и призываю на него проклятие! Пусть все там погибнут! Если ты увидишь лэрда, передай ему мои слова, скажи ему,

что Дженет Клоустон в тысячу двести девятнадцатый раз призывает проклятие на него и на его дом, на его хлев и конюшню, на его слугу, гостя, хозяина, жену, дочь, ребенка — да будет ужасна их гибель!

И женщина, чей голос звучал как жуткое заклинание, внезапно подпрыгнула, повернулась и исчезла. Я продолжал стоять на том же месте, и волосы мои поднялись дыбом. В те времена люди верили в ведьм и боялись проклятий. Проклятие этой женщины, являвшееся как бы предостережением, чтобы я остановился, пока еще было время, совершенно лишило меня сил.

Я присел и стал смотреть на Шоос-гауз. Чем больше я смотрел, тем местность мне казалась красивее. Все кругом было покрыто цветущим боярышником. Луга были усеяны овцами. В небе большими стаями пролетали грачи. Во всем сказывалось богатство почвы и благотворность климата, и только дом совсем не нравился мне.

Пока я сидел так около канавы, крестьяне стали возвращаться с полей, но я был в таком унынии, что даже не пожелал им доброго вечера. Наконец солнце село, и я увидел струю дыма, поднимающуюся прямо на фоне желтого неба. Хотя струйка эта и была не шире, чем дымок от свечи, но все-таки служила доказательством того, что в доме были огонь, и тепло, и ужин, и какое-то живое существо. Эта мысль ободрила меня.

И я пошел вперед по потерявшейся в траве тропинке, которая вела к дому. Она казалась слишком незаметной, чтобы вести к обитаемому месту, но другой я не видел. Тропинка привела меня к каменной арке; рядом с ней стоял домик без крыши, а наверху арки виднелись следы герба. Очевидно тут предполагался главный вход, который не был достроен. Вместо ворот из кованого чугуна высились две деревянные решетчатые дверцы, связанные соломенным жгутом; не было ни садовой ограды, ни малейшего признака подъездной дороги, но тропинка, по которой я шел, обогнула арку с правой стороны и, извиваясь, направилась к дому.

Чем ближе я подходил к нему, тем угрюмее он казался. Это был, должно быть, только один из флигелей недостроенного дома. Во внутренней части его верхний этаж не был подведен под крышу, и в небе вырисовы-

вались нескончаемые уступы и лестницы. Во многих окнах не хватало стекол, и летучие мыши влетали и вылетали туда и обратно, как голуби на голубятне.

Когда я подошел совсем близко, уже начинало темнеть, и в трех нижних окнах, расположенных высоко над землей, очень узких и запертых на засов, замерцал дрожащий свет маленького огонька.

Так вот тот дворец, куда я иду! Вот те стены, в которых я буду искать новых друзей и должен начать блестящую карьеру! Там, в Иссен-Уотерсайте, в доме моего отца, яркий огонь светил на милом вокруг и дверь отворялась для каждого нищего.

Я осторожно шел вперед, наострив уши, и до меня донеслись звуки передвигаемой посуды и чьего-то сухого сильного кашля, но не было слышно ни голосов, ни даже лая собаки.

Большая дверь, насколько я мог различить при тусклом вечернем свете, была деревянная, вся утыканная гвоздями, и я с робким сердцем поднял руку и постучал один раз. Потом стал ждать. В доме воцарилась мертвая тишина. Прошла минута, и ничто не двигалось, кроме летучих мышей, шнырявших над моей головой. Я снова постучал, снова стал слушать... Теперь мои уши так привыкли к тишине, что я слышал, как часы внутри дома отсчитывали секунды, но тот, кто был в доме, хранил мертвое молчание и, должно быть, затаил дыхание.

Я уже думал, не убежать ли мне, но гнев пересилил; я стал колотить руками и ногами в дверь и громко звать мистера Бальфура. Едва я вошел в азарт, как услышал над собой кашель. Отскочив от двери и взглянув наверх, я в одном из окон верхнего этажа увидел человека в высоком ночном колпаке и расширенное к концу дуло мушкетона.

— Он заряжен,— произнес голос.

— Я принес письмо мистеру Эбенезеру Бальфуру из Шооса,— сказал я.— Здесь он?

— От кого? — спросил человек с мушкетонном.

— Это вас не касается,— возразил я, начиная раздражаться.

— Хорошо,— ответил он,— можешь положить его на порог и убираться.

— Уж этого-то я не сделаю! — воскликнул я.— Я от-

дам его мистеру Бальфуру в собственные руки, как мне велено. Это рекомендательное письмо.

— Что такое? — резко крикнул голос.

Я повторил свои слова.

— Кто же ты сам? — был следующий вопрос после значительной паузы.

— Я не стыжусь своего имени, — сказал я. — Меня зовут Давид Бальфур.

Я убежден, что при этих словах человек вздрогнул, потому что услышал, как мушкетон брякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан после долгого молчания и странно изменившимся голосом:

— Твой отец умер?

Я так был поражен, что не мог отвечать, и в изумлении смотрел на него.

— Да, — продолжал человек, — наверное он умер, и вот почему ты ломаешь мои двери.

Опять пауза, а затем он сказал вызывающе:

— Что ж, я впущу тебя, — и исчез из окна.

III. Я знакомлюсь со своим дядей

Вскоре послышался лязг цепей и отодвигаемых засовов; дверь была осторожно приотворена и немедленно закрыта за мной.

— Ступай на кухню и ничего не трогай, — сказал голос.

И пока человек, живший в доме, снова укреплял затворы, я ощупью добрался до кухни.

Ярко разгоревшийся огонь освещал комнату с таким убогим убранством, какого я никогда не видел. С полдюжины мисок и блюд стояло на полках; стол был накрыт для ужина: миска с овсяной кашей, роговая ложка и стакан слабого пива. В этой большой пустой комнате со сводчатым потолком ничего больше не было, кроме нескольких закрытых на ключ сундуков, стоявших вдоль стены, и посудного шкафа с висячим замком в углу.

Закрепив последнюю цепь, человек вернулся ко мне. Он был небольшого роста, сутуловат, с узкими плечами и землистым цветом лица; ему могло быть от пятидесяти до семидесяти лет. На нем был фланелевый ночной кол-



пак и такой же халат, надетый сверх истрепанной рубашки и заменявший ему и жилет и кафтан. Он, очевидно, давно не брился. Но более всего тревожило и даже страшило меня то, что он все время не спускал с меня глаз и вместе с тем ни разу не взглянул мне прямо в лицо. Я никак не мог догадаться, кто он по рождению или по занятию. Более всего он был похож на старого, отслужившего свой век слугу, которого за харчи приставили смотреть за домом.

— Ты проголодался? — спросил он, и взгляд его забегал на уровне моего колена. — Можешь съесть эту кашу.

Я сказал, что это, вероятно, его собственный ужин.

— О, — сказал он, — я могу отлично обойтись без него. Но я выпью эля: он смягчает мой кашель.

Он выпил около полустакана, все время не спуская с меня глаз. Затем быстро протянул руку.

— Покажи письмо, — сказал он.

Я сказал, что письмо адресовано не ему, а мистеру Бальфуру.

— А за кого ты меня принимаешь? — спросил он. — Дай мне письмо Александра!

— Вы знаете, как звали моего отца?

— Было бы странно, если бы я этого не знал,— отвечал он. — Он был мне родным братом, и, хотя тебе, кажется, очень не по вкусу и я сам, и мой дом, и моя прекрасная овсянка, я все-таки твой родной дядя, мой милый, а ты — мой родной племянник. А потому отдай мне письмо, а сам пока ешь.

Будь я моложе на несколько лет, я, вероятно, расплакался бы от стыда, отвращения и разочарования. Теперь же я не мог произнести ни слова, но молча отдал ему письмо и стал есть кашу так неохотно, насколько это возможно для здорового юноши.

В это время дядя мой, наклонясь к огню, вертел письмо в руках.

— Знаешь ли ты, что в нем? — внезапно спросил он.

— Вы сами видите, сэр,— сказал я,— что печать не сломана.

— Гм...— сказал он.— Что же тебя привело сюда?

— Я хотел отдать письмо,— сказал я.

— Ну,— сказал он с хитрым видом,— ведь у тебя были, вероятно, какие-нибудь надежды.

— Сознаюсь, сэр,— отвечал я,— узнав, что у меня есть состоятельные родственники, я действительно надеялся, что они мне смогут помочь. Но я не нищий, я не ишу милости у вас и не прошу ничего, что дается неохотно. Хоть я и кажусь бедным, но у меня есть друзья, которые будут рады помочь мне.

— Ну, ну,— сказал дядя Эбenezер,— нечего тебе фыркать на меня. Мы еще отлично поладим. А затем, Дэви, если ты не хочешь этой каши, то я доем ее сам. Да,— продолжал он, завладев моим стулом и ложкой,— овсяная каша — славная, здоровая пища, важная пища.— Он вполголоса пробормотал молитву и принялся ужинать.— Твой отец очень любил поесть, я помню. Можно было назвать его если не большим, то, по крайней мере, усердным едоком. Что же касается меня, то я всегда только чуть притрагивался к пище.— Он глотнул пива, и это, вероятно, напомнило ему об обязанностях гостеприимства, потому что следующими его словами были: — Если ты хочешь пить, то найдешь воду за дверью.

На это я ничего не ответил, но упорно продолжал стоять и глядеть с большим гневом на моего дядю. Он

продолжал торопливо есть и бросал быстрые взгляды то на мои башмаки, то на чулки домашней вязки. Только раз, когда он решился взглянуть немного повыше, глаза наши встретились, и даже на лице вора, пойманного на месте преступления, не могло отразиться столько страха. Это заставило меня призадуматься над тем, не происходила ли его боязливость от непривычки к людскому обществу, не пройдет ли она после небольшого опыта и не станет ли мой дядя совсем другим человеком. От этих мыслей меня пробудил его резкий голос.

— Твой отец давно умер? — спросил он.

— Уже три недели, сэр, — отвечал я.

— Александр был скрытный человек, молчаливый человек, — продолжал он. — Он и в молодости мало разговаривал. Он говорил что-нибудь обо мне?

— Пока вы сами мне не сказали, сэр, я и не знал, что у него был брат.

— О господи! — воскликнул Эбenezер. — Верно, он и о Шоосе не говорил?

— Никогда даже не называл его по имени, — сказал я.

— Подумать только! — ответил он. — Станный человек!

Несмотря на это, он казался чрезвычайно довольным: самим ли собою, или мной, или поведением моего отца — этого я не мог угадать. Во всяком случае, у него, должно быть, прошло то чувство отвращения или недоброжелательства, которое он сначала испытывал ко мне, потому что он вдруг вскочил, прошелся по комнате за моей спиной и хлопнул меня по плечу.

— Мы еще отлично поладим! — воскликнул он. — Я положительно рад, что впустил тебя. А теперь пойдем спать.

К моему великому удивлению, он не зажег ни лампы, ни свечи, а ощупью вошел в темный проход; ощупью, тяжело дыша, поднялся на несколько ступенек, остановился перед какой-то дверью и отомкнул ее. Я спотыкался, стараясь следовать за ним по пятам, и теперь стоял рядом. Он предложил мне войти, так как это и была моя комната. Я послушался, но, сделав несколько шагов, остановился и попросил свечку.

— Ну, ну, — проговорил дядя Эбenezер, — сегодня чудная лунная ночь.

— Сегодня нет ни луны, ни звезд, сэр, и тьма крошечная, — сказал я. — Я не могу найти постель.

— Ну, ну, — ответил он, — я не люблю, чтобы в доме был свет. Я страшно боюсь пожара. Спокойной ночи, Дэви, мой милый.

И не успел я выразить еще раз свой протест, как он захлопнул дверь, и я услышал, как он запирает меня снаружи. Я не знал, плакать ли мне или смеяться. В комнате было холодно, как в колодеце, а когда я наконец нашел постель, она оказалась мокрой, как торфяное болото. Но я, к счастью, захватил с собой свой узел с вещами и, завернувшись в плед, улегся на полу около большой кровати и быстро заснул.

С первым проблеском дня я открыл глаза и увидел, что нахожусь в большой комнате, обитой тисненой кожей, обставленной дорогой вышитой мебелью и освещаемой тремя прекрасными окнами. Лет десять, а может быть, и двадцать назад нельзя было бы желать более приятной комнаты для сна или пробуждения, но с тех пор сырость, грязь, заброшенность, мыши и пауки сделали свое дело. Кроме того, некоторые оконные рамы были сломаны, но в Шоос-гаузе это было обычным явлением, точно моему дяде приходилось когда-нибудь выдерживать осаду своих возмущенных соседей, может быть, с Дженет Клоустон во главе.

Между тем на дворе светило солнце, а я так замерз в этой печальной комнате, что начал стучать и кричать, пока не пришел мой тюремщик и не выпустил меня. Он повел меня за дом, где был колодец с бадьей, и сказал, что, «если мне нужно, я могу вымыть тут лицо». Я вымылся и добрался как мог до кухни, где он развел огонь и стряпал овсяную кашу. На столе стояли две чашки с двумя роговыми ложками, но все тот же единственный стакан легкого пива. Вероятно, я посмотрел на него с некоторым удивлением, и мой дядя заметил это, потому что, как бы в ответ на мою мысль, он спросил, не хочу ли я выпить эля — так он называл свое пиво.

Я сказал ему, что, хотя у меня есть такая привычка, я не желаю его беспокоить.

— Ну, ну, — сказал он, — я не отказываю тебе в том, что благоразумно.

Он снял с полки другой стакан, но, к моему великому

изумлению, вместо того чтобы нацедить еще пива, перелил ровно половину из первого стакана во второй. В этом было какое-то благородство, от которого у меня захватило дух. Хотя мой дядя бесспорно был скрягой, но принадлежал к той высшей породе скупцов, которые могут заставить уважать свой порок.

Когда мы кончили завтрак, мой дядя открыл сундук и вынул из него глиняную трубку и пачку табаку, от которой отрезал ровно столько, чтобы набить себе трубку, а остальное запер снова. Затем он уселся на солнце у одного из окон и стал молча курить. Время от времени глаза его останавливались на мне, и он выпаливал какой-нибудь вопрос. Раз он спросил:

— А твоя мать?

И когда я сказал, что и она также умерла, он прибавил:

— Красивая была девушка!

Потом опять после длинной паузы:

— А кто такие твои друзья?

Я сказал ему, что то были различные джентльмены, носящие фамилию Кемпбелл, хотя на самом деле только один из них, а именно священник, когда-либо обращал на меня внимание. Но я начинал думать, что дядя слишком легко относится к моему общественному положению, и желал доказать ему, что хотя я с ним теперь наедине, но у меня есть защитники.

Он, казалось, раздумывал о моих словах.

— Дэви,— сказал он потом,— ты хорошо сделал, что пришел к своему дяде Эбenezеру. Я высоко ставлю нашу фамильную честь и исполню свой долг относительно тебя, но пока я обдумываю, куда бы лучше тебя пристроить: сделать ли тебя дипломатом, или юристом, или, может быть, военным, что молодежь любит более всего. Я не хотел бы, чтобы Бальфур унижался перед северными Кемпбеллами, и потому прошу тебя держать язык за зубами. Чтобы не было никаких писем, никаких посланий, ни слова никому, иначе — вот дверь.

— Дядя Эбenezер,— отвечал я,— у меня нет основания предполагать, что вы желаете мне дурное. Но, несмотря на то, я желал бы убедить вас, что и у меня есть самолюбие. Я отыскал вас не по своей воле. И если вы еще раз укажете мне на дверь, я поймаю вас на слове.

Он казался сильно смущенным.

— Ну, ну,— сказал он,— нельзя же так, мой милый, нельзя. Потерпи день или два. Я не колдун, чтобы найти тебе карьеру на дне суповой миски. Но дай мне день или два и не говори никому ни слова, и, честное слово, я исполню свой долг относительно тебя.

— Хорошо,— сказал я,— этого довольно. Если вы хотите помочь мне, то я, без сомнения, буду очень рад и очень вам благодарен.

Мне стало казаться (немного преждевременно), что я взял верх над моим дядей, и я заявил, что надо проветрить кровать и постельное белье и просушить их на солнце, потому что я ни за что не стану спать в таком неприятном месте.

— Кто здесь хозяин, ты или я? — закричал он своим пронзительным голосом, но вдруг сразу осекся.— Ну, ну,— прибавил он,— я не то хотел сказать. Что мое, то и твое, Дэви, а что твое, то и мое. Ведь кровь не вода, и на свете только мы двое носим имя Бальфуров.

И он начал бессвязно рассказывать о нашей семье и ее былом величии, о своем отце, начавшем перестраивать дом, о себе, о том, как он остановил перестройку, считая ее преступной растратой денег. Это навело меня на мысль передать ему проклятия Дженет Клоустон.

— Ах негодяйка! — заворчал он.— Тысячу двести девятнадцать — это значит каждый день с тех пор, как я продал ее имущество. Я бы хотел видеть ее поджаренной на горячих углях, прежде чем это случится! Ведьма, настоящая ведьма! Я пойду переговорить с секретарем суда.

С этими словами он открыл сундук и вынул из него очень старый, но хорошо сохранившийся синий кафтан, жилет и довольно хорошую кастановую шляпу — все это без галунов. Он кое-как напялил это на себя и, взяв из шкафа палку, опять запер все на ключ и собрался уже уходить, как вдруг новая мысль остановила его.

— Я не могу оставить тебя одного в доме,— сказал он.— Мне придется запереть дверь и тебя не впускать. Кровь прилила мне к лицу.

— Если вы выгоните меня из дому, то уже больше меня не увидите,— сказал я.

Он страшно побледнел и пососал губы.

— Это плохой способ,— сказал он, злобно глядя в угол,— это плохой способ добиться моего расположения, Давид.

— Сэр,— сказал я,— хотя я и питаю подобающее уважение к вашим летам и нашему роду, но мало ценю ваше расположение: меня учили уважать себя, и, если бы вы были десять раз моим единственным дядей и моей единственной семьей, я все-таки не стал бы покупать ваше расположение такую ценой.

Дядя Эбенезер подошел к окну и некоторое время глядел в него. Я видел, как он трясся и корчился, словно в судороге. Но когда он обернулся, на лице его играла улыбка.

— Ну хорошо,— сказал он,— надо терпеть и щадить. Я не уйду, и довольно об этом.

— Дядя,— сказал я,— я ничего не понимаю. Вы обращаетесь со мной, как с воришкой. Вам неприятно, что я в этом доме, вы даете мне понять это ежеминутно и на каждом слове. Невозможно, чтобы вы смогли полюбить меня. Я, с своей стороны, говорил с вами так, как ни с кем никогда не говорил. Зачем же вы хотите удержать меня? Отпустите меня обратно к моим друзьям, которые любят меня!

— Ну, ну, ну,— сказал он серьезно.— Я тебя очень люблю, мы еще отлично поладим, и честь дома не позволяет мне отпустить тебя туда, откуда ты пришел. Поживи здесь спокойно, будь умником, побудь некоторое время со мной, и ты увидишь, что мы поладим.

— Хорошо, сэр,— сказал я, подумав,— я немного поживу здесь. Конечно, справедливее получить помощь от родственника, чем от чужих, и если мы не поладим, то, надеюсь, что не по моей вине.

IV. Я подвергаюсь большой опасности в Шоос-гаузе

День, начавшийся так дурно, прошел, сверх ожидания, довольно хорошо. В двенадцать часов мы опять ели холодную овсяную кашу, а вечером горячую; овсяная каша и легкое пиво составляли весь стол моего дяди. Он разговаривал мало и, так же как и прежде, после долгого

молчания выпаливал свои вопросы, а когда я попытался навести его на разговор о моем будущем, он снова увернулся. В комнате рядом с кухней, куда он позволил мне пройти, я нашел множество латинских и английских книг, чтением которых я с большим удовольствием занялся до вечера. Время прошло так незаметно в этом приятном обществе, что я почти примирился с моим пребыванием в Шоос-гаузе, и только вид моего дяди и глаза его, как бы игравшие в прятки с моими глазами, вызывали во мне недоверие.

Я открыл нечто, возбуждавшее во мне сомнения. Это была надпись на первой страничке дешевой народной книги (Патрика и Уоркера), сделанная, очевидно, рукой моего отца и гласившая: «Моему брату Эбenezеру в пятую годовщину его рождения». Меня сбило с толку вот что: мой отец был младшим сыном в семье, стало быть, он совершил странную ошибку или же, не достигнув еще и пяти лет, уже писал превосходным, четким почерком.

Я старался выкинуть это из головы, но хотя я затем просмотрел много интересных книг, старых и новых, исторических, стихи и романы, мысль о почерке моего отца не покидала меня. И когда я наконец вернулся в кухню и снова уселся за кашу и пиво, я первым делом спросил дядю Эбenezера, был ли мой отец очень способен к учению.

— Александр? Нет,— отвечал он.— Я был гораздо способнее: я в детстве был умным мальчиком и научился читать одновременно с ним.

Это озадачило меня еще больше; мне пришло на мысль, не были ли они близнецами, и я спросил его об этом.

Он вскочил со стула, и роговая ложка выпала из его рук на пол.

— Зачем ты это спрашиваешь? — спросил он, схватив меня за плечо и глядя мне прямо в лицо; а глаза его, небольшие, светлые и блестящие, как у птицы, как-то странно мигали и шурились.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я спокойно. Я был значительно сильнее его, и меня нелегко было испугать.— Оставьте мою куртку. Так нельзя обращаться с людьми.

Мне показалось, что дядя мой сделал над собой большое усилие.

— Слушай, Давид,— сказал он,— ты не должен говорить со мной о твоём отце. В этом все дело.— Некоторое время он сидел неподвижно, но весь дрожа и не сводя немигающего взгляда с тарелки.— У меня, кроме него, не было братьев,— прибавил он, но совершенно бесчувственным голосом; затем взял ложку и принялся за ужин, все еще не переставая дрожать.

Все его поведение — то, что он поднял на меня руку, а потом неожиданно признался в любви к моему отцу — было выше моего понимания и возбудило во мне одновременно и страх и надежду. С одной стороны, я начинал думать, что мой дядя, пожалуй, сумасшедший и может быть опасен. С другой стороны (совершенно произвольно), в уме моем стала слагаться история наподобие слышанных мною когда-то народных баллад о бедном юноше, законном наследнике, и о злом родственнике, старавшемся отнять у него то, что ему принадлежало по праву. Если бы мой дядя в глубине души не имел причины бояться меня, то зачем ему было играть комедию с пришедшим к нему бедным, почти нищим родственником?

Хотя я не признавался себе в этой мысли, она тем не менее прочно засела в моей голове, и я, по примеру дяди, стал украдкой следить за ним. Так мы сидели за столом, как кошка с мышью, пристально наблюдая друг за другом. Он больше не говорил мне ни слова, но что-то усердно соображал. И чем дольше я наблюдал за ним, тем мне становилось яснее, что он замышляет что-то враждебное мне.

Убрав посуду, он достал табак на одну трубку; так же как и утром, повернул стул к очагу и курил некоторое время, сидя спиной ко мне.

— Дэви,— сказал он наконец,— я вот о чем думаю...— Он остановился и еще раз повторил свои слова.— У меня есть немного денег, почти обещанных тебе еще до твоего рождения,— продолжал он,— я обещал их твоему отцу. О, без всяких формальностей, понимаешь, просто в разговоре за стаканом вина. Ну вот, я эти деньги держал отдельно — это было очень невыгодно, но что делать: обещал так обещал, и теперь эта сумма возросла ровно

до...— тут он запнулся,— ровно до сорока фунтов! — Он произнес эти слова, взглядывая на меня через плечо, и потом почти с воплем прибавил: — Шотландскими деньгами!

Так как шотландский фунт равняется английскому шиллингу, то разница от этой оговорки получилась значительная. Кроме того, я видел, что вся эта история была ложью, выдуманною с какой-то целью, которую я затруднялся угадать. Поэтому я не пытался скрыть усмешку в голосе, ответив ему:

— О, припомните хорошенько, сэр! Вероятно, сорока фунтов стерлингов!¹

— Я это и хотел сказать,— отвечал дядя,— сорока фунтов стерлингов! И если ты на минутку выйдешь за дверь посмотреть, что делается на дворе, я достану их и позову тебя обратно.

Я исполнил его желание, презрительно улыбаясь его уверенности, что меня так легко обмануть. Ночь была темная, и только несколько звезд светило над горизонтом, и в то время, как я стоял за дверью, я услышал глухой стон ветра между холмами. Я подумал, что в воздухе чувствуется приближение грозы и перемена погоды, но не предполагал, что еще до наступления ночи это будет иметь для меня огромное значение.

Позвав меня обратно, дядя отсчитал тридцать семь золотых гиней²; остальные деньги, в мелких золотых и серебряных монетах, он держал в руках, но в последнюю минуту пожалел расстаться с ними и сунул их в карман.

— Ну вот,— сказал он,— ты видишь теперь! Я чудак и странно веду себя с чужими, но слово свое держу, и вот тебе доказательство.

Я считал своего дядю таким скупым, что онемел от его неожиданного великодушия и не мог найти слов, чтобы ему выразить свою благодарность.

— Ни слова! — сказал он.— Без благодарности, мне благодарности не надо. Я исполняю свой долг. Конечно, не всякий бы сделал это, но мне доставляет удоволь-

¹ Один фунт стерлингов содержит 20 шиллингов.

² Гинея — старинная английская золотая монета, содержавшая 21 шиллинг (теперь гиней уже не чеканят, но иногда еще применяют в качестве единицы денежного счета).

ствие, хотя я и осторожный человек, отдать должное сыну моего брата. Мне приятно думать, что теперь мы поладим, как подобает таким близким людям.

Я отвечал ему со всей возможной учтивостью, но все время недоумевал, что будет дальше и почему он растался со своими драгоценными гинеями: ведь даже ребенок не поверил бы его объяснениям.

Вслед за тем он опять искоса взглянул на меня.

— А теперь,— сказал он,— услуга за услугу.

Я отвечал, что готов доказать ему свою благодарность в разумной степени, и стал ждать какого-нибудь чудовищного требования. Однако, когда он, наконец, решился заговорить, то сказал только — и очень здраво, — что стареет и слабеет и надеется, что я помогу ему управляться в доме и в садике.

Я отвечал, что готов служить ему.

— Хорошо,— сказал он,— так начнем сейчас же.— Он вытащил из кармана заржавевший ключ.— Вот,— сказал он,— ключ от башни с винтовой лестницей, расположенной в конце дома. Войти в нее можно только снаружи, потому что та часть дома не достроена. Войди в башню, поднимись по лестнице и принеси мне ящик, находящийся наверху. В нем бумаги,— добавил он.

— Можно взять свечу? — спросил я.

— Нет,— ответил он с хитрым видом,— в моем доме нельзя зажигать огня.

— Прекрасно, сэр,— согласился я.— Лестница хорошая?

— Отличная лестница,— сказал он и, видя, что я ухожу, добавил: — Держись за стену, перил там нет. Но ступеньки очень удобны.

Я вышел в темноту. Ветер стонал где-то далеко, но около дома его не чувствовалось. Было страшно темно, и я был рад, что мог идти вдоль стены до самой двери башни на краю незаконченного флигеля. Я всунул ключ в замочную скважину и едва успел повернуть его, как вдруг, без всякого ветра или грома, все небо осветилось сильной молнией и затем снова потемнело. Мне пришлось закрыть глаза рукой, чтобы опять привыкнуть к темноте, и, войдя в башню, я был еще наполовину ослеплен.

Внутри стоял такой густой мрак, что я ничего не видел, но при первом же шаге натолкнулся рукой на стену,

а ногой попал на нижнюю ступеньку лестницы. Стена на ощупь оказалась сложенной из хорошего тесаного камня; ступеньки были хотя немного круты и узки, но тоже из полированного камня — ровные и прочные. Памятуя слова моего дяди об отсутствии перил, я держался за стену и с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу в крошечной тьме.

Шоос-гауз был вышиной около пяти этажей, не считая чердаков. Но по мере того как я поднимался, мне казалось, что в башню проникает воздух и что становится чуть-чуть светлее. Я не мог понять причины этой перемены, как вдруг опять блеснула и пропала молния. Я не закричал только потому, что страх сдавил мне горло, и только по милости неба я не упал с лестницы. При блеске молнии я увидел не только многочисленные проломы в стене, так как я словно карабкался вверх по открытым лесам, но и то, что ступени здесь были неравной длины и нога моя в ту минуту была в двух дюймах от пустого пространства.

«Так вот она, эта отличная лестница!» — подумал я. При этой мысли мной овладела злоба, придавшая мне храбрости. Послав меня сюда, дядя подвергнул меня ужасной опасности, быть может, смертельной. Я поклялся, что выясню это «быть может», хотя бы мне для этого пришлось сломать себе шею. Я опустился на четвереньки и медленно, как улитка, продолжал подниматься по лестнице, ощупывая впереди каждый дюйм пространства и испытывая прочность каждого камня. От контраста с молнией темнота, казалось, удвоилась, но это было не все: странный шум, производимый летучими мышами в верхней части башни, оглушал меня и сбивал с толку; кроме того, слетая вниз, эти отвратительные животные иногда задевали меня по лицу или по спине.

Надо сказать, что башня была четырехугольная. В каждом углу для соединения маршей вместо забежной площадки лежало по большому камню различной формы. Я на ощупь добрался до одного из этих поворотов, как вдруг рука моя, соскользнув с угла, очутилась в пустом пространстве: лестница дальше не шла. Хотя я благодаря молнии и своей осторожности остался жив и невредим, но при одной мысли о грозившей мне гибели и о страшной высоте, с которой я мог упасть, холодный



При блеске молнии я увидел, что ступени здесь были неравной
длины...

пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал слабость во всем теле.

Узнав теперь все, что я желал знать, я повернул обратно и ошупью стал спускаться, затаив в сердце страшную злобу. Когда я спустился до половины, ветер с шумом налетел, потрясая башню, и снова стих. Затем пошел дождь, и, прежде чем я успел добраться до низа, он уже лил как из ведра. Я выставил голову наружу и взглянул в сторону кухни. Дверь, которую, уходя, я закрыл за собой, теперь была открыта, и оттуда шел слабый луч света. Мне показалось, что я вижу какую-то фигуру, которая неподвижно стояла под дождем, точно прислушиваясь. Затем сверкнула ослепительная молния и осветила дядю, стоявшего на том самом месте, где я предполагал его видеть. И тотчас последовал сильный раскат грома.

Принял ли мой дядя раскат грома за шум моего падения или он услышал в нем глас божий, возвещавший о совершившемся преступлении, об этом я предоставляю вам догадаться самим.

Во всяком случае, достоверно то, что его охватил панический ужас, и он вбежал в дом, оставив дверь открытой. Я последовал за ним как мог осторожнее, вошел неслышно в кухню и стал наблюдать.

Он уже успел открыть угловой шкаф, вынул оттуда большой графин с водкой и теперь сидел за столом спиной ко мне. Время от времени у него делались приступы сильной дрожи, он громко стонал и, поднося графин ко рту, большими глотками пил неразбавленный спирт.

Я подошел к нему сзади и, внезапно ударив его по плечу, закричал:

— А!

Дядя испустил слабый крик, похожий на блеяние овцы, уронил руки и упал замертво. Это меня немного смутило. Но надо было прежде всего позаботиться о себе, и я, не колеблясь, оставил его лежать на полу. Ключи висели в шкафу, и я намеревался застаться оружием, прежде чем дядя придет в чувство и приобретет снова способность замышлять зло. В шкафу было несколько бутылок, некоторые, по-видимому, с лекарством, затем много счетов и всякого рода бумаг, которые я бы охотно перерыл, будь у меня время, и другие предметы, ненужные мне

в эту минуту. Я принялся за сундуки: первый был наполнен мукой, второй — мешками с деньгами и бумагами, связанными пачками; в третьем я между прочими вещами нашел заржавевший, безобразный на вид шотландский кинжал без ножен. Я засунул его себе за жилет и вернулся к дяде.

Он по-прежнему лежал там, где упал, скорчившись, с вытянутой рукой и ногой; лицо его посинело, и казалось, он перестал дышать. Я испугался, не умер ли он, принес воды и стал брызгать ему в лицо. Он начал приходить немного в себя, шевелить губами и хлопать веками. Наконец он увидел меня, и в глазах его появилось выражение смертельного страха.

— Ну,— сказал я,— попробуйте сесть.

— Ты жив? — всхлипнул он.— Скажи, жив ли ты?

— Да, я жив,— отвечал я.— Не вам за это спасибо.

Он стал тяжело дышать.

— Синий пузырек...— сказал он.— В шкафу синий пузырек.— Дыхание его все замедлялось.

Я подбежал к шкафу и нашел там синий пузырек с лекарством. Доза была обозначена на ярлыке, и я, насколько мог скорее, дал ему выпить.

— Это все из-за сердца, Дэви: ведь у меня прескверное сердце,— сказал он, придя немного в себя.

Я посадил его на стул и взглянул на него. Правда, мне было немного жалко такого больного человека, но во мне кипел справедливый гнев. Я задал ему несколько вопросов, на которые желал получить ответ: зачем он мне лгал на каждом слове? Отчего он боялся, чтобы я не ушел от него? Отчего он не переносил намека на то, что он и мой отец были близнецами? Оттого ли, что это правда? Зачем он дал мне деньги, которые, наверное, я не имел права требовать? И, наконец, зачем он пытался погубить меня? Он слушал молча, потом разбитым голосом попросил меня позволить ему лечь в постель.

— Я завтра расскажу тебе все,— сказал он,— ей-богу, расскажу.

Он был так слаб, что я не мог не выполнить его просьбу, однако запер его в комнате и спрятал ключ в карман. Затем, вернувшись на кухню, развел такой огонь, какого здесь, вероятно, не бывало уже много лет, закутался в плед, улегся на сундуках и заснул.

V. Я иду в Куинзферри

Ночью шел сильный дождь, а на другой день дул резкий северо-западный ветер, гнавший рассеянные облака. Несмотря на это, я до восхода солнца, пока еще не исчезли последние звезды, пошел на берег быстрого глубокого ручья и искупался. Тело мое еще горело от купания, когда я снова уселся у очага и, подбросив дров, начал серьезно раздумывать о своем положении.

Теперь не было никакого сомнения, что дядя мне враг. Не было сомнения, что я сам должен оберегать свою жизнь, а он сделает все возможное, чтобы погубить меня. Но я был молод, отважен и, как большинство молодых людей, воспитанных в деревне, очень много воображал о своей проницательности. Я пришел в его дом почти нищим и едва выйдя из детского возраста; он встретил меня предательством и насилием. Хорошо было бы прибрать его к рукам и управлять им, как стадом овец.

Я обхватил колено руками и, улыбаясь, смотрел в огонь. Воображение рисовало мне, как я мало-помалу открываю одну за другой тайны моего дяди и становлюсь его повелителем. Говорят, что иссендинский колдун смастерил зеркало, в котором можно было читать будущее. Оно, должно быть, было сделано не из горящих углей, потому что среди образов и картин, рисовавшихся мне, не было ни корабля, ни моряка в мохнатой шапке, ни дубины для моей глупой головы, ни малейшего намека на те напасти, которые вскоре обрушились на меня.

Теперь же я, очень довольный собой, пошел наверх и освободил своего пленника. Он учтиво пожелал мне доброго утра, и я ответил ему тем же, улыбаясь с высоты своего величия. Вскоре мы сидели за завтраком так же, как накануне.

— Ну, сэр,— сказал я язвительным тоном,— что вы имеете мне сказать? — Не получив членораздельного ответа, я продолжал: — Я думаю, что нам пора понять друг друга. Вы принимали меня за деревенского простофилю, у которого ума и храбрости не больше, чем у деревяшки. Я считал, что вы хороший человек или, во всяком случае, не хуже других. Оказывается, что мы оба

ошиблись. Что вас заставило бояться меня, обманывать меня, покушаться на мою жизнь?

Он пробормотал что-то про шутку и что он любит посмеяться. Затем, видя, что я улыбаюсь, переменял тон и стал уверять, что он все объяснит мне после завтрака. Я видел по его лицу, что он хотя и старался, но не успел еще придумать новой лжи, и хотел сказать ему это, когда нас прервал стук в дверь.

Приказав моему дяде оставаться на месте, я отворил дверь и заметил на пороге подростка в матросском костюме. Едва он увидел меня, как начал, прищелкивая пальцами и притопывая в такт, выплясывать матросский танец, о котором я до сих пор не имел никакого представления. При этом он посинел от холода, и в его лице было какое-то жалкое выражение, нечто среднее между смехом и слезами, плохо вязавшееся с его веселыми манерами.

— Что хорошего, браток? — спросил он хриплым голосом.

Я степенно осведомился, по какому делу он пришел.

— Дело? — переспросил он. — Мое дело — забава, — и начал петь:

В этом мое наслаждение в светлую ночь,
В лучшее время года.

— Хорошо, — сказал я, — если у тебя нет никакого дела, я буду так невежлив, что запру перед тобою дверь.

— Подождите! — закричал он. — Неужели вы не любите пошутить? Или вы хотите, чтобы меня поколотили? Я принес письмо от старого Хизи-ози господину Бальфуру. — При этих словах он показал мне письмо. — А затем, браток, — прибавил он, — я смертельно проголодался.

— Хорошо, — сказал я, — войди в дом, и я отдам тебе свой завтрак.

С этими словами я провел его в дом и усадил на свое место. Он с жадностью накинулся на остатки завтрака, время от времени кивая мне и делая всевозможные гримасы: бедняжка, очевидно, считал это очень благородным обращением. Тем временем мой дядя успел прочесть письмо и сидел задумавшись; потом вдруг встал и

с живостью потащил меня в самый отдаленный угол комнаты.

— Прочти это,—сказал он и сунул мне в руки письмо. Оно и теперь лежит передо мной.

Гостиница «В боярышнике», Куинзферри.

Сэр, я стою здесь на якоре и посылаю своего юнгу уведомить вас об этом. Если вы имеете что-либо заказать за морем, то завтра представится последний случай, так как ветер будет благоприятствовать нашему выходу из залива. Не скрою от вас, что у меня были неприятности с вашим поверенным, м-ром Ранкэйлором; и если дело не будет быстро приведено в порядок, то вас могут ожидать некоторые убытки. Я выписал вам счет, согласно записей в книге, и остаюсь вашим покорным слугой.

Элиасом Хозизеном.

— Видишь ли, Дэви,—объяснил мне дядя, как только я прочел письмо,— у меня есть дела с этим Хозизеном, капитаном торгового судна «Конвент» из Дайзерта. Если бы мы оба пошли теперь с этим мальчишкой, мы могли бы повидаться с капитаном или в гостинице, или, если понадобится подписать какие-нибудь бумаги, на самом «Конвенте». А чтобы не терять времени, мы можем пойти к стряпчему, мистеру Ранкэйлору. После того, что случилось, ты не захочешь верить мне на слово, но ты можешь поверить Ранкэйлору. Это старый и весьма уважаемый человек, поверенный доброй половины здешних дворян. Он знал и твоего отца.

Я некоторое время размышлял. Меня хотели повести в порт, где, без сомнения, много народу и мой дядя не сможет причинить мне ничего дурного. Кроме того, меня предохраняло и присутствие юнги. Раз мы будем там, я сумею настоять на визите к стряпчему, даже если мой дядя теперь и неискренне предлагает это. А может быть, мне просто хотелось в глубине души увидеть вблизи море и корабли,— вы должны помнить, что я всю жизнь провел среди холмов внутри страны и только два дня назад в первый раз увидел залив, расстилавшийся предо мной, как синяя пелена, по которой двигались парусные

суда, казавшиеся игрушечными. Все это вместе заставило меня согласиться.

— Отлично,— сказал я,— пойдем в Куинзферри.

Мой дядя надел шляпу, кафтан и пристегнул к нему старый заржавевший кинжал. Затем мы потушили огонь, заперли дверь на замок и отправились в путь.

Холодный северо-западный ветер дул нам почти прямо в лицо. Был июнь. Трава пестрела маргаритками, деревья были в цвету, но, судя по нашим посиневшим ногтям и боли в руках, можно было подумать, что теперь зима и все осыпано снегом.

Дядя Эбенезер плелся по дороге, качаясь из стороны в сторону, как старый пахарь, возвращающийся с работы. За всю дорогу он не сказал ни слова, и мне оставалось только разговаривать с юнгой. Мальчик рассказал мне, что зовут его Рэнсом, что он плавает с девятилетнего возраста, а теперь уже потерял счет своим годам. Несмотря на сильный встречный ветер и на мои увещевания, он обнажил свою грудь, чтобы показать мне татуировку. Он чудовищно ругался, сквернословил по любому поводу, но делал это скорее как глупый школьник, чем взрослый человек, и бахвалился разными дикими и дурными поступками, которые будто бы совершил — тайными кражами, ложными обвинениями, даже убийством,— но все это сопровождалось такими неправдоподобными подробностями и такой дурацкой болтовней, что слова его внушали скорее жалость, чем доверие.

Я спросил его про бриг (он объявил, что это лучшее судно, которое когда-либо плавало) и про капитана Хозизена, которого он также горячо расхваливал. Хози-ози (так он продолжал называть шкипера) был, по его словам, человек, которому все нипочем, как на земле, так и на небе: человек, который не побойлся и Страшного суда,— грубый, вспыльчивый, бессовестный и жестокий. И этими качествами бедный юнга привык восхищаться, как чем-то присущим мужчине. Он видел только одно пятно на своем кумире: Хози-ози не моряк, говорил он, и бригом управляет его помощник, мистер Шуэн, который был бы лучшим моряком в торговом флоте, если бы не пил.

— Я в этом уверен,— прибавил он.— Посмотрите-ка,— и отвернул чулок: он показал мне большую откры-

тую рану, при виде которой кровь похолодела у меня в жилах.— Это он сделал, это сделал мистер Шуэн,— сказал он с гордостью.

— Как,— воскликнул я,— и ты позволяешь ему так бесчеловечно обращаться с тобой! Ведь ты не раб, чтобы терпеть такое обращение.

— Нет,— сказал дурачок, сразу меняя тон,— и я ему докажу это! Посмотрите.— И он показал мне большой нож, который, как он говорил, где-то украл.— О! — продолжал он.— Пускай попробует! Я ему задам! Мне не впервой! — И он подкрепил свои слова глупой, безобразной божбой.

Я никогда никого так не жалел, как этого полоумного мальчугана, и мне стало представляться, что бриг «Конвент» немногим лучше плавучего ада.

— Разве у тебя нет родственников? — спросил я.

Он отвечал, что у него был отец в каком-то английском порту, название которого я забыл.

— Он был хороший человек,— сказал он,— но он умер.

— Боже мой! — воскликнул я.— Но разве ты не можешь найти себе честное занятие на суше?

— О нет! — сказал он, хитро подмигивая.— Меня бы отдали в ремесло. Знаю я эту штуку.

Я спросил, какое ремесло хуже того, которым он теперь занимается, подвергая свою жизнь постоянной опасности не только из-за ветра и моря, но и из-за ужасной жестокости его начальников. Он согласился со мной, сказав, что все это правда, но потом начал расхваливать свою жизнь, рассказывая, как приятно высаживаться на берег с деньгами в кармане и тратить их, как подобает мужчине,— покупать яблоки, хвастаться и удивлять уличных мальчишек.

— И потом, мне вовсе уж не так плохо,— уверял он,— другим «двадцатифунтовым» приходится еще хуже. Боже мой, вы бы посмотрели, как им тяжело! Я видел человека ваших лет — ему я казался старым — о, у него была борода! Ну, и как только мы выехали из реки и он протрезвел, боже мой, как он стал реветь! Уж и посмеялся я над ним! А потом еще малыши — они маленькие даже по сравнению со мной! Я держу их в строгости, уверяю вас. Когда мы возим ребят, у меня есть своя плетка стегать их!

И он продолжал в том же роде, пока я не догадался, что под «двадцатифунтовыми» он подразумевал несчастных преступников, которых отправляли в Северную Америку в рабство, или еще более несчастных детей, которых похищали или заманивали обманом (как о том рассказывали) ради выгоды или из мести.

В это время мы подошли к вершине холма и взглянули вниз на Куинзферри и долину. Фортский залив, как известно, в этом месте суживается до ширины большой реки, которая, направляясь к северу, представляет удобное место для перевоза, а верхняя излучина ее образует закрытую гавань для всякого рода судов. Как раз посреди узкой части гавани находится островок, а на нем — развалины; на южном берегу для удобностей перевоза был устроен мол, а на дороге по другую сторону мола высилось здание гостиницы «В боярышнике», окруженное живописным садиком с боярышником и остролистами.

Самый город Куинзферри лежит дальше к западу, и вокруг гостиницы в это время дня было довольно пусто, так как паром с пассажирами только что отплыл к северу. Однако около мола покачивалась лодка с несколькими матросами, которые спали на скамейках. По словам Рэнсома, это была шлюпка с брига, ожидавшая капитана, а на расстоянии полумили от нее одиноко стоял на якоре «Конвент». На борту его были заметны приготовления к отплытию: реи водворялись на места; и, так как ветер дул с той стороны, я мог слышать пение матросов, тащивших канаты. После того, что я узнал дорогой, я смотрел на этот корабль с крайним отвращением и до глубины души жалел несчастных, которые должны были плыть на нем.

Когда мы все трое поднялись на вершину холма, я обратился к дяде.

— Считаю нужным заявить вам, сэр,— сказал я,— что меня ничто не заставит взойти на борт «Конвента».

Он как будто пробудился от сна.

— Э,— спросил он,— что такое?

Я повторил свои слова.

— Хорошо, хорошо,— сказал он,— придется сделать по-твоему. Но что же мы стоим? Здесь страшно холодно, и, если не ошибаюсь, «Конвент» снаряжается в путь.

VI. Что случилось в Куинзферри

Как только мы пришли в гостиницу, Рэнсом поднялся с нами по лестнице в маленькую комнату с кроватью. Угли, пылавшие ярким пламенем в камине, нагрели комнату до температуры обжигательной печи. За столом у камина сидел высокий, смуглый, степенного вида человек и писал. Несмотря на жару, на нем была толстая морская куртка, наглухо застегнутая, и большая мохнатая шапка, надвинутая на уши. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, даже судья при разборе дела, проявлял столько спокойствия и самообладания, как этот капитан.

Он тотчас же встал навстречу Эбenezеру и подал ему свою большую руку.

— Я весьма польщен вашим посещением, мистер Бальфур, — сказал он красивым низким голосом, — и рад, что вы пришли вовремя... Ветер попутный, и скоро начнется отлив. Мы еще до наступления ночи увидим огни на острове Мэй.

— Капитан Хозизен, — отвечал мой дядя, — у вас ужасно жарко в комнате.

— Такова моя привычка, мистер Бальфур, — сказал шкипер. — Я по природе человек холодный, у меня кровь холодная, сэр. Ни мех, ни фланель, ни даже горячий ром, сэр, не могут поднять моей температуры. Такое, сэр, бывает у большинства людей, обожженных, как говорится, жаром тропических морей.

— Да, да, капитан, — отвечал мой дядя, — природы своей не изменишь.

Но случилось так, что эта привычка капитана сыграла большую роль в моих несчастиях. Хотя я и дал себе слово не спускать глаз со своего родственника, но мне не терпелось скорее взглянуть на море, и я так дурно почувствовал себя в душной комнате, что, когда дядя предложил мне спуститься вниз и немного прогуляться, я был настолько глуп, что воспользовался его предложением.

Я ушел, оставив обоих за бутылкой и большой кипой бумаг. Перейдя дорогу против гостиницы, я спустился на берег. При настоящем направлении ветра до берега достигали только маленькие волны, немногим больше, чем бывают на озере. Но здесь росли травы, незнакомые мне: одни зеленые, другие коричневые и длинные, третьи —

покрытые пузырьками, которые трещали в моих руках. И даже так далеко в заливе чувствовался резко соленый, возбуждающий запах морской воды. «Конвент» начинал разворачивать паруса, повисшие на реях... И все это навело меня на мысль о дальних путешествиях и чужих странах.

Я разглядывал и матросов в лодке, высоких и загорелых парней; некоторые были в рубашках, другие в куртках, а иные с цветными платками на шее; у одного торчала из карманов пара пистолетов, у двоих были узловатые палки, и у всех — ножи. Я заговорил с одним из них, выглядевшим не таким отчаянным, как его товарищи, и спросил его, когда отправится бриг. Он ответил, что корабль двинется в путь с отливом, и порадовался тому, что они уйдут из порта, где нет ни трактиров, ни музыкантов; свои слова он сопровождал такой ужасающей бранью, что я поспешил отойти от него.

Я вспомнил о Рэнсоне, который показался мне все-таки лучшим из всей этой шайки. Он вскоре появился и сам и, подбежав ко мне, потребовал стакан пунша. Я сказал, что этого он не получит, потому что оба мы слишком молоды для такого баловства.

— Но я могу предложить тебе стакан эля.

Он начал гримасничать, кривляться и всячески поносить меня, но все-таки с радостью согласился выпить эля. И вскоре мы, усевшись за стол в передней комнате гостиницы, стали есть и пить с большим аппетитом.

Мне пришло на ум, что не мешало бы завести дружбу с хозяином гостиницы, здешним уроженцем, и я пригласил его присоединиться к нам, как водилось в те времена, но он был слишком важен, чтобы сидеть с такими незначительными гостями, как Рэнсом и я. Он уже собирался выйти из комнаты, но я остановил его и спросил, знает ли он мистера Ранкэйлора.

— Конечно, — ответил хозяин, — это весьма почтенный человек. И кстати, — продолжал он, — это вы пришли с Эбенецером?

Когда я сказал ему «да», он спросил:

— Вы не друг ли ему? — подразумевая, по шотландской манере, не родственник ли я ему.

Я отвечал, что нет.

— Я так и думал, — сказал хозяин, — а между тем

у вас во взгляде есть что-то похожее на мистера Александра.

Я заметил, что Эбenezера здесь, кажется, недолюбливают.

— Без сомнения,— отвечал хозяин,— он злой старик, и многие желали бы его видеть в петле, например Джетт Клоустон и все, кого он разорил дотла. А между тем раньше он тоже был славным малым, до того как распространился слух о мистере Александре. С тех пор он стал совсем другим человеком.

— Что это был за слух? — спросил я.

— Да будто он убил его,— сказал хозяин.— Разве вы не слышали?

— Зачем же ему было убивать его? — спросил я.

— Зачем же, как не затем, чтобы получить имение,— сказал он.

— Имение? — спросил я.— Шоос?

— Конечно, какое же другое? — сказал он.

— О,— заметил я,— это правда? Разве мой... разве Александр был старшим сыном?

— Разумеется,— сказал хозяин.— Иначе зачем бы Эбenezеру было убивать его?

С этими словами он ушел, что, впрочем, порывался сделать с самого начала.

Положим, я уже давно об этом догадывался, но одно дело догадываться, а другое — знать наверное. Я сидел пораженный своей удачей и едва мог поверить, что тот самый бедняк, который два дня тому назад шагал по пыли из Эттрикского леса, теперь попал в богачи, что ему принадлежат дом и обширные земли и он мог бы завтра же вступить во владения ими, если бы знал, как приняться за это. Тысячи подобных приятных мыслей толпились в моей голове, пока я сидел у окна гостиницы, не обращая внимания на то, что было у меня перед глазами. Помню только, что взгляд мой остановился на капитане Хозизене, стоявшем на молу и отдававшим какие-то приказания своим матросам. Вскоре он уже шагал обратно по направлению к дому. В нем не замечалось неловкости, свойственной морякам на суше: его высокая красивая фигура была мужественна, а лицо выражало прежнее спокойствие и серьезность. Я спрашивал себя, может ли быть, чтобы Рэнсом говорил правду, и почти не верил

ему, так мало рассказы его соответствовали наружности этого человека. На самом же деле он не был ни таким хорошим, как я предполагал, ни таким дурным, каким считал его Рэнсом: в нем уживались два человека, и лучший из них исчезал, как только капитан вступал на борт своего судна.

Вскоре я услышал, что дядя зовет меня, и нашел их обоих на дороге. Капитан заговорил со мной серьезно, как с равным, что всегда очень лестно для юноши.

— Сэр,— сказал он,— мистер Бальфур очень хвалит вас, да и мне лично вы очень нравитесь. Я бы желал остаться здесь дольше, чтобы мы могли хорошенько познакомиться. Постараемся же воспользоваться тем временем, которое у нас остается. Придите на полчаса ко мне на бриг, до наступления отлива, и мы разопьем вместе бутылочку вина.

Нельзя выразить словами, как мне хотелось посмотреть на внутреннее устройство судна, но я не желал подвергаться опасности и сказал, что условился пойти с дядей к стряпчему.

— Да, да,— сказал Хозизен,— он говорил мне об этом. Но лодка высадит вас на берег у городского мола, а это в двух шагах от дома Ранкэйлора.— Он внезапно нагнулся и шепнул мне на ухо: — Берегитесь старой лисы: он замышляет недоброе. Едемте на корабль, чтобы мне можно было переговорить с вами.— Затем, взяв меня под руку, он продолжал громко, направляясь к лодке: — Что же мне привезти вам из штатов Каролины? Друг мистера Бальфура может приказывать мне. Табак, индейские перья, мех дикого зверя, пенковую трубку, дрозда-пересмешника, который мяукает, точно кошка, или красного, как кровь, американского зяблика? Выбирайте и скажите, что вам угодно.

В это время мы подошли к лодке, и он ввел меня в нее. Я и не пробовал сопротивляться: я думал — безумец! — что нашел доброго друга и помощника, и радовался, что увижу бриг. Как только мы уселись в лодку, ее оттолкнули от мола. Я был так восхищен новизной этого переезда, так заинтересовался видом берегов и брига, выраставшего по мере того, как мы к нему приближались, и тем, что мы сидели так низко над водой, что едва понимал слова капитана и отвечал ему наобум.



Как только мы подошли к борту брига (я сидел разинув рот, изумленный вышиной судна, шумом волн, ударявшихся о его борта, и оживленными возгласами матросов за работой), Хозизен объявил, что мы оба должны первыми взойти на корабль, и приказал спустить с грот-рея тали. Меня поспешно подняли на воздух и опустили на палубу, где капитан уже дожидался и сейчас же снова взял меня под руку. Так я стоял некоторое время, чувствуя небольшое головокружение, может быть, даже некоторый страх оттого, что все вокруг колебалось. Но все-таки мне нравились все эти новые для меня предметы; капитан обращал мое внимание на самые причудливые из них, называл их и рассказывал, для чего они предназначены.

— А где же дядя? — вдруг спросил я.

— Да,— сказал Хозизен, принимая вдруг свирепый вид,— в этом-то и вопрос.

Я понял, что погиб. Собрав все силы, я вырвался от него и подбежал к борту. Увидев лодку, направлявшуюся

ся к городу, и дядю, сидевшего на корме, я испустил пронзительный крик: «Помогите, помогите, убивают!», огласивший обе стороны гавани. Дядя мой повернулся на своем месте, и я встретил его искаженный злобой и ужасом взгляд.

Это было последнее, что я заметил. Сильные руки оттащили меня от борта. И вдруг точно ударила молния... Я увидел вспышку света и упал без чувств.

VII. Я ухожу в море на „Конвенте“ из Дайзерта

Я пришел в себя в темноте и почувствовал сильную боль во всем теле; руки и ноги мои были связаны, и множество незнакомых звуков оглушало меня. Слышался рев воды, точно у громадной мельничной плотины, раздавались тяжелые удары волн, страшный шум парусов и резкие крики матросов. Все кругом то поднималось с головокружительной быстротой, то так же быстро опускалось, а я сам был так разбит и чувствовал себя так плохо, что не мог отдать себе ясного отчета в своем положении. Мысли в беспорядке толпились в моем мозгу, пока я наконец не догадался, что лежу связанный где-то внутри этого злосчастного брига и что ветер, должно быть, усилился и начался шторм. Вместе с сознанием своего положения мною овладело мрачное отчаяние, раскаяние в своем безрассудстве и безумный гнев на моего дядю... И я еще раз лишился чувств.

Когда я снова пришел в себя, тот же рев, те же беспорядочные и сильные толчки продолжали оглушать и трясти меня. Но к моим страданиям присоединилась еще болезнь непривычного к морю человека. В дни моей юности, полной приключений, я перенес много испытаний, но ни одно из них не было так ужасно для души и тела, не было так безотраднo, как мои первые часы на бриге.

Я услышал пушечный выстрел и подумал, что, вероятно, мы не можем справиться со штормом и подаем сигналы о помощи. Мысль об освобождении, хотя бы ценой смерти в глубине океана, обрадовала меня. Но я ошибся. Мне после сказали, что то было всегдашнее обыкновение капитана, и я рассказываю об этом, желая показать, что и худшие из людей имеют свои хорошие стороны. Оказа-

лось, что мы проходили тогда в нескольких милях от Дайзерта, где был выстроен бриг и где несколько лет назад поселилась старая миссис Хозизен, мать капитана. И куда бы ни направлялся «Конвент», домой или в плавание, он никогда не проходил днем мимо этого места, не салютовав из пушки и не вывесив флага.

Я потерял счет времени: день не отличался от ночи в той вонючей конуре внутри корабля, где я лежал, а часы тянулись вдвое дольше обычного, потому что положение мое было безнадежно. У меня нет возможности вычислить, сколько времени я лежал, ожидая, что корабль разобьется в щепки о какой-нибудь утес или погрузится носом вперед в глубину океана. Но сон под конец лишил меня сознания моего несчастья.

Меня разбудил свет ручного фонаря, направленного мне в лицо. Небольшого роста человек, лет тридцати, с зелеными глазами и спутанными волосами, смотрел на меня.

— Ну,— спросил он,— как дела?

Я ответил ему рыданием. Он пощупал у меня пульс и виски, а потом обмыл и перевязал рану на моей голове.

— Да,— сказал он,— удар был жестокий. Ничего, ободрись! Еще не настал конец света. Ты неудачно начал, но можешь еще поправиться. Ел ты что-нибудь?

Я сказал, что не могу и смотреть на еду. Тогда он дал мне выпить из жестяной чашки коньяку с водой и оставил меня одного.

Когда он пришел еще раз, то нашел меня в состоянии, среднем между сном и бодрствованием. Глаза мои были широко раскрыты, морская болезнь уже прошла, но оставались страшная слабость и головокружение, которые, пожалуй, были еще мучительнее. Кроме того, у меня по-прежнему болело все тело, а веревки, связывавшие меня, казались мне огненными. Отвратительный воздух конуры, в которой я лежал, казалось, стал частью меня самого. Во время его долгого отсутствия меня терзали то бесцеремонные крысы, которые иногда задевали меня по лицу, то ужасные картины, рисовавшиеся в моем лихорадочном воображении.

Когда подняли трап, свет фонаря показался мне солнечным лучом, упавшим с неба; и хотя он осветил только

крепкие темные стенки корабля, служившего мне тюрьмой, я готов был закричать от радости. Первым спустился ко мне по лестнице человек с зелеными глазами, и я заметил, что он двигался довольно неуверенно. За ним следовал капитан. Оба не произнесли ни слова, но первый стал осматривать меня и опять перевязал мою рану, а капитан бросил на меня какой-то странный, мрачный взгляд.

— Вы сами видите, сэр,— сказал первый,— сильный жар, потеря аппетита, а здесь нет ни света, ни пищи... Вы сами понимаете, что это значит.

— Я не волшебник, мистер Райэч,— сказал капитан.

— Позвольте, сэр,— сказал мистер Райэч,— у вас хорошая голова на плечах, и за словом вы в карман не полезете. Но вам нечего сказать в свое оправдание, и я хочу, чтобы мальчика взяли из этой конуры и перенесли на бак.

— Ваши желания могут остаться при вас,— ответил капитан,— и я скажу вам, что будет. Где он лежит, там и останется.

— Допустим, что вам как следует заплатили,— сказал другой,— но осмелюсь почтительнейше заявить, что я-то ничего не получил. Я получаю, и не слишком много, за то, что исправляю должность помощника капитана этой старой посуды. И вы сами знаете, что я стараюсь не получать даром денег. Больше мне ни за что не платили.

— Если бы вы только воздерживались от фляжки, мистер Райэч, я не имел бы основания жаловаться на вас,— отвечал шкипер,— но, вместо того чтобы говорить загадками, я осмелюсь посоветовать вам приберечь свою энергию для более важного случая. Мы можем понадобиться наверху,— прибавил он более резким тоном и занес одну ногу на лестницу.

Мистер Райэч поймал его за рукав.

— Допустим, что вам заплатили за убийство,— начал он.

Хозизен, вспыхнув, повернулся к нему.

— Что такое? — закричал он.— Это что за разговоры?

— Мне кажется, это тот разговор, который вы лучше всего понимаете,— отвечал мистер Райэч, глядя ему прямо в лицо.

— Мистер Райэч, я был с вами в плавании три раза,— отвечал капитан.— За это время, сэр, вам следовало бы узнать меня: я жестокий и непреклонный человек, но то, что вы только что сказали — стыдитесь! — доказывает, что у вас злое сердце и гнусная совесть. Если вы думаете, что мальчишка умрет...

— Умрет! — ответил мистер Райэч.

— Ну, сэр, довольно с вас,— сказал Хозизен.— Тащите его куда хотите.

С этими словами капитан стал подниматься по лестнице. Я лежал молча во время их странного разговора и потом увидел, как мистер Райэч повернулся вслед Хозизену и поклонился ему чуть ли не до земли, очевидно в насмешку. Несмотря на свою болезнь, я заметил, во-первых, что помощник был пьян, как сказал капитан, а во-вторых, что он (в пьяном и трезвом виде) мог быть другом.

Через пять минут веревки на мне были перерезаны, меня подняли на чью-то спину, отнесли на бак и положили на деревянную скамью на кучу одеял. И я тут же лишился чувств.

Какое блаженство открыть глаза при дневном свете и увидеть, что находишься в обществе людей! Каюта на баке была довольно большая; вдоль стен ее тянулись койки, на которых сидели и курили или же спали матросы, свободные от вахты. День был тихий, с теплым ветром, и поэтому люк был открыт. В каюту попадал не только дневной свет, но время от времени, при поворотах корабля, и пыльный солнечный луч, ослеплявший и восхищавший меня. К тому же, как только я пошевелился, один из матросов принес мне какое-то целебное питье, составленное мистером Райэчем, и велел лежать смирно, говоря, что тогда только я скоро поправлюсь.

— У тебя ничего не сломано,— объяснил он,— а рана на голове — пустяки. Это я ударил тебя,— прибавил он.

На баке я пролежал долгие дни под неусыпным надзором и не только поправился, но и познакомился со своими товарищами. Это было сборище грубых людей. Оторванные от всего, что в жизни есть самого лучшего, матросы обречены были вместе качаться на бурных волнах под командой не менее грубого начальства. Одни из них прежде плавали с пиратами и видали дела, о кото-

рых и говорить совестно. Другие сбежали с королевских судов и были приговорены к виселице, чего они ничуть не скрывали, и все они при удобном случае готовы были вступить врукопашную со своими лучшими друзьями. Но после того как я провел с ними несколько дней, мне стало стыдно моего первоначального суждения о них и того, что я поспешил уйти от них на молу в Куинзферри, точно они были нечистые животные. Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои достоинства и недостатки, и мои товарищи по плаванию не были исключением из этого правила. Правда, они отличались грубостью и были, по всей вероятности, дурные люди, но и у них замечались хорошие черты. Иногда они бывали очень добры, наивны, как деревенские парни, похожие на меня, и удивлявшие проблесками своей честности.

Один из них, человек лет сорока, часами просиживал у моей койки, рассказывая мне о своей жене и детях. Он был рыбаком, но лишился лодки, и это заставило его отправиться в открытое море. С тех пор прошло уже много лет, но я не забыл его. Жена — он говорил, что сравнительно с ним она была молода, — напрасно ждала его возвращения: он никогда больше не будет разводить по утрам ей огонь и нянчить ребенка, если она заболит. В действительности, как показало будущее, многие из этих бедняков совершали свое последнее плавание: их поглотило потом море и акулы. А о мертвых не следует говорить дурное... Среди прочих их добрых дел было и то, что они возвратили мне деньги, которые сначала разделили между собой, и, хотя они уменьшились почти на целую треть, я все-таки очень обрадовался им в надежде, что они пригодятся мне в стране, куда я плыл. Бриг направлялся к Каролине, и вы не должны думать, что я ехал туда только в качестве изгнанника. Хотя торговля людьми уже и тогда была значительно ограничена, а с тех пор, после восстания колоний и образования Соединенных Штатов, понятно, совсем пришла к концу, но в дни моей юности белых людей еще продавали в рабство на плантации, и к этой-то участи приговорил меня злой дядя.

Юнга Рэнсом, от которого я впервые узнал обо всех этих ужасах, время от времени выходил из капитанской каюты, где он спал и прислуживал, и то безмолвно по-

казывал на следы нанесенных ему побоев, то проклинал жестокого мистера Шуэна. Сердце мое обливалось кровью при этом, но матросы относились с глубоким почтением к старшему помощнику капитана, который, как они говорили, был «единственным моряком во всей компании и вовсе не дурным человеком, когда бывал трезв». Действительно, я заметил странные особенности у наших обоих помощников: мистер Райэч бывал не в духе, груб и резок в трезвом состоянии, а мистер Шуэн и мухи не мог обидеть, пока не напьется. Я спросил про капитана, но мне сказали, что этот железный человек не меняется от выпивки.

Я старался как можно лучше использовать малое время, имевшееся в моем распоряжении, чтобы сделать из несчастного Рэнсома что-нибудь похожее на человека или, вернее, на мальчика. Но разум его с трудом можно было назвать человеческим. Из всего того, что предшествовало его поступлению на корабль, он помнил лишь, что отец его делал часы и что в гостиной у них висел скворец, насвистывавший песню «Северная страна». Все остальное стерлось из его памяти за годы тяжелой работы и грубого обращения с ним. У него были странные понятия о суше, составившиеся на основании рассказов матросов; по его мнению, это было место, где мальчиков отдавали в рабство, которое называлось ремеслом, где учеников постоянно колотили и заключали в смрадные тюрьмы. В городе он почти каждого встречного принимал за обманщика, расставляющего людям ловушки, а половину домов — за притоны, где матросов отравляют и убивают. Я, конечно, рассказывал Рэнсому, как хорошо со мной обращались на суше, которой он так боялся, и о моих родителях, и о друзьях, и о том, как сытно меня кормили и тщательно обучали.

Если случалось, что его перед тем били, он горько плакал и клялся, что сбежит, но когда он бывал в своем обыкновенном сумасшедшем настроении или — еще того чаще — когда он выпивал стакан водки в каюте, то поднимал меня на смех.

Его учил пить мистер Райэч — да простит ему бог! — и, без сомнения, с добрым намерением. Не говоря уже о том, что спирт разрушал здоровье мальчика, вид этого несчастного, одинокого ребенка, который покачивался,

приплясывал и болтал бог весть что, был достоин жалости.

Некоторые матросы смеялись, глядя на него, но не все; другие становились мрачнее тучи (думая, вероятно, о собственном детстве и о своих детях), приказывая ему бросить эти глупости и подумать о том, что он делает. Что же касается меня, то мне было совестно смотреть на него, и теперь еще я часто вижу во сне этого несчастного ребенка.

Надо заметить, что ветер был все время противный, а встречное течение бросало «Конвент» то вверх, то вниз так, что люк был почти постоянно закрыт, и наша каюта освещалась только фонарем, висевшим на перекладине. Работы всегда было много для всех: паруса приходилось то ставить, то убавлять каждую минуту. Напряжение отзывалось на настроении команды: целый день, с утра и до вечера, слышался шум ссор. А так как мне не позволяли ступить на палубу, то вы можете себе представить, как надоела мне эта жизнь и с каким нетерпением я ждал перемены...

Перемена эта произошла, как вы сейчас услышите, но прежде я должен рассказать о разговоре моем с мистером Райзчем, который придал мне немного бодрости в моих бедствиях. Поймав его в легкой стадии опьянения (в трезвом виде он никогда не заглядывал ко мне), я взял с него слово хранить мою тайну и рассказал ему свою историю.

Он объявил, что мой рассказ похож на балладу, но обещал сделать все возможное, чтобы помочь мне. Он велел мне достать бумагу, перо и чернила, чтобы я написал мистеру Кемпбеллу и мистеру Ранкэйлору, и уверял, что если я говорю правду, то с их помощью почти наверняка сумеет выручить меня из опасности и восстановить в правах.

— А пока,— сказал он,— не падай духом. Не с тобой первым это случается, поверь мне. Великое множество людей, возделывающих за морем табак, должны были бы садиться на лошадь у дверей собственного дома. Жизнь, в лучшем случае, полна неожиданных перемен. Посмотри на меня: я сын лорда, почти выдержал экзамен на доктора, а вот служу помощником у Хозизена!

Я из вежливости спросил про его историю.

Он громко свистнул.

— У меня ее никогда не было,— сказал он.— Я люблю пошутить, вот и все.— С этими словами он выскочил из каюты.

VIII. Капитанская каюта

Однажды вечером, около девяти часов, матрос, бывший на вахте с мистером Райэчем, спустился вниз за курткой. Вслед за ним по баку распространилась весть, что Шуэн наконец доконал его. Не было надобности называть имя: мы все знали, о ком шла речь. Едва успели мы освоиться с этой новостью и поговорить о ней, как люк снова открылся, и теперь уже капитан Хозизен спустился к нам по лестнице. Он пристально осмотрел койки при мерцающем свете фонаря, затем, подойдя прямо ко мне, заговорил, к моему удивлению, довольно ласково.

— Ты нужен нам, любезный,— сказал он,— чтобы прислуживать в каюте. Ты обменяешься местами с Рэнсомом. Ступай скорей!

Пока он говорил, в люке появилось двое матросов с Рэнсомом на руках. В эту минуту корабль сильно нырнул, фонарь заколебался, и свет его упал прямо на мальчика: на его побелевшем как воск лице застыла ужасная улыбка. Кровь во мне похолодела и дыхание остановилось, точно меня поразили удар.

— Ступай на кормовую часть! Ступай скорей! — закричал Хозизен.

И я, прошмыгнув мимо матросов и безмолвного, неподвижного мальчика, взбежал по лестнице на палубу.

Корабль быстро прорезал длинную волну с белым гребнем. Она наваливалась на него с правого галса, а с левой стороны я мог видеть яркий солнечный закат под дугообразным основанием фок-зейля. В ночной час это чрезвычайно удивило меня, но я знал слишком мало, чтобы вывести верное заключение, что мы обходили с севера Шотландию и находились теперь в открытом море между Оркнейскими и Шотландскими островами, избегнув опасных течений Пентландской бухты. Проведя столько времени в потемках и ничего не зная о противных ветрах, я вообразил, что мы уже прошли полпути

или даже более по Атлантическому океану. И, удивившись позднему закату, я сейчас же перестал думать об этом, прыгая с палубы на палубу, пробегая между парусами, хватаясь за канаты, и упал бы, если бы меня не удержал матрос, который всегда выказывал мне большое расположение.

Капитанская каюта, где я должен был отныне прислуживать и спать, возвышалась на шесть футов над палубами и сравнительно с величиной брига была обширных размеров. Внутри стояли прикрепленные к полу стол, скамейка и две койки: одна для капитана, а другая для двух старших помощников, которые спали на ней по очереди. Сверху донизу к стенам были приделаны запирающиеся шкафчики, куда прятались вещи начальствующих лиц и часть запасов судна. Внизу была другая кладовая, в которую вел люк, находившийся посредине палубы: там хранились главные запасы пищи, питья и весь порох. Все огнестрельные орудия, кроме двух медных пушек, стояли на козлах у задней кормовой стены капитанской каюты. Большинство кортиков было в другом месте.

Маленькое окошко с наружными и внутренними ставнями и светлый люк на потолке освещали каюту днем, а после наступления сумерек в ней всегда горела лампа. Она горела и в ту минуту, когда я вошел, не особенно ярко, но достаточно, чтобы увидеть мистера Шуэна, сидевшего за столом, на котором стояли бутылка коньяку и жестяная манерка. Это был высокий, крепко сложенный и очень смуглый человек. Он сидел, бессмысленно уставясь на стол.

Мистер Шуэн не обратил внимания на мой приход и даже не шевельнулся, когда затем вошел капитан и прислонился к койке рядом со мной, мрачно глядя на своего помощника. Я очень боялся Хозизена, имея на то основательные причины, но что-то подсказало мне, что в эту минуту мне нечего опасаться его, и я шепнул капитану на ухо: «Что с ним?» Он покачал головой, как человек, который не знает, что и подумать, между тем как лицо его не изменяло своего сурового выражения.

Вскоре пришел мистер Райэч. По его взгляду, брошенному на капитана, можно было без слов понять, что мальчик умер. Он стал рядом с нами, и мы втроем молча



смотрели на мистера Шуэна, который все так же сидел, не говоря ни слова и упорно глядя на стол.

Внезапно он протянул руку за бутылкой. Тут мистер Райэч шагнул вперед и отнял ее, что ему удалось не столько благодаря своей силе, сколько быстроте, с какой он это сделал. Он закричал, разразившись проклятиями, что и без того уже достаточно сделано зла, и побожился, что бриг понесет за это наказание. С этими словами он вышвырнул бутылку в море — выдвижная дверь была открыта с наветренной стороны.

Мистер Шуэн мигом вскочил на ноги. Его рассудок все еще был помрачен, и он совершил бы второе убийство в этот же вечер, если бы капитан не стал между ним и его жертвой.

— Садитесь! — заорал капитан. — Знаете ли, что вы сделали, свинья и пьяница? Вы убили мальчишку!

Мистер Шуэн, казалось, понял, потому что снова сел и положил руку себе на лоб.

— Но ведь он принес мне грязную манерку! — воскликнул он.

При этих словах я, мистер Райэч и капитан переглянулись с некоторым страхом во взгляде. Затем Хозизен

подошел к старшему помощнику, взял его за плечи, довел до койки и приказал ему лечь и заснуть, уговаривая его, как непослушного ребенка. Убийца немного похныкал, затем снял свои непромокаемые сапоги и послушно улегся.

— А,—воскликнул мистер Райэч ужасным голосом,— вам давно следовало вмешаться! Теперь уже слишком поздно.

— Мистер Райэч,— сказал капитан,— в Дайзерте никому не должно быть известно, что случилось в этот вечер. Мальчишка упал за борт, сэр, вот как было дело! И я бы охотно дал собственных пять фунтов, чтобы это было правдой!— Он повернулся к столу.— Зачем вы выбросили хорошую бутылку? — прибавил он.— В этом не было никакого смысла, сэр. Давид, достань мне другую бутылку. Они стоят в крайнем шкафчике.— И он бросил мне ключ.— Вам самим надо выпить стаканчик, сэр,— обратился он к Райэчу,— после того ужасного зрелища.

Оба сели и чокнулись. А преступник, который лежал на койке и стонал, в это время приподнялся и посмотрел на них и на меня.

В этот вечер я в первый раз приступил к своим новым обязанностям, а на следующий день уже совершенно освоился с ними.

Я должен был подавать пищу, которую капитан принимал в определенные часы с тем из помощников, который не был на дежурстве. Весь день мне приходилось бегать с бутылкой от одного к другому из моих трех начальников, а ночью я спал на морском одеяле, брошенном на крашенные доски в ближайшем к корме углу каюты, на самом сквозняке между двумя дверьми. Это была жесткая и холодная постель; кроме того, мне не давали спать без перерыва: постоянно кто-нибудь приходил с палубы выпить, а когда назначалось новое дежурство, все трое усаживались вместе распить стаканчик. Я не могу понять, как они оставались здоровыми и как оставался здоровым я сам.

Но в других отношениях служба эта была легкая: скатерти не постилались, еда состояла из овсяной каши или солонины, но два раза в неделю бывал пудинг.

Хотя я был довольно неуклюж и по непривычке к морю нетвердо держался на ногах, так что иногда падал

с кушаньем, которое нес, капитан и мистер Райэч были удивительно терпеливы. Я не мог не думать, что их мучит совесть и что вряд ли они были бы так снисходительны ко мне, не обращайся они раньше так жестоко с Рэнсомом.

Что же касается мистера Шуэна, то пьянство, а может быть, совершенное им преступление или то и другое вместе несомненно повредили его рассудок. Я не могу припомнить, чтобы видел его когда-нибудь в нормальном состоянии. Он никак не мог привыкнуть к моему присутствию, не отрывая глаз, глядел на меня — иногда мне казалось, что даже с ужасом, — и несколько раз отшатнулся, когда я ему подавал. С самого начала я был почти уверен, что он не отдает себе отчета в том, что произошло, и на второй день своего пребывания в капитанской каюте убедился в этом. Мы были одни, и он долгое время пристально смотрел на меня, потом вдруг встал, бледный, как смерть, и, к моему великому ужасу, подошел ко мне. Но у меня не было причины бояться его.

— Тебя здесь прежде не было? — спросил он.

— Нет, сэр, — сказал я.

— Здесь был другой мальчик? — спросил он опять; и, когда я подтвердил это, сказал: — Да, я так и думал, — и, не говоря больше ни слова, сел обратно и потребовал коньяку.

Вам, может быть, покажется странным, что, несмотря на весь мой ужас, мне было все-таки жаль его. Он был женат, и жена его жила в Лидсе. Я забыл теперь, были ли у него дети; надеюсь, что нет.

Во всяком случае, жизнь моя в новом положении — она, как увидите, продолжалась недолго — была не слишком тяжела. Кормили меня так же, как и мое начальство; мне даже позволяли брать пикули — их самое изысканное блюдо, — и если б я только захотел, то мог бы напиваться с утра до вечера, как мистер Шуэн. У меня было общество, и сравнительно хорошее общество; мистер Райэч, учившийся некогда в колледже, со мной беседовал как с другом, когда бывал в веселом настроении, и сообщал мне много интересного и поучительного, а капитан хоть и не подпускал обычно меня к себе, но иногда бывал менее сдержанным и рассказывал о прекрасных странах, в которых ему приходилось бывать.

Тень бедного Рэнсома лежала на всех, но особенно тяжело на мне и мистере Шуэне. Кроме того, у меня были собственные тревоги. В настоящее время я выполнял грязную работу для троих людей, которых считал ниже себя (по крайней мере, один из них должен был болтаться на виселице); а в будущем я представлял себя невольником, работающим наряду с неграми на табачной плантации. Мистер Райэч, может быть из предосторожности, не позволял мне больше говорить о моей истории; капитан же, с которым я пытался сблизиться, оттолкнул меня, как собаку. С каждым днем я все больше и больше падал духом, пока наконец не стал радоваться работе, заглушавшей мои думы.

IX. Человек с поясом, полным денег

Прошло более недели, и неудача, не оставлявшая до сих пор «Конвент», стала преследовать его еще сильнее. Иногда корабль немного продвигался вперед; в другие дни его относил назад. Наконец бриг отнесло так далеко к югу, что весь девятый день его швыряло взад и вперед в виду мыса Рез и его диких скалистых берегов. Состоялся совет начальников, и они приняли решение, которое я тогда не мог хорошенько понять, и увидел только его результаты: мы обратили противный ветер в попутный и быстро пошли к югу.

На десятый день, после полудня, волна стала спадать; густой, мокрый белый туман скрывал один конец судна от другого. Пошли на палубу. Я видел, как матросы и начальники к чему-то чутко прислушивались. «Нет ли буруна?» — говорили они. И хотя я не понимал этого слова, но опасность, которая чувствовалась в воздухе, возбуждала меня.

Часов около десяти вечера я подавал ужин мистери Райэчу и капитану, как вдруг бриг обо что-то сильно ударился, и мы слышали пронзительные крики. Оба моих начальника вскочили.

— Мы на что-то налетели, — сказал мистер Райэч.

— Нет, сэр, — отвечал капитан, — мы только опрокинули лодку.

И они поспешно вышли.

Капитан был прав. Мы в тумане натолкнулись на лодку; она разбилась и пошла ко дну со всей командой, кроме одного человека. Этот человек, как я слышал впоследствии, помещался на корме в качестве пассажира, тогда как остальные сидели на банках и гребли. В момент удара корму подбросило в воздух, а человек — руки его были свободны, и ему ничто не мешало, кроме суконного плаща, спускавшегося ниже колен, — подпрыгнул и ухватился за бушприт корабля. То, что он сумел так спастись, говорило об его удачливости, ловкости и необыкновенной силе. А между тем, когда капитан повел его к себе в каюту и я впервые увидел его, он казался взволнованным не более моего.

Это был небольшого роста, но хорошо сложенный человек, подвижный, как коза; его приятное открытое лицо, очень загоревшее на солнце, было покрыто веснушками и сильно изрыто оспой. В его глазах, необыкновенно ясных, мелькало что-то безумное, привлекательное и в то же время тревожное. Сняв плащ, он положил на стол пару прекрасных пистолетов, выложенных серебром, и я увидел, что к поясу его пристегнута длинная шпага. Манеры его были изящны, и он очень любезно отвечал капитану. При первом же взгляде на него я подумал, что приятнее иметь его другом, чем врагом.

Капитан, со своей стороны, тоже сделал заключение, но скорее относительно одежды, чем личности этого человека. И действительно, когда тот снял плащ, то оказался чрезвычайно нарядным для каюты торгового судна: на нем была шляпа с перьями, красный жилет, черные плисовые панталоны и синий кафтан с серебряными пуговицами и красивым серебряным галуном. Это была дорогая одежда, хотя и попорченная немного туманом и в которой ему, очевидно, приходилось спать.

— Я очень огорчен гибелью вашей лодки, сэр, — сказал капитан.

— С ней пошло ко дну несколько славных людей, — сказал незнакомец. — Мне больше хотелось бы видеть их на берегу, чем два десятка лодок.

— Они ваши друзья? — спросил Хозизен.

— У вас нет таких друзей, — отвечал он, — они готовы были умереть за меня, как собаки.

— Ну, сэр,— сказал капитан, наблюдая за ним,— на свете больше людей, чем лодок для них.

— Это тоже верно,— воскликнул незнакомец,— и вы очень проникательны, сэр!

— Я был во Франции, сэр,— сказал капитан. И было ясно, что он хочет сказать этим больше, чем значили его слова.

— Что ж удивительного, сэр,— отвечал тот,— много народу побывало там.

— Без сомнения, сэр,— сказал капитан,— ради красивого мундира.

— О! — сказал незнакомец.— Так вот о чем идет речь.— И он быстро положил руку на пистолеты.

— Не будьте так запальчивы,— сказал капитан,— не начинайте ссоры, пока в ней нет надобности. На вас мундир французского солдата, а говорите вы по-шотландски, но теперь много честных людей, которые так поступают, и я нисколько не осуждаю их.

— Да,— сказал господин в красивом мундире.— Так вы принадлежите к честной партии? (Он имел в виду партию якобитов¹, потому что во всякого рода междоусобицах каждая партия считает, что название «честная» принадлежит только ей.)

— Я истый протестант, сэр,— отвечал капитан,— и благодарю бога за это. (Я в первый раз услышал, чтобы он говорил о религии, хотя после узнал, что на берегу он усердно посещал церковь.) Но, несмотря на это, я умею жалеть, когда вижу человека, прижатого к стене.

— Правда? — спросил якобит.— Хорошо, сэр. Сказать вам откровенно, я один из тех честных джентльменов, которые участвовали в восстании в сорок пятом и сорок шестом годах². И, попадись я в руки господ в красных мундирах³, мне, вероятно, пришлось бы туго. Сэр, я направлялся во Францию. Французский корабль крейсировал здесь, чтобы взять меня, но он прошел мимо нас в тумане, как я от всей души желал бы, чтобы прошли вы! И вот что я имею сказать вам: если вы высадите меня

¹ Якобитами называли приверженцев шотландской династии Стюартов, по имени последнего ее короля Якова II.

² Речь идет о самом крупном и последнем восстании шотландских якобитов (1745—1746), пытавшихся возвести на английский престол внука Якова II, Карла Эдуарда Стюарта.

³ Английские солдаты ходили в красных мундирах.

там, куда я направлялся, то деньги, которые у меня с собой, щедро вознаградят вас за беспокойство.

— Во Франции? — сказал капитан. — Нет, сэр, этого я не могу сделать. Но посадить вас там, откуда вы едете, — это другое дело.

Тут, к несчастью, капитан увидел, что я стою в своем углу, и отослал меня на кухню принести ужин джентльмену. Я не терял времени, уверяю вас. А когда я вернулся в каюту, то увидел, что джентльмен снял пояс с деньгами и положил на стол одну или две гиней. Капитан поглядел на гиней, затем на пояс, потом на лицо джентльмена и, как мне казалось, разволновался.

— Половину этого, — кричал он, — и я ваш!

Тот убрал гиней в пояс и снова надел его на жилет.

— Я сказал вам, сэр, — ответил он, — что ни один грош не принадлежит мне. Они принадлежат вождю клана. — Тут он дотронулся до своей шляпы. — Было бы глупо с моей стороны пожалеть часть денег, необходимых для спасения всей суммы, но я был бы собакой, если бы продал свою шкуру слишком дорого. Тридцать гиней, если вы посадите меня на ближний берег, или шестьдесят, если вы доставите меня в Линни-Лох. Берите их, если хотите. Если нет, поступайте как знаете.

— Гм... — сказал Хозизен, — а если я выдам вас солдатам?

— Вы останетесь только в убытке, — ответил незнакомец. — У моего вождя, позвольте мне сказать вам, сэр, все конфисковано, как у всякого честного человека в Шотландии. Имение его в руках человека, которого называют королем Георгом; чиновники собирают арендную плату или, вернее, стараются собрать ее. Но, к чести Шотландии, бедные арендаторы заботятся о вожде своего клана, находящемся в изгнании, и эти деньги — часть той арендной платы, которую ждет король Георг. Сэр, вы кажетесь мне человеком разумным: если вы отдадите эти деньги своему правительству, сколько вы получите?

— Очень мало, конечно, — ответил Хозизен и язвительно прибавил: — Если только оно узнает об этом что-нибудь. Но я думаю, что если постараться, то можно придержать язык за зубами.

— О, но я сумею вывести вас на свежую воду! — воскликнул джентльмен. — Обманете меня, и я перехитрю

вас. Если меня арестуют, то узнают, что это были за деньги.

— Хорошо,— сказал капитан,— чему быть, того не миновать. Шестьдесят гиней, и дело с концом! Вот вам моя рука.

— А вот моя,— ответил незнакомец.

После этих слов капитан вышел (что-то очень торопливо, подумал я) и оставил меня в каюте одного с незнакомцем.

В то время — вскоре после сорок пятого года — многие эмигранты с опасностью для жизни возвращались на родину, чтобы повидаться с друзьями или собрать себе немного денег. Что же касается вождей горных кланов, имущества которых были конфискованы, то часто приходилось слышать, как арендаторы всячески урезывали себя во всем, чтобы доставлять им средства к жизни. Собирая эти деньги и провозя их через океан, члены кланов не боялись солдат и подвергались риску попасться королевскому флоту. Обо всем этом я, конечно, слышал, а теперь мне довелось собственными глазами увидеть человека, осужденного за все эти проступки. Но он не только бунтовал и контрабандой провозил арендные деньги, но еще поступил на службу к французскому королю Людовику и, точно этого было недостаточно, носил на себе пояс, наполненный золотом. Каковы бы ни были мои убеждения, я не мог смотреть на этого человека иначе, как с большим интересом.

— Итак, вы якобит? — спросил я, ставя перед ним кушанье.

— Гм...— сказал он, принимаясь за еду.— А ты, судя по твоему длинному лицу, вероятно, виг?¹

— Ни то ни се,— сказал я, чтобы не раздражать его, потому что на самом деле я был виг, насколько этого сумел достигнуть мистер Кемпбелл.

— А это ничего...— сказал он.— Но послушайте, господин «ни то ни се», в этой бутылке ничего нет,— добавил он.— Было бы несправедливо брать с меня шестьдесят гиней и еще отказывать в выпивке.

— Я пойду спросить ключ,— сказал я и спустился на палубу.

¹ Вигами тогда называли приверженцев английского короля Георга.

Туман был все такой же густой, но волнение почти улеглось. Корабль лег в дрейф, так как никто не знал, где именно мы находимся, а ветер, хоть и незначительный, был нам не попутен. Несколько человек еще прислушивались к буруну, но капитан и оба помощника были в шкафуте и о чем-то совещались. Не знаю, почему мне пришло в голову, что они замыслили что-то недоброе, но первые услышанные мною слова, когда я тихонько к ним подошел, подтвердили мое предположение.

То был возглас мистера Райэча, которого точно осенила внезапная мысль:

— Нельзя ли нам хитростью выманить его из каюты?

— Лучше будет, если он останется там,— отвечал Хозизен,— там слишком мало места, чтобы он смог прибегнуть к своей шпаге.

— Положим, это правда,— сказал Райэч,— но там до него трудно добраться.

— Пустяки,— заметил Хозизен,— мы можем вовлечь его в разговор, потом подойдем к нему по одному с каждой стороны и схватим его за руки или, если это будет неудобно, сэр, вбежим в обе двери и справимся с ним, прежде чем он опомнится.

При этих словах меня охватил страх и гнев против вероломных, жадных, жестоких людей, с которыми я плавал. Первой моей мыслью было убежать, потом я стал смелее.

— Капитан,— сказал я,— этот господин просит выпить, а в бутылке ничего нет. Дайте мне, пожалуйста, ключ!

Они вздрогнули и повернулись ко мне.

— Вот нам случай достать оружие! — закричал Райэч и, обращаясь ко мне, прибавил: — Послушай, Давид, ты знаешь, где лежат пистолеты?

— Да, да,— вставил Хозизен,— Давид знает! Давид хороший малый. Видишь ли, этот дикий гайлэндер¹ опасен для судна, не говоря уже о том, что он отъявленный враг короля Георга, да хранит его бог!

Никогда еще меня так не задабривали с тех пор, как я был на бриге. Я отвечал «да», как будто все, что я слышал, было совершенно естественно.

¹ Г а й л э н д е р — житель горной части Шотландии.

— Трудность состоит в том,— кончил капитан,— что все наше кремневое оружие, крупное и мелкое, находится в каюте, под носом у этого человека, и порох также. Если бы я или один из моих помощников пошли за ним, у гайлэндера возникли бы подозрения. Но мальчуган, подобный тебе, Давид, может незаметно стащить рог пороха и один или два пистолета. И если ты обделаешь это умно, то я припомню все, когда ты будешь нуждаться в другом, а это случится, когда мы приедем в Каролину.

Тут мистер Райэч что-то шепнул ему.

— Совершенно верно, сэр,— сказал капитан и, обращаясь ко мне, продолжал: — И вот еще что, Давид, у того человека пояс полон золота, и я даю тебе слово, что и на твою долю перепадет кое-что.

Хотя у меня едва хватало духу говорить с ним, я все-таки ответил, что исполню его желание. После того он дал мне ключ от шкафа со спиртными напитками, и я медленно направился к каюте. Что мне было делать? Это были собаки и воры: они выкрали меня с родины, убили бедного Рэнсома... Неужели я должен был стать соучастником еще одного убийства?! Но, с другой стороны, меня удерживал страх неминуемой смерти: что могли сделать один мужчина и мальчик против всего экипажа судна, даже если бы они были храбры как львы?

Рассуждая таким образом, но не придя ни к какому решению, я вошел в каюту и увидел якобита, сидевшего под лампой за ужином. И я сразу понял, что нужно делать. Никакой заслуги с моей стороны не было: я не по своему выбору, а как бы движимый какой-то невидимой силой подошел прямо к столу и положил руку на плечо незнакомцу.

— Вы не боитесь смерти? — спросил я.

Он вскочил на ноги, и во взгляде его я прочел вопрос.

— О,— воскликнул я,— они здесь все убийцы! Все судно полно убийц! Они уже убили мальчика. Теперь хотят убить вас.

— Ну, ну,— сказал он,— я пока еще не в их руках.— Затем с любопытством взглянул на меня.— Ты на моей стороне? — спросил он.

— Да,— ответил я.— Я не вор и не убийца. Я буду помогать вам.

— Хорошо,— сказал он,— как тебя зовут?

— Давид Бальфур,— сказал я. Затем, думая, что человеку в такой изящной одежде должны нравиться знатные люди, я в первый раз прибавил: — Из Шооса.

Ему и в голову не пришло не поверить мне: гайлэндеры привыкли видеть знатных дворян в нищете, но так как у него не было собственного поместья, то слова мои раздразнили его ребяческое тщеславие.

— Моя фамилия Стюарт,— сказал он, приосанившись.— Они меня зовут Алан Брек. С меня достаточно моего королевского имени, хотя я и не прицепляю к нему названия какой-нибудь фермы.

И, поставив меня на место, точно это было делом первой важности, он принялся рассматривать наши средства борьбы.

Капитанская каюта была выстроена настолько прочно, чтобы противостоять ударам волн. Из ее пяти отверстий только люк и обе двери были настолько велики, чтобы пропустить человека. Двери, кроме того, можно было плотно задвинуть; они были сделаны из толстых дубовых досок и снабжены крючками, чтобы держать их открытыми или закрытыми, смотря по надобности. Одну дверь, уже закрытую, я укрепил таким образом. Но когда я хотел прокрасться к другой, Алан остановил меня.

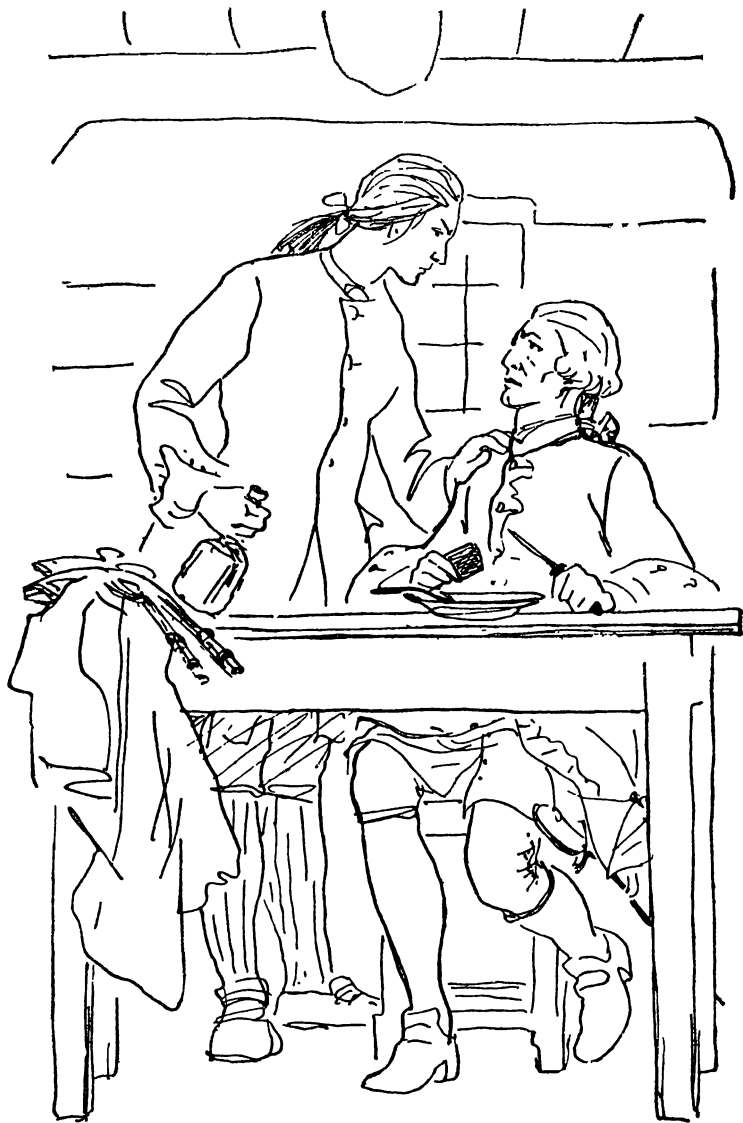
— Давид,— сказал он,— я не могу припомнить названия твоего поместья и потому осмеливаюсь называть тебя Давидом... Открытая дверь — лучшая моя защита.

— Лучше было бы закрыть ее,— сказал я.

— Нет, Давид,— сказал он.— Видишь ли, пока эта дверь открыта и я стою лицом к ней, то большая часть моих врагов будет передо мной, а там-то я и желаю их видеть.

Потом он достал для меня с козел кортик (кроме пистолетов, там было несколько кортиков), который выбирал очень внимательно, качая головой и говоря, что он никогда не видел такого плохого оружия. Затем посадил меня к столу и дал мне рог с порохом, сумку с пулями и все пистолеты, которые и велел зарядить.

— И это, уверяю тебя, будет более подходящей работой для джентльменов хорошего происхождения,— сказал он,— чем чистить посуду и подавать водку шайке измазанных дегтем матросов.



Я, как бы движимый какой-то невидимой силой, подошел к столу и положил руку на плечо незнакомцу.

Затем он встал на середину каюты, лицом к двери, и, вытащив свою шпагу, подвергнул испытанию то пространство, на котором ему придется действовать.

— Мне останется работать одним острием,— сказал он, потряхнув головой,— и это очень жаль. Я не могу проявить своего таланта, состоящего в верхней обороне. А теперь продолжай заряжать пистолеты и наблюдай за мной.

Я сказал ему, что буду внимательно слушать. Я с трудом дышал, во рту у меня пересохло, свет померк в глазах. Когда я думал о той массе людей, которые вскоре набросятся на нас, сердце мое трепетало, и мысль о море, омывавшем борта нашего брига,— о море, в которое еще до утра будет брошено мое мертвое тело, не выходила у меня из головы.

— Прежде всего,— сказал Алан,— сколько у нас противников?

Я стал считать, и в голове моей была такая сумятица, что мне пришлось два раза делать сложение.

— Пятнадцать,— сказал я.

Алан свистнул.

— Что ж,— заметил он,— этого не изменишь. А теперь слушай внимательно. Мое дело — охранять дверь, откуда я жду главного нападения. В этом ты не участвуешь. Смотри не стреляй в эту сторону, пока я не упаду, потому что мне приятнее иметь десять врагов впереди, чем одного такого друга, как ты, стреляющего мне в спину из пистолета.

Я признался ему, что действительно я плохой стрелок.

— Прекрасно сказано,— сказал он, восхищаясь моей откровенностью.— Немногие решились бы сознаться в этом.

— Но, сэр,— заметил я,— сзади вас дверь, которую они могут сломать.

— Да,— отвечал он,— и это входит в твои обязанности. Как только пистолеты будут заряжены, ты должен влезть на койку, ближайшую к окну, и, если они дотронутся до двери, стреляй. Но это не все. Будь хоть сколько-нибудь солдатом, Давид! Что тебе еще надо охранять?

— Люк,— сказал я.— Но, право, мистер Стюарт, нужно иметь глаза и на затылке, чтобы охранять и дверь

и люк, потому что когда я нахожусь лицом к дверям, то повертываюсь спиной к люку.

— Это совершенная правда,— сказал Алан,— но разве у тебя нет ушей?

— Конечно! — воскликнул я.— Я услышу, как разобьется стекло!

— В тебе есть некоторая доля здравого смысла,— свирепо ответил Алан.

Х. Осада капитанской каюты

Мирное положение скоро кончилось. На палубе ждали моего возвращения, пока терпение у них не лопнуло. Не успел Алан сказать последнее слово, как капитан показался в открытой двери.

— Стой! — закричал Алан и направил на него шпагу.

Капитан остановился, но не дрогнул и не отступил ни на шаг.

— Обнаженная шпага? — сказал он.— Странная плата за гостеприимство.

— Видите вы меня? — спросил Алан.— Я королевского рода, я ношу имя королей. В моем гербе — дуб. Видите вы мою шпагу? Она отрубила головы большему числу вигов, чем у вас пальцев на ногах. Зовите свой сброд себе на помощь, сэр, и нападайте! Чем раньше начнется стычка, тем скорее вы почувствуете эту сталь в своих внутренностях.

Капитан ничего не сказал Алану, но взглянул на меня недобрый взглядом.

— Давид,— сказал он,— я припомню это! — И звук его голоса резанул меня по сердцу.

Вслед за тем он ушел.

— Теперь,— сказал Алан,— держи ухо востро, потому что опасность близится.

Алан вытащил кинжал и держал его в левой руке, на случай, если б нападающие вздумали пролезть под его поднятой шпагой. Я же влез на койку с целой охапкой пистолетов и с тяжелым сердцем открыл окно, которое должен был сторожить. Оттуда была видна только небольшая часть палубы — для нашей цели этого было

достаточно. Волны улеглись, ветер не изменился, и паруса висели неподвижно; на бриге была совершенная тишина. До меня донесся гул голосов. Немного погодя послышался звон стали, ударившейся о палубу. Я понял, что это раздавали кортики и один из них упал. Затем снова все стихло.

Внезапно раздался шум шагов и крик, затем послышались возгласы Алана и звук ударов. Кто-то закричал, точно его ранили. Я оглянулся через плечо и увидел в двери Шуэна, дравшегося с Аланом.

— Это он убил мальчика! — закричал я.

— Смотри за своим окном! — сказал Алан, поворачиваясь к окну, я увидел, как он воткнул шпагу в тело старшего помощника.

Пора было и мне принять участие в деле. Едва я успел повернуть голову к окну, как мимо меня пять человек протащили запасной рей для устройства тарана и стали устанавливать его перед дверью. Я ни разу в жизни не стрелял из пистолета и очень редко из ружья, тем более в человека. Но думать было нечего: или теперь, или никогда. Только что они раскатали рей, как я крикнул:

— Вот вам! — и выстрелил.

Я, должно быть, задел одного, потому что он застоялся и отступил на шаг, а остальные остановились в некотором замешательстве. Не успели они оправиться, как вторая пуля пролетела над их головами, а при третьем выстреле вся компания бросила рей и убежала.

Тогда я снова оглянулся и осмотрел каюту. Она была полна дыма от моих выстрелов, и сам я почти был оглушен ими. Но Алан стоял на том же месте, только шпага его была по рукоятку в крови. Он очень кичился своим триумфом и принимал такие изящные позы, что казался непобедимым. Прямо перед ним на четвереньках стоял мистер Шуэн; кровь лилась у него изо рта. В то время как я смотрел на него, стоявшие сзади схватили его за пятки и боком вытащили из каюты. Я думаю, что он умер, когда они его тащили.

— Вот вам один виг! — воскликнул Алан. Затем, обернувшись ко мне, спросил, многих ли я убил.

Я сказал, что ранил кого-то и думаю, что это был капитан.

— А я покончил с двумя,— сказал он.— Но крови еще недостаточно: они вернутся сюда. Это была только рюмка водки перед обедом.

Я вернулся на свое место, снова зарядил три пистолета, из которых стрелял, и насторожил глаза и уши.

Наши враги спорили неподалеку на палубе, и так громко, что сквозь шум прибоя я мог слышать некоторые слова.

— Шуэн испортил дело,— слышал я один голос.

Другой отвечал ему:

— Ну, любезный, он заплатил за это.

Затем голоса снова упали до неясного ропота. Только теперь почти все время говорило одно лицо, как бы излагая свой план действий, и то один, то другой коротко отвечали ему, как люди, получавшие приказания. Поэтому я заключил, что они снова придут, о чем и сообщил Алану.

— Нам следует желать этого,— сказал он.— Если мы не зададим им хорошего страха и не покончим с этим делом, то ни тебе, ни мне нельзя будет заснуть. Только помни, что на этот раз они будут настойчивы.

Пистолеты были готовы, и мне оставалось только слушать и ждать. Пока продолжалось нападение, мне некогда было рассуждать, боюсь я или нет, но теперь, когда все утихло, я не мог ни о чем другом думать. Мысли об острых шпагах и холодной стали не покидали меня, и, когда я слышал тяжелые шаги, шуршание одежды, прикасавшейся к стенкам каюты, я понял, что они в потемках становятся по местам, и готов был громко заплакать.

Все это происходило на той стороне, где был Алан, и я уже думал, что моя доля участия в сражении кончена, когда услышал, что кто-то тихо опустился на крышу, прямо надо мной.

Затем раздался свисток, послуживший сигналом. Кучка матросов с кортиками в руках бросилась на дверь. В ту же минуту стекло люка разбилось, и кто-то, прыгнув, очутился на полу каюты. Не успел он встать на ноги, как я приставил пистолет к его спине и готов был застрелить его, но, когда я дотронулся до него, живого, мужество оставило меня, и я не мог ни спустить курок, ни убежать.

Прыгая, он уронил кортик, но, почувствовав прикосновение пистолета, быстро обернулся и схватил меня, осыпая ругательствами. Мужество ли мое проснулось при этом или, напротив, то был страх, но результат получился тот же: я вскрикнул и прострелил его насквозь. Он упал на пол с отвратительным, страшным стоном. Ноги другого матроса, болтавшиеся из люка, ударили меня в это время по голове. Я схватил второй пистолет и выстрелил ему в бедро. Он соскользнул вниз и как чурбан свалился на тело своего товарища. Не могло быть и речи о промахе, хотя прицеливаться мне было некогда: я стрелял в упор.

Я бы долго стоял и смотрел на упавших, но крик Алана о помощи вернул мне сознание.

До сих пор он оборонял дверь, но, пока он был занят другими, один из матросов пробежал под шпагой и схватил его за туловище. Алан наносил ему удары кинжалом левой рукой, но матрос пристал к нему как пиявка. Еще один неприятель ворвался и занес над головой Алана кинжал. В дверях виднелось множество людей. Я подумал, что мы пропали, и, схватив свой кортик, напал на них с фланга.

Но моя помощь была уже не нужна. Противник упал. Алан, отступая назад для разбега, с ревом бросился на нападающих как разъяренный зверь. Они расступились перед ним, как вода, повернулись, выбежали и вгорлох попадали один на другого. Шпага в руках Алана сверкала, как ртуть, мелькая среди убегающих врагов, и при каждом ее ударе слышался крик раненого. Я еще думал, что мы пропали, а противники уже все разбежались, и Алан гнал их вдоль палубы, как собака загоняет овец.

Однако он вскоре вернулся, потому что был столь же осторожен, как храбр. А матросы продолжали бежать и кричать, точно он все еще гнался за ними. Мы слышали, как они, спотыкаясь друг о друга, спустились в каюту и захлопнули люк.

Капитанская каюта напоминала бойню: внутри лежало три трупа, а на пороге матрос мучился в предсмертной агонии. Мы с Аланом одержали победу и остались живы и невредимы.

Он подошел ко мне с протянутыми руками.

— Приди в мои объятия! — крикнул он и стал обнимать меня и крепко целовать в обе щеки. — Давид, — сказал он, — я люблю тебя, как брата! Скажи, — воскликнул он в каком-то экстазе, — разве я не хороший боец?!

Затем он обернулся к павшим врагам, проткнул каждого из них насквозь шпагой и выпихнул за дверь одного за другим. В то же время он насвистывал и напевал сквозь зубы, точно пытаюсь припомнить какой-то мотив, но на самом деле он старался придумать новый. На щеках у него играл румянец, и глаза его блестели, как у пятилетнего ребенка при виде новой игрушки. Вдруг он уселся на стол со шпагой в руке; мотив, который он все время искал, становился все яснее и яснее; и вот он громко запел гэльскую песню.

Я привожу ее тут не в стихах, на которые я не способен, но, по крайней мере, на английском языке. Притом он частенько певал ее, и мало-помалу она стала популярной. Я ее слышал много раз, и мне объяснили ее значение.

Это была песнь о шпаге Алана:

Кузнец ковал ее,
Огонь закалял ее.
Теперь же она сверкает в руках Алана Брека.
У врага было много глаз,
Ясных и быстрых, —
Они направляли много рук.
Шпага была одна.
Серые олени толпятся на холме;
Их много, а холм один.
Серые олени пропадают —
Холм остается.
Прилетайте ко мне с островов океана,
Далеко зрящие орлы,
Вот вам добыча!

Эта песня, которую он сложил в минуту нашей победы, и слова, и музыку, не совсем справедлива по отношению ко мне, боровшемуся рядом с ним. Мистер Шуэн и еще пятеро были нами убиты или тяжело ранены; из них двое, которые пролезли через люк, пали от моей руки. Еще четверо были ранены легче, и один из них, наиболее опасный, — мною. Так что, в общем, и я принимал участие в схватке и имел право потребовать себе места в стихах Алана. Но поэтам, как говорил мне один

очень умный человек, приходится думать больше о рифмах. В разговоре же Алан отдавал мне более чем должное.

В ту пору я даже не сознавал, что была совершена несправедливость по отношению ко мне, потому что не только не знал ни слова по-гэльски, но и рад был сейчас же по окончании дела добратся до койки после долгого ожидания, напряжения и, более всего, ужасных мыслей о том, что я принимал участие в этой борьбе. От тяжести на сердце я едва дышал: воспоминание о двух убитых мною давило меня, как кошмар; и совершенно неожиданно, не отдавая себе в этом отчета, я начал рыдать и всхлипывать, как ребенок.

Алан хлопнул меня по плечу и сказал, что я храбрый малый, но что мне надо только выпастся.

— Я буду первый на страже, — сказал он. — Ты хорошо помогал мне, Давид, от начала до конца, и я не хотел бы лишиться тебя за весь Аппин, даже за весь Бредаль-бэн.

Я постелил себе на полу, а он стал на вахту с пистолетом в руке и шпагой у колена. Вахта продолжалась три часа по капитанским часам, висевшим на стене. Затем он разбудил меня, и я, в свою очередь, простоял три часа. До окончания моей вахты рассвело. Утро было очень тихое; слегка волнующееся море качало корабль, а сильный дождь барабанил по крыше. Во время моей вахты не произошло ничего интересного; по хлопанью руля я догадался, что даже никого не поставили у румпеля. Действительно, как я узнал после, так много матросов было ранено и убито, а остальные находились в таком дурном расположении духа, что мистеру Райэчу и капитану приходилось сменяться так же, как мне с Аланом, а то бриг могло бы отнести к берегу, прежде чем кто-нибудь заметил это. К счастью, ночь стояла спокойная, потому что ветер утих, как только пошел дождь. Даже и теперь я по крику чаек, во множестве ловивших рыбу около корабля, понимал, что нас отнесло очень близко к берегу или к одному из Гебридских островов. Наконец, выглянув из двери капитанской каюты, я увидел большие скальные утесы Скай с правой стороны, а немного далее за кормою — остров Ром.

ХІ. Капитан признает себя побежденным

Алан и я сели завтракать около шести часов утра. Пол был усыпан битым стеклом и покрыт отвратительным кровавым месивом, лишившим меня аппетита. Во всем другом положение наше было не только приятное, но и веселое: мы выгнали капитана и его помощников из их собственной каюты и получили в свое распоряжение все спиртные напитки на судне и самую изысканную пищу, например, пикули и лучший сорт сухарей. Этого одного было бы достаточно, чтобы привести нас в хорошее настроение, но самым лучшим оказалось то, что два таких любителя выпить, каких только когда-либо породила Шотландия (за смертью мистера Шуэна), сидели теперь взаперти в передней части судна, обреченные довольствоваться тем, что они более всего ненавидели, — холодной водой.

— Поверь мне, — сказал Алан, — мы вскоре услышим о них. Человек может воздерживаться от сражения, но не может воздержаться от бутылки.

Мы отлично проводили время вместе. Алан был очень ласков со мной и, взяв со стола нож, отрезал мне одну из серебряных пуговиц своего мундира.

— Я получил их, — сказал он, — от моего отца, Дункана Стюарта. Я дарю тебе одну из них на память о том, что произошло в эту ночь. Куда бы ты ни пошел и где бы ни показал эту пуговицу, друзья Алана Брека соберутся вокруг тебя.

Он сказал это так, точно был Карлом Великим и повелевал целыми армиями. И, несмотря на мое восхищение его мужеством, я всегда боялся улыбнуться его хвастовству; говорю «боялся», потому что если бы я не удерживался от смеха, то могла бы вспыхнуть такая ссора, что и подумать страшно.

Как только мы кончили завтрак, он стал рыться в шкафу у капитана, пока не нашел платяной щетки. Затем, сняв мундир, начал осматривать его и счищать пятна так тщательно, как, по-моему, могли делать только женщины. Правда, у него не было другого костюма; кроме того, говорил он, его платье принадлежало королю, а потому и ухаживать за ним следовало по-королевски.

Когда я увидел, как аккуратно он выдергивал ниточки

в том месте, где была отрезана пуговица, я оценил дороже его подарок.

Он еще был погружен в свое занятие, когда с палубы нас окликнул мистер Райэч и попросил нас вступить в переговоры. Я пролез через люк и сел на краю его с пистолетом в руке. У меня было смелое выражение лица, хотя в глубине души я боялся битого стекла. Окликнув и его со своей стороны, я попросил Райэча говорить. Он подошел к капитанской каюте и встал на веревки, свернутые кольцом, так что подбородок приходился на одном уровне с крышей, и мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Не думаю, чтобы мистер Райэч был особенно ревностен в бою, поэтому он отделался только ударом в щеку. Все же он упал духом и выглядел очень усталым, так как провел всю ночь на ногах, то стоя на вахте, то ухаживая за ранеными.

— Скверное дело,—сказал он наконец, качая головой.

— Мы этого не хотели,— заметил я.

— Капитан,— продолжал он,— желал бы поговорить с твоим другом. Они могли бы говорить через окно.

— А как мы узнаем, не задумал ли он нам подстроить ловушку? — спросил я.

— Ничего такого он не задумал, Давид,— отвечал мистер Райэч,— а если бы и задумал, то, сказать тебе правду, мы не могли бы повести за собой матросов.

— Так ли это? — спросил я.

— Скажу тебе больше,— сказал он,— не только матросов, но и меня. Я боюсь, Дэви.— И он улыбнулся мне.— Нет,— добавил он,— все, чего мы желаем,— это отделаться от него.

После того как я посоветовался с Аланом, согласие на переговоры было дано и подкреплено честным словом с обеих сторон. Но этим для мистера Райэча дело не кончилось: он стал так настойчиво просить водки, напоминая о своей прежней доброте ко мне, что я под конец дал ему чарку в четверть пинты. Часть ее он выпил, а остальное отнес вниз на палубу, вероятно чтобы поделиться со своим начальником.

Вскоре затем капитан подошел, как мы уговорились, к одному из окон и стал там на дожде, с рукою на перекладине. Он был угрюм и бледен и казался таким постарев-

шим, что совесть упрекнула меня за то, что я стрелял в него.

Алан сразу направил пистолет ему в лицо.

— Уберите пистолет! — сказал капитан. — Разве я не дал вам слова, сэр? Или вы желаете оскорбить меня?

— Капитан, — ответил Алан, — я боюсь, что вы легко нарушаете ваше слово. Вчера вечером вы торговались, как уличная торговка, потом дали мне слово и в подтверждение протянули руку, но вы отлично знаете, чем это кончилось! Будь проклято ваше слово! — прибавил он.

— Хорошо, сэр, — сказал капитан, — ваша брань ни к чему хорошему не приведет. (Надо сознаться, что сам капитан никогда не бранился.) Но мне надо поговорить с вами о другом, — продолжал он с горечью. — Вы изрядно испортили мой бриг; у меня недостаточно людей для управления им; мой первый помощник, которого вы пронзили своей шпагой, умер, не произнеся ни слова, а без него мне трудно обойтись. Мне больше ничего не остается, как вернуться в порт Глазго за экипажем, и там вы найдете людей, которые сумеют поговорить с вами лучше моего.

— Да, — сказал Алан. — Клянусь честью, я с ними говорю! Если в этом городе есть хоть один человек, говорящий по-английски, я расскажу ему интересную историю. Пятнадцать просмоленных матросов — с одной стороны, и один человек с полуробенком — с другой! Какое жалкое зрелище!

Хозизен покраснел.

— Нет, — продолжал Алан, — это не годится. Вы должны посадить меня там, где мы условились.

— Но, — отвечал Хозизен, — мой старший помощник умер, и вы сами знаете, каким образом. Больше никто из нас не знаком с берегом, сэр, а этот берег очень опасен для судов.

— Предоставляю вам выбирать, — сказал Алан. — Высадите меня на сушу в Аппине или в Ардгуре, в Морвене, или в Арисэге, или в Мораре — короче, везде, где хотите, не дальше тридцати миль от моей родины, исключая страны Кемпбеллов¹. Это обширная мишень. Если вы не

¹ Кемпбеллы — имя шотландского рода, который стоял на стороне короля Георга.

попадете в нее, то, значит, вы в мореплавании так же слабы, как и в бою. Мои бедные земляки переезжают в своих плоскодонках с острова на остров во всякую погоду и даже ночью, если вы желаете знать.

— Плоскодонка не корабль, сэр,— отвечал капитан,— она не сидит так глубоко.

— Что же, едем в Глазго, если хотите! — сказал Алан.— Мы, по крайней мере, посмеемся над вами.

— Мне не до смеха,— сказал капитан.— И все это будет стоить денег, сэр.

— Прекрасно, сэр,— отвечал Алан,— я не беру своих слов назад. Тридцать гиней, если высадите меня на берег; шестьдесят, если доставите меня в Линни-Лох.

— Но посмотрите, сэр, где мы находимся, ведь мы только в нескольких часах от Арднамуркана,— сказал Хозизен.— Дайте мне шестьдесят, и я высажу вас там.

— И я должен изнашивать обувь и подвергаться опасности быть схваченным красными мундирами, чтобы угодить вам? — закричал Алан.— Нет, сэр, если вы хотите получить шестьдесят гиней, то заработайте их и высадите меня в моей стране.

— Это значит riskовать бригом, сэр,— сказал капитан,— и с ним вместе собственною жизнью.

— Как хотите,— ответил Алан.

— Сумели бы вы повести нас? — спросил капитан с нахмуренным видом.

— Сомневаюсь,— сказал Алан.— Я скорее боец, как вы сами видели, чем моряк. Но меня часто подбирали и высаживали на этом берегу, и я немного знаю его.

Капитан покачал головой, все еще хмурясь.

— Не потеряй я в этом несчастном плаваньи так много денег, я бы скорее увидел вас на виселице, чем рискнул бы своим бригом, сэр. Но пусть будет по-вашему. Как только подует боковой ветер — а он должен подуть, или я глубоко ошибаюсь,— я воспользуюсь им. Но есть еще одна вещь. Мы можем повстречать королевское судно, которое возьмет нас на abordаж без всякой нашей вины: вдоль этого берега плавают много крейсеров. Вы сами знаете, для кого... Сэр, на этот случай оставьте мне деньги.

— Капитан,— сказал Алан,— если вы увидите вымпел, то ваше дело убегать. А теперь, зная, что вам на

носу не хватает водки, я предлагаю обмен: бутылку водки взамен двух ведер воды.

Последняя статья переговоров была в точности выполнена обеими сторонами, так как мы с Аланом смогли наконец вымыть капитанскую каюту и отделаться от воспоминаний об убитых нами, а капитан и мистер Райэч тоже были по-своему счастливы, так как получили возможность снова выпить.

XII. Я слышу о Красной Лисице

Прежде чем мы покончили с чисткой каюты, с северо-востока подул ветер; он прогнал дождь, и выглянуло солнце.

Тут я должен сделать отступление, а читателю следовало бы взглянуть на карту. В тот день, когда стоял туман и мы разбили лодку Алана, бриг проходил через Малый Минч. На рассвете после схватки мы спокойно стояли к востоку от острова Канпа, между ним и островом Эриска, находящимся в цепи Лонг-Эйландских островов. Прямой путь отсюда в Линни-Лох лежал проливами Соунд-оф-малл. Но у капитана не было карты; он боялся пустить свой бриг глубоко между островами, и так как ветер был благоприятный, то предпочел обойти Тайри с запада и выйти у южного берега большого острова Малл.

Ветер весь день дул в том же направлении и скорее усиливался, чем ослабевал, а к полудню из-за паружных Гебридских островов появились сильные волны. Наш курс — мы хотели обойти кругом внутренние острова — лежал на юго-запад, так что сначала эти волны ударили нам в борта, и нас очень кидало. Но с наступлением ночи, когда мы уже обогнули конец Тайри и стали направляться к востоку, волны попадали прямо на корму.

Между тем первую часть дня, до появления волны, мы провели очень приятно; при ярком солнечном свете мы обошли множество скалистых островков. Сидя в каюте с открытыми дверьми с обеих сторон, так как ветер дул прямо в корму, мы с Аланом выкурили одну или две трубки капитанского хорошего табаку и в то же время

рассказывали друг другу наши истории. Это было для меня тем более важно, что давало возможность немного ознакомиться с горной Шотландией, где мне вскоре пришлось высадиться. В те дни, такие близкие к великому восстанию, всякий, шедший через поросшие вереском шотландские горы, должен был знать свой путь и опасность, которой подвергался.

Я первый показал пример, рассказав о своем несчастье, и Алан слушал меня с большим добродушием. Только когда я упомянул моего доброго друга, священника мистера Кемпбелла, Алан вспыхнул и воскликнул, что он ненавидит всех, носящих это имя.

— Отчего же? — сказал я. — Это такой человек, которому вы можете с гордостью подать руку.

— Я ничего никогда не дал бы Кемпбеллу, — ответил он, — кроме свинцовой пули. Я охотно стал бы преследовать весь этот род, как тетеревов. Даже умирая, все-таки дополз бы до окна своей комнаты, чтобы выстрелить в одного из них.

— Что у вас вышло с Кемпбеллами, Алан? — воскликнул я.

— Вот что... — ответил он. — Вы отлично знаете, что я Стюарт из Аппина, а Кемпбеллы долгое время беспокоили и разоряли моих родичей: они отнимали у нас земли обманом, но мечом никогда! — закричал он громко и ударил кулаком по столу. Но я не обратил на это особенного внимания, зная, что так обыкновенно говорят побежденные. — Было еще многое, — продолжал он, — и все в том же роде: лживые слова, поддельные бумаги, выходки, достойные торгашей, и все под видом законности, что еще больше возмущает порядочного человека.

— Вы так расточительны на пуговицы, — сказал я, — не думаю, чтобы вы могли быть хорошим судьей в делах.

— А, — ответил он, снова улыбнувшись, — расточительность я унаследовал от того же человека, что и пуговицы, — то был отец мой Дункан Стюарт, вечная ему память! Он был лучшим человеком в нашем роду и лучшим солдатом в горной Шотландии, а это то же самое, что в целом мире! Уж мне-то хорошо известно: ведь он сам учил меня. Отец служил в Черной страже, когда ее впервые собрали. За ним, как и за другими джентльменами, ходил паж, который нес его винтовку во время

марша. Королю, очевидно, захотелось посмотреть на шотландское фехтование: моего отца и троих других как лучших фехтовальщиков выбрали и послали в Лондон. Там, во дворце, два часа подряд они показывали свое искусство королю Георгу, королеве Каролине, Кумберленду и другим, имена которых я не помню. Когда они кончили, король, хотя и был узурпатором, любезно поговорил с ними и дал каждому по три гиней. По выходе из дворца им пришлось пройти мимо домика привратника. Моему отцу пришло в голову, что он, вероятно, первый джентльмен из горной Шотландии, проходивший через эти ворота, и потому следовало бы дать бедному привратнику подобающее понятие об его достоинстве и сунуть ему в руку полученные от короля три гиней, точно то было его всегдашнее обыкновение. Трое его спутников сделали то же самое. Таким образом, они вышли на улицу, не оставив себе ни гроша за труды. Одни говорят, что такой-то первый одарил королевского привратника, другие называют другого, но верно то, что это был Дункан Стюарт, и я готов доказать это с помощью шпаги или пистолета. И это был мой отец, да благословит его бог!

— Я думаю, что такой человек не мог оставить вам большого наследства? — спросил я.

— Это верно, — сказал Алан, — он оставил мне пару штанов и больше почти ничего. Вот почему мне пришлось поступить на военную службу. Это всегда будет пятном на моей совести и сыграет скверную шутку со мной, если я попаду в руки красных мундиров.

— Как, — воскликнул я, — вы служили в английской армии?

— Да, — сказал Алан, — но я дезертировал на сторону правого дела при Престонпансе¹, и в этом еще есть некоторое утешение.

Я с трудом мог разделить его взгляд, считая дезертирство непростительным грехом для честного человека. Но, несмотря на свою молодость, я не был так глуп, чтобы высказать вслух свое мнение.

— Боже мой, — воскликнул я, — ведь за это полагается смерть!

¹ В битве при Престонпансе в 1745 году шотландцы разбили правительственные английские войска.

— Да,— ответил он,— если они поймают меня, то исповедь моя будет коротка, а веревка длинна! Но у меня в кармане патент на чип, выданный мне французским королем, и это, может быть, защитит меня.

— Очень сомневаюсь,— сказал я.

— Я сам сомневаюсь,— отвечал Алан.

— Боже мой,— воскликнул я,— если вы осужденный мятежник, дезертир и находитесь на службе у французского короля, то что заставляет вас возвращаться сюда? Вы искушаете провидение.

— Ничего,— сказал Алан,— я возвращался сюда каждый год после сорок шестого.

— Что же влечет вас сюда? — спросил я.

— Видишь ли, я тоскую по друзьям и по родине,— ответил он.— Франция — прекрасная страна, что и говорить, но я тоскую по вереску и по оленям. Затем у меня тут небольшое дело: я набираю юношей на службу французскому королю — рекрутов, понимаешь? Это приносит немного денег. Но главным образом я езжу по делу моего вождя, Ардшиля.

— Мне казалось, что вашего вождя зовут Аппин,— сказал я.

— Да, но Ардшиль — глава клана,— отвечал он, хотя его слова мало что мне объяснили.— Видишь ли, Давид, он царской крови, и носит имя королей, и всю свою жизнь прожил знатным человеком, а теперь его довели до того, что он должен жить во Франции, как бедное частное лицо. Я своими глазами видел, как он, которому стоило только свистнуть, чтобы собрать сорок вооруженных ратников, покупал на рынке масло и нес его домой в капустном листе. Это не только тяжело, но и позорно для нашей семьи и всего клана. А тут его дети, надежда Аппина, которых в той дальней стране надо обучать разным наукам и умению владеть оружием. Арендаторы Аппина должны платить подать королю Георгу. Но сегодня они непоколебимо верны своему вождю, и благодаря этой любви, некоторому нажиму и кое-каким угрозам бедный народ сколачивает вторую подать для Ардшиля. А я, Давид, доставляю ее! — И он ударил по своему поясу так, что гинеи зазвенели.

— Они платят две подати? — закричал я.

— Две, Давид,— сказал он.

— Как, две арендные платы? — повторил я.

— Да, Давид, — сказал он. — Я рассказывал капитану другое, но это правда. Меня даже удивляет, как мало давления пришлось на них оказать. Но все это дело моего славного родственника и друга моего отца, Джемса Глэнского, то есть Джемса Стюарта, единокровного брата Ардшиля. Он собирает деньги и распоряжается ими.

Тут я впервые услышал имя Джемса Стюарта, который впоследствии стал знаменитым, когда его вешали. Но тогда я на это не обратил внимания: мои мысли были заняты щедростью бедных гайлэндеров.

— Это благородно! — воскликнул я. — Я виг или почти виг, но все-таки считаю это благородным.

— Да, — сказал Алан, — ты виг, но джентльмен, оттого ты и думаешь так. Если бы ты принадлежал к проклятому роду Кемпбеллов, ты бы скрежетал зубами, слыша это. Если бы ты был Красной Лисицей...

При этом имени он стиснул зубы и замолчал. Я никогда не видал такого свирепого лица. какое было у Алана при упоминании о Красной Лисице.

— А кто это — Красная Лисица? — спросил я боязливо, по все-таки с любопытством.

— Кто он такой? — закричал Алан. — Хорошо, я скажу тебе. Когда кланы были разбиты под Каллоденом и погибло правое дело, а лошади выше копыт бродили в крови лучших людей севера, Ардшилю пришлось бежать, как оленю, по горам с женой и детьми. Трудное было время, прежде чем мы усадили его на корабль. И пока он еще прятался тут, в вереске, английские негодяи, не будучи в силах лишить его жизни, лишили его прав. Они отняли у него власть и землю, они вырвали оружие из рук членов его клана, владевших им уже тридцать столетий, отняли у них даже одежду, так что теперь считается грехом носить клетчатый плед, и человек может попасть в тюрьму за то, что на нем шотландская юбка. Одного они не могли уничтожить — любви к своему вождю. Эти гинеи служат доказательством. И вот в какое дело вмешивается Кемпбелл, рыжеволосый Колин из Гленура...

— Так вы его называете Красной Лисицей? — спросил я.

— Попадись он мне только в руки! — закричал яро-

стно Алан.— Да, этот самый. Он вмешивается в эту историю и получает от короля Георга бумаги, по которым становится так называемым королевским агентом в Аппине. Вначале он остерегается и находится в приятельских отношениях с Шимусом, то есть с Джемсом Глэнским, агентом моего вожда. Но мало-помалу до ушей его доходит то, о чем я тебе только что рассказал: как бедные аппинские фермеры, огородники и стрелки отдают свои последние плоды, чтобы собрать вторую подать и отослать ее за море — Ардшилю и его бедным детям. Как ты назвал это, когда я рассказывал тебе?

— Я назвал это благородным, Алан,— сказал я.

— А ты немногим лучше обыкновенного виг! — воскликнул Алан.— Но когда это дошло до Колина Роя, то черная кровь Кемпбеллов закипела в нем. Он сидел за вином и скрежетал зубами. Как, Стюарт получал кусок хлеба, и он не мог помешать этому? Красная Лисица, если ты когда-нибудь попадешься мне на расстоянии выстрела, пусть сжалится над тобой господь! — Алан остановился, чтобы переварить свой гнев.— Что же он делает, Давид? Он объявляет, что все фермы сдаются в аренду. Он думает о своей черной душе: «Я скоро найду других арендаторов, которые заплатят больше, чем все эти Стюарты, и Макколи, и Макробы (это все имена членов моего клана, Давид) и тогда,—думает он,— Ардшилю придется собирать милостыню на большой дороге во Франции».

— Ну,—спросил я,— и что же произошло?

Алан бросил трубку, которая давно уже потухла, и положил руки на колени.

— Да,—сказал он,— этого ты никогда не угадаешь! Эти самые Стюарты, Макколи и Макробы, которым приходилось платить две арендные платы: одну королю Георгу — по принуждению, а другую Ардшилю — добровольно, предложили ему лучшую цену, чем какой-либо Кемпбелл из всей обширной Шотландии. А между тем он посылал за арендаторами далеко, до берегов Клайда и до Эдинбурга, приказывал их разыскивать и уговаривать прийти, чтобы заставить Стюарта умереть с голоду и доставить удовольствие Кемпбеллу!

— Да, Алан,—сказал я,— это странная, но хорошая история. И хотя я и виг, но рад, что он был побит.

— Побит? — переспросил Алан. — Значит, ты мало знаешь Кемпбеллов, и в особенности Красную Лисицу. Побить его? Этого не будет, пока кровь его не оросит холмов! Но, Давид, если наступит день, когда у меня будет время для охоты, то все вересковые заросли Шотландии не укроют его от моей мести!

— Алан, — сказал я, — это не по-христиански, да и не умно давать волю своему гневу. Ваши слова не причинят никакого вреда человеку, которого вы называете Лисцей, а вам самим не принесут добра. Расскажите мне все, просто все до конца. Что он сделал потом?

— Это ты правильно заметил, Давид, — сказал Алан. — Правда, что это, к сожалению, не принесет ему вреда! И если бы не твои слова о христианстве, о котором я совершенно другого мнения — иначе я не был бы христианином, — то я во всем с тобой согласен.

— Каково бы ни было ваше мнение, — ответил я, — всем известно, что христианство запрещает мстить.

— Да, — возразил Алан, — сразу же видно, что тебя учил Кемпбелл! Свет был бы очень удобен для них и подобных им, если бы не существовало молодцов с оружием за кустами вереска! Но это к делу не идет. Вот что он сделал...

— Да, — сказал я, — расскажите это.

— Итак, Давид, — продолжал он, — не будучи в состоянии отделаться от верных простолюдинов честным путем, он поклялся, что отделается от них другими средствами. Ардшиль должен умереть с голоду — вот чего он добивался. А так как те, что кормили изгнанника, не хотели отказаться от аренды, то он решил прогнать их правдой и неправдой. Для этого он послал за стряпчими, бумагами и солдатами. И наш добродушный народ должен был уложить свои пожитки и убираться из домов своих отцов, прочь из страны, где все они были вскормлены и вспоены и где играли еще детьми. И кто же наследует им? Босоногие нищие! Королю Георгу остается только вздыхать о своей аренде. Он может обойтись и без нее и сократить свои потребности — какое дело Рыжему Колину? Его желание — повредить Ардшилю. Если он сможет унести пищу со стола моего вождя или отобрать последнюю игрушку из рук его детей, он отправится к себе домой, воспевая Гленур!

— Дайте мне сказать слово,— вступился я.— Будьте уверены, что если податей собирают меньше, то, значит, правительство тоже в этом замешано. Это вина не Кемпбелла, а правительства. И если бы завтра убили этого Кемпбелла, какой был бы толк? На его место немедленно назначат другого агента.

— Ты славный малый в сражении,— сказал Алан,— но в тебе говорит кровь вигов!

Он был со мной довольно ласков, но в его презрительном тоне чувствовалось столько гнева, что я счел за лучшее переменить разговор. Я выразил свое удивление тому, что в то время, как горная Шотландия была наводнена войсками и охранялась как осажденная крепость, человек в его положении имел возможность ездить взад и вперед, не боясь ареста.

— Это легче, чем ты думаешь,— сказал Алан.— Обнаженные склоны холмов все равно что сплошная дорога: если в одном месте стоит караул, обходи другой стороной. Кроме того, много помогает вереск. И везде есть дружеские дома, хлевы и стога сена. Да, кроме того, когда говорят, что страна покрыта солдатами,— это не более как простая фраза. Солдат покрывает ровно столько места, сколько прикрывают подошвы его сапог. Однажды я удил рыбу в то время, как на противоположном склоне стоял часовой, и поймал прекрасную форель; а в другой раз сидел в кустах вереска в шести шагах от другого солдата и по его свисту научился славной песенке. Вот этой,— сказал он и просвистел мне мотив.— А кроме того,— продолжал он,— теперь не так скверно, как было в сорок шестом году. Теперь горные страны умиротворены, как говорят красные мундиры. Не мудрено, если во всей стране, от Кантейра до мыса Резса, не осталось ни шпаги, ни ружья, кроме тех, которые осторожные люди запрятали в солому на крышах! Но мне хотелось бы знать, Давид, как долго это будет продолжаться. Можно подумать, что скоро конец, раз такие люди, как Ардшиль, находятся в изгнании, а люди, подобные Красной Лисице, сидят, попивая вино, и угнетают бедных. Но трудно решить, что народ может выдержать, а чего — нет. Иначе, почему это Рыжий Колин разъезжает по моей бедной родной стране и не находит храброго малого, чтобы всадить в него пулю?

С этими словами Алан погрузился в задумчивость и долгое время сидел грустный и молчаливый.

К характеристике моего друга прибавлю еще, что он был очень искусен в игре на всевозможных инструментах, но в особенности на флейте; что он был известным поэтом на своем родном наречии; прочел много книг, как французских, так и английских; был метким стрелком, хорошим рыболовом, отлично владел как кинжалом, так и шпагой. Его недостатки были сразу заметны, и я уже узнал их все. Худшим из них была ребяческая склонность обижаться и набиваться на ссору. Со мной он сдерживался, помня о том, как мы вместе боролись в капитанской каюте, но потому ли, что я хорошо защищался, или потому, что я был свидетелем его собственной доблести,—этого я не могу сказать. Вообще же он очень любил храбрость в других, но более всего восхищался ею в Алане Бреке.

XIII. Гибель брига

Был уже вечер. Стемнело настолько, насколько вообще темнеет в это время года, то есть было еще довольно светло, когда Хозизен просунул голову в дверь капитанской каюты.

— Выходите,—сказал он,—и посмотрите, не сможете ли вы управлять судном.

— Это опять какой-нибудь из ваших фокусов? — спросил Алан.

— До фокусов ли мне теперь! — воскликнул капитан. — У меня есть другое, о чем нужно думать: бриг в опасности!

По его тревожному виду и более всего по резкому тону, которым он упомянул о брига, нам стало ясно, что он не хитрит. И потому мы оба, не особенно опасаясь предательства, вышли на палубу.

Небо было ясно, но дул сильный, холодный вестер; дневной свет еще не совсем погас, и в то же время ярко светил почти полный месяц. Бриг шел на бейдевинд, чтобы обойти юго-западный угол острова Малл.

Горы этого острова (выше всех Бен-Мор, с туманной шапкой на вершине) виднелись целиком над дугой бак-

борта. Хотя это направление не было благоприятно для «Конвента», он несся со страшной быстротой, то ныряя, то взлетая, преследуемый западной волной.

Ночь все-таки была вовсе не такая дурная для плавания в море, и я уже начинал удивляться, что так беспокоило капитана. Но вот бриг внезапно поднялся на высокую волну, и я увидел, что из освещенного луной моря точно бил фонтан, а вслед за этим мы услышали глухой шум и рев.

— Как вы думаете, что это такое? — спросил мрачно капитан.

— Море, разбивающееся о риф, — сказал Алан. — Теперь вы знаете, где он находится. Что же вам еще нужно?

— Да, — отвечал Хозизен, — если бы он был единственным...

И действительно, пока он говорил, появился другой фонтан, несколько дальше, к югу.

— Вот, — воскликнул Хозизен, — вы сами видите! Если бы я знал об этих рифах, если б у меня была морская карта или если бы остался жив Шоуэн, шестьдесят гишей не заставили бы меня рисковать моим бригом на таких камнях! Но ведь вы, сэр, хотели вести нас. Что вы на это скажете?

— Я думаю, — отвечал Алан, — что это должны быть так называемые Торрэнские скалы.

— Много ли их? — спросил капитан.

— Право, сэр, я не лоцман, — сказал Алан, — но мне кажется, что они тянутся миль на десять.

Мистер Райэч и капитан переглянулись.

— Я полагаю, что между ними есть проход! — заметил капитан.

— Без сомнения, — сказал Алан. — Но где? Впрочем, я как будто припоминаю, что проход свободнее около берега.

— Да? — сказал Хозизен. — Нам тогда придется держаться круто к ветру, мистер Райэч, и подойти настолько близко к краю Малла, насколько это возможно. Хотя и тогда еще земля будет закрывать нас от ветра, а эти камни останутся на подветренной стороне. Что же, раз мы уж попали сюда, приходится продолжать путь.

С этими словами он отдал приказание рулевому и послал Райэча на фок-мачту. На палубе находилось всего

пять человек, считая начальство; больше не было годных — или, по крайней мере, годных и согласных — исполнять свое дело людей, да и то двое из них были ранены. Как я говорил, на долю мистера Райэча выпало лезть на мачту, и он, сидя там, криком возвещал обо всем, что видел.

— Море к югу загромождено! — кричал он.

Затем, через несколько времени:

— Оно, кажется, свободнее у берега!

— Ну, сэр, — сказал Хозизен Алану, — попробуем ваш путь. Но думаю, что мы с тем же успехом могли бы довериться слепому скриачу. Дай бог, чтобы вы были правы!

— Дай бог, чтобы я был прав! — ответил Алан. — Я слышал об этом пути. Ну что же, от судьбы не уйдешь.

Как только мы подошли близко к повороту берега, рифы стали попадаться то здесь, то там, на самом нашем пути. И мистер Райэч тогда кричал, чтобы мы переменили курс. Иногда он заявлял слишком поздно: один риф был так близок к наветренной стороне, что, когда на него налетела волна, брызги попали на палубу и промочили нас, как дождь.

В такую светлую ночь мы видели опасность ясно, как днем, и это, пожалуй, было тревожнее всего. Я видел и лицо капитана, стоявшего около рулевого: он переступал с ноги на ногу, дул себе на руки и все время прислушивался, вполне владея собой. Ни он, ни мистер Райэч в сражении не показали себя с хорошей стороны, но я заметил, что в своем деле они были храбры, между тем как Алан, к моему удивлению, сильно побледнел.

— О Давид, — сказал он, — это не та смерть, о которой я мечтаю!

— Как, Алан, — воскликнул я, — неужели вы боитесь?

— Нет, — отвечал он, — но согласись сам, что это неприятный конец.

К этому времени мы, лавируя то с одной, то с другой стороны, чтобы обойти риф, но все-таки придерживаясь ветра и берега, обошли Айону и стали направляться вдоль Малла. Прибой у поворота берега был очень силен и бросал бриг во все стороны. У руля были поставлены два матроса, а иногда им помогал еще сам Хозизен. Странно было видеть, как трое сильных мужчин навали-

вались всей тяжестью на румпель, а он, точно живое существо, сопротивлялся и откидывал их назад. Это было бы особенно опасно, если бы море в этом месте не очистилось от подводных скал. Кроме того, мистер Райэч сообщил сверху, что видит впереди совершенно чистую поверхность.

— Вы были правы,— сказал Хозицен Алану.— Вы спасли бриг, сэр, и я припомню это, когда мы будем рассчитывать.

Я верю, что он не только говорил совершенно искренне, но и сдержал бы свое слово: так привязан был он к «Конвенту».

Но это осталось только предположением, так как случилось иначе, чем мы думали.

— Держите немного в сторону,— кричал мистер Райэч,— риф с наветренной стороны!

В ту же минуту прибой подхватил бриг, который повернулся по ветру, как волчок, паруса опустились, и вслед затем судно ударилось о риф с такой силой, что все мы попадали на палубу, а мистера Райэча чуть не стряхнуло с мачты.

В одну минуту я был на ногах. Риф, о который мы ударились, находился близко от юго-западного края Малла, напротив маленького островка, по имени Эррейд, лежавшего плоской и темной массой у бакборта. Иногда волна разбивалась на самой палубе, иногда она только поднимала бриг на риф, так что мы слышали сильный треск.

От страшного шума парусов, свиста ветра, блеска брызг при лунном свете и сознания опасности моя голова, должно быть, совсем закружилась, так что я с трудом понимал окружающее. Я видел, что мистер Райэч и матросы возились с лодкой, и почти бессознательно побежал помогать им. Но только что я принялся за работу, как в голове моей прояснилось. Это было нелегким делом: лодка, находившаяся на середине судна, была набита цепями, а громадные волны беспрестанно заставляли нас бросать работу и стараться держаться на ногах. Но тем не менее все работали как волы, пока было возможно.

Те из раненых, которые могли двигаться, вышли из переднего люка и начали нам помогать, тогда как осталь-

ные, беспомощно лежавшие на койках, терзали меня воплями и мольбами о спасении.

Капитан не принимал участия в работе. Казалось, он лишился рассудка. Он стоял, держась за вапты, разговаривая сам с собой, и испускал громкие стоны, когда корабль колотился о скалы. Его бриг был ему дорог, как жена и дети; он мог ежедневно наблюдать жестокое обращение с бедным Рэнсомом, но когда дело шло о брига, он, казалось, страдал вместе с ним.

За все время, что мы готовили лодку, я припоминаю только одно: глядя на берег, я спросил Алапа, что это за место, а он отвечал, что хуже его ничего не может быть, так как оно принадлежит Кемпбеллам.

Мы поставили одного из раненых наблюдать за волнами и предупреждать нас об опасности. И лодка была уже почти готова к спуску на воду, как вдруг он резко закричал: «Держитесь, ради бога!» По его голосу мы поняли, что случилось нечто не совсем обыкновенное. И действительно, огромная волна подняла бриг и перевернула его на киле. Не знаю, слишком ли поздно я услышал крик или держался слишком слабо, но при внезапном крене судна меня перебросило через борт прямо в море.

Я начал тонуть и наглотался воды, затем выплыл и увидел сияние месяца, затем стал тонуть снова. Говорят, что на третий раз человек тонет без возврата. Значит, я не такой, как другие, потому что не мог бы сосчитать, сколько раз я тонул и снова выплывал. Меня то швыряли из стороны в сторону, то колотили и захлестывали волны. Все это держало меня в таком напряжении, что я не чувствовал ни отчаяния, ни испуга.

Вскоре я заметил, что держусь за деревянный брус, который немного помогает мне плыть, и вслед за тем неожиданно очутился в спокойной воде и стал приходить в себя.

Оказалось, что я ухватился за запасной рей, и теперь с удивлением заметил, как далеко я отплыл от брига. Я все-таки закричал, но, очевидно, голос мой не мог уже достигнуть судна. Бриг все еще держался, но я не мог видеть, удалось ли опустить лодку или нет, так как был слишком далеко.

Окликая бриг, я заметил, что между ним и мною была

полоса воды, куда не попадали большие волны: она вся как бы кипела при лунном свете, поднимаясь спиралью и рассыпаясь брызгами. Временами вся эта полоса устремлялась в одну сторону, как хвост живой змеи; иногда на мгновение все пропадало, а затем закипало снова. Я не имел ни малейшего представления, что бы это могло быть, и мое неведение увеличивало мой страх. Но теперь я знаю, что, вероятно, то было морское течение, которое, жестоко швыряя, отнесло меня так далеко и, наконец, как бы устав от игры, бросило вместе с запасным реем ближе к берегу.

Я лежал теперь на воде совершенно спокойно и чувствовал, что если и не утону, то умру от холода. Берега Эррейда были близко: при свете луны я мог различить кусты вереска и слои сланца на скалах.

«Ну,—подумал я,—неужели я не смогу добраться туда?»

Я не умел хорошо плавать, так как воды Иссена в наших местах были не глубоки, но, держась обеими руками за рей и болтая обеими ногами, я все-таки скоро почувствовал, что двигаюсь вперед. Это была трудная и страшно медленная работа. Приблизительно через час я, брыкаясь и плескаясь, добрался между двумя косами до песчаной бухты, окруженной низкими холмами.

Вода тут была совершенно спокойной, и не было заметно никакого прибоя. Месяц светил ясно, и я подумал, что никогда не видал более пустынного и безлюдного места. Но все же это была суша. Когда наконец стало так мелко, что я мог бросить рей и дойти пешком до берега, я не знаю, что чувствовал сильнее — усталость или благодарность судьбе за спасение. Вероятно, и то и другое в равной степени. Знаю только одно: я никогда еще так не уставал и не воссылал такой горячей благодарности богу.

XIV. Островок

С моим выходом на берег начинается самая злополучная часть моих приключений. Было половина первого ночи, и хотя горы и защищали от ветра, но все-таки ночь была холодная. Боясь замерзнуть, если я останусь непо-

движным, я снял сапоги и, несмотря на усталость, стал ходить босиком взад и вперед по песку, ударяя себя то в грудь, то по плечам в надежде согреться. Не слышно было ни голоса человека, ни рева скота. Ни один петух не кричал, хотя это было время их первого пробуждения. Только прибой разбивался вдали, напоминая мне об опасности, пережитой мною и моими спутниками. Прогулка по берегу в такой ранний час, в таком пустынном месте вселила в меня нечто вроде страха.

Как только начало светать, я надел сапоги и взобрался на холм. Это был самый неприятный подъем в моей жизни: я беспрестанно падал между большими глыбами гранита или же перепрыгивал с одной на другую. Когда я добрался до вершины, уже совсем рассвело. Незаметно было следов ни лодки, ни брига, который, вероятно, снялся с рифа и затонул. Не было видно ни единого паруса на океане, и, насколько я мог разглядеть, на суше тоже не было ни людей, ни жилищ.

Мне страшно было подумать о судьбе моих товарищей, глядя на эту пустыню. Я и без того был измучен мокрой одеждой, усталостью и голодом, который я начал испытывать. Я пошел к востоку вдоль южного берега, надеясь найти дом, где бы я мог обогреться и, может быть, услышать про тех, кого потерял. Во всяком случае, я надеялся, что взойдет солнце и высушит мое платье.

В скором времени меня остановил залив, или излучина моря, который, казалось, вдавался довольно далеко в сушу. И так как я не мог переправиться через него, то по необходимости должен был переменить направление и обойти залив. Переход был очень труден: не только весь Эррейд, но и ближайшая часть Малла, называемая Росс, представляли какой-то хаос гранитных скал с растущими между ними кустами вереска. Сначала залив все суживался, как я и ожидал, но вдруг, к моему удивлению, он стал снова расширяться. Я долго ломал над этим голову, все еще не догадываясь о правде; наконец, дойдя до подъема, я понял, что выброшен на маленький бесплодный остров и со всех сторон отрезан водой от мира.

Я ждал солнца, надеясь, что оно согреет и обсушит меня. Но на рассвете среди густого тумана пошел дождь, так что положение мое стало отчаянным.

Стоя на дожде и дрожа от холода, я не знал, что делать, пока мне не пришло в голову, что залив можно перейти вброд. Я вернулся к самому узкому месту и вошел в воду. Но в трех ядрах от берега я погрузился в нее с головой и остался жив только благодаря божьей милости, а не собственной осторожности. Моя одежда не стала более мокрой — это вряд ли было возможно, — но мне сделалось еще холоднее после этой неудачи. Опять потеряв надежду, я почувствовал себя еще более опечаленным.

Вдруг я вспомнил о рее. Он вынес меня из течения и, вероятно, поможет мне благополучно перебраться через этот небольшой спокойный заливчик. При этой мысли я поспешно отправился на край островка с целью найти рей и принести сюда. Это было во всех отношениях скучное путешествие, и если бы меня не поддерживала надежда, я бы бросился на землю и отказался идти дальше. От морской ли воды или от начинающейся лихорадки я мучился жаждой и должен был по пути останавливаться и пить болотистую воду из луж.

Наконец, еле живой, я дошел до бухты. Сперва я подумал, что рей уплыл немного дальше того места, где я оставил его, и в третий раз вошел в воду. Гладкий и плотный песок постепенно опускался, так что я мог идти до тех пор, пока вода не дошла мне до горла и маленькие волны не стали плескаться в лицо. Но на этой глубине ноги отказались служить мне, так что я не решился идти далее. Рей же спокойно качался передо мной на расстоянии двадцати футов.

Я терпеливо переносил все до этого последнего разочарования, но тут, выйдя на берег, я бросился на песок и заплакал.

Воспоминание о времени, проведенном на острове, до сих пор для меня так ужасно, что я потороплюсь покончить с ним. Во всех книгах, где я читал о людях, потерпевших крушение, карманы их оказывались набитыми инструментами или, как нарочно, вместе с ними выбрасывало на берег ящик с разными необходимыми вещами. Мое положение было совсем иное. В карманах моих не было ничего, кроме денег и серебряной пуговицы Алана. И так как я рос в стране, далекой от моря, то знаний о нем у меня было так же мало, как и орудий.

Мне известно было, что раковины считаются пригодными для еды, а среди скал на острове я нашел множество плоских раковин, которые с трудом мог оторвать от места, не зная, что при этом нужна только быстрота. Кроме того, были еще маленькие раковины, называвшиеся башенками. Эти два вида моллюсков служили мне единственной пищей. Я съедал их холодными и сырыми и был так голоден, что сначала они показались мне восхитительными.

Может быть, для моллюсков уже прошел сезон или в воде, окружавшей остров, было что-то вредоносное, но, поев их в первый раз, я почувствовал головокружение и тошноту и долгое время пролежал замертво. Вторая проба той же пищи — другой у меня не было — оказалась удачнее и подкрепила мои силы. Но во все время моего пребывания на острове я не знал, чего ожидать после еды: иногда все сходило благополучно, а иногда начиналась мучительная тошнота, причем я никогда не мог понять, что за раковина так подействовала на меня.

Весь день лил дождь; остров весь вымок, и на нем нельзя было найти сухого места. Когда я лег спать между двумя глыбами скал, образовавшими как бы крышу, ноги мои очутились в болоте.

На второй день я обошел остров со всех сторон, но нигде не нашел ничего лучшего. Весь он был пустынный и скалистый, не заметно было ничего живого, кроме дичи, убить которую мне было нечем, да чаек, в громадном количестве посещающих нависшие над водой скалы. Излучина, или пролив, отделявшая остров от Росса, на севере расширялся в бухту, а бухта, в свою очередь, переходила в Айонский пролив, окрестности которого я избрал своим местопребыванием.

Для выбора своего я имел веские причины: в этой части острова была хижина вроде будки, где ночевали рыбаки, приезжавшие сюда ловить рыбу. Дерповая крыша совершенно провалилась, так что хижина никуда не годилась и защищала меня меньше, чем скалы. Важнее было то, что здесь в большом количестве можно было найти моллюсков, которыми я питался. Во время отлива я мог сразу набрать их множество, а это, без сомнения, было большим удобством. Другая причина была еще

важнее: я никак не мог привыкнуть к ужасному одиночеству на острове и все оглядывался по сторонам, точно меня преследовали, волнуемый страхом и надеждой увидеть приближение живого существа. Поднявшись немного по склону холма на берегу бухты, я мог увидеть большую старинную церковь и крыши домов обитателей Айоны. А по другую сторону, на низменности Росса, я мог разглядеть, как утром и вечером поднимался дым, по-видимому, из жилища, находившегося в глубине долины.

Дрожа от холода в мокрой одежде, с помутившимся сознанием от одиночества, я подолгу смотрел на этот дым, думая об очаге и обществе людей, пока мое сердце не начинало колотиться. То же действие производили на меня крыши. Хотя вид удобного человеческого жилья еще более усиливал мои страдания, все же он поддерживал во мне надежду, помогая глотать сырые раковины, которые мне скоро опротивели, и спасая от чувства ужаса, которое я испытывал, оставаясь один с птицами под дождем среди мертвых скал у холодного моря.

Я говорю, что это поддерживало во мне надежду, потому что мне казалось тогда невозможным умереть на берегу родной страны, в виду церковной колокольни и дыма людских жилищ. Но прошел второй день, и хотя я пристально наблюдал, не покажутся ли лодки в проливе и не пройдут ли люди по Россу, помощь все еще не появлялась. Дождь лил по-прежнему. Я лег спать совершенно вымокший и с болью в горле, но найдя хоть в том немного утешения, что пожелал спокойной ночи моим ближайшим соседям на Айоне.

Карл II сказал, что в английском климате человек может проводить вне дома больше дней в году, чем где-либо в другом климате. Сейчас видно, что это сказал король, у которого был дворец и сухая одежда, и что во время бегства из Ворчестера ему, вероятно, больше везло, чем мне на моем несчастном острове. Лето было в разгаре, а дождь шел уже более суток, и погода прояснилась только после полудня на третий день.

Это был день происшествий. Утром я увидел красного оленя, самца, с прекрасно разветвленными рогами, стоявшего под дождем на краю острова. Заметив, что я вылезаю из-под скалы, он побежал рысью на другую сто-

ропу. Я подумал, что он, вероятно, переплыл пролив с Росса, хотя и не мог понять, что могло привлечь животное на Эррейд.

Немного позже, когда я лазал за своими раковинами, меня поразил звук гиней, упавшей на скалу прямо передо мной и соскочившей в море. Возвратив мне деньги, матросы не только оставили себе треть суммы, но и кожаный кошелек моего отца, так что с того дня я носил золото просто в кармане, застегнутом на пуговицу. Теперь я понял, что мой карман разорвался, и поспешно ощупал его рукой. Но это было все равно, что запереть конюшню, когда лошадь уже украли; я уехал с берега Куинзферри приблизительно с пятью — десятью фунтами, теперь же нашел в своем кармане лишь две гиней и серебряный шиллинг.

Правда, потом я подобрал третью гиней, блестящую на траве. Все вместе составляло три фунта и четыре шиллинга в английской монете. Вот каково было состояние юноши, законного наследника поместья, а теперь умирающего с голода на острове, на самой окраине дикого Гайлэнда.

Мое положение беспокоило меня и в другом отношении. На третье утро я действительно был достоин жалости: моя одежда начала гнить; чулки совсем износились, так что икры мои были обнажены; руки распухли оттого, что они были постоянно мокрыми, горло болело, силы исчезали, мне была так противна мерзкая пища, которой я должен был довольствоваться, что меня едва не тошнило от одного ее вида.

Но худшее ждало меня впереди.

На северо-западе Эррейда расположена довольно высокая скала, которую я часто посещал, так как с ее плоской вершины был виден пролив, но, за исключением времени, потраченного на сон, я не оставался подолгу на одном месте: мое несчастье не давало мне покоя, и я изнурял себя постоянным бесцельным блужданием взад и вперед под дождем.

Впрочем, как только показалось солнце, я прилег на вершине скалы, чтобы высушиться, и не могу выразить словами, какую отраду принес мне солнечный свет. Он вернул мне надежду на освобождение, в котором я уже отчаялся, и я с новым интересом стал рассматривать

море и Росс. К югу от скалы выступала часть острова, закрывавшая вид на океан, так что лодка могла с этой стороны подойти вплотную к острову, а я мог не заметить ее.

Внезапно этот скалистый мыс быстро обогнула, направляясь к Айоне, лодка с коричневым парусом и двумя рыбаками. Я закричал, потом упал на колени на скале и, поднимая руки, умолял их о спасении. Они были достаточно близко, чтобы услышать мой голос, — я мог даже рассмотреть цвет их волос, и не было сомнения, что они видели меня, потому что они со смехом закричали что-то на гэльском наречии. Но лодка не свернула, а пролетела мимо меня прямо к Айоне.

Я не мог поверить в такую жестокость и долго бежал по береговым скалам, жалобно взывая к рыбакам. Даже когда они уже не могли услышать меня, я продолжал звать их и махать им руками, а когда они совсем исчезли, я подумал, что сердце мое разорвется на части. Во время моих невзгод я плакал только дважды: в первый раз, когда не мог достать рей; во второй раз, когда рыбаки не отозвались на мою мольбу. Сейчас я плакал и кричал, точно капризный ребенок, разрывая дерн ногтями и уткнув лицо в землю. Если бы желание могло убить человека, то рыбаки не дожили бы до утра, и я бы, наверное, умер на этом пустынном острове.

Когда мой гнев немного утих, я опять принялся за еду, но с таким отвращением, что с трудом мог его преодолеть. И правда, лучше бы мне было попоститься, потому что моллюски снова отравили меня. Мои прежние страдания возобновились снова: горло у меня болело так, что я едва мог глотать, меня трясла лихорадка и не переставали стучать зубы. Я пришел в то болезненное состояние, для которого нет названия ни на шотландском, ни на английском языках. Я подумал, что умираю, и исповедался пред богом, простив всех, даже дядю и рыбаков; после этого мне стало легче. Ночь была сухая; одежда моя тоже значительно высохла. За все время моего пребывания на острове мне еще не было так хорошо, и я наконец заснул с чувством благодарности в сердце.

На следующий день — четвертый день моей ужасной жизни — я почувствовал, что силы мои падают. Но светило солнце, воздух был теплый, и съеденные мною ра-

кушки не причинили мне вреда, а, напротив, вернули бодрость.

Только что я взошел на скалу — по утрам я прежде всего отправлялся туда, — как заметил лодку, плывущую по проливу и направлявшуюся, как мне показалось, прямо на меня.

Я одновременно почувствовал и надежду и страх; мне пришло в голову, что вчерашние рыбаки пожалели о своей жестокости и возвратились, чтобы помочь мне. Но я не мог вторично испытать разочарование, подобное вчерашнему. Поэтому я повернулся спиной к морю и не оглядывался до тех пор, пока не сосчитал в уме несколько сот раз. Лодка по-прежнему направлялась к острову. Я еще раз отвернулся и, как мог медленнее, сосчитал до тысячи, между тем как сердце мое болсзненно билось. На этот раз стало очевидно, что лодка направлялась прямо на Эррейд!

Я дольше не мог сдерживаться и побежал на берег, а потом в воду, прыгая со скалы на скалу, пока можно было идти. Я не утонул каким-то чудом. Когда пришлось наконец остановиться, ноги мои дрожали, а рот был так сух, что я должен был смочить его морской водой, прежде чем закричать.

Теперь, когда лодка приблизилась, я мог разглядеть, что это те же самые рыбаки, которых я видел вчера. Я узнал их по волосам — у одного были белокурые, а у другого черные. Но теперь с ними был третий человек, который, казалось, принадлежал к другому классу.

Как только они подошли на расстояние, позволявшее нам разговаривать, то спустили парус и остановились. Несмотря на мои мольбы, они не подходили ближе, и меня более всего испугало, что третий в лодке громко смеялся, глядя на меня.

Затем он встал и заговорил долго и быстро, сильно жестикулируя. Я сказал, что не понимаю по-гэльски, но он так рассердился, что я начал подозревать, не воображает ли он, что говорит по-английски. Прислушиваясь внимательнее, я поймал слова «какой бы ни», повторенные несколько раз, но все остальное говорилось на гэльском наречии, столь же непонятном для меня, как греческий или древнееврейский языки.

— Какой бы ни...— повторил я, чтобы показать ему, что понимаю эти слова.

— Да, да,— сказал он и взглянул на других, как будто говоря: «Я же сказал вам, что говорю по-английски», и снова по-прежнему продолжал по-гэльски.

На этот раз я поймал другое слово: «отлив». Тогда у меня появилась искра надежды. Я обратил внимание на то, что он все время показывал на главную часть Росса.

— Вы хотите сказать, что когда будет отлив?...— закричал я и не мог кончить.

При этих словах я повернулся спиной к их лодке, где мой собеседник снова начал хихикать, вернулся опять на берег, прыгая с камня на камень, и пустился бежать по острову, как никогда прежде не бегал. Через полчаса я вышел на берег излучины. Действительно, она обратилась в небольшую лужу, которую я перешел, замочив ноги не выше колен, и с радостным криком перебрался на главный остров.

Человек, выросший у моря, и суток не оставался бы на Эррейде, который является не чем иным, как так называемым приливным островом. Два раза в сутки можно переходить с него на Росс и обратно или по совсем сухому дну, или, в крайнем случае, замочив только ноги. Даже я, наблюдая в ожидании отлива, как убывает и прибывает вода в бухте — в отлив удобнее доставать раковины,— даже я скоро бы понял этот секрет и нашел бы свое спасение, если бы посидел и подумал, а не злился на свою судьбу. Не удивительно, что рыбаки не поняли меня. Удивительно то, что они вообще догадались о моем жалком положении и решили вернуться. Я терпел на этом острове голод и холод почти сто часов. Если бы не рыбаки, я мог бы умереть там по своей глупости. Но даже и теперь я заплатил за нее довольно дорого, не только прошлыми мучениями, но и своим настоящим положением: я был одет как нищий, едва ходил и очень страдал от боли в горле.

Мне приходилось встречать много и злых и глупых людей, и я уверен, что в конце концов и те и другие расплачиваются за свои поступки, но только дураки гораздо раньше.

XV. „Мальчик с серебряной пуговицей“.

По острову Маллу

Часть острова Малл, называемая Росс, на которую я теперь попал, была такая же скалистая и труднопроходимая, как и остров, только что мною покинутый: она вся состояла из болота, терновника и больших камней. Может быть, и были дороги для тех, кто хорошо знал местность, я же мог руководствоваться только собственным чутьем и вершиной Бен-Мора.

Я старался идти на дым, который так часто видел со своего острова, и, несмотря на усталость и трудность пути, добрался часов в пять или шесть утра до домика в глубине небольшой ложбины. Он был низкий и длинный, сложен из нетесаного камня и крытый дерном. На валу против дома сидел на солнце старик и курил грубку.

С помощью нескольких английских слов, которые знал старик, он объяснил мне, что мои товарищи по плаванию благополучно пристали к берегу и на другой день закусывали в этом самом доме.

— Был с ними человек, одетый, как джентльмен? — спросил я.

Он сказал, что на всех были грубые плащи, но что действительно один из них, который пришел первым, был в коротких панталонах и в чулках, тогда как другие — в матросских брюках.

— А была на нем шляпа с перьями? — спросил я.

Старик отвечал, что шляпы не было и человек этот пришел с непокрытой головой, как и я.

Сперва мне пришло в голову, что Алан потерял свою шляпу, но потом, вспомнив, что шел дождь, я решил, что он, верно, спрятал ее под плащом. Я улыбнулся, отчасти, потому, что друг мой был спасен, а отчасти при мысли о его тщеславной заботе об одежде.

Тогда старый джентльмен ударил себя рукой по лбу и воскликнул, что я, вероятно, «мальчик с серебряной пуговицей».

— Да, — отвечал я не без удивления.

— Хорошо, — продолжал старый джентльмен, — мне поручено передать вам, чтобы вы следовали за вашим другом в его страну через Торосэй.

Затем он спросил о моих приключениях, и я расска-

зал ему свою историю. Южанин, наверно, рассмеялся бы, но этот старый джентльмен — я называю его так благодаря его манерам, хотя одет он был в лохмотья, — выслушал все с серьезным и сострадательным видом. Когда я кончил, он взял меня за руку, повел в хижину — дом его был не лучше хижины — и представил своей жене, точно она была королевой, а я — герцогом.

Добрая женщина поставила передо мной овсяный хлеб и холодную куропатку, все время улыбалась и хлопывала меня по плечу — по-английски она не говорила, — а старый джентльмен, не желая отставать от нее, сварил мне крепкий пунш из местного спирта. Все время, пока я ел, а затем пил пунш, я едва верил своему счастью; этот дом, хотя и полный торфяного дыма и дырявый, как решето, казался мне дворцом.

Пунш вызвал у меня сильную испарину, после чего я крепко заснул; добрые люди уложили меня, и только на следующий день пополудни я отправился в путь. Горло у меня почти перестало болеть; настроение мое тоже очень улучшилось от здоровой пищи и хороших известий. Как я ни настаивал, старый джентльмен не взял денег и даже подарил мне старый колпак на голову. Однако я должен признаться, что, едва потеряв дом из виду, я тщательно высгирал его подарок в придорожном ручье.

Я подумал: «Если все дикие гайлэндеры таковы, то я желал бы, чтобы мой народ был еще более диким».

Я поздно вышел и часто сбивался с пути. Я видел много народу: одни возделывали маленькие бесплодные поля, неспособные прокормить и кошку; другие пасли коровенок ростом не больше ослов. Так как шотландский горный костюм был запрещен законом со времени восстания и народ должен был носить нелюбимую им одежду лоулэндеров, то я поражался разнообразию и странности костюмов. Некоторые ходили голыми, в пальто или плащах, и носили брюки привязанными к спине, как ненужное бремя; другие, желая подражать тартану¹, сшили себе плащи из разноцветных полос, похожие на старушечьи одеяла; третьи по-прежнему щеголяли в шотландской юбке, но при помощи нескольких стежков превращали ее в пару коротких панталон, как у голландцев.

¹ Т а р т а н — национальный костюм шотландских горцев.

Все это было запрещено и строго преследовалось законом в надежде уничтожить дух кланов. Но здесь, на отдаленном острове, меньше обращали внимания на запреты за отсутствием доносчиков.

С тех пор как с грабежами было покончено, а вожди кланов не держали больше открытого стола, народ жил в глубокой нищете. Дороги — даже такая извилистая проселочная дорога, как та, по которой я шел, — были усеяны нищими. И здесь я опять заметил различие между моей родиной и этой страной. Наши нищие, даже профессиональные, патентованные нищие, были мужиковатым, лстивым народом, и если вы давали им плэк и спрашивали сдачи, они очень вежливо возвращали вам боддло¹. Но эти гайлэндеры сохраняли собственное достоинство, просили милостыню только на покупку нюхательного табака, как они уверяли, и не давали сдачи.

Разумеется, это меня не касалось и только развлекало в дороге. Гораздо важнее было то, что очень немногие говорили по-английски, да и эти немногие не особенно стремились предоставить свои знания в мое распоряжение. Я знал, что место моего назначения Торосэй, и, повторяя им это название, делал знак рукой, но, вместо того чтобы просто указать мне направление, они начинали разглагольствовать на гэльском наречии, доводившем меня до одурения, и поэтому не мудрено, что я часто сбивался с пути.

Наконец, около восьми часов вечера, я, очень усталый, дошел до уединенного дома и попросил впустить меня, но получил отказ, пока не догадался о власти денег в такой бедной стране и не показал одну из моих гиней, держа ее между указательным и большим пальцами. Тогда владелец дома, который раньше притворялся, что не говорит по-английски и знаками гнал меня прочь от двери, вдруг заговорил совершенно чисто на моем языке и согласился за пять шиллингов приютить меня на ночь и проводить на другой день до Торосэя.

Эту ночь я спал беспокойно, боясь, чтобы меня не ограбили, но тревога моя была напрасна: мой хозяин не был разбойник, а только большой плут, живший в крайней бедности. Но и соседи его были не богаче, так что на следующее утро нам пришлось идти за пять миль

¹ Плэк и боддло — мелкие монеты в Шотландии.

к одному «богачу», как выражался мой хозяин, чтобы разменять одну из моих гиней. Может быть, он и был богачом в Малле, но на юге его, наверное, не сочли бы таковым, так как, для того чтобы набрать двадцать шиллингов серебром, ему пришлось отдать все свои наличные деньги, обшарить весь дом и еще признаться кое-что у соседа. Один шиллинг он оставил себе, уверяя, что не в состоянии обойтись без мелочи, так как такую крупную монету не скоро разменяешь. Но все-таки он был очень любезен и разговорчив, пригласил нас обоих отобедать с его семьей и сварил пунш в прекрасной фарфоровой чашке, после чего мой плутоватый проводник так развеселился, что отказался идти дальше.

Я стал сердиться и обратился за помощью к богачу — его звали Гектор Маклин, — в присутствии которого я заключил сделку с проводником, и заплатил ему пять шиллингов. Но Маклин, также выпивший, клялся, что ни один джентльмен не должен уходить из-за стола, после того как сварен пунш. Мне ничего более не оставалось, как сидеть и слушать якобитские тосты и гэльские песни, пока все не опьянели и не побрели, спотыкаясь, на ночьлег, кто к постелям, а кто на гумно.

На следующий день — четвертый день моего путешествия — мы поднялись, когда еще не было пяти часов, но мой плутоватый проводник сейчас же принялся за бутылку, и я целых три часа не мог вытащить его из дому, и это, как увидите, повлекло за собой новую неудачу.

Пока мы спускались в поросшую вереском долину, все шло хорошо, хотя проводник постоянно оглядывался назад и на мои расспросы только усмехался. Но не успели мы обогнуть холм и потерять из виду дом Маклина, как он объявил, что Торосэй находится прямо передо мной и что мне надо все время держаться вершины холма, который он мне указал.

— Мне это вовсе не нужно, — сказал я, — ведь вы идете со мной.

Но бессовестный плут отвечал по-гэльски, что не понимает английского языка.

— Ну, любезный, — заявил я, — я прекрасно знаю, что ваши познания в английском то пропадают, то снова возвращаются. Скажите: что нужно сделать, чтобы вернуть их? Заплатить еще?

— Еще пять шиллингов,—сказал он,—и я доведу вас.

Подумав немного, я предложил ему два, на что он с жадным видом согласился, но потребовал деньги вперед — «на счастье», говорил он, но я думаю, что, скорее, на мое несчастье.

Два шиллинга действовали недолго: не пройдя и двух миль, он уселся около дороги и снял свои грубые башмаки, как человек, собравшийся отдыхать.

— А,— рассердился я,— вы опять не понимаете по-английски?

Он нагло ответил:

— Не понимаю.

Тут я вышел из себя и поднял руку, чтобы ударить его. Он вытащил из своих лохмотьев нож и откинулся назад, оскалив зубы, как дикая кошка. Забыв все на свете, я бросился на него, левой рукой оттолкнул нож, а правой ударил его по лицу. Я был сильный малый и притом до крайности взбешен, а мой противник — небольшого роста, поэтому он тяжело упал на землю. К счастью, нож выпал у него из рук во время падения.

Я подобрал нож и башмаки, пожелал ему всего хорошего и продолжал путь, оставив его безоружным и босым. Я весело шел вперед, уверенный по многим причинам, что покончил с этим мошенником. Во-первых, он знал, что больше не получит от меня денег; во-вторых, башмаки в этой стране стоили только несколько пенсов; в-третьих, нож свой, который на самом деле был кинжалом, он носил противозаконно.

Через полчаса я нагнал высокого человека в лохмотьях, шедшего довольно быстро, но нащупывавшего дорогу палкой. Это был слепой, назвавший себя законоучителем, что должно было бы успокоить меня. Однако мрачное, злое выражение его лица не нравилось мне, а когда я пошел с ним рядом, увидел, что из-под лацкана его кармана выглядывает стальной приклад пистолета. За ношение оружия полагался штраф в пятнадцать фунтов стерлингов на первый раз и высылка в колонии — на второй. Я не мог понять, зачем законоучителю ходить вооруженным и на что слепому пистолет.

Я рассказал ему про своего проводника, так как гордился своим поступком, и тщеславие на этот раз взяло верх над моим благоразумием. При упоминании о пяти

шиллингх он так громко возмущился, что я решил лучше не упоминать о двух других и радовался, что он не видит моего сконфуженного лица.

— Я дал слишком много? — спросил я, немного запинаясь.

— Слишком много! — воскликнул он. — Да я охотно сам провожу вас до Торосэя за рюмку водки, и в придачу вы будете наслаждаться обществом довольно образованного человека.

Я сказал, что не понимаю, как слепой может служить проводником. На эти слова он громко рассмеялся и ответил, что при помощи своей палки видит не хуже орла.

— По крайней мере, на острове Малле, — прибавил он, — где мне знакомы каждый камень и каждый кустик вереска. Смотрите, — сказал он, помахивая палкой направо и налево, — там внизу течет речка, а выше стоит холмик, и на его вершине лежит камень. Почти у подошвы холма проходит путь на Торосэй. Эта же дорога предназначена для скота, и потому так утоптана и вьется зеленой лентой среди вереска.

Я должен был сознаться, что все это совершенно верно, и выказал свое удивление.

— О, — сказал он, — это еще что! Поверите ли, что когда до опубликования акта здесь еще можно было носить оружие, я умел даже стрелять!.. Да, умел!.. — воскликнул он, затем, взглянув искоса, прибавил: — Если б у вас был пистолет, я бы показал вам свое искусство.

Я отвечал, что у меня нет оружия, и отошел от него подальше. Если б он только знал, что в это время из его кармана высовывался пистолет и я мог ясно видеть, как на его рукоятке играют лучи солнца! Но, на мое счастье, он не знал этого и думал, что все шито-крыто, и продолжал лгать.

Вскоре он начал хитро выпрашивать меня, откуда я иду, и богат ли я, и могу ли я разменять ему пять шиллингов, — он уверял, что они лежат у него в кошельке, — и все время старался приблизиться ко мне, тогда как я держался от него подальше. Мы теперь шли поочередно, как в хороводе, переходя с одной стороны на другую, по зеленой скотопрогонной дороге, пересекавшей холмы по направлению к Торосэю. Я так ясно сознавал свое превосходство, что был в прекрасном настроении и нахо-

дил удовольствие в этой игре в жмурки, но законоучитель сердился все больше и больше и, наконец, начал ругаться по-гэльски и старался палкой ударить меня по ногам.

Тогда я объявил ему, что и у меня, как у него в кармане, есть пистолет и что если он не пойдет через холм прямо на юг, я пушу ему пулю в лоб.

Он сразу стал учтивым и некоторое время тщетно пытался смягчить меня. Наконец он выругал меня по-гэльски и убрался прочь. Я смотрел ему вслед, пока он, нащупывая дорогу палкой, зашагал через болото и терновники и, обогнув холм, не исчез в ближайшей ложбине. Затем я продолжал путь по направлению к Торосэю, довольный, что путешествую один, а не с этим ученым мужем. То был несчастливый день, и два человека, от которых я только что отделался, были самыми худшими из тех, кого я встретил в горной Шотландии.

В Торосэе, на Маллском проливе, фасадом к Морвену, стояла гостиница, хозяин которой происходил из рода Маклинов, кажется, очень знатного. Содержать гостиницу в Райлэнде считается еще более почетным занятием, чем у нас, потому ли, что с ним связано понятие о гостеприимстве, или потому, что праздный и пьяный образ жизни считается приличным джентльмену. Хозяин хорошо говорил по-английски и, найдя, что я был в некотором роде ученым, проэкзаменовал меня сперва по французскому языку, в знании которого я его легко побил, а затем по латинскому, в котором мы оказались почти равносильными. Это веселое соревнование сразу поставило нас в дружеские отношения; я сидел и пил с ним пунш — вернее, смотрел, как он пил, — пока он, подвыпив, не начал рыдать у меня на плече.

Я будто случайно показал ему пуговицу Алана, но было ясно, что он не только никогда ее не видел, но и не слышал о ней. Он питал некоторую неприязнь к семье и друзьям Ардшиля и, до того как напился, прочел мне пасквиль на прекрасном латинском языке, но весьма дурного содержания, написанный им элегическими стихами на одного из членов семьи этого дома.

Когда я рассказал ему про законоучителя, он покачал головой и заметил, что я счастливо отделался.

— Это очень опасный человек, — прибавил он, — его

зовут Дункан Макэй. Он умеет стрелять по слуху на несколько ярдов. Его часто обвиняли в грабежах на большой дороге и один раз даже в убийстве.

— Лучше всего то, что он называет себя законоучителем,— сказал я.

— А отчего бы ему так не называть себя,— отвечал он,— если он действительно законоучитель? Маклин из Дюарта дал ему это звание из сострадания к его слепоте. Но, пожалуй, это было неосторожно, так как теперь под предлогом обучения юношества закону божью он вечно бродит по большим дорогам, а это, без сомнения, большое искушение для бедняка.

Наконец хозяин, не будучи более в состоянии пить, указал мне постель, на которую я улегся в прекрасном расположении духа: без особенной усталости я прошел в четыре дня значительную часть большого и извилистого острова Малл, от Эррейда до Торосэя, что по прямому пути составляет пятьдесят миль, а с моими скитаниями — около ста. В конце этого длинного путешествия я даже чувствовал себя гораздо бодрее духовно и физически, чем в начале его.

XVI. „Мальчик с серебряной пуговицей“.

По Морвену

От Торосэя до Кинлохалина на другом берегу существует регулярное сообщение на пароме. Оба берега пролива принадлежали сильному клану Маклинов, и почти все пассажиры, переправлявшиеся вместе со мной на пароме, были из того же клана. Шкипера барки звали Нэйль Рой Макроб. А так как это было одно из имен клана Алана Брека, который сам послал меня к этому перевозу, мне очень хотелось поскорей поговорить наедине с Нэйлем Роем.

На переполненной народом барке это было, конечно, невозможно, а переправа совершалась очень медленно: ветра не было и грести можно было только двумя веслами с одной стороны и одним веслом с другой, так как барка была плохо оборудована. Перевозчики охотно позволяли пассажирам по очереди помогать им, и вся ком-

пания проводила время за пением гэльских песен. Песни, морской воздух, добродушие и хорошее настроение присутствовавших, прекрасная погода — все это делало плавание очень приятным.

Впрочем, не обошлось без печальных переживаний. В устье Лох-Алина стояло на якоре морское судно. Сначала я предположил, что это один из королевских крейсеров, наблюдавших зимой и летом за этим берегом, чтобы препятствовать его сношениям с Францией. Но когда мы подошли поближе, стало ясно, что это торговое судно. Особенно меня поразило, что не только палуба, но и весь берег чернел народом, а по морю беспрестанно сновали шлюпки. Подойдя ближе, мы услышали громкие причитания и душераздирающий плач.

Тут я понял, что это эмигрантское судно, направляющееся в американские колонии.

Когда мы приблизились на нашей барке к судну, изгнанники стали нагибаться через борт, плача и простирая руки к моим спутникам, среди которых находились их близкие друзья. Я не могу сказать, долго ли это продолжалось, так как все утратили понятие о времени. Но капитан судна, который, казалось, совсем потерял голову — и не мудрено — от этого плача и всеобщей сумятицы, наконец подошел к нам и попросил нас отойти.

Когда Нэйль отплыл, главный певец на барке затянул меланхолическую песнь, подхваченную немедленно как эмигрантами, так и их товарищами на берегу. Песня зазвучала повсюду, точно плач по умирающим. Я видел, как слезы текли по щекам мужчин и женщин, а мотив песни глубоко растрогал даже меня.

В Кинлохалине на берегу я отозвал Нэйля в сторону и спросил, не принадлежит ли он к аппинцам.

— Да. Ну и что же из этого? — отвечал он.

— Я ищу одного человека, — сказал я, — я думаю, что вы имеете о нем сведения. Его зовут Алан Брек. — И, вместо того чтобы показать ему пуговицу, я очень глупо попытался сунуть ему в руку шиллинг.

Он отступил назад.

— Вы меня оскорбляете, — сказал он, — не так следует джентльмену поступать с другим джентльменом. Человек, которого вы ищете, теперь во Франции, но если б он даже был в моем кармане, а вы представляли

бы из себя мешок с шиллингами, я не тронул бы волоса на его голове.

Я увидел, что пошел ложным путем, и, не теряя времени на извинения, показал ему пуговицу.

— Хорошо, хорошо,— сказал Нэйль,— мне кажется, что вам следовало начать с этого конца. Если вы «мальчик с серебряной пуговицей», то и ладно: мне поручено проводить вас до места. Но если позволите быть откровенным,— сказал он,— вам никогда не следует упоминать имени Алана Брека, а также не следует предлагать денег гайлэндскому джентльмену.

Мне было очень трудно найти извинения: ведь не мог же я сказать ему — а это было правдой,— что пока он не назвал себя джентльменом, мне это и в голову не могло прийти. Нэйль, со своей стороны, не имел желания продолжать со мной разговор: он только хотел исполнить данные ему приказания и покончить дело со мной. Поэтому он торопился познакомить меня с моим маршрутом: я должен был переночевать на кинлохалинском постоялом дворе, на следующий день пройти по Морвену до Ардгура и провести ночь в доме Джона Клайморского, предупрежденного об этом; на третий день переправиться через один лох¹ у Коррана и через другой у Балахклиша, а затем спросить дорогу к дому Джемса Глэнского в Аухарне, в Аппинском Дюоре. Как видите, мне часто приходилось переправляться на лодке, так как в этих местах море глубоко врзается в скалы и извивается вокруг них. Страну эту легко защищать, но трудно по ней путешествовать, и вся она представляет собой серию диких и мрачных пейзажей.

Нэйль дал мне еще несколько советов: не говорить ни с кем по дороге, избегать вигов, Кемпбеллов и «красных солдат»; при их приближении сходить с дороги и прятаться в кусты, потому что встреча с ними никогда не ведет к добру,— короче, он советовал мне вести себя, как подобает разбойнику или якобитскому агенту, за которого меня, вероятно, и принимал.

Кинлохалинская гостиница была похожа на отвратительный свиной хлев, полный дыма, нечистот и молчали-

¹ Ло х а м и называются в Шотландии морские заливы, глубоко вдающиеся в сушу и образующие как бы озера.

вых горцев. Я был очень недоволен не только помещением, но и самим собой за дурное обхождение с Нэйлем. Я думал, что хуже и быть ничего не могло, но ошибался и вскоре убедился в этом. Не прошло и получаса с тех пор, как я пришел в гостиницу — все это время мне пришлось стоять в дверях, так как торфяной дым ел мне глаза, — как вдруг разразилась гроза; по холму, где стояла гостиница, потекли ручьи, проникли в помещение и половину комнат превратили в бурный поток. В те времена по всей Шотландии постоянные дворы были довольно плохи, но все же я не мог не изумиться, когда мне от очага до постели пришлось идти по щиколотку в воде.

Рано утром я нагнал в дороге маленького полного, важного на вид человека, который шел очень медленно, выворачивая носки; по временам он читал книгу, отмечая что-то ногтем, и своей скромной одеждой напоминал лицо духовного звания.

Оказалось, что он тоже законоучитель, но совершенная противоположность слепому из Малла: он был послан эдинбургским обществом распространения христианства проповедовать евангелие в наиболее диких местах горной Шотландии. Его звали Гендерлэнд. Говорил он с тем резким южным акцентом, о котором я начинал скучать. Вскоре мы, кроме общей отчизны, нашли и другой общий интерес. Мой добрый друг, иссендинский священник, в свободное время перевел на гэльское наречие несколько гимнов и религиозных книг, которые хорошо знал Гендерлэнд, отозвавшийся с глубоким уважением о переводчике. Одну из этих книг он как раз взял с собой и читал ее по дороге. Мы сразу же пошли вместе, так как до Кинагайрлоха нам было по пути. Иногда он останавливался и разговаривал со встречающимися и обгонявшими нас путниками и с местными рабочими. Хотя я не мог понять их разговора, мне показалось, что мистера Гендерлэнда любят в этой стране, так как видел, что многие вынимали свои табакерки и предлагали ему щепотку.

О своих делах я рассказывал только то, что считал возможным рассказывать, то есть все, что не касалось Алана; сказал ему, что иду в Балахклиш, где должен встретиться с другом, так как подумал, что не следует указывать на Аухарн или даже на Дюрор.

Он, с своей стороны, много рассказывал мне о своем

призвании и о народе, среди которого ему приходилось работать, о скрывающихся священниках и якобитах, об акте о разоружении, об одежде и других любопытных явлениях того места и времени. Он казался умеренным: в некоторых отношениях осуждал парламент, в особенности за то, что акт предписывал строже преследовать ношение национальной одежды, нежели оружия.

Его умеренность навела меня на мысль расспросить его о Красной Лисице и об аппинских фермерах. Я думал, что эти вопросы покажутся совершенно естественными в устах человека, направляющегося в эту страну.

Он отвечал, что это скверная история.

— Просто удивительно, — говорил он, — откуда эти несчастные берут деньги, тогда как сами они умирают с голоду? У вас нет с собой табаку, мистер Бальфур? Нет? Прекрасно, я обойдусь без него. Но, без сомнения, этих фермеров отчасти принуждают. Джемс Стюарт Дюрор — его называют Джемс Глэнский — единокровный брат Ардшиля, предводителя клана. Его очень уважают, и он пользуется большим влиянием у фермеров. А потом есть еще другой, по имени Алан Брек.

— О, — воскликнул я, — а это что такое?

— Можно ли сказать о ветре, что это такое, где он дует? — ответил Гендерлэнд. — Он то здесь, то там: сегодня тут, а завтра умчался. Ловкий малый! Я бы не удивился, выгляни он сейчас из-за того куста дрока! Нет ли у вас с собой табаку, а?

Я ответил, что нет и что он уже не раз спрашивал меня об этом.

— Очень возможно, — сказал он, вздыхая. — Но это мне кажется странным. Итак, я говорил вам, этот Алан Брек — отчаянной храбрости контрабандист и правая рука Джемса. Он уже осужден, и ему теперь все нипочем. Очень вероятно, что если бы кто-нибудь из фермеров стал отказываться, он проткнул бы его кинжалом.

— Вы выставляете все в очень неприглядном виде, мистер Гендерлэнд, — сказал я. — Если тут действует только страх, то мне не хотелось бы и слушать об этом.

— Нет, — отвечал мистер Гендерлэнд, — тут, кроме страха, играет роль и любовь, и самоотречение, так что становится стыдно за себя. В этом есть какое-то благородство, может быть, и не с христианской, но с обще-

ловческой точки зрения. Даже Алан Брек, по всему, что я слышал о нем,— борец, достойный уважения. В нашей стране есть много лживых и подлых людей, которые посещают усердно церковь и пользуются уважением общества, а между тем они гораздо хуже этого безумца, безрассудно проливающего человеческую кровь. Да, да, нам бы следовало поучиться у него. Вы, может быть, думаете, что я слишком долго жил среди горцев? — прибавил он, поглядывая на меня с улыбкой.

Я отвечал ему отрицательно, прибавив, что встретил среди гайлэндеров многое, достойное удивления, и что сам мистер Кемпбелл был тоже родом из горной Шотландии.

— Да,— сказал я,— это правда, это знатный род... А что делает теперь королевский агент? — осведомился я.

— Колин Кемпбелл? — спросил Гендерлэнд.— Он сам лезет на рожон!

— Я слышал, что он силой хочет согнать арендаторов с их земли,— сказал я.

— Да,— отвечал он,— но дело это, как говорится, ни с места. Во-первых, Джеймс Глэнский поехал в Эдинбург, нашел там юриста — без сомнения, Стюарта: они все стоят друг за друга,— и добился приостановки выселения. Но потом Колин Кемпбелл снова выиграл дело в суде государственного казначейства. Теперь я слышал, что первая партия выселяемых должна отправиться завтра. Выселение начнется с Дюрора, под самыми окнами Джемса, что, по моему скромному разумению, безрассудно.

— Вы думаете, что они станут защищаться? — спросил я.

— Положим, они обезоружены,— сказал Гендерлэнд,— или предполагается, что они обезоружены, хотя еще много холодного оружия припрятано в укромных уголках. Кроме того, Колин Кемпбелл вытребовал туда солдат. И все-таки, будь я на месте его жены, я не был бы спокоен, пока он не вернется домой. За этих аппинских Стюартов никогда нельзя поручиться.

Я спросил, опаснее ли они своих соседей.

— Нет,— сказал он,— это-то и скверно, потому что если Колин Рой добьется своего в Аппине, ему придется начинать снова в соседней местности, которая называется

ся Мамор и принадлежит Камеронам. Ему, как королевскому агенту, приходится выселять арендаторов из той и другой земли, и, откровенно говоря, мистер Бальфур, я уверен, что если на первый раз он и увернется, то на второй ему несдобровать.

Разговаривая подобным образом, мы шли почти весь день, пока наконец мистер Гендерлэнд не выразил своего удовольствия, что провел время так приятно в обществе друга мистера Кемпбелла, «которого, — сказал он, — я осмелюсь назвать сладкогласным певцом нашего духовного Сиона», и предложил мне сделать небольшой привал, чтобы провести ночь в его доме, немного в стороне от Кингайрлоха. По правде сказать, я был чрезвычайно рад: у меня не было ни малейшего желания знакомиться с Джоном Клаймором, и после двойной неудачи — сперва с проводником, а затем с джентльменом-перевозчиком — я немного побаивался незнакомых горцев.

Итак, мы ударили по рукам и после полудня подошли к маленькому домику, одиноко стоявшему на берегу Линни-Лоха. Солнце уже ушло с пустынных Ардгурских гор, но еще освещало Аппинские скалы на противоположном берегу. Лох был спокоен, как озеро, только чайки кричали вокруг, и вся местность имела какой-то странный и торжественный вид.

Не успели мы дойти до двери дома мистера Гендерлэнда, как, к моему великому удивлению — я успел уже привыкнуть к гайлэндерской вежливости, — он неожиданно промчался вперед, оставив меня позади, влетел в комнату, схватил банку и роговую ложечку и начал набивать свой нос табаком в самом неумеренном количестве. Затем он хорошенько прочихался и оглянулся на меня с глуповатой улыбкой.

— Я дал обет, — сказал он, — что не буду брать с собой табак. Это, разумеется, большое лишение. Но когда я вспоминаю о мучениках не только в Шотландии, но и в других христианских странах, мне становится стыдно и думать об этом.

Как мы только поели — овсяная каша и сыворотка были самыми вкусными из блюд добряка, — он с серьезным лицом заявил, что у него есть обязанности по отношению к мистеру Кемпбеллу, а именно — осведомиться

о состоянии моей души. Вспомнив случай с табаком я готов был улыбнуться, но вскоре от его слов на глазах у меня выступили слезы.

Доброта и скромность — вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. Мы редко встречаем их в этом грубом мире, среди черствых и надменных людей. Хотя я порядочно заважничал после удачного исхода моих приключений, но слова мистера Гендерлэнда, полные доброты и смирения, вскоре заставили меня опуститься на колени перед этим простым бедным стариком и радоваться и гордиться своим положением.

Перед тем как лечь спать, он предложил мне на дорожку шесть пенсов из своих скудных сбережений, хранившихся в земляной стене его дома, и такой избыток доброты привел меня в большое смущение. Но он так настаивал, что я счел наиболее вежливым исполнить его желание, хотя после этого он стал беднее меня.

XVII. Смерть Красной Лисицы

Назавтра мистер Гендерлэнд нашел человека, владельца лодки, который в этот день собирался переплыть Линни-Лох, чтобы в Аппине заняться рыбной ловлей. Человек этот принадлежал к его пастве, и Гендерлэнд убедил его взять меня с собой, и таким образом мое путешествие сократилось на целый день, и я сберег деньги, которые пришлось бы уплатить за переправу на двух паромах.

Мы отправились около полудня. День был пасмурный, небо затянулось облаками, и, пробиваясь сквозь них, солнечные лучи только кое-где освещали землю. Линни-Лох в этом месте был очень глубок и спокоен, так что я должен был взять воды в рот, чтобы увериться, что она действительно соленая. Со всех сторон поднимались высокие, неровные, бесплодные скалы, черные и мрачные в тени облаков и серебристые, изборожденные горными потоками, когда их освещало солнце. Аппинская страна показалась мне слишком суровой, чтобы я понял страстную привязанность к ней Алана.

Надо упомянуть еще об одном. Вскоре после того,

как мы пустились в путь, солнце осветило небольшое красное, движущееся пятно близ северного берега. Его цвет очень напоминал одежду солдат. Кроме того, на нем время от времени что-то блестело и искрилось, словно сталь при солнечном свете.

Я спросил у лодочника, что бы это могло быть. Он отвечал, что это, вероятно, красные солдаты, вызванные из форта Виллиам по случаю выселения бедных арендаторов Аппина. Сознаюсь, что это зрелище опечалило меня. Оттого ли, что я думал об Алане, или от какого-то предчувствия, но я, только два раза видевший войско короля Георга, не почувствовал к нему особенного расположения.

Наконец мы так близко подошли к берегу у входа в Лох-Левен, что я попросил высадить меня. Мой лодочник — честный малый, помнивший обещание, данное законоучителю, — охотно бы довез меня до Балахклиша. Но так как это отдаляло меня от места моего тайного назначения, я настоял на своем, и меня наконец высадили на берег около Леттерморского (или Леттеворского; мне приходилось слышать и то и другое) леса в Аппине — родине Алана.

Лес этот, состоявший из берез, рос на крутом, скалистом склоне горы, нависшей над Лохом. В нем было много прогалин и долин, покрытых папоротником, а посреди него с севера на юг шла дорога или, вернее, тропинка для всадников. У поворота тропинки бежал ручей, у которого я присел, чтобы закусить овсяным хлебом мистера Гендерлэнда и подумать о своем положении.

Тут меня стали беспокоить не только тучи комаров, но также и сомнения, бродившие в моей голове. Как следовало мне поступить? Зачем мне было встречаться с Аланом — человеком, объявленным вне закона и готовым совершить убийство? Не благоразумнее ли было бы самостоятельно отправиться на юг? Что подумают обо мне мистер Кемпбелл и мистер Гендерлэнд, если когда-нибудь узнают о моем безрассудстве и самонадеянности? Вот сомнения, которые сильнее, чем когда-либо, одолевали меня.

Пока я сидел и думал, в лесу слышались шаги и топот лошадей, и вскоре на повороте дороги показались четыре путешественника. Дорога в этом месте была та-

кая неровная и узкая, что они шли поодиночке, ведя лошадей под уздцы. Впереди выступал высокий рыжеволосый джентльмен с надменным раскрасневшимся лицом; шляпу свою он нес в руках и обмахивался ею, задыхаясь от жары. Второго — по его черной приличной одежде и белому парику — я с полным основанием принял за юриста. Третий был слуга в одежде из клетчатой материи; это доказывало, что господин его — гайлэндер — или осужден законом, или, напротив, находится в странно дружеских отношениях с правительством, так как ношение тартана воспрещалось актом. Если бы я больше понимал в этом деле, то заметил бы на тартане цвета Арджайлей (или Кемпбеллов). К лошади слуги ремнями был привязан объемистый чемодан, а у луки седла висела сетка с лимонами — для пунша, — так часто ездили богатые путешественники в этой стране.

Что же касается четвертого, замыкавшего шествие, то я и прежде встречал ему подобных и сейчас же признал в нем помощника шерифа.

Как только я увидел этих людей, то решил — не знаю почему, — что мои похождения будут продолжаться. Когда первый всадник приблизился ко мне, я встал и спросил у него дорогу в Аухарн.

Он остановился и, как мне показалось, взглянул на меня несколько странно. Затем, обернувшись к стряпчему, он сказал:

— Мунго, многие сочли бы это за дурное предзнаменование: я еду в Дюрор по известному вам делу, и вдруг из кустов папоротника появляется мальчик и спрашивает, не направляюсь ли я в Аухарн?

— Гленур, — сказал тот, — это плохой предмет для шуток.

Оба приблизились и смотрели на меня, тогда как двое других остановились за ними на расстоянии брошенного камня.

— А что тебе нужно в Аухарне? — спросил Колин Рой Кемпбелл из Гленура, по прозвищу Красная Лисица, — это был он.

— Видеть человека, который там живет, — ответил я.

— Джемса Глэнского? — задумчиво спросил Гленур и прибавил, обращаясь к стряпчему: — Как вы думаете, он собирает своих людей?

— Во всяком случае,— заметил стряпчий,— нам лучше подождать тут и приказать солдатам присоединиться к нам.

— Если вы хотите знать, кто такой я,— сказал я,— то я не принадлежу ни к вашей, ни к его партии. Я честный подданный короля Георга, никого не боюсь и никому не обязан.

— Прекрасно сказано,— ответил агент.— Но осмелюсь спросить, что этот честный человек делает так далеко от своей родины и зачем он ищет брата Ардшиля? Должен сказать тебе, что я имею здесь власть. Я королевский агент в здешних поместьях и в моем распоряжении солдаты.

— О вас идет молва,— прибавил я, немного раздраженно,— что с вами трудно ладить.

Он с прежним сомнением продолжал смотреть на меня.

— Да,— вымолвил он наконец,— ты смело разговариваешь, но я ничего не имею против откровенности. Если бы ты спросил у меня дорогу к Джемсу Стюарту как-нибудь в другой раз, я показал бы ее тебе и пожелал доброго пути. Но сегодня... Эй, Мунго!

И он опять повернулся к стряпчему.

Не успел он этого сделать, как с вершины горы раздался ружейный выстрел, и в ту же минуту Гленур упал на дорогу.

— О, я умираю! — несколько раз повторил он.

Стряпчий подхватил его, а слуга стоял рядом, ломая руки. Раненый окинул их затуманенным взглядом и произнес изменившимся голосом, который тронул мое сердце:

— Позаботьтесь о себе, я умираю.

Он попытался расстегнуть одежду, как бы отыскивая рану, но пальцы его соскользнули с пуговиц. Он испустил тяжелый вздох, опустил голову на плечо и умер.

Стряпчий не произнес ни слова, но лицо его вытянулось и побледнело, как у покойника. Слуга громко заплакал и закричал, точно ребенок. Я же не двигался с места и в каком-то ужасе смотрел на них. Помощник шерифа при первом звуке выстрела побежал назад, чтобы поторопить солдат.

Наконец стряпчий опустил мертвеца на дорогу, зали-

тую кровью, и, шатаясь, встал на ноги. Это движение, вероятно, вернуло мне сознание, так как я сразу бросился к горе и стал быстро карабкаться вверх, крича:

— Убийца, убийца!

Времени прошло так мало, что, когда я взобрался на первый выступ и мог увидеть часть открытой горы, убийца был еще близко. Это был высокий человек в черной одежде с металлическими пуговицами; в руках он держал длинное охотничье ружье.

— Вот он,— закричал я,— я вижу его!

Тут убийца бросил быстрый взгляд через плечо и пустился бежать. Через минуту он скрылся между берегами, потом появился снова и начал влезать, как обезьяна, на следующий, необычайно крутой уступ скалы. Затем он исчез за поворотом, и больше я не видел его.

Все это время я бежал тоже и уже поднялся довольно высоко, как услышал голос, кричавший, чтобы я остановился.

Я был на краю верхнего леса, но когда я оглянулся, то увидел перед собою всю открытую часть горы.

Стряпчий и помощник шерифа стояли на дороге, крича и делая мне знак, чтобы я спустился. Налево от них из нижнего леса начинали поодиночке выходить солдаты с ружьями в руках.

— Зачем мне возвращаться? — спросил я. — Лучше вы идите сюда!

— Десять фунтов тому, кто поймает этого мальчишку! — заявил стряпчий. — Он соучастник. Его поставили здесь, чтобы задержать нас разговорами.

При этих словах, которые я отлично слышал, хотя он обращался к солдатам, а не ко мне, душа моя ушла в пятки от совершенно нового чувства. Одно дело — подвергать опасности свою жизнь, а другое — рисковать не только жизнью, но и честью. К тому же все это совершилось так внезапно, точно гроза в ясный день, и я почувствовал себя пораженным и беспомощным.

Солдаты рассыпались по горе; некоторые из них побежали вперед, другие вынули ружья и стали целиться в меня; я же стоял неподвижно.

— Спрячься здесь за деревьями,— слышался голос рядом со мной.

Я едва соображал, что делаю, но послушался. И не

успел я спрятаться, как услышал выстрелы из ружей и свист пуль между березами.

Под прикрытием деревьев стоял Алан Брек с удочкой в руках. Он не поздоровался со мной. Нам было не до учтивости. Он только сказал: «Идем!» — и побежал по склону горы по направлению к Балахклишу, а я, как овца, следовал за ним.

Мы бежали между березами и то прятались за низкими выступами на склоне горы, то ползли на четвереньках между вереском. Мы бежали так быстро, что сердце мое готово было разорваться, и я не мог ни думать, ни говорить. Помню только, что с удивлением смотрел, как Алан время от времени поднимался во весь рост и оглядывался, причем каждый раз вдали раздавались крики солдат. Через четверть часа Алан остановился, упал плашмя в вереск и повернулся ко мне.

— А теперь, — сказал он, — начинается самое трудное. Если хочешь спасти свою жизнь, делай то же, что и я!

И с тою же быстротой, но с гораздо большими предосторожностями мы отправились обратно по склону холма, пересекая его, может быть, немного выше. Наконец в верхнем Леттерморском лесу, где я встретил Алана, он бросился на землю и долго лежал, спрятав лицо в папоротник и едва переводя дух.

Мои бока так болели, голова так кружилась, во рту так пересохло, что я растянулся рядом с ним точно мертвый.

XVIII. Разговор с Аланом в Леттерморском лесу

Алан пришел в себя первым. Он встал, вышел из-за деревьев, оглянулся и, возвратившись, опустился на землю.

— Да, — сказал он, — это было жаркое дело, Давид.

Я ничего не ответил и даже не поднял головы. Я был свидетелем убийства, видел, как высокий, здоровый, веселый джентльмен в одну минуту был лишен жизни. Жалость, испытанная мною при этом зрелище, еще жила во мне, но не только это тревожило меня в ту минуту. Был

убит человек, которого Алан ненавидел; сам Алан прятался между деревьями и убегал от солдат. Он ли стрелял или только отдал приказ это сделать — было безразлично. Выходило, что мой единственный друг в этой стране — настоящий убийца. Я чувствовал к нему отвращение, не мог взглянуть ему в лицо и охотнее согласился бы лежать в одиночестве под дождем и на моем холодном острове, чем в теплом лесу рядом с ним.

— Ты все еще чувствуешь усталость? — спросил он опять.

— Нет, — отвечал я, не поднимая лица из папоротника, — нет, я теперь не чувствую усталости и могу говорить. Нам надо расстаться, — сказал я. — Вы очень мне нравились, Алан. Но ваш путь — не мой и не божий... Одним словом, нам надо расстаться.

— Мне жаль будет расстаться с тобой, Давид, без всякой на то причины, — сказал Алан чрезвычайно серьезно. — Если тебе известно что-либо порочащее мою честь, то во имя нашего старого знакомства тебе следовало бы высказаться. А если тебе просто перестало нравиться мое общество, то мне следует считать себя оскорбленным.

— Алан, — ответил я, — к чему вы это говорите? Вы прекрасно знаете, что Кемпбелл лежит в крови на дорое.

Он некоторое время молчал, а затем спросил:

— Слышал ты когда-нибудь сказку о «Человеке и Добром Народе?»

— Нет, — сказал я. — И слышать не желаю.

— С вашего позволения, мистер Бальфур, я все-таки расскажу вам ее, — сказал Алан. — Человек был выброшен на скалистый остров, где, как видно, Добрый Народ оставливался и отдыхал по пути в Ирландию. Скала эта называется Скерривор и находится недалеко от места, где мы потерпели крушение. Человек, должно быть, очень жалобно сетовал на то, что перед смертью не увидит своего ребенка. Наконец над ним сжалился король Доброго Народа и послал гонца, который принес ребенка в мешке и положил его рядом с человеком, пока тот спал, так что, когда человек проснулся, он увидел рядом с собой мешок, в котором что-то шевелилось. Он, должно быть, принадлежал к той породе людей, которые всегда ожидают худшего. Прежде чем открыть мешок, он для

безопасности пронзил его кинжалом, так что ребенка нашли уже мертвым. Мне кажется, мистер Бальфур, что ты очень похож на этого человека.

— Вы хотите сказать, что не причастны к этому делу? — воскликнул я садясь.

— Я прежде всего скажу тебе, мистер Бальфур из Шооса, как другу, — сказал Алан, — что если бы я собирався убить джентльмена, то не сделал бы этого в своей собственной стране, чтобы не навлечь неприятностей на мой клан. И ты не встретил бы меня без шпаги и ружья, а лишь с удочкой за спиной.

— Да, — сказал я, — это правда!

— А теперь, — продолжал Алан, вынимая кинжал и кладя на него руку, — я клянусь на Священном Мече, что не принимал в этом никакого участия ни делом, ни мыслью.

— Благодарю за это бога! — воскликнул я и протянул ему руку.

Он как будто не заметил этого.

— Мне кажется, что какой-то Кемпбелл не стоит стольких разговоров! — сказал он. — Они вовсе не так редки, насколько мне известно.

— Во всяком случае, — отвечал я, — вы не можете особенно осуждать меня, Алан, так как прекрасно знаете, что говорили мне на бриге. Но желание и действие не одно и то же, и я снова благодарю за это бога. Всеми нами может овладеть искушение, но хладнокровно лишить человека жизни... — В эту минуту я больше ничего не мог сказать. — Вы знаете, кто это сделал? — прибавил я. — Вы знаете того человека в черном кафтане?

— Я не вполне уверен в цвете его кафтана, — сказал Алан хитро. — Но мне почему-то кажется, что он был синий.

— Синий ли, черный ли, вы знаете его? — спросил я.

— По совести, я не могу поклясться в этом, — сказал Алан. — Правда, он прошел очень близко от меня, но, по странной случайности, я в это время завязывал башмаки.

— Можете ли вы поклясться, что не знаете его, Алан? — закричал я, готовый и сердиться и смеяться его уверткам.

— Пока нет, — сказал он, — но у меня очень короткая память, Давид.

— Но я видел ясно одно,— сказал я,— вы старались отвлечь внимание солдат на себя и на меня.

— Очень возможно,— отвечал Алан.— И каждый джентльмен поступил бы так же; мы оба не причастны к этому делу.

— Тем более имеем мы оснований оправдываться, если нас невинно подозревают! — воскликнул я.— Во всяком случае, о невинных надо подумать раньше, чем о виновных.

— Нет, Давид,— сказал он,— у невинных еще есть надежда, что правда их выяснится в суде. Для человека же, пустившего пулю, лучшее место, я думаю, в вереске. Люди, не замешанные ни в каких неприятностях, должны помнить о тех, кто в них замешан. В этом и заключается настоящее христианство. Если бы случилось наоборот и человек, которого я не мог разглядеть, был бы на нашем, а мы на его месте, что легко могло бы случиться, то мы, без сомнения, были бы ему очень благодарны за то, что он отвлек на себя внимание солдат.

Когда дело дошло до этого, я потерял надежду убедить Алана.

Он, казалось, так наивно верил в свои слова и выражал такую готовность жертвовать собой за то, что считал своим долгом, что я не мог с ним спорить. Я вспомнил слова мистера Гендерлэнда о том, что мы сами могли бы поучиться у этих диких горцев, и принял к сведению этот урок. У Алана были превратные понятия, но он готов был отдать за них жизнь.

— Алан,— сказал я,— не стану лгать, что и я понимаю так христианский долг, но это все-таки хорошо, и я во второй раз протягиваю вам руку.

Тут он подал мне обе руки и заявил, что я, как видно, околдовал его, потому что он может мне простить все. Затем он очень серьезно прибавил, что нам нельзя терять времени и надо бежать обоим из этой страны: ему — потому, что он дезертир, и теперь весь Аппин будут обыскивать самым тщательным образом, и всех жителей будут подробно допрашивать о том, что они знают о нем; мне же — потому, что меня тоже считают замешанным в убийстве.

— О,— сказал я, желая дать ему маленький урок,— я не боюсь суда моей родины.

— Точно это твоя родина,— сказал он,— и точно тебя будут судить здесь, в стране Стюартов...

— Это все Шотландия,— отвечал я.

— Я, право, удивляюсь тебе,— заметил Алан.— Убит Кемпбелл, значит, и разбираться будет дело в Инвераре — главной резиденции Кемпбеллов. Пятнадцать Кемпбеллов будут присяжными, а самый главный Кемпбелл — сам герцог — будет важно председательствовать в суде. Правосудие, Давид? Уверяю тебя, это будет такое же правосудие, какое Гленур нашел недавно там, на дороге.

Признаюсь, эти слова меня немного смутили. Но я испугался бы еще больше, если бы знал, как верны предсказания Алана: действительно, он преувеличил только в одном отношении, так как среди присяжных было только одиннадцать Кемпбеллов. Но остальные четверо тоже зависели от герцога, так что это мало меняло дело.

Я все-таки воскликнул, что он несправедлив к герцогу Арджайльскому, который, хоть и виг, был мудрым и честным дворянином.

— Положим,— сказал Алан,— он виг. Но я никогда не стану отрицать, что он хороший вождь своего клана. Убит один из Кемпбеллов, и что скажет клан, если суд под председательством герцога никого не приговорит к повешению? Но я часто замечал, что вы, жители низменной Шотландии, не имеете ясного понятия о справедливости.

Тут я громко рассмеялся, и, к моему удивлению, Алан стал мне вторить, смеясь так же весело.

— Ну, ну,— сказал он,— ведь мы в горах, Давид, и если я советую тебе бежать, то послушайся меня и беги. Разумеется, тяжело прятаться в вересковых зарослях и голодать, но еще тяжелее сидеть закованным в кандалы в тюрьме, которую охраняют красные мундиры.

Я спросил его, куда же нам бежать. Он отвечал:

— В Лоулэнд¹.

Тогда я несколько охотнее согласился отправиться с ним, так как с нетерпением ждал возможности возвратиться домой и взять верх над моим дядей. К тому же Алан был так уверен, что в этом деле не могло быть и речи о справедливости, что я начал бояться, не прав ли он. Из всех видов смерти мне менее всего нравилась

¹ Лоулэнд — южная, не горная часть Шотландии.

смерть на виселице. Это отвратительное сооружение с необыкновенной ясностью представилось моему воображению (я раз видел виселицу на обложке дешевой книжки, где были напечатаны народные баллады) и отняло у меня всякую охоту предстать перед судьями.

— Я попытаю счастья, Алан,— сказал я,— я пойду с вами.

— Но помни только,— отвечал Алан,— что это не легкое дело. Может случиться, что тебе будет очень тяжело, что у тебя не будет ни крова, ни пищи. Постелью тебе будет служить вереск, жить ты будешь, как затравленный олень, и спать с оружием в руке. Да, любезный, тебе много придется перенести, прежде чем мы будем в безопасности! Я говорю тебе это наперед, так как хорошо знаю эту жизнь. Но если ты спросишь меня, какой же другой выход тебе остается, я скажу: никакого. Или беги со мной, или ступай на виселицу.

— Выбор очень легко сделать,— отвечал я, и мы на этом ударили по рукам.

— А теперь взглянем еще раз украдкой на красные мундиры,— сказал Алан и повел меня к северо-восточной опушке леса.

Выглянув из-за деревьев, мы смогли увидеть обширный склон горы, очень круто спускающийся к лоху. Место это было неровное, покрытое нависшими скалами, вереском и редким березовым лесом. На отдаленном конце склона, по направлению к Балахклишу, то появляясь, то исчезая над холмами и долинами и уменьшаясь с каждой минутой, двигались крошечные красные солдатики. Утомленные ходьбой, они больше не обменивались ободрятельными возгласами, но продолжали придерживаться нашего следа и, вероятно, думали, что скоро нагонят нас.

Алан, улыбаясь, наблюдал за ними.

— Ну,— сказал он,— они устанут, прежде чем достигнут цели! А потому, Давид, мы можем присесть и перекусить, немножко передохнуть и выпить глоток из моей фляжки. Потом мы отправимся в Аухарн, в дом моего родственника Джемса Глэнского, где мне надо будет захватить одежду, оружие и денег на дорогу. А затем, Давид, мы закричим: «Вперед, наудалую!» — и бросимся в заросли.

Мы пили и ели, сидя на месте, откуда было видно, как солнце закатывалось за громадными, дикими и пустынными скалами, по которым я был обречен скитаться с моим товарищем. Во время этого привала, а также и после, по дороге в Аухарн, мы рассказывали друг другу свои приключения. Из походов Алана я приведу здесь те, которые мне кажутся наиболее важными или интересными.

Оказывается, что он подбежал к борту корабля, как только прошла волна, заметил меня в воде, затем потерял из виду, потом на мгновение увидел, когда я попал в течение и ухватился за рей. Это подало ему надежду, что я, может быть, достигну земли, и он сделал те распоряжения, вследствие которых я попал (за мои грехи) в эту несчастную аппинскую землю.

Между тем на бриге успели спустить лодку, и двое или трое матросов уже находились в ней, когда подошла вторая, еще более сильная волна, приподняла бриг и, наверное, потопила бы его, если бы он не зацепился за выступ рифа. До сих пор нос брига находился выше, а корма была внизу. Но теперь корму подбросило кверху, а нос погрузился в море. И при этом вода устремилась в передний люк, точно из прорвавшейся мельничной плотины.

При одном воспоминании о том, что последовало дальше, краска сбежала с лица Алана. Внизу еще оставалось двое больных матросов, беспомощно лежавших на койках. Увидя воду, хлынувшую в люк, они решили, что судно тонет, и стали громко кричать, и это было так ужасно, что все, кто был на палубе, бросились в лодку и взялись за весла.

Не успели они отплыть еще и двухсот ярдов, как нашла третья большая волна и сняла бриг с рифа. Паруса его на минуту надулись, и он, казалось, двинулся по ветру; постепенно оседая, он стал погружаться все глубже и глубже, и море поглотило «Конвент» из Дайзерта.

Пока лодка плыла к берегу, никто не произнес ни слова; все молчали, ошеломленные душераздирающими криками погибавших матросов. Но едва они ступили на берег, как Хозизен пришел в себя и приказал схватить Алана. Матросы сначала упирались, не имея ни малейшего желания повиноваться. Но в Хозизена, казалось, вселился

бес. Он кричал, что сейчас Алан один, что у него большая сумма денег, что он виновен в гибели корабля и смерти их товарищей и они теперь могут отомстить ему и заодно обогатиться. Их было семеро против одного: поблизости не было ничего, что могло бы служить прикрытием Алану, и матросы, обступив его, стали подходить к нему сзади.

— И тогда,— сказал Алан,— рыжеволосый человек... Я позабыл, как его зовут.

— Райэч? — спросил я.

— Да,— ответил Алан,— Райэч! Он принял мою сторону и спросил матросов, неужели они не боятся суда, и потом прибавил: «Хорошо, я сам стану защищать этого гайлэндера». Этот рыжий не совсем уж дурной человек,— сказал Алан.— В нем все же есть порядочность.

— Да,— заметил я,— он по-своему был добр ко мне.

— И ко мне тоже,— подтвердил Алан,— и, честное слово, я нахожу, что он хорошо себя вел! Но, видишь ли, Давид, гибель корабля и крики тех несчастных очень сильно подействовали на него, и я думаю, что это-то и послужило главной причиной его доброты.

— Да, вероятно,— сказал я,— ведь сначала и он не отставал от других. Как же отнесся к этому Хозизен?

— Очень плохо, насколько я помню,— ответил Алан.— Но тут маленький человек крикнул, чтобы я бежал, и, найдя, что он прав, я последовал его совету. Взглянув на них в последний раз, я увидел, что они кучкой стоят на берегу и, кажется, ссорятся.

— Почему вы так думали? — спросил я.

— Потому что в ход пошли кулаки,— сказал Алан.— Я видел, как один из них как сноп повалился на землю. Я счел благоразумным не ждать развязки. В этой части Малла, знаешь, есть небольшой участок, принадлежащий Кемпбеллам, а они плохая компания для подобных мне джентльменов. Если бы не это, я бы остался и искал бы тебя сам, не слушая советов маленького человека. (Было смешно, что Алан постоянно напирал на маленький рост мистера Райэча, хотя, по правде сказать, сам был немногим выше.) Таким образом,— продолжал он,— я со всех ног побежал вперед и, встречая кого-нибудь, кричал, что у берега судно потерпело крушение. Уверю тебя, они не останавливались и не задерживали

меня. Ты бы только посмотрел, как они мчались к берегу! А добежав, убеждались, что спешили напрасно, и это очень хорошо для Кемпбеллов. Я думаю, что в наказание их клану бриг пошел ко дну целиком, а не разбился. Но это было очень неудачно для тебя: если б хоть какие-нибудь обломки выбросило на берег, они стали бы повсюду рыскать и нашли бы тебя.

ХІХ. Дом страха

Пока мы шли, надвигалась ночь, и облака, появившиеся днем, сгустились настолько, что для этого времени года стало очень темно. Путь наш шел по неровным горным склонам, и, хотя Алан уверенно шел вперед, я не мог понять, как он находит дорогу.

Наконец, в половине одиннадцатого, мы добрались до вершины горы и увидели внизу огни. По-видимому, дверь одного дома была открыта, и через нее лился свет очага и свечей. Вокруг дома и служб сновало человек пять или шесть, каждый с горящими факелами в руках.

— Джемс, должно быть, потерял рассудок,— сказал Алан.— Если бы вместо нас с тобой сюда подошли солдаты, попал бы он в переделку! Но, вероятно, у него стоит часовой на дороге, и он отлично знает, что ни один солдат не найдет пути, по которому мы пришли.

С этими словами Алан три раза свистнул условленным образом. Странно было видеть, как при первом звуке все факелы остановились, точно люди, которые несли их, испугались, и как после третьего свистка суматоха возобновилась.

Успокоив их таким образом, мы спустились по склону, и у ворот — жилище было похоже на богатую ферму — нас встретил высокий красивый мужчина лет около пятидесяти, который окликнул Алана по-гэльски.

— Джемс Стюарт,— сказал Алан,— я попрошу тебя говорить по-шотландски, потому что я привел молодого джентльмена, не понимающего никаких других языков. Вот он,— прибавил Алан, взяв меня под руку,— молодой джентльмен из Лоулэнда, лэрд в своей стране, но я думаю, для него будет лучше, если мы не назовем его имени.

Джемс Глэнский повернулся ко мне и поздоровался довольно благосклонно. Затем он обратился к Алану.

— Это был ужасный случай, он навлечет несчастье на всю страну! — воскликнул он.

— Ну, — сказал Алан, — ты должен примириться с ложкой дегтя в бочке меду. Колин Рой умер, и этому надо радоваться.

— Да, — продолжал Джемс, — но, честное слово, я бы желал, чтобы он был жив! Однако дело сделано, Алан. Но кто же будет отвечать за него? Случай этот произошел в Аппине — помни это, Алан. И Аппин будет расплачиваться, а у меня семья.

Пока они разговаривали, я наблюдал за слугами. Они, взобравшись на лестницы, разгребали солому на крыше дома и служебных построек, вытаскивая оттуда ружья, кинжалы и прочие военные доспехи; другие уносили их, и, по ударам кирки, раздававшимся где-то ниже на склоне, я догадался, что их закапывали в землю. Хотя все работали усердно, но в работе не замечалось порядка: люди вырывали друг у друга ружья и сталкивались горящими факелами. А Джемс, постоянно прерывая разговор с Аланом, отдавал приказания, которых, очевидно, не понимали. Лица, освещенные факелами, выражали страх, и, хотя все говорили шепотом, в голосах слышались тревога и раздражение.

Вскоре из дому вышла девушка с каким-то свертком в руках. Я часто потом улыбался, вспоминая, как, едва взглянув на этот узел, Алан мгновенно сообразил, что в нем находится.

— Что девушка держит? — спросил он.

— Мы приводим дом в порядок, Алан, — отвечал Джемс испуганно и немного заискивающе. — Ведь они будут обыскивать Аппин с фонарями, и все должно быть у нас в полном порядке. Мы, видишь ли, зарываем ружья и кинжалы в мох. А у нее, вероятно, твой французский мундир!

— Зарыть в мох мой французский мундир! — закричал Алан. — Клянусь, этого не будет! — Он завладел свертком и отправился в сарай переодеваться, а меня пока поручил родственнику.

Джемс повел меня на кухню, где мы сели за стол, и он, улыбаясь, начал беседовать со мной, как радушный

хозяин. Но вскоре к нему вернулось уныние, он стал хмуриться и кусать ногти. Только иногда, вспоминая обо мне, он произносил, слабо улыбаясь, одно-два слова и снова предавался своему горю. Жена его сидела у очага и плакала, закрыв лицо руками. Старший сын, присев на корточки, просматривал кипу документов и время от времени один из них сжигал. Служанка, суетясь, хозяйничала в комнате, все время хныкая от страха. То и дело в дверях показывалось лицо какого-нибудь работника, спрашивавшего приказания.

Наконец Джемс не мог более усидеть, извинился за неучтивость и пошел наблюдать за работами.

— Я составляю плохую компанию, сэр,—сказал он,—и не могу ни о чем думать, кроме ужасного происшествия, которое принесет столько бедствий совершенно невинным людям.

Немного позже, заметив, что сын сжигает бумагу, которую ему хотелось сохранить, отец не сумел совладать со своим волнением, и больно было видеть, как он несколько раз ударил паренька.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Джемс.— Ты хочешь, чтобы отца твоего повесили? — и, забыв о моем присутствии, еще долго что-то кричал по-гэльски, на что юноша не отвечал ни слова.

Только жена при слове «повесили» накинула на лицо передник и зарыдала громче прежнего.

Для постороннего свидетеля тяжело было все это видеть и слышать, и я очень обрадовался, когда возвратился Алан, снова похожий на себя, в красивом французском мундире, хотя, откровенно говоря, он так износился и вылинял, что едва ли заслуживал, чтобы его называли красивым. Тут меня увел другой сын Джемса и дал мне перемену платья, в котором я так давно нуждался. Кроме того, я получил пару башмаков из оленьей кожи, какие носят горцы. Сначала они показались мне странными, но вскоре я к ним привык и нашел их очень удобными.

К тому времени, когда я вернулся, Алан, должно быть, уже успел рассказать мою историю, так как у них было уже решено, что я должен бежать с Аланом вместе, и все занялись нашим снаряжением. Каждому из нас дали по шпаге и пистолету, хотя я признался в своем неумении владеть первой. С этой амуницией, мешком



Миссис Стюарт подбежала к нам и бросилась на грудь ко мне.

овсяной муки, железным котелком и бутылкой настоящего французского коньяку мы были готовы в путь. Денег, правда, у нас не хватало. У меня оставалось около двух гиней; деньги Алана отправили во Францию с другим гонцом, так что все состояние этого верного члена горного клана составляло семнадцать пенсов. Что же касается Джемса, то он, кажется, так поистратился на поездки в Эдинбург и на судебные издержки по делу арендаторов, что смог собрать только три шиллинга и пять с половиной пенсов, почти всё медяками.

— Этого мало,— решил Алан.

— Ты должен найти где-нибудь поблизости безопасное убежище,— сказал Джемс,— и потом известить меня. Видишь ли, тебе надо поскорее выпутаться из этой истории, Алан. Теперь не время задерживаться из-за одной или двух гиней. Они наверняка пронюхают о тебе, будут искать тебя и всю вину свалят на тебя. А ты сам должен понять, что если обвинят тебя, то и мне несдобровать, потому что я твой близкий родственник и укрывал тебя, когда ты бывал в этом краю. А если меня обвинят...— тут он остановился и, страшно побледнев, стал кусать ногти,— нашим друзьям придется тяжело, если меня повесят,— прибавил он.

— Это будет страшный день для Аппина,— согласился Алан.

— При мысли об этом дне у меня сжимается горло,— сказал Джемс.— О Алан, Алан, мы оба рассуждали как дураки! — воскликнул он, ударив кулаком в стену так, что удар отдался во всем доме.

— Да, это правда,— сказал Алан,— и мой друг из Лоулэнда,— при этом он кивнул на меня,— давал мне по этому поводу хороший совет. Если бы я тогда послушал его!

— Но слушай дальше...— продолжал Джемс прежним заискивающим тоном.— Если они посадят меня в тюрьму, Алан, тогда-то тебе и понадобятся деньги, потому что после всего того, о чем мы говорили, на нас с тобой падут очень тяжкие подозрения, понимаешь? Ну, теперь поразмысли хорошенько и ты увидишь, что мне самому придется донести на тебя. Мне придется объявить награду тому, кто тебя поймает, да, придется! Тяжело прибегать к такому между близкими друзьями. Но если

на меня падет подозрение в этом ужасном преступлении, мне придется защищаться, Алан. Согласен ты с этим?

Джемс говорил с умоляющим видом, держа Алана за борт его мундира.

— Да,— ответил последний,— я с этим согласен.

— А тебе, Алан, надо бежать из этой страны и вообще из Шотландии, а также и твоему другу из Лоулэнда, потому что мне придется объявить награду и за него. Ты понимаешь, что это нужно, Алан? Ну скажи, что понимаешь!

Мне показалось, что Алан немного покраснел.

— Это жестоко по отношению ко мне: ведь я привел сюда его, Джемс,— сказал он, поднимая голову.— Это значит, что я поступил как предатель!

— Нет, Алан, нет! — закричал Джемс.— Взгляни правде в лицо! О нем все равно будет написано в объявлении. Я уверен, что Мунго Кемпбелл объявит за его поимку награду! Не все ли равно, если я также объявлю? Кроме того, Алан, у меня есть семья.— Потом после короткого молчания он прибавил: — А ведь присяжными, Алан, будут Кемпбеллы.

— Хорошо одно,— сказал Алан, размышляя,— что никто не знает его имени.

— Никто и теперь не узнает, Алан! Вот тебе в том моя рука! — воскликнул Джемс, причем можно было подумать, что он действительно знает мое имя и отказывается от своей выгоды.— Придется только описать его одежду, лета, как он выглядит и тому подобное. Я не могу поступить иначе.

— Я удивляюсь тебе! — сурово сказал Алан.— Неужели ты хочешь продать его с помощью твоего же подарка? Ты дал ему новую одежду, а затем хочешь выдать его?

— Нет, Алан,— ответил Джемс,— нет, мы опишем одежду, которую он снял, ту, в которой его видел Мунго.

Но мне показалось, что он сильно упал духом. Действительно, бедняга хватался за соломинку, и я уверен, что перед ним все время мелькали лица его исконных врагов, занимавших места на скамье присяжных, а за ними ему мерещилась виселица.

— А ты, сэр,— спросил Алан, обращаясь ко мне,— что на это скажешь? Ты здесь под охраной моей чести,

и я обязан позаботиться, чтобы ничего не делалось против твоей воли.

— Могу сказать только одно,— ответил я,— что ваш спор мне совершенно непонятен. Простой здравый смысл говорит, что за преступление должен отвечать тот, кто совершил его, то есть тот, кто стрелял. Объявите о нем, направьте преследование по его следам, и тогда честные, невинные люди будут в безопасности.

Но от этих слов и Алан и Джемс пришли в ужас и велели мне держать язык за зубами, потому что об этом и думать было нечего.

— Что подумают Камероны? — говорили они, и это убедило меня, что убийство совершил Камерон из Мамора.— И разве ты не понимаешь, что этого человека могут поймать? Ты, наверное, не думал об этом? — говорили они с такой наивной серьезностью, что у меня опустились руки от отчаяния.

— Прекрасно,— объявил я,— пожалуйста, донесите на меня, на Алана, хоть на короля Георга! Ведь мы все трое невинны, а это, очевидно, и требуется!.. Сэр,— обратился я к Джемсу, когда улеглось мое раздражение,— я друг Алана, и если я могу быть полезным его друзьям, меня не остановит опасность.

Я подумал, что лучше сделать вид, будто я охотно соглашаюсь, потому что Алан начинал волноваться. «И, кроме того, соглашусь я или нет,— сказал себе я,— они все равно донесут на меня, как только я покину этот дом». Но я ошибался и сейчас же заметил это: не успел я сказать последнее слово, как миссис Стюарт вскочила со стула, подбежала к нам и бросилась с плачем на грудь ко мне, потом к Алану, благословляя бога за нашу доброту к ее семье.

— Ты, Алан, выполняешь священный долг,— сказала она.— Но этот мальчик только что пришел сюда и увидел нас в самом ужасном положении, увидел хозяина, который умоляет о милости, точно нищий, тогда как он рожден, чтобы повелевать как короли! Мой мальчик, я, к сожалению, не знаю твоего имени,— прибавила она,— но я видела твое лицо, и, пока сердце бьется у меня в груди, я буду помнить тебя, думать о тебе и благословлять тебя.— Она поцеловала меня и снова разразилась такими рыданиями, что я пришел в смущение.

— Ну, ну,— сказал Алан с растроганным видом,— в июле день наступает рано, а завтра в Аппине начнется порядочная кутерьма: разъезды драгунов, крики «Круахан!»¹, беготня красных мундиров, и нам с тобой следует уйти поскорее.

Мы попрощались и снова пустились в дорогу, направляясь к востоку. Была чудесная, теплая и очень темная ночь, но мы шли по такой же труднопроходимой местности.

XX. Бегство сквозь вересковые заросли.

Скалы

Мы то шли, то бежали, а когда начало светать, то бежать пришлось почти без передышки. Хотя на первый взгляд местность казалась пустынной, нам встречались уединенные хижины, спрятавшиеся между холмами. По дороге нам попало около двадцати таких хижин. Когда мы приближались к какой-нибудь из них, Алан оставлял меня одного, а сам подходил к окну, стучал в него и разговаривал с разбуженным хозяином. Это называлось «сообщать новости». В той части Шотландии это считалось настолько обязательным, что Алан должен был останавливаться в пути, даже подвергая свою жизнь опасности. И так хорошо это правило всеми исполнялось, что в большей части домов уже знали об убийстве, и, насколько я мог судить, прислушиваясь к разговорам на чуждом мне языке, новость эта встречалась скорее с ужасом, чем с удивлением.

Несмотря на то что мы торопились, мы все еще были далеко от убежища. Утро застало нас в обширной, усеянной скалами долине, по которой пробегал пенящийся поток. В этой долине, окруженной дикими горами, не было ни деревьев, ни травы. Подробностей нашего путешествия я совсем не помню; мы шли то прямо к цели, то делая длинные обходы. Мы очень спешили, передвигаясь обыкновенно ночью, а названия мест, которые мы проходили, я хотя и слышал, но по-гэльски, и потому они легко забывались.

¹ «Круахан!» — боевой клич Кемпбеллов.

Итак, первые лучи зари застали нас в этом ужасном месте, и я увидел, что Алан нахмурил брови.

— Это неподходящее место для нас с тобой, — сказал он, — потому что они обязаны его охранять.

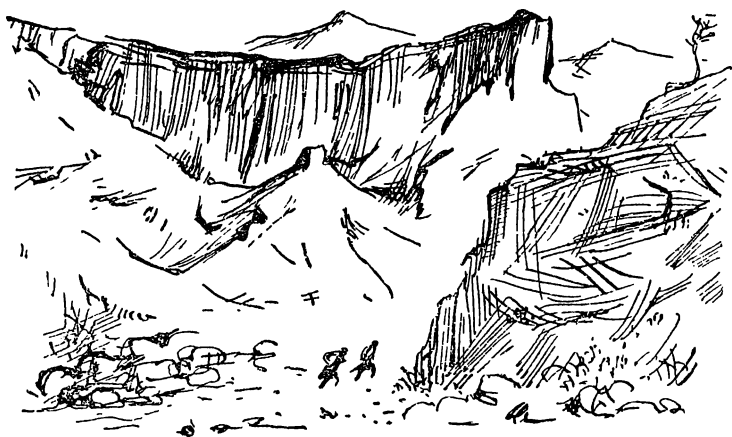
С этими словами он еще быстрее, чем обычно, побежал вниз, туда, где поток разделялся надвое. Поток прорывался между тремя скалами с таким страшным грохотом, что у меня содрогнулось сердце, а над ним стоял точно туман от водяной пыли. Алан, не оглядываясь по сторонам, прыгнул прямо на средний утес и, упираясь в него руками и ногами, едва удержался на месте, так как утес был невелик. Я, не успев ни рассчитать расстояния, ни понять опасности, последовал за Аланом, и он поймал и поддержал меня.

Мы стояли на маленьком утесе, мокрым и скользком, и нам предстояло сделать еще гораздо больший скачок через поток, грохотавший вокруг нас. Когда я увидел, где нахожусь, у меня от страха закружилась голова, и я закрыл глаза рукой. Алан потряс меня за плечо. Я видел, что он говорит, но от грохота водопада и головокружения не мог ничего расслышать. Я заметил только, что он покраснел от гнева и топнул ногой. Но я видел так же, как вода бешено неслась мимо, как в воздухе висел туман, и снова вздрогнул, закрыв глаза. Тут Алан приложил к моим губам бутылку с водкой и заставил проглотить около чарки, после чего мужество вернулось ко мне. Затем, приложив руки к губам, он крикнул мне в самое ухо:

— Висеть на веревке или утонуть! — И, повернувшись ко мне спиной, он перепрыгнул через рукав реки и благополучно упал на берег.

Теперь, когда я стоял один на скале, мне было просторнее; в голове шумело от водки. Видя хороший пример Алана, я понял, что если сейчас не перепрыгну через поток, то не сделаю этого никогда. Низко присев, я бросился вперед со злобой и отчаянием, которые иногда замещали мне мужество. Но едва руки мои достигли противоположного берега, и я успел за него ухватиться, как сорвался и соскользнул в водопад. Тут Алан схватил меня за волосы, потом за ворот и, наконец, с большими усилиями вытащил на безопасное место.

Не сказав ни слова, он снова пустился бежать, и я



должен был вскочить на ноги и бежать за ним. Усталый, я почувствовал теперь, что голова моя кружится, что я совсем разбит и слегка охмелел от выпитой водки. Я бежал, спотыкаясь и ощущая невыносимую боль в боку, так что когда наконец Алан остановился под большой скалой, окруженной другими скалами, то эта остановка была очень кстати для меня.

Я сказал, что Алан остановился под большой скалой, но, вернее, это были две скалы, опирающиеся одна о другую своими вершинами. Высота этих скал достигала двадцати футов, и при первом взгляде они казались неприступными. Хотя про Алана можно было сказать, что у него четыре руки, но даже он два раза безуспешно пробовал вскарабкаться на них, и только на третий раз, стоя на моих плечах и привскочив с такою силою, что едва не переломил мне ключицы, он смог добраться до нашего пристанища. Попав на выступ, он спустил мне свой кожаный пояс, и с его помощью, а также двух углублений в скале, на которые можно было поставить ногу, я взобрался наверх.

Мне стало ясно, зачем мы сюда пришли: обе скалы, прислонившиеся друг к другу, наверху образовали выемку, формой напоминавшую блюдечко. В этом углублении могли прятаться лежа три-четыре человека.

Все это время Алан не говорил ни слова, а только

бежал и карабкался с дикой, молчаливой и безумной поспешностью, очевидно крайне опасаясь какой-нибудь неудачи. Даже теперь, когда мы уже были на скале, он молчал и по-прежнему хмурился. Он лег, плотно прижавшись к камню, и, приподняв слегка голову из своего убежища, одним глазом стал изучать окружающую местность. Уже было совсем светло, и мы могли разглядеть каменные склоны долины, дно, усеянное скалами, поток, пересекавший ее, и пенившиеся водопады. Но нигде не было видно ни дыма жилищ, ни живого существа, кроме орлов, клекотавших над утесом.

Наконец Алан улыбнулся.

— Ну,— сказал он,— теперь у нас появилась надежда. — Затем, глядя на меня с улыбкой, прибавил: — Ты не особенно бойко прыгаешь.

При этих словах я, вероятно, покраснел от обиды, потому что он тотчас прибавил:

— Ну, я тебя не виню! Бороться со страхом и все-таки не отступать перед опасностью — достойно порядочного человека. Кроме того, кругом была вода, которая даже меня пугает. Нет, нет,— заключил Алан,— не ты заслуживаешь порицания, а я.

Я попросил его объясниться яснее.

— Сегодня ночью я вел себя как дурак. Во-первых, я ошибся дорогой, хотя мы шли по родной моей Аппинской стране. Поэтому утро застало нас там, где нам не следует быть, и вот мы лежим здесь, в таком неудобном и все же опасном месте. Во-вторых,— и это уже совсем непростительно для человека, часто бывавшего в горах,— я не взял бутылки с водой, и вот мы должны провести здесь весь долгий летний день, имея с собой только чистый спирт. Ты, может быть, думаешь, что это неважно, но еще до наступления ночи ты, Давид, заговоришь иначе.

Мне очень захотелось загладить свое поведение, и я сказал Алау, что спущусь вниз и наполню бутылку водой из реки, если он только выльет водку.

— Мне не хотелось бы даром тратить добрую водку,— сказал он.— Она оказала тебе сегодня большую услугу. Без нее, по моему скромному мнению, ты все бы еще торчал на том камне. А что еще важнее,— прибавил он,— ты, должно быть, заметил — ведь ты такой наблю-

дательный,— что Алан Брек Стюарт шел, пожалуй, быстрее обыкновенного.

— О да! — воскликнул я.— Следуя за вами, можно было задохнуться.

— Неужели? — спросил он.— Ну, так будь уверен, что, значит, нельзя было терять времени... Но довольно об этом: ложись спать, мой милый, а я буду сторожить.

Послушный его приказу, я улегся спать. Между вершинами скал ветром нанесло немного торфяной земли, на которой выросло несколько папоротников, и так образовалась для меня постель. Последнее, что я слышал, был все еще крик орлов.

Должно быть, часов около девяти утра Алан резко разбудил меня, зажимая мне рот рукой.

— Тсс,— прошептал он.— Ты храпел.

— Что же,— спросил я, удивленный его испуганным и мрачным лицом,— разве нельзя храпеть?

Он выглянул из-за угла скалы и знаком пригласил меня сделать то же.

Стоял ясный, безоблачный и очень жаркий день. Долина была видна отчетливо, как на картине. В полумиле от нас на берегу потока расположились лагерем солдаты в красных мундирах. Посередине лагеря горел большой костер, и на нем некоторые стряпали. Вблизи, на вершине скалы почти такой же вышины, как наша, стоял часовой, и солнце играло на его оружии. На всем берегу по течению потока стояли на постах часовые, расположившись то близко друг от друга, то на некотором расстоянии; одни, как и первый, помещались на возвышениях, другие шагали внизу взад и вперед, встречаясь на полдороге. Выше по течению, на местности более открытой, сторожевая цепь поддерживалась конными солдатами, и мы видели, как они разъезжали вдаль. Ниже стояли цепью пехотинцы. Но так как поток здесь неожиданно расширился от впадения в него значительного ручья, то солдаты были расположены друг от друга на больших расстояниях и оберегали только броды и камни, служившие для переправы.

Я взглянул на них разок и снова улегся на свое место. Странно было видеть, как эта долина, такая безлюдная на рассвете, теперь сверкала оружием и красными мундирами.

— Ты видишь,— сказал Алан,— чего я боялся, Давид: они будут сторожить берег потока. Они начали появляться уже два часа тому назад. Ну и мастер ты спать, милый мой! Мы теперь в опасном месте. Если они взберутся на уступы гор, то смогут увидеть нас в подозрную грубу, но если они останутся в глубине долины, мы еще продержимся. Посты внизу реже, и ночью мы попытаемся пробраться мимо них.

— А что же нам делать до наступления ночи? — спросил я.

— Лежать здесь,— сказал он,— и жариться.

Это слово «жариться» действительно всего точнее выражало наше состояние в продолжение дня, который нам предстояло провести. Надо припомнить, что мы лежали на голой вершине скалы, словно рыбы на сковородке. Солнце жестоко палило нас. Скала так раскалилась, что едва можно было прикоснуться к ней. А на маленьком клочке земли и в папоротниках, где было свежее, мог поместиться только один человек. Мы по очереди лежали на раскаленной скале, и это действительно напоминало положение святого, замученного на рашпере¹. Мне пришла в голову странная мысль: в этом же климате несколько дней тому назад я жестоко страдал от холода на моем острове, а теперь мне приходилось страдать от жары на скале.

К тому же у нас не было воды, а только чистая водка для питья, и это было хуже, чем ничего. Но мы не давали бутылке нагреваться, зарывали ее в землю и получали некоторое облегчение, смачивая водкой грудь и виски.

Солдаты весь день расхаживали в долине, то сменяя караул, то осматривая скалы. Но скал было кругом такое множество, что искать между ними людей было так же легко, как иголку в охапке сена. Понимая, что это дело бесполезное, солдаты занимались им без особого старания. Однако мы видели, как они иногда погружали в вереск штыки, и я чувствовал холодную дрожь во всем теле. Иногда они подолгу не отходили от нашей скалы, и мы едва смели дышать.

Вот при каких обстоятельствах я в первый раз услышал настоящую английскую речь.

¹ Р а ш п е р — здесь: решетка для пытки огнем.

Один солдат, проходя мимо, дотронулся до нашей скалы на солнечной стороне и тотчас с ругательством отдернул руку.

— И накалилась же она, скажу вам!—воскликнул он.

Меня удивили краткие звуки и скучное однообразие его речи, а также странная манера выдыхать букву «h». Правда, я слышал, как говорил Рэнсом, но он заимствовал свой говор от разного люда, и я большею частью приписывал недостатки его речи детскому возрасту. Поэтому я так удивился, услышав ту же особенность разговора в устах взрослого человека. Действительно, я никогда не мог привыкнуть как к английскому произношению, так и к английской грамматике, что очень строгий критик подчас сможет заметить в этих записках.

Наши муки и усталость росли по мере того, как подвигался день, потому что скала становилась все горячее, а солнце светило все ярче. Приходилось терпеть и головокружение, и тошноту, и острые, точно ревматические, боли в суставах. Я тогда вспоминал и потом часто вспоминал эти строки из нашего шотландского псалма:

Месяц не будет поражать тебя ночью,
А также и солнце — днем.

И действительно, только благодаря божьему милосердию нас не поразили солнечный удар.

Наконец около двух часов положение наше стало невыносимо: кроме того, теперь надо было не только терпеть мучения, но и бороться с искушением. Солнце начинало клониться к западу, и потому на восточной стороне нашей скалы показалась теневая полоса.

— Все равно, здесь умереть или там,— сказал Алан и, соскочив через край, очутился на земле с теневой стороны.

Я немедленно последовал за ним и растянулся во всю длину, так как у меня кружилась голова и я совсем ослабел от долгого пребывания на солнце. Тут мы пролежали час или два обессиленные, с болью во всем теле и совсем не защищенные от глаз любого солдата, которому пришлось бы в голову пройти в этом направлении.

Однако никто не появился: все солдаты проходили с другой стороны, так что скала защищала нас и в нашем новом положении.

Вскоре мы немножко отдохнули, и, так как солдаты расположились ближе к берегу, Алан предложил мне идти дальше. Я тогда больше всего в мире боялся очутиться опять на скале и охотно согласился бы на все, что угодно.

Итак, мы приготовились в путь, и начали скользить друг за другом по скалам, и пробирались то ползком на животе в тени уступов, то со страхом в душе перебегали открытые пространства.

Солдаты, обыскавшие для вида эту сторону долины и, вероятно, сонные теперь от полуденного зноя, утратили свою бдительность и дремали на постах, оглядывая только берега потока. Идя вниз по долине, по направлению к горам, мы все время удалялись от них. Но это было самое утомительное дело, в каком мне когда-либо приходилось участвовать. Нужно было глядеть во все стороны, чтобы оставаться незамеченным на неровной местности, на расстоянии окрика от массы рассеянных повсюду часовых. Когда нам приходилось перебегать открытое пространство, требовалась не только быстрота движения, но и сообразительность; нужно было отдать себе отчет не только в общем расположении местности, но и в прочности каждого камня, на который приходилось ступать, так как день стоял тихий и падение камешка, как и пушечный выстрел, пробуждало эхо между холмами и утесами.

К закату мы уже прошли порядочное расстояние даже при таком медленном продвижении, но часовые на скале все еще были ясно видны нам. Вдруг мы заметили нечто, сразу заставившее нас забыть все опасения: это был глубокий, стремительный ручей, мчавшийся вниз на соединение с потоком, протекавшим в долине. Увидев его, мы бросились ничком на берег и окунули голову и плечи в воду. Не могу сказать, какая минута была для нас приятнее: та ли, когда мы освежились в холодном ручье, или та, когда мы с жадностью стали пить воду.

Мы лежали тут — берега закрывали нас, — снова и снова пили, смачивали себе грудь, опускали руки в бегущую воду, пока их не начало ломить от холода. Наконец чудесным образом восстановив свои силы, мы достали мешок с мукой и приготовили драммах¹ в железном

¹ Д р а м м а х — месиво из овсяной муки и воды.

котелке. Хотя это только овсяная мука, замешанная на холодной воде, но все-таки она представляла собой довольно хорошее кушанье для голодного.

Когда нет возможности развести огонь или, как в нашем положении, есть причины не разводить его, такое месиво служит главной опорой для тех, кто прячется в зарослях.

Как только стало темнеть, мы отправились дальше сперва с некоторыми предосторожностями, а затем все смелее, поднявшись во весь рост и крупно шагая, как на прогулке. Дорога, извивавшаяся по крутым склонам гор и по вершинам холмов, была трудной. На закате появились облака, и ночь пришла темная и прохладная, так что я не особенно устал, но только все время боялся упасть и скатиться с горы, не имея понятия о направлении, куда мы шли.

Наконец взошел месяц и застал нас еще в дороге. Он был в последней четверти и долго не показывался из-за туч; теперь он осветил нам множество темных горных вершин, а далеко под нами он отразился в узкой излучине лоха.

Мы остановились. Меня поразило, что я нахожусь так высоко и иду, как мне казалось, по облакам. Алан же хотел убедиться, идем ли мы в верном направлении.

Очевидно, он остался доволен и, вероятно, считал, что мы ушли далеко от наших врагов, потому что всю остальную часть нашего ночного пути насвистывал разные песни, жалобные, воинственные или же веселые, плясовые, которые заставляли идти скорей. Я услышал также песни моей родины, и мне захотелось быть дома после всех приключений. Это развлекло нас в дороге по темным пустынным горам.

XXI. Бегство. Ущелье Корринаки

Начало светать, когда мы достигли места своего назначения — расселины на вершине горы, посередине которой пробегал ручей и где с правой стороны была пещера в скале. Березки образовали здесь редкий красивый лесок, который дальше переходил в сосновый бор. Поток кишел форелями, лес — дикими голубями, а вда-

леке, на открытой стороне горы, постоянно свистали дрозды и куковали кукушки. Из расселины мы видели внизу часть Мамора и лох, отделяющий его от Аппина. Мы смотрели на все с такой высоты, что любоваться этим видом служило для меня постоянным источником удивления и восторга.

Расселина эта называлась Корринаки, и, хотя из-за ее возвышенного положения и близости к морю она часто закрывалась тучами, все-таки, в общем, это было хорошее место, и пять дней, проведенных там, прошли приятно.

Мы спали в пещере, прикрывшись плащом Алана и устроив себе постель из кустов вереска, которые срезали для этой цели. В одном углу ущелья было потаенное местечко, где мы отваживались разводить огонь; таким образом мы могли согреться, когда находили тучи, варить горячую похлебку и жарить маленьких форелей, которых мы ловили руками под камнями и под нависшими берегами ручья. Рыбная ловля была нашим главным занятием и развлечением не только потому, что мы хотели сохранить муку на лучшие времена, но и потому, что нас забавляло наше соперничество; мы проводили большую часть дня у воды, обнаженные по пояс, ощупью отыскивая рыбу. Самая крупная из пойманных нами рыб весила не более четверти фунта, но они были мясистые и вкусные, в особенности испеченные на углях, и заставляли нас сожалеть только об отсутствии соли.

В свободное время Алан учил меня обращаться со шпагой, так как мое неумение приводило его в отчаяние. Я, кроме того, думаю, что, замечая иногда мое превосходство в рыбной ловле, он с радостью обращался к упражнению, в котором так превосходил меня. Он усложнял обучение более чем следовало, нападая на меня во время урока с пронзительным криком и наступая так близко, что я боялся, как бы он не проткнул меня шпагой. Мне часто хотелось убежать, но я все-таки оставался на месте, и уроки принесли мне некоторую пользу, научив обороняться с уверенным видом, а иногда это все, что требуется. Итак, не будучи в состоянии удовлетворить своего учителя, я сам был не совсем доволен собой.

Но читатель не должен думать, что мы в это время забыли о своем главном деле, то есть о бегстве.

— Пройдет еще много дней,— сказал мне Алан в первое утро,— прежде чем солдатам придет в голову обыскивать Корринаки. Так что теперь нам следует послать Джемсу извещение, а он должен прислать нам денег.

— А как мы пошлем извещение? — спросил я.— Мы здесь в пустынной местности, откуда не смеем уйти. И если только вы не пошлете птиц небесных, я, право, не знаю, как мы можем это сделать.

— Да? — сказал Алан.— Ты не отличаешься изобретательностью, Давид.

Вслед за тем он погрузился в размышления, глядя на пепел костра. Потом, взяв кусок дерева, он сделал из него крест, концы которого обжег на углях, несколько смущенно взглянув на меня.

— Не можешь ли ты уступить мне пуговицу? — спросил он.— Конечно, странно спрашивать подарок обратно, но, признаюсь, мне неохота отрезать другую.

Я дал ему пуговицу, и он продел в нее узкую полоску материи, оторванную от его плаща, и перевязал ею крест; затем, прикрепив к нему веточку березы и сучок сосны, с довольным видом взглянул на свою работу.

— Недалеко от Корринаки,— сказал он,— есть деревушка, под названием Колинснакоэ. Там много моих друзей — им бы я мог доверить свою жизнь, но там есть и такие люди, в которых я не так уверен. Видишь ли, Давид, за наши головы будет объявлена награда — сам Джемс обещает награду, — а уж Кемпбеллы не пожалеют денег, чтобы повредить Стюарту. Иначе, я, несмотря ни на что, спустился бы в Колинснакоэ и доверил бы свою жизнь этим людям так же легко, как другому дал бы перчатку.

— Ну, а теперь? — сказал я.

— А теперь,— отвечал он,— я бы предпочел, чтобы они не видали меня. Везде бывают дурные люди или, что еще хуже, слабые люди. Когда стемнеет, я прокрадусь в деревушку и поставлю этот крест на окно своего хорошего друга Джона Брека Макколя, арендатора испол¹ в Аппине.

— Прекрасно,— сказал я.— И что он подумает, увидев крест?

¹ Здесь имеется в виду арендатор, который берет в аренду скот у землевладельца и делит с ним полученный приплод.

— Ну,— сказал Алан,— мне бы хотелось, чтобы он был проникательным человеком, иначе, честное слово, боюсь, что он мало чего поймет! Но вот как я себе представляю это. Этот крест похож на смоляной или огненный крест, который служит сигналом для сбора наших кланов. Но он отлично поймет, что сейчас клан не должен восставать, так как хотя крест и будет стоять у него на окне, но при нем не будет ни одного слова. Итак, он подумает: «Клан не должен восставать, но что-то нужно сделать». Тогда он увидит мою пуговицу, пуговицу Дункана Стюарта, и подумает: «Сын Дункана в зарослях и нуждается во мне».

— Хорошо,— сказал я,— предположим, что это возможно. Но ведь зарослей очень много отсюда до форта.

— Совершенно верно,— сказал Алан.— Но Джон Брек увидит ветку березы и сучок сосны и подумает, если у него есть хоть капля сообразительности, в чем я не сомневаюсь: «Алан прячется в лесу из берез и сосен». А затем: «Это здесь довольно редко встречается», и станет искать нас в Корринаки. А если он не сделает этого, Давид, то черт бы его побрал совсем: он недостойн тогда посолить свою похлебку.

— Ну, любезный,— заметил я, слегка подшучивая над ним,— вы очень изобретательны! Но не проще ли было бы написать ему несколько слов?

— Это превосходное замечание, мистер Бальфур из Шооса,— отвечал Алан насмешливо.— Для меня было бы, конечно, гораздо проще написать, но Джону Бреку было бы нелегко прочесть это: ему пришлось бы походить в школу годика два-три, и мы, вероятно, устали бы поджидать его.

Итак, ночью Алан отнес свой огненный крест и поставил его арендатору на окно. Он вернулся в тревоге: почуяв его, собаки залаяли и народ выбежал из домов. Ему даже послышался звон оружия и показалось, что к одной из дверей подошел солдат. Во всяком случае, мы завтра не выходили из леса и были настороже, так что, приди туда Джон Брек, мы могли бы указать ему дорогу, а если бы пришли красные мундиры, у нас хватило бы времени уйти.

Около полудня можно было разглядеть человека, который пробирался по освещенному солнцем склону горы

и оглядывался вокруг, заслонив глаза рукой. Едва заметив его, Алан свистнул; тот повернулся и направился в нашу сторону. Тогда Алан свистнул еще раз, и человек подошел еще ближе. И так, по свисту, он нашел путь к месту, где мы находились.

Это был оборванный, дикого вида бородатый человек, лет около сорока, сильно обезображенный оспой и выглядевший мрачным и нелюдимым. Хотя он говорил на ломаном английском языке, Алан, по своему милому обыкновению, в моем присутствии не позволял ему изъясняться по-гэльски. Чужой язык, может быть, заставлял его казаться еще более тупым, чем он был в действительности. Но мне подумалось, что он мало расположен помогать нам, а если поможет, то из страха.

Алан желал, чтобы он передал на словах поручение Джемсу, но арендатор об этом и слышать не хотел. «Я забуду его»,— сказал он пронзительным голосом и решительно объявил, что если не получит письма, то ничего для нас не сделает.

Я думал, что Алан станет в тупик, потому что в этой пустыне трудно было найти принадлежности для письма. Но он был более находчив, чем я предполагал. Он стал искать в лесу, пока не нашел перо дикого голубя, и сделал из него перо для писания; затем приготовил нечто вроде чернил из пороха и воды и, оторвав уголок от своего французского военного патента, который носил в кармане как талисман от виселицы, написал следующее:

*Дорогой родственник, пришлите, пожалуйста, деньги
предъявителю этого письма в известное ему место.*

Ваш преданный брат А. С.

Эту записку он вверил арендатору, который, обещав поторопиться насколько возможно, отправился с нею вниз.

Человек этот не появлялся целых три дня, а в пять часов вечера на третий день мы услышали в лесу свист, на который Алан отозвался. Вскоре арендатор показавшись на берегу реки и стал искать нас, оглядываясь направо и налево. Он казался нам менее угрюмым, чем прежде, и, по всей вероятности, был очень рад, что покончил с таким опасным поручением.

Он рассказал нам новости: вся страна кишела красными мундирами, каждый день у кого-нибудь находили оружие, и бедный народ был в постоянной тревоге. Джемса и часть его слуг, находившихся под сильным подозрением в соучастии в убийстве, заключили в тюрьму в форте Виллиам. Везде носился слух, что выстрел произвел Алан Брек; было выпущено объявление, в котором предлагалась награда в сто фунтов тому, кто поймает его и меня.

Хуже быть ничего не могло, и письмо, которое арендатор принес от миссис Стюарт, было крайне печального содержания. Она умоляла Алана уйти от врагов и уверяла, что если он попадется в руки солдатам, то ни ему, ни Джемсу не избежать смерти. Деньги, присланные ею, составляли все, что она могла выпросить или занять, и бедная женщина молила небо, чтобы их нам хватило. Под конец она написала, что прилагает объявление, в котором описаны наши приметы.

Мы посмотрели на объявление с большим любопытством и с не меньшим страхом, отчасти так, как человек глядится в зеркало, а отчасти, как если бы он глянул в дуло неприятельского ружья, чтобы судить, верен ли прицел. Об Алане было написано, что он «небольшого роста, рябой, лет около тридцати пяти, носит шляпу с перьями, французский мундир синего цвета с серебряными пуговицами и сильно потускневшими галунами, красный жилет и черные плисовые панталоны». Обо мне было сказано, что я «высокий, сильный, безбородый юноша лет восемнадцати, в старой синей шапочке, длинном жилете домашнего тканья, синих штанах, с голыми икрами и в башмаках лоулэндского покроя, с продранными носками, говорит на наречии жителей Лоулэнда».

Алану понравилось, что его изящный костюм так запомнили и описали. Только когда дело дошло до слова «потускневшими», он взглянул на свой галун с огорченным видом.

Я же подумал про себя, что имею, судя по объявлению, очень жалкий вид, но вместе с тем был этому рад, потому что, с тех пор как я снял свои лохмотья, описание их перестало быть опасным, а сделалось, напротив, источником моего спасения.

— Алан,—сказал я,—вам бы следовало переменить одежду.

— Пустяки,—ответил он,—у меня нет другой одежды. Хорош бы я был, если б вернулся во Францию в колпаке!

Это навело меня на размышление: покинув Алана с его предательской одеждой, я мог не опасаться ареста и свободно идти по своему делу. Но это еще не все: предположим, что я буду арестован один,—против меня найдется мало улик; если же меня захватят в обществе человека, принимаемого за убийцу, мое положение сразу станет очень серьезным. Из великодушия я не высказал этих мыслей, тем не менее они не выходили у меня из головы.

Я особенно призадумался, когда арендатор вытащил зеленый кошелек с четырьмя золотыми гинеями и мелочью почти на одну гиней. Правда, это было больше, чем я имел сам. Зато Алану с пятью гинеями приходилось добираться до Франции, а мне с двумя — только до Куинзферри, так что общество Алана могло оказаться не только опасным для моей жизни, но и обременительным для моего кармана.

Однако мой честный товарищ был далек от подобных мыслей. Он верил, что служит и помогает мне, и защищает меня. Что еще оставалось мне делать, если не молчать, сердиться и рисковать жизнью?

— Этого мало,—сказал Алан, кладя кошелек в карман,—но с меня хватит. А теперь, Джон Брек, отдай мне пуговицу, и мы с этим джентльменом пустимся в путь.

Но арендатор, пошарив в волосяном кошельке, который висел у него спереди по обычаю горцев, хотя он носил лоулэндскую одежду и морские штаны, стал странно ворочать глазами и наконец сказал:

— Она, верно, пропала,—подразумевая, что он, верно, потерял ее.

— Как,—сказал Алан,—ты потерял пуговицу, которая принадлежала моему отцу? Скажу тебе откровенно, Джон Брек, я думаю, что это самый дурной поступок, который ты совершил с самого своего рождения.

С этими словами Алан опустил руки на колени и с насмешливой улыбкой посмотрел на арендатора, но в

глазах у него замелькал огонек, обычно не предвещавший ничего доброго его врагам.

Может быть, арендатор был и честный человек; может быть, он хотел сплутовать, но потом, увидев, что нас двое против него в таком пустынном месте, нашел более безопасным стать на честный путь. По крайней мере, он сразу отыскал пуговицу и отдал ее Алану.

— Ладно, это спасло честь Макколей,— сказал Алан. Затем, обратившись ко мне, прибавил: — Вот тебе моя пуговица обратно, и благодарю тебя за то, что ты расстался с ней: это одна из твоих многих услуг мне.— Затем он тепло попрощался с арендатором.— Ты мне очень удружил,— сказал он,—ты подвергал свою жизнь опасности, и я всегда буду считать тебя хорошим человеком.

Наконец арендатор ушел, а мы с Аланом, собрав свои пожитки, отправились в другую сторону.

XXII. Бегство. Стень

После более чем одиннадцатичасового непрерывного тяжелого перехода мы достигли рано утром конца горного кряжа. Перед нами лежала низменная, неровная, пустынная земля, которую нам предстояло пересечь. Солнце появилось недавно и светило нам прямо в глаза; легкий, прозрачный туман, точно дымок, поднимался с поверхности болота, так что, как говорил Алан, тут могло расположиться двадцать эскадронов драгун и мы не узнали бы об этом.

В ожидании, когда рассеется туман, мы уселись во впадине на склоне холма, приготовили себе драммах и стали держать военный совет.

— Давид,— сказал Алан,—трудновато решить, лежать ли нам тут до ночи или рискнуть пойти вперед?

— Ну,— ответил я,—положим, я устал, но если нужно, то могу пройти еще столько же.

— Да, но это не все,—сказал Алан,—и даже не половина дела. Вопрос вот в чем: Аппин для нас верная смерть. К югу все принадлежит Кемпбеллам. К северу... Но мы ничего не выиграем, идя к северу: тебе нужно

попасть в Куинзферри, а мне во Францию. Итак, нам остается отправиться на восток.

— Отлично! На восток так на восток,— сказал я весело, но сам подумал: «Любезный мой, если бы вы держались одного направления и позволили мне идти по другому, было бы лучше для нас обоих».

— Но видишь ли, Давид,— продолжал Алан,— раз мы пойдем на восток, в эту степь, то попадем в настоящую ловушку. Ну как повернуться на этом обнаженном, плоском месте? Если солдаты взойдут на холм, то увидят нас за несколько миль. И, главное, горе в том, что они на лошадях и скоро догонят нас. Это скверное место, Давид, и, говорю откровенно, днем оно хуже, чем ночью.

— Алан,— сказал я,— послушайте мое мнение. В Аппине нас ожидает смерть: у нас нет ни лишних денег, ни даже муки. Чем дольше солдаты будут искать, тем вернее догадаются, где мы,— все это риск. Но я даю слово идти вперед, пока хватит сил.

Алан пришел в восторг.

— Бывает иногда,— сказал он,— что ты слишком педантичен и рассуждаешь слишком похоже на вига для джентльмена, подобного мне, но иногда в тебе искрится энергия, и тогда, Давид, я люблю тебя, как брата.

Туман поднялся и рассеялся, и мы увидели перед собою равнину, обширную, как море. Слышен был только крик болотной птицы, а на востоке двигалось стадо оленей, казавшихся издали точками. Большая часть равнины краснела вереском, остальная была перерезана болотами и торфяными ямами; кое-где она чернела после степного пожара, а местами виднелись целые леса сухих деревьев, стоявших точно скелеты. Едва ли кто-нибудь видел более унылую пустыню, но, по крайней мере, там не было солдат, а это было самое важное.

Мы спустились вниз и продолжали свой трудный, извилистый путь по направлению к востоку. Кругом (читатель, верно, помнит) поднимались холмы, откуда нас каждую минуту могли увидеть. Поэтому нам следовало держаться углубленных мест на пустоши, а когда наш путь отклонялся в сторону от них, то с бесконечными предосторожностями пересекать открытое место. Иногда мы целых полчаса должны были ползти от од-

ного куста вереска к другому, как охотники, преследующие красного зверя. День снова был ясный, солнце палило; вода в бутылке от водки скоро истощилась. И если бы я раньше знал, каково это — половину пути ползти на животе, а большую часть другой идти, согнувшись почти вдвое, то, разумеется, отказался бы от такого ужасного предприятия.

Выбиваясь из сил, отдыхая и снова утомляясь, мы прошли все утро и около полудня легли спать в густых кустах вереска. Алан первый стал на вахту, и мне показалось, что едва я успел закрыть глаза, как он уже разбудил меня, чтобы смениться. У нас не было часов, и Алан воткнул в землю сучок вереска с тем, чтобы, когда тень от куста, склоняясь к востоку, дойдет до этого места, я бы разбудил его. Но я чувствовал себя настолько утомленным, что мог бы проспять двенадцать часов подряд; все мои суставы спали, даже когда ум бодрствовал. Горячий запах вереска, жужжание диких пчел совершенно усыпили меня. Время от времени я вздрагивал и тогда замечал, что дремлю.

Когда я проснулся окончательно, мне показалось, что я возвратился откуда-то издалека. Солнце, подумал я, ушло что-то очень вперед. Посмотрев на сучок вереска, я чуть не вскрикнул, так как понял, что не оправдал доверия Алана. Я почти потерял голову от страха и стыда, но когда окинул взглядом пустошь, то увидел там нечто такое, от чего мое сердце замерло: в то время, когда я спал, сюда спустилась группа конных солдат; они приближались к нам с юго-востока, рассеявшись в форме веера, и осматривали те места, где вереск был выше и гуще.

Когда я разбудил Алана, он сперва взглянул на солдат, затем на сучок вереска и на положение солнца и, наморщив брови, бросил на меня быстрый взгляд, одновременно сердитый и озабоченный: так он упрекнул меня.

— Что же нам теперь делать? — спросил я.

— Нам надо вообразить себя зайцами, — сказал он. — Видишь ты вон ту гору? — спросил он, указывая на северо-восток.

— Да, — ответил я.

— Ну, — продолжал он, — направимся туда. Она на-



зывается Бэн-Альдер. Это дикая, пустынная гора, вся в уступах и впадинах. И если мы достигнем ее до утра, мы еще не погибли.

— Но, Алан,— заметил я,— нам тогда придется пересечь дорогу солдатам!

— Я это отлично знаю,— отвечал он.— Но если нас оттеснят к Аппину, нам обоим не избежать смерти. А теперь, Давид, проворнее!

И он побежал вперед на четвереньках с невероятной быстротой, точно это был его обычный способ передвижения. Все время он петлял по самым низким местам равнины, где мы были лучше всего скрыты. На сожженных или, по крайней мере, поврежденных огнем местах прямо в наши лица, которые были близко к земле, поднималась ослепляющая, удушающая пыль, мелкая, как дым. Вода уже давно кончилась, а бег на четвереньках вызывал такую ужасную слабость и усталость, что у нас болели все суставы, а кисти рук подгибались под тяжестью тела.

Правда, время от времени там, где нам попадался

высокий куст вереска, мы немного отдыхали лежа и, раздвигая ветви, оглядывались на драгун. По-видимому, они не заметили нас, так как продолжали свой путь прямо. Их было, я думаю, пол-эскадрона; они растянулись на протяжении двух миль и тщательно осматривали местность.

Я проснулся как раз вовремя: будь это чуть позже, нам пришлось бы бежать перед ними, вместо того чтобы пересекать им дорогу. Но даже и теперь малейшая неосторожность могла выдать нас; и когда из вереска, хлопая крыльями, поднималась куропатка, мы лежали тихо, как мертвецы, боясь дышать.

Усталость во всех членах, сильное сердцебиение и резкая боль в горле и глазах от постоянной пыли и золы вскоре стали до того нестерпимы, что я бы охотно все бросил. Но страх перед Аланом придавал мне видимость мужества настолько, чтобы продолжать путь. Что же касается его (вы должны помнить, что ему мешал плащ), он сперва страшно покраснел, а потом у него на лице появились белые пятна; он тяжело дышал с каким-то присвистом, а когда он шептал мне на ухо замечания во время остановки, голос его звучал совсем не по-человечески. Но он, казалось, не падал духом и несколько не утратил охоты к деятельности, так что я должен был удивляться выносливости этого человека.

Наконец при наступлении сумерек мы услышали звук трубы и, выглянув из вереска, увидели, что эскадрон стягивается. Немного позже солдаты зажгли огонь и расположились на ночь лагерем посередине пустоши.

Я начал просить Алана сделать привал, чтобы можно было прилечь и уснуть.

— Ночью мы спать не будем! — возразил он. — С сегодняшнего дня эти проклятые драгуны окружают всю равнину, и, кроме птиц, никто не выберется из Аппина. Мы успели пройти как раз вовремя. И неужели мы поставим на карту все, чего мы достигли? Нет, когда день настанет, он найдет нас в безопасном месте, на Бэн-Альдере.

— Алан, — сказал я, — право, я не преувеличиваю, но у меня нет больше сил. Если б я мог, я пошел бы, но, уверяю вас, не могу больше.

— Ладно, — ответил Алан, — я понесу тебя.

Я посмотрел, не шутит ли он, но он был совершенно серьезен, и такая решимость его пристыдила меня.

— Ведите дальше,— воскликнул я,— я буду следовать за вами!

Он взглянул на меня, как бы говоря: «Хорошо сказано, Давид!» — и поспешно направился вперед.

Ночью стало прохладнее и немного темнее; небо было безоблачно. Было начало июля, и местность эта лежала далеко на севере. Зимой среди дня бывает темнее, чем в такую ночь, когда, имея хорошее зрение, можно читать. Выпала сильная роса, смочила пустошь точно дождем, и это на время освежило меня. Когда мы остановились передохнуть и я мог оглянуться вокруг и заметить, как ясна и тепла ночь, как хороши очертания сонных холмов, каким ярким пятном пылал посреди пустоши затухавший костер, мне становилось досадно, что я все еще должен был тащиться на четвереньках и глотать дорожную пыль, как червяк.

Судя по тому, что я читал в книгах, я полагаю, что мало кто из владеющих пером когда-нибудь действительно уставал, иначе они описали бы это сильнее. Я не заботился тогда о своей жизни и едва помнил, что существует Давид Бальфур. Я забывал о себе и только с отчаянием думал о каждом новом шаге, который, казалось мне, будет последним, и с ненавистью — об Алане, бывшем причиной всему.

Мне казалось, что прошли годы, прежде чем начало светать. К этому времени мы уже избежали наибольшей опасности и могли уже не ползти, а идти, как люди, на ногах. Но, боже милостивый, на кого мы были похожи: качались, как старики, спотыкались, как дети, и были бледны, точно мертвецы! Мы не произносили ни слова, и оба, стиснув зубы, глядя прямо вперед, поднимали и снова опускали ноги как автоматы. Все это время в вереске кричали куропатки и на востоке медленно светлело.

Мое утверждение, будто Алан чувствовал то же, что и я, совсем не доказывает, что я наблюдал за ним: мне трудно было усмотреть и за своими ногами. Но, очевидно, он одурел от усталости, как и я, и так же мало смотрел, куда мы идем, иначе мы не попали бы в засаду, точно слепцы.

Это случилось таким образом. Мы спускались с поросшего вереском косогора: Алан впереди, а я за ним шагах в двух, точно странствующий скрипач и его жена. Вдруг в вереске что-то зашуршало, и оттуда выскочили три или четыре оборванца, а через минуту мы лежали на спинах, и к горлу каждого из нас был приставлен кинжал.

Мне, помнится, было все равно: эта неприятность была ничем по сравнению с теми муками, какие мне пришлось испытать раньше. Я даже обрадовался, что не надо идти дальше, и не обращал внимания на кинжал. Я лежал, глядя в лицо человека, схватившего меня, и помню, что оно почернело от загара, а глаза его были очень светлы. Но я не боялся его... Я слышал, как Алан шептался с другим по-гэльски, но о чем они говорили, было мне безразлично.

Наконец кинжалы поднялись, оружие у нас отняли, и нас посадили друг против друга среди вереска.

— Это люди Ключни,— сказал Алан.— Мы не могли попасть удачнее. Нам нужно остаться здесь, на его передовых постах, пока они не дадут знать вождю о моем прибытии.

Ключни Макферсон, вождь клана Воурих, был одним из предводителей великого восстания. Шесть лет тому назад голова его была дорого оценена, и я полагал, что он давно уже во Франции вместе с остальными главарями этой отчаянной партии. Как я ни был утомлен, от удивления я наполовину пришел в себя.

— Как?— воскликнул я.— Разве Ключни все еще здесь?

— Да, он здесь,— ответил Алан.— Он здесь, в этой стране, под защитой своего клана. Король Георг не может защитить лучше.

Я, вероятно, стал бы расспрашивать далее, но Алан прервал меня.

— Я порядочно устал,— сказал он,— и очень бы хотел уснуть.— И с этими словами он зарылся лицом в высокий куст вереска и, кажется, сейчас же заснул.

Но для меня это было невозможно. Слыхали вы, как летом в траве трещат кузнечики? Не успел я закрыть глаза, как над моей головой, туловищем, руками как бы запрыгали сотни стрекочущих кузнечиков. Я тотчас же

открыл глаза, я метался, вставал и снова ложился, смотрел на ослеплявшее меня небо и на грязных, диких часовых Ключи, выглядывавших из-за вершины склона и болтавших по-гэльски.

Таким образом, я не мог отдохнуть, пока не вернулся посланный, и так как оказалось, что Ключи будут очень рад принять нас, то мы должны были подняться на ноги и снова отправиться в путь. Алан был в прекрасном настроении, совершенно освежился сном, проголодался и с удовольствием предвкушал выпивку и горячие битки, о чем посланный, очевидно, сообщил ему. Мне же становилось тошно при одной мысли о еде. Прежде я чувствовал ужасную тяжесть в теле, теперь же я ощущал такую странную легкость, что не мог ходить. Меня гнало, как паутину; земля казалась мне облаком, холмы — легкими, как перья; в воздухе мне чудилось течение, которое, точно ручей, носило меня из стороны в сторону. Мною овладело какое-то безотчетное отчаяние, и я готов был плакать над собственной беспомощностью.

Я заметил, что, глядя на меня, Алан нахмурил брови, и подумал, что он сердится. Тогда я почувствовал приступ малодушия, почти детского страха. Помню, что я улыбался и, как ни старался, не мог перестать улыбаться, хотя сознавал, что это совсем некстати в такое время. Но мой товарищ был, как всегда, добр ко мне. Через минуту два человека подхватили меня под руки и очень быстро потащили вперед—так мне казалось, хотя на самом деле все это происходило довольно медленно,—через целый лабиринт унылых долин и впадин в глубинну мрачной горы Бэн-Альдери.

XXIII. „Клетка Ключи“

Наконец мы подошли к подошве горы, поросшей лесом, который поднимался по крутому склону, а за ним высился обнаженный отвесный утес.

— Это здесь,—сказал один из проводников, и мы стали взбираться по склону.

Деревья цеплялись по откосу, как матросы по ван-

там корабля, и корни их образовали как бы переключенные лестницы, по которым мы поднимались.

Наверху, почти у самого места, где скалистый утес возвышался над деревьями, мы увидели странный дом, известный под названием «Клетка Ключи». Стволы нескольких деревьев были переплетены поперек, в промежутках между ними стены укреплены стойками, а почва за этой баррикадой была выровнена насыпанной землей, так что образовался пол. Дерево, росшее на склоне, служило живым устоем для крыши. Стены были сплетены из прутьев и покрыты мхом. Дом по форме немного походил на яйцо и не то стоял, не то висел на этом крутом, покрытом деревьями склоне, точно осиное гнездо в зеленом боярышнике.

Внутри дом был достаточно просторен, чтобы с некоторым удобством приютить от пяти до шести человек. Выступ скалы был остроумно приспособлен для очага, а так как дым поднимался вдоль поверхности скалы и по цвету мало отличался от нее, то снизу ничего не было заметно.

Но Ключи скрывался не только в этом убежище: у него, кроме того, были пещеры и подземелья в разных концах страны, и, в зависимости от донесений своих разведчиков, он перебирался из одного места в другое, по мере того как солдаты приближались и удалялись. Благодаря такому образу жизни и преданности клана он оставался невредимым все это время, тогда как многие другие беглецы были схвачены и казнены. Он оставался в стране еще лет пять после нашего посещения и только по настоятельному требованию своего властелина отправился во Францию. Там он, как это ни странно, часто скучал по своей Клетке на Бэн-Альдере и вскоре умер.

Когда мы подошли к двери его жилища, Ключи сидел у очага под скалой и наблюдал за стряпней одного из своих слуг. Он был одет чрезвычайно просто: в каком-то вязаном колпаке, надвинутом по самые уши, и курил вонючую носогрейку. Несмотря на это, надо было видеть, с каким королевским достоинством он поднялся с места, чтобы приветствовать нас.

— Добро пожаловать, мистер Стюарт,—сказал он,—введите своего друга, имени которого я пока не знаю.

— Как вы поживаете, Ключи? — сказал Алан. — На-

деюсь, что хорошо. Я счастлив видеть вас и представить вам моего друга, шоосского лэрда, мистера Давида Бальфура.

Когда мы были одни, Алан никогда не упоминал о моем поместье без некоторой усмешки, но при чужих провозглашал эти слова точно герольд.

— Входите, джентльмены,— сказал Ключи,— добро пожаловать в мой дом! Это, конечно, странное и не особенно удобное жилище, но здесь я принимал особу королевской крови... Вы, мистер Стюарт, без сомнения, знаете, о ком я говорю. Сперва выпьем за удачу, а когда у моего безрукого слуги будут готовы битки, мы пообедаем и сыграем в карты, как полагается джентльменам. Жизнь моя немного скучновата,— сказал он, наливая водку,— я вижу мало людей, сижу тут и бью баклуши, вспоминая великий день, который, как мы все надеемся, скоро настанет. Я провозглашаю тост: за Реставрацию!

Тут все мы чокнулись и выпили. Уверяю вас, я не желал зла королю Георгу, но если бы он был на моем месте, то, вероятно, поступил бы так же, как я. Проглотив водку, я почувствовал себя гораздо лучше, мог наблюдать и слушать хотя и не совсем ясно, но все-таки не испытывая прежнего беспричинного страха и упадка сил.

Жилище, где мы находились, было действительно странным, так же как и его хозяин. За то время, что ему приходилось скрываться, Ключи приобрел много мелких привычек, точно какая-нибудь старая дева. У него было свое особое место, где никто другой не должен был сидеть; Клетка была убрана известным образом, который никто не смел нарушать. Стряпня была одной из любимых развлечений Ключи, и, даже приветствуя нас, он все время присматривал за битками.

Мы узнали, что иногда под покровом ночи он навещал или принимал у себя жену и одного или двух близких друзей, но большую часть времени он проводил в одиночестве и общался только с часовыми и слугами, прислуживавшими ему в Клетке. Утром к нему первым приходил цирюльник, брил его и рассказывал местные новости, которые Ключи чрезвычайно любил слушать. Не было конца его вопросам, задаваемым с детскою серьезностью. Некоторые ответы заставляли его смеять-

ся до слез, и даже через несколько часов после ухода цирюльника он иногда хохотал при одном воспоминании о них.

Очевидно, Ключи имел основание задавать вопросы хотя он находился в изгнании и, подобно остальным земельным собственникам Шотландии, лишен был парламентским актом законных прав, он все же вершил в своем клане патриархальный суд. Люди приходили в его убежище разбирать свои споры. И членам его клана, ни во что не ставившим постановления судебной палаты, достаточно было одного слова этого изгнанника, бывшего вне закона, чтобы отказаться от плана мести или согласиться выплатить деньги. Когда он гневался — а это бывало довольно часто, — он приказывал и грозил наказаниями не хуже любого короля; слуги дрожали и прятались от него, как дети от вспыльчивого отца. Входя в дом, Ключи каждому по очереди жал руку, причем все одновременно по-военному прикасались к своим шотландским шапочкам. Таким образом, мне представлялся прекрасный случай ознакомиться с некоторыми особенностями внутреннего быта гайлэндерского клана. Вождь был осужден на смерть и скрывался; земли его были отобраны; солдаты разъезжали повсюду в поисках его, иногда на расстоянии мили от места, где он находился; и последний из оборванцев, которым Ключи давал советы или угрожал наказанием, мог бы составить себе состояние, выдав его.

Как только битки были готовы, Ключи собственноручно выжал на них лимон — его хорошо снабжали предметами роскоши — и пригласил нас сесть за обед.

— Они, — сказал он, подразумевая битки, — такие же, какими я угощал в этом самом доме его королевское высочество¹, только не было лимонного сока. В те времена мы радовались, когда могли поесть мясо и не были требовательны к стряпне. В сорок шестом году в нашей стране было больше драгунов, чем лимонов.

Не знаю, может быть, битки были и в самом деле очень хороши, но при одном взгляде на них мне стало тошно, и я не мог их есть. Между тем Ключи занимал нас рассказами о пребывании принца Чарли в Клетке, при-

¹ Имеется в виду «молодой претендент», принц Карл-Эдуард Стюарт, которого якобиты пытались возвести на престол.

водил его подлинные слова и, встав с места, показал нам, где кто стоял. Из слов его я заключил, что принц был приветливый, бойкий юноша, настоящий потомок ряда изящных королей, но не обладал мудростью Соломона. Я понял также, что во время своего пребывания в Клетке он часто бывал пьян, так что порок, бывший, по многим сведениям, причиной его гибели, уже тогда давал о себе знать.

Не успели мы покончить с едой, как Ключи принес старую, захватанную жирную колоду карт, какую можно найти в любой захудалой гостинице, и с разгоревшимися глазами предложил нам сыграть партию.

Мне с детства внушали, что карточной игры надо избегать, что это занятие позорное. Мой отец считал недостойным христианина и вообще джентльмена рисковать своим состоянием и посягать на чужое посредством метания раскрашенного картона. Разумеется, я мог бы отговориться усталостью, что было бы достаточным извинением, но я нашел нужным объяснить напрямик. Должно быть, я страшно покраснел, но все-таки твердым голосом сказал, что не берусь судить других, но сам этим делом никогда не занимался.

Ключи перестал тасовать карты.

— Что это такое, черт возьми? — сказал он. — Что это за вигский ханжеский разговор в доме Ключи Макферсона?

— Я за мистера Бальфура готов положить руку в огонь, — сказал Алан. — Он честный и храбрый джентльмен! Не забывайте, кто говорит это: я ношу королевское имя, — прибавил он, приподнимая шляпу. — Я и мои друзья можем быть достойной компанией даже в самом избранном обществе. Но молодой человек устал, и ему следует выспаться. Если он не желает играть в карты, это не мешает составить нам партию вдвоем. Я, сэр, умею и охотно сыграю в любую игру, какую вы назовете.

— Сэр, — сказал Ключи, — вам надо знать, что в моем скромном доме всякий джентльмен может поступать, как ему вздумается. Если бы ваш друг захотел стоять на голове, я не возражал бы. Но если он, или вы, или кто-нибудь другой не совсем довольны мною, то я буду счастлив скрестить наши шпаги.

Я вовсе не желал, чтобы друзья из-за меня перерезали друг другу горло.

— Сэр! — воскликнул я. — Я очень устал, как вам объяснил Алан, и к тому же — я могу сказать это вам: ведь у вас у самого могут быть сыновья, — я обещал моему отцу не играть в карты.

— Довольно, довольно, — сказал Ключи и указал мне на постель из вереска в углу Клетки. Но все-таки он рассердился, искоса поглядывал на меня и тихонько ворчал.

Действительно, надо сознаться, мое мнение и слова, в которых я выразил его, отдавали пресвитерианством и были малоуместны среди якобитов дикой Шотландии.

Выпив водки и закусив олениной, я почувствовал какую-то странную тяжесть во всем теле и не успел лечь в постель, как меня охватило нечто вроде столбняка, и такое состояние продолжалось почти все время пребывания моего в Клетке. Иногда я приходил в себя и понимал, что вокруг происходит; остальное время я только слышал голоса или храп мужчин, точно далекие звуки журчащей реки. Пледы, висевшие прямо предо мной на стенах, то уменьшались, то опять вырастали, словно тени на потолке. Я, должно быть, иногда что-то говорил или вскрикивал, потому что время от времени с удивлением слышал ответы. Я не помню никакого определенного кошмара, а испытывал только какой-то ужас и отвращение к месту, где я находился, к постели, на которой лежал, к пледам на стене, к голосам, к огню, к самому себе...

Позвали цирюльника, который был также и доктором, чтобы прописать мне лекарство. Он говорил по-гэльски, и я ничего не понял из его слов, а болезнь помешала мне попросить перевести их на мой язык. Я хорошо сознавал, что болен; остальное меня не интересовало.

Находясь в таком печальном положении, я мало на что обращал внимание. Но Алан и Ключи большую часть времени проводили за картами, и Алан, должно быть, сначала выигрывал. Я вспоминаю, что видел их увлеченными игрой, причем на столе лежала блестящая кучка в шестьдесят или сто гиней. Станным выглядело



Алан и Ключи бóльшую часть времени проводили за картами.

такое богатство в гнезде, сплетенном из деревьев, на склоне утеса. Даже тогда я понимал, что такое занятие опасно для Алана, у которого не было ничего, кроме зеленого кошелька и пяти фунтов в нем.

Счастье изменило ему, должно быть, на второй день. Около полудня меня, по обыкновению, разбудили к обеду, и я, как всегда, отказался от еды, но, должно быть, выпил рюмку какой-то горькой настойки, которую мне прописал цирюльник. Слепящие лучи солнца светили в открытую дверь Клетки и беспокоили меня. Ключи сидел у стола, теребя в руках колоду карт. Алан наклонился над моей постелью, причем лицо его, приблизившееся к моим помутившимся от лихорадки глазам, показалось мне невероятно большим.

Он попросил меня дать ему денег взаймы.

— На что? — спросил я.

— О, только взаймы, — сказал он.

— Но зачем? — повторил я. — Я не понимаю.

— О Давид, — сказал Алан, — неужели ты пожалеешь дать мне денег в долг?

Я, паверное, пожалел бы, если был бы в полном сознании. Но тогда я хотел лишь одного: не видеть его лица и вручить ему деньги.

Наутро третьего дня, после того как мы провели в Клетке уже сорок восемь часов, я, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, и хотя был еще очень слаб, но уже видел предметы в их подлинных размерах и в обыкновенном, а не в фантастическом виде. Кроме того, у меня появился аппетит. Встав с постели по собственному побуждению, я, как только мы позавтракали, вышел на воздух и сел перед Клеткой на опушке леса. Стоял серенький денек, воздух был прохладный и влажный, и я все утро просидел в полудремоте, нарушаемой только хождением разведчиков и слуг Ключи, которые являлись к нему с провизией и докладами. В то время кругом было спокойно, и можно сказать, что Ключи почти открыто чинил суд и расправу.

Вернувшись в дом, я увидел, что он и Алан, отложив в сторону карты, расспрашивали слугу. Вожь повернулся ко мне лицом и заговорил со мной по-гэльски.

— Я не понимаю по-гэльски, сэр, — сказал я.

Со времени происшествия с картами все, что я говорил или делал, раздражало Ключни.

— В вашем имени больше смысла, чем в вас самих, сэр,—сказал он гневно,—потому что оно совершенно гальское. Но дело не в том. Мой разведчик доложил мне, что местность на юге свободна. Хватит ли у вас сил идти?

Я увидел на столе карты, но золота там не было, а на той стороне, где сидел Ключни, лежала только куча исписанных бумажек. У Алана был какой-то странный взгляд. Казалось, он был чем-то недоволен, и я почувствовал смутное опасение.

— Я не знаю, хватит ли у меня сил,—сказал я, глядя на Алана,—но те небольшие деньги, которые у нас есть, помогут нам пройти большое расстояние.

— Давид,—произнес он наконец,—я проиграл деньги. Вот тебе чистая правда.

— И мои также? — спросил я.

— И твои также,—сказал Алан со вздохом.—Тебе не следовало давать их мне; я теряю рассудок, когда сажусь за карты.

— Ну, ну,—сказал Ключни,—мы играли в шутку. Все это пустяки! Понятно, вы получите обратно ваши деньги, и даже вдвойне, если позволите. Было бы странно с моей стороны оставить их у себя. Пусть не думают, что я могу огорчить джентльменов в вашем положении. Это было бы очень странно!—закричал он и, сильно покраснев, вытащил золото из своего кармана.

Алан не говорил ни слова, продолжая смотреть в землю.

— Угодно ли вам выйти со мной за дверь, сэр? — спросил я.

Ключни выразил готовность выполнить мою просьбу и последовал за мною довольно охотно, но все-таки казался взволнованным и сердитым.

— А теперь, сэр,—начал я,—позвольте сперва поблагодарить вас за великодушие.

— Что за глупости! — воскликнул Ключни.— При чем тут великодушие? Это очень неприятная история, но что же мне делать, запертому в Клетке, как не сажать за карты друзей, которых я могу принимать у себя? И если они проигрывают, то нельзя же предполагать...—Он остановился.

— Да,— сказал я,— если они проигрывают, вы возвращаете им деньги; если же они выигрывают, то уносят ваши деньги в своих карманах! Я сказал уже, что признаю ваше великодушие, но мне очень тяжело, сэр, быть поставленным в такое положение.

Затем последовало недолгое молчание, во время которого Ключни порывался заговорить, но ничего не сказал. Лицо его становилось все краснее и краснее.

— Я молод,— продолжал я,— и потому прошу у вас совета. Научите меня, как научили бы вы своего сына. Друг мой честно проиграл эти деньги после того, как честно выиграл у вас гораздо большую сумму. Могу ли я принять эти деньги обратно? Будет ли это порядочно с моей стороны? Как бы я ни поступил, вы сами понимаете, мне будет тяжело, как человеку с самолюбием.

— Это тяжело и для меня, мистер Бальфур! — сказал Ключни.— Вы, кажется, считаете меня способным разорять бедных людей. Я бы не желал, чтобы мои друзья подвергались оскорблениям в моем доме, нет! — воскликнул он с внезапной вспышкой гнева.— Или носили бы их мне!..

— Итак, вы видите, сэр,— продолжал я,— что и я имел основание вам возражать: карточная игра — плохое занятие для джентльменов. Но я жду вашего совета.

Я уверен, что если Ключни кого-нибудь ненавидел, то это был Давид Бальфур. Он взглянул на меня с воинственным видом, и на его лице я прочел вызов. Но моя молодость или присущее ему чувство справедливости обезоружили его. Разумеется, это была неприятная история для всех, принимавших в ней участие, и для Ключни не менее, чем для других, но он с честью вышел из положения.

— Мистер Бальфур,— сказал он,— вы очень щепетильны и притом большой педант, но, несмотря на это, вы настоящий джентльмен. Даю вам честное слово, вы можете принять эти деньги. Я посоветовал бы это своему сыну. Вот вам моя рука!

XXIV. Бегство. Ссора

Под покровом ночи мы с Аланом переправились через Лох-Эррохт и стали спускаться по его восточному берегу к другому убежищу около Лох-Ранноха, куда нас вел слуга Ключни. Этот малый нес наш багаж и плащ Алана. Он шел бодрым шагом, как крепкая горная малорослая лошадь. По-видимому, ноша казалась ему легкой, тогда как половина такого груза заставляла меня сгибаться в три погибели. А между тем в обыкновенной борьбе я мог бы переломать ему кости.

Без сомнения, для нас было большим облегчением шагать без ноши. И, может быть, только благодаря этому ощущению свободы и легкости в движениях я мог идти, едва оправившись от болезни. Шли мы по самым мрачным, пустынным местностям Шотландии, под облачным небом, и в сердцах наших было мало взаимного сочувствия.

Долгое время мы шли молча — рядом или гуськом — с застывшим выражением лица. Я был сердит и чванился перед своим товарищем, черпая всю свою силу в двух этих грешных чувствах; Алан тоже был сердит на меня за то, что я осудил его поступок, и стыдился, что проиграл мои деньги.

Мысль о разлуке все сильнее овладевала мной, и чем более я поддавался ей, тем более стыдился ее. Было бы прекрасно, если бы Алан повернулся ко мне и сказал: «Ступай, я подвергаюсь большой опасности, и мое общество только увеличивает опасность и для тебя». Но мне обратиться к другу, который, конечно, любил меня, и сказать: «Вы находитесь в большей опасности, чем я, поэтому ваша дружба мне в тягость. Подвергайтесь один риску и лишениям!» — нет, это было невозможно, и даже при одной мысли об этом щеки мои начинали пылать от стыда.

Правду говоря, Алан вел себя, как ребенок, вернее — что еще хуже, — как вероломный ребенок. Выманить у меня деньги, когда я лежал почти без сознания, было немногим лучше кражи. А между тем он шагал рядом со мной, не имея ни гроша за душой и, как мне казалось, вполне довольный, что мог жить на деньги, которые он заставил меня принять как милостыню. Правда, я готов

был поделиться ими с ним, но меня бесило, что он так уж рассчитывает на меня.

Вот какие мысли одолевали меня, но я не мог высказать их вслух, потому что это было бы невеликодушно. Однако я поступил хуже: не обмениваясь ни словом с моим товарищем, я только искоса поглядывал на него.

Наконец на другой стороне Лох-Эррохта, когда мы достигли ровной, заросшей камышом земли, где идти было легко, Алан не мог больше выдержать и подошел ко мне.

— Давид,— сказал он,— друзья должны иначе относиться к таким пустякам. Сознаюсь, я очень жалею о том, что случилось. А если ты имеешь что-нибудь против меня, то лучше скажи.

— О,— сказал я,— я ничего против вас не имею.

Он, казалось, растерялся, а я подло обрадовался этому.

— Нет? — сказал Алан чуть дрожащим голосом.— А если я признаюсь, что был виноват?

— Разумеется, вы были виноваты,— ответил я холодно,— и ведь вам известно, что я никогда не упрекал вас.

— Никогда,— согласился он,— но ты отлично знаешь, что поступал гораздо хуже. Ты хочешь расстаться со мной? Раньше ты этого хотел. Хочешь ли и сейчас? Между этим местом и морем достаточно холмов и вереска, Давид. И я должен сознаться, что не особенно желаю оставаться там, где во мне не нуждаются.

Эти слова задели меня за живое, и я дал волю своему двоедушию.

— Алан Брек,— воскликнул я,— неужели вы думаете, что я отвернусь от вас в минуту крайней нужды?! — Не смейте говорить мне этого! Все мое поведение доказывает несправедливость ваших слов. Правда, я уснул на болоте, но это случилось от усталости, и вы несправедливо упрекаете меня в этом.

— Я никогда не упрекал тебя,— сказал Алан.

— Что я сделал такого,— продолжал я,— что бы дало вам право унижать меня своим предположением? Я никогда не изменял друзьям и едва ли начну с вас. Нас связывает многое, чего я никогда не забуду, даже если забудете вы.

— Выслушай только одно, Давид,— сказал Алан

очень спокойно.— Я давно обязан тебе спасением моей жизни, а теперь ты еще дал мне денег. Тебе следовало бы постараться облегчить мне это время.

Эти слова должны были бы тронуть меня; они в самом деле подействовали на меня, но в обратном смысле. Я чувствовал, что поступаю дурно, и теперь был зол не только на Алана, но и на самого себя; вот это сознание делало меня еще более жестоким.

— Вы просили меня высказаться,— сказал я.— Хорошо, я выскажусь. Вы сами сознаете, что оказали мне дурную услугу. Мне пришлось перенести бесчестие, но я ни разу не упрекнул вас, я ни разу не заговаривал об этом, пока вы не начали сами. А теперь вы осуждаете меня,— почти закричал я,— за то, что я не могу смеяться и петь, точно я должен радоваться своему унижению! Скоро вы захотите, чтобы я встал на колени и благодарил вас! Вам следовало бы больше думать о других, Алан Брек. Если бы вы думали о других, вы, может быть, меньше говорили бы о себе. И когда преданный друг подвергается из-за вас оскорблению без единого слова упрека, вы должны радоваться и оставить его в покое, а не укорять его. Вы сами признались, что были виноваты,— в таком случае не вам бы искать ссоры.

— Довольно,— сказал Алан,— я слышал достаточно.

И мы по-прежнему молча пошли дальше. Дойдя до остановки, мы поужинали и легли спать, тоже не говоря ни слова.

На следующий день, когда стало смеркаться, мы переправились через Лох-Раннох с помощью слуги, который давал нам советы, какого пути нам лучше держаться. Он предложил тотчас же подняться в горы, обойти окружным путем вершины Глэн-Лайон, Глэн-Лохай и Глэн-Дохарт и спуститься в Лоулэнд у Киппена и верховьев Форты. Алану не особенно нравился этот путь, пролежавший через страну его кровных врагов — гленорхских Кемпбеллов. Он говорил, что, повернув к востоку, мы почти сейчас же попали бы в страну атольских Стюартов — членов рода одного с ними имени и происхождения, хотя подчинявшегося другому вождю, и, кроме того, добрались бы более легким и коротким путем до места нашего назначения. Но слуга, бывший у Ключи главным разведчиком, по всем пунктам разбил Алана,

указав на численность войск в каждом округе, и в конце концов доказал, насколько я мог понять, что нигде нам не будет спокойнее, чем в стране Кемпбеллов.

Алан наконец уступил, хотя не особенно охотно.

— Это одно из сквернейших мест в Шотландии,— сказал он.— Насколько мне известно, там ничего нет, кроме вереска, ворон и Кемпбеллов. Но я вижу, что вы человек довольно проникательный, и потому пусть будет по-вашему.

Итак, мы отправились по указанному пути и почти целых три ночи скитались по диким горам и среди истоков горных речек. Часто мы брели в тумане; почти постоянно дул ветер, лил дождь, и ни разу нас не порадовал хотя бы один луч солнца. Днем мы спали в мокром вереске; ночью без отдыха карабкались по головокружительной крутизне, между нагромождениями утесов. Мы часто плутали, часто вынуждены были останавливаться и ждать, когда рассеется туман. Об огне нечего было и думать. Единственной нашей пищей служил драммах и кусок холодного мяса, который мы захватили из Клетки; что же касается питья, то, слава богу, в воде у нас не было недостатка.

Это было для нас ужасное время: отвратительная погода и угрюмый характер местности, по которой мы шли, делали наше положение еще более тяжелым. Мне постоянно было холодно, зубы у меня стучали, горло сильно болело, так же как на острове, а в боку беспрерывно и мучительно кололо. Когда я спал на своей мокрой постели, в то время как дождь лил сверху, а подо мной медленно сочилась грязь, я в воображении переживал худшие минуты своих приключений. Мне представлялась башня в Шоосе, освещенная молнией; Рэнсом, которого несут на руках матросы; Шуэн, который умирает на полу капитанской каюты; Колин Кемпбелл, который старается расстегнуть свою одежду. От такого тревожного сна я пробуждался во мраке, для того чтобы сидеть в той же грязи и ужинать холодным драммахом. Дождь хлестал мне в лицо или ледяными струйками сбегал по спине, а туман стоял вокруг нас, точно стена. Когда же дул ветер, внезапно рассеивая мглу, перед нами открывалась пропасть, в темной глубине которой громко бурлили ручьи.

Шум бесчисленных рек слышался повсюду. От непре-

крашающегося дождя все горные ключи разлились; долины наполнились водой, точно водоемы; в каждом потоке вода высоко вздымалась, переполняла русло и выступала из берегов. Во время наших почных переходов мы слышали торжественные голоса воды в долинах, напоминавшие то удары грома, то гневные крики. Я вспоминал тогда «водяного духа» — демона потоков, — про которого говорится в сказках, что он рыдает и ревет у брода, пока не приблизится к нему обреченный на гибель путник. Мне кажется, что Алан верил этому или наполовину верил. И когда шум реки становился громче обыкновенного, я с удивлением замечал, что он крестится католическим крестом.

В продолжение этих ужасных странствий мы с Аланом редко говорили друг с другом. Правда, я чувствовал, что смерть моя близка, и это могло служить мне лучшим извинением. Но, помимо всего прочего, я от рождения не умел прощать. Я не обижался из-за пустяков, но зато долго не мог забыть оскорбления. Теперь же я злился как на своего товарища, так и на самого себя. В продолжение этих двух дней он был очень внимателен ко мне, и хотя молчал, но постоянно был готов прийти мне на помощь, видимо надеясь, что моя досада пройдет. В течение того же времени я неизменно разжигал в себе злобу, грубо отказывался от услуг Алана и обращал на него столько же внимания, сколько на какой-нибудь куст или камень.

Во вторую ночь или, скорее, на рассвете третьего дня мы очутились на таком открытом склоне, что не могли выполнить своего обычного плана, то есть немедленно поесть и лечь спать. Прежде чем мы достигли защищенного места, предрассветные сумерки значительно рассеялись, и, хотя продолжал идти дождь, тумана уже не было. Алан, взглянув на меня, принял озабоченный вид.

— Ты бы лучше отдал мне свою поклажу, — сказал он чуть ли не в десятый раз с тех пор, как мы расстались с разведчиком у Лох-Ранноха.

— Я отлично себя чувствую, благодарю вас, — ответил я ледяным тоном.

Алан сильно покраснел и сказал:

— Я больше тебе не буду это предлагать, Давид. Я не отличаюсь терпением.

— Я никогда не говорил, что вы этим отличаетесь, — ответил я. Это был грубый и глупый ответ ребенка.

Алан промолчал. Но по его поведению я понял, что, вероятно, с той минуты он простил себе проступок у Ключи; он снова загнул свою шляпу и пошел, весело насвистывая песни и поглядывая искоса на меня с вызывающей улыбкой.

На третью ночь мы должны были пересечь на западе землю Бальуйддер. Ночь стояла ясная и холодная, в воздухе чувствовался мороз, и дул северный ветер, разгонявший тучи и отрывавший звезды. Ручьи по-прежнему были переполнены и громко шумели среди холмов, но я заметил, что Алан не думает больше о «водяном духе» и находится в прекрасном настроении. Для меня же перемена погоды наступила слишком поздно. Я был смертельно болен, весь дрожал, и на мне не оставалось живого места; ветер пронизывал меня насквозь, и свист его оглушал меня. В таком несчастном положении я должен был выносить колкие замечания моего товарища. Он говорил много и всегда язвительным тоном, называя меня не иначе, как «виг».

— Вот, — говорил он, — вам прекрасный случай прыгнуть, любезный виг. Я знаю, что вы славно прыгаете! — и так далее.

Все это говорилось с издевкой и с крайне насмешливым видом.

Я знал, что сам нарвался на такое обращение, но чувствовал себя слишком несчастным, чтобы в чем-нибудь каяться. Я сознавал, что мне недолго оставалось волочить ноги по земле: я лягу и умру на этих мокрых вершинах, как овца или лисица, и кости мои будут белеть, как кости животного. Может быть, в этом было много ребяческого, но мне начинала нравиться эта мысль: я стал гордиться тем, что умру одиноко в пустыне и дикие орлы будут кружить надо мной в мои последние минуты. «Алан тогда раскается, — думал я. — Когда я умру, он вспомнит, скольким обязан был мне, и это воспоминание превратится для него в пытку». Итак, я шел, как глупый, больной, бессердечный школьник, разжигая в себе злобу к товарищу, тогда как мне следовало бы упасть на колени и молить бога о прощении. И насмешки Алана радовали меня. «А, — думал я, — у меня для тебя нагото-

ве еще лучший ответ: когда я буду лежать мертвым, моя смерть будет тебе пощечиной. Какая мести! Да, ты будешь жалеть о своей неблагодарности и жестокости».

Между тем мне становилось все хуже и хуже. Один раз я даже не выдержал и упал, потому что ноги мои уже заплетались, и это поразило Алана. Но я быстро встал и продолжал свой путь как ни в чем не бывало, так что он скоро забыл про этот случай.

Меня бросало то в жар, то в озноб, и почти невыносимо кололо в боку. Наконец я почувствовал, что не могу больше тащиться дальше, но вместе с тем у меня внезапно явилось желание дать выход моей злобе, излить ее на Алана и поскорее покончить с жизнью. Он только что назвал меня «вигом». Я остановился.

— Мистер Стюарт,— сказал я голосом, дрожавшим, как струна,— вы старше меня и должны были бы знать, что такое хорошие манеры. Неужели вы считаете остроумным попрекать меня моими политическими убеждениями? Я думал, что если джентльмены ссорятся, то делают это вежливо. Если бы я не думал так, то сумел бы не хуже вас посмеяться над вами.

Алан остановился передо мной, склонив голову набок. Его шляпа была загнута, руки в карманах. Он слушал со злой улыбкой, которую я разглядел при свете звезд. И когда я замолчал, он начал насвистывать якобитскую песню, сочиненную в насмешку над поражением генерала Кона при Престонпансе.

Эй, Джонни Кон, ты еще идешь?
Барабаны твои еще бьют?

Мне пришло в голову, что в день этой битвы Алан сражался на стороне моего короля.

— Зачем вы насвистываете эту песню, мистер Стюарт? — спросил я. — Для того ли, чтобы напомнить мне, что вы терпели поражение на обеих сторонах?

Песня замерла на губах Алана.

— Давид! — сказал он.

— Пора с этим покончить,— продолжал я,— я хочу сказать, что вы впредь должны учтиво выражаться о моем короле и о моих добрых друзьях Кемпбеллах.

— Я Стюарт...

— О,— сказал я,— знаю, что вы носите королевское

имя. Но вы должны помнить, что с тех пор, как я нахожусь в Гайлэнде, я видел много людей, которые носят его. И лучшее, что я могу сказать об этих людях,— это то, что им не мешало бы помыться.

— Понимаешь ли ты, что оскорбляешь меня? — спросил Алан очень тихо.

— Очень жаль,— возразил я,— потому что я еще не все сказал! Если вам не нравится моя отповедь, то еще менее понравится ее заключительная часть. За вами гнались в поле взрослые люди из моей партии, а вы мстите несовершеннолетнему. Я считаю это низким. Вас били и виги, и Кемпбеллы... Вы удирали от них как заяц. Вам подобает с уважением говорить о них.

Алан стоял неподвижно, и только концы его плаща хлопали по ветру за его спиной.

— Жаль,— сказал он наконец.— Есть вещи, которые нельзя оставлять без внимания.

— Я никогда не просил вас об этом,— сказал я.— Я также готов, как и вы.

— Готов? — спросил он.

— Готов,— повторил я.— Я не флюгарка и не хвостун, как некоторые мои знакомые. Вперед! — И, вынув шпагу, я стал в позицию, как учил меня сам же Алан.

— Давид! — закричал он.— Ты с ума сошел! Я не могу драться с тобой, Давид. Это будет убийство!

— Вы это имели в виду, когда оскорбляли меня? — сказал я.

— Это правда! — воскликнул Алан и с минуту стоял, теребя рукою губы, как человек в сильном затруднении.— Это чистая правда,— повторил он и вынул шпагу. Но, прежде чем я смог дотронуться своей шпагой до ее лезвия, он отбросил ее и упал на землю.— Нет, нет,— повторял он,— не могу, не могу...

Туг исчезли последние остатки моей злобы, и я почувствовал себя только больным, несчастным, побежденным. Я едва понимал, что делаю. Я готов был отдать весь мир, чтобы вернуть свои слова обратно. Но когда слово сказано, как поймать его обратно? Я вспомнил прежнюю доброту и мужество Алана, вспомнил, как он терпеливо помогал мне и ободрял меня в самые тяжелые дни. Затем вспомнил, как я оскорблял его и понял, что навеки потерял своего отважного друга. В то же время болезнь, му-



чившая меня, словно удвоилась, и колоть в боку стало сильнее. Мне казалось, что я лишаюсь чувств.

Тут я понял и другое: никакие извинения не могли уничтожить того, что было сказано. Напрасно было надеяться — ничто не могло смыть оскорбления. Но там, где извинения были напрасны, крик о помощи мог вернуть мне Алана. Я забыл на минуту свое самолюбие.

— Алан,— прошептал я,—если вы не сможете мне помочь, мне придется умереть здесь.

Он вскочил и посмотрел на меня.

— Это правда,— повторил я,—я умираю. Отведите меня под какой-нибудь кров, мне легче будет умереть.

Мне не было надобности притворяться. Без всякого желания с моей стороны я говорил со слезами в голосе, который мог бы разжалобить даже каменное сердце.

— Можешь ты идти? — спросил Алан.

— Нет, — отвечал я, — не могу без вашей помощи. В последнее время у меня подкашиваются ноги; в боку колет, как раскаленным железом; я не могу свободно дышать. Если я умру, простите ли вы мне, Алан? В душе я вас очень любил даже в минуты злобы.

— Тсс... тсс! — воскликнул Алан. — Не говори этого! Давид, милый, ты знаешь... — Рыдания заглушили его слова. — Дай я обниму тебя! — продолжал он. — Вот так! Теперь покрепче опирайся на меня. Бог знает, где тут дом! Мы теперь в Бальуйддере. Тут должны быть дома, и даже дружеские дома. Легче тебе так идти, Дэви?

— Да, так я могу идти, — ответил я и пожал ему руку. Он опять чуть не разрыдался.

— Дэви, — сказал он, — я дурной человек: у меня нет ни ума, ни доброты. Я забыл, что ты еще ребенок, я не замечал, что ты умираешь на ходу. Дэви, тебе надо постараться простить меня.

— О Алан, не будем говорить об этом! — сказал я. — Нам нечего стараться исправить друг друга — вот что верно! Мы должны только терпеть и щадить один другого, Алан! О, как болит мой бок! Нет здесь жилища?

— Я найду тебе жилище, Давид, — утешал он меня. — Мы пройдем вдоль ручья, где должно быть жилье. Бедный мой мальчик, не лучше ли будет, если я понесу тебя на спине?

— О Алан, — ответил я, — ведь я дюймов на двенадцать выше вас!

— Вовсе нет! — воскликнул Алан порывисто. — Ты, может быть, выше на безделицу, на один или на два дюйма... Конечно, я не уверяю, что я великан!.. Впрочем, теперь, когда я сообразил, — прибавил он, и голос его смешно изменился, — я думаю, что ты, может быть, близок к истине. Может быть, ты выше меня на локоть или даже больше!

Было и приятно и смешно слышать, как Алан отказывался от своих слов из боязни новой ссоры. Я бы рассмеялся, если бы в боку у меня не так кололо, но если бы я рассмеялся, то, я думаю, мне пришлось бы и заплакать.

— Алан, — воскликнул я, — отчего ты так добр ко

мне? Отчего ты заботаешься о таком неблагодарном друге?

— Право, я сам не знаю,— ответил Алан,— я именно и любил в тебе то, что ты никогда не ссорился, но теперь я люблю тебя еще больше!

XXV. В Бальуйддере

У двери первого дома, к которому мы подошли, Алан постучался, что было не особенно осторожно в такой части Гайлэнда, как склоны Бальуйддера. Здесь властвовал не один большой клан, а несколько мелких рассеянных родов, которые оспаривали друг у друга землю. Это был, что называется, «безначальный народ», вытесненный в дикую местность, у истоков Форты и Тейсы, наступлением Кемпбеллов. Здесь были Стюарты и Мак-Ларены, что было одно и то же, так как Мак-Ларены на войне подчинялись вождю Алана и составляли с Аппином один клан. Здесь были также многие из старого, объявленного вне закона, кровавого клана Мак-Грегоров. Они всегда имели дурную репутацию, теперь более, чем когда-либо, и не пользовались доверием ни одной партии во всей Шотландии. Глава их — Мак-Грегор из Мак-Грегора — находился в изгнании; более непосредственный предводитель части их, рассеянной около Бальуйддера, Джемс Мор, старший сын Роб-Роя, в ожидании суда был заключен в Эдинбургский замок. Они были во вражде с гайлэндерами и лоулэндерами, с Грэмами, Мак-Ларенами и Стюартами. Поэтому Алан предпочитал избегать их.

Случай нам помог. Мы попали в дом Мак-Ларенов, где Алана были рады принять не только ради его имени, но также и благодаря слухам, которые дошли о нем сюда. Меня немедленно уложили в постель и послали за доктором, который нашел меня в печальном состоянии. Но оттого ли, что он был хорошим врачом, или потому, что я был молод и силен, я пролежал в постели не дольше недели и вскоре мог уже с легким сердцем продолжать путь.

Все это время Алан не покидал меня, хотя я часто

упрашивал его уйти. Оставаясь здесь, он своею безрас- судной смелостью возбуждал постоянное удивление двух или трех друзей, посвященных в его тайну. Днем он пря- тался в пещере на горном склоне, поросшем небольшим лесом, а ночью, если путь был свободен, приходил в дом навещать меня. Нечего и говорить, как я радовался, видя его. Миссис Мак-Ларен, наша хозяйка, находила все не- достаточно хорошим для такого дорогого гостя. А так как у Дункана Ду — так звали нашего хозяина — были две флейты и сам он очень любил музыку, то время моего выздоровления стало настоящим праздником, и мы часто обращали ночь в день.

Солдаты не докучали нам. Однажды, впрочем, в глу- бине долины прошла партия, состоявшая из двух рот и нескольких драгунов; я видел их в окно, лежа в постели. Гораздо удивительнее было то, что ко мне не приходил никто из должностных лиц, и мне не задавали вопросов, откуда и куда я иду. В это беспокойное время я не под- вергался допросам, точно жил в пустыне. А между тем мое присутствие здесь было известно всем жителям Баль- уйддера и окрестностей, так как многие приходили в гости к моим хозяевам, а потом, по обычаю страны, сооб- щали эту новость соседям. Объявления тоже уже были напечатаны. Одно из них было приколото булавкой к но- гам моей постели, и я прочитал не очень лестное описа- ние моей особы, а также написанную более крупным шрифтом сумму, обещанную за мою голову. Дункан Ду и все, кто знал, что я пришел вместе с Аланом, не могли сомневаться в том, кто я. Да и многие другие могли возыметь подозрения, хоть я и переменял одежду, но не мог переменить лета и наружность, а восемнадцатилетние мальчики из Лоулэнда не так часто встречались в этом месте и особенно в такое время. Легко было сообразить, в чем дело, приняв во внимание объявление. Но ничего подобного не случилось. У иных людей тайна хранится между двумя или тремя близкими друзьями и все-таки каким-то образом становится известной, но у гайлэнде- ров ее сообщали целому народу и хранили веками.

Один только случай заслуживает упоминания о том, как меня посетил Робин Ойг, один из сыновей знамени- того Роб-Роя. Его повсюду искали, так как его обвиняли в похищении молодой женщины из Бальфрона, на кото-

рой он, как утверждали, насильно женился, а между тем он разгуливал в Бальуйддере, как джентльмен в своем обнесенном стенами парке. Это он подстрелил Джемса Мак-Ларена, и распря между ними никогда не прекращалась, но все-таки он вошел в дом своих кровных врагов без страха, как путешественник в общественную гостиницу.

Дункан успел сказать мне, кто он, и мы с беспокойством переглянулись. Надо сказать, что вскоре должен был прийти Алан, и вряд ли два эти человека могли поладить. А между тем, если бы мы послали Алану извещение или подали сигнал, мы, наверное, возбудили бы подозрение такого мрачного человека, как Мак-Грегор.

Он вошел очень вежливо, но держал себя, как с низшими: снял шляпу перед миссис Мак-Ларен, но снова надел ее на голову, разговаривая с Дунканом; и, установив таким образом подобающие отношения, как он думал, с моими хозяевами, Мак-Грегор подошел к моей постели и поклонился.

— Мне сказали, сэр,— заговорил он,— что ваше имя Бальфур.

— Меня зовут Давид Бальфур,— ответил я,— к вашим услугам.

— Я в ответ мог бы вам назвать свое имя, сэр,— продолжал он,— но оно за последнее время несколько утратило значение. Может быть, достаточно будет сказать вам, что я родной брат Джемса Мора Друммонда, или Мак-Грегора, о котором вы не могли не слышать.

— Да, сэр,— сказал я немного испуганно,— но я так же не мог не слышать о вашем отце, Мак-Грегоре Кемпбелле.

Я поднялся на постели и поклонился. Я думал, что это польстит ему, если он гордится отцом, лишенным покровительства законов.

Он поклонился в ответ и продолжал:

— Вот что я хочу вам сказать, сэр. В сорок пятом году мой брат поднял часть рода Грегора и повел шесть рот, чтобы нанести решительный удар неправой стороне. Врач, шедший с нашим кланом и вылечивший ногу моему брату, когда тот сломал ее в схватке при Престонпансе, носил то же имя, что и вы. Он был братом Бальфура из Байса, и если только вы находитесь в какой-нибудь сте-

пени родства с этим джентльменом, то я отдаю себя и свой народ в ваше распоряжение.

Надо напомнить читателю, что я о своем происхождении знал не больше, чем какая-нибудь собака. Хотя мой дядя и болтал о нашем важном родстве, но ничего не объяснил точно, и у меня сейчас не оставалось другого выхода, как позорно признаться в своем невежестве.

Робин коротко ответил, что ему остается пожалеть, что он побеспокоился, повернулся ко мне спиной и, не поклонившись, направился к двери. Я слышал, как он сказал Дункану, что я не более как «безродный негодяй, не знавший собственного отца». Как я ни сердился на эти слова, стыдась в то же время собственного незнания, я едва мог удержаться от улыбки при мысли, что человек, находившийся вне закона (и которого действительно через три года повесили), был взыскателен к происхождению своих знакомых.

У самой двери Робин встретил входящего Алана, и оба они, отступив, посмотрели друг на друга, как две чужие собаки. Оба были невелики ростом, но в эту минуту они точно вытянулись от сознания собственного достоинства. Каждый из них движением бедра высвободил эфес своей шпаги, чтобы можно было скорее вытащить клинок.

— Мистер Стюарт, если не ошибаюсь? — сказал Робин.

— Верно, мистер Мак-Грегор: это имя, которого нечего стыдиться, — отвечал Алан.

— Я не знал, что вы в моей стране, сэр, — сказал Робин.

— Я предполагаю, что я в стране моих друзей, Мак-Ларенов, — сказал Алан.

— Это щекотливый вопрос, — отвечал тот. — На это можно и возразить кое-что. Но, кажется, я слышал, что вы умеете биться на шпагах?

— Если вы только не родились глухим, мистер Мак-Грегор, то вы слышали обо мне гораздо больше, — сказал Алан. — Я не один в Аппине умею обращаться с оружием. И когда мой родственник и вождь Ардшиль несколько лет тому назад разрешал спор с джентльменом, носившим ваше имя, я не помню, чтобы Мак-Грегор одержал верх.

— Вы имеете в виду моего отца, сэр? — спросил Робин.

— Это меня несколько не удивляет, — сказал Алан. — Джентльмен, о котором я говорю, имел скверную привычку прибавлять «Кемпбелл» к своему имени.

— Мой отец был стар, — отвечал Робин. — Партия была неравная. Мы с вами составим лучшую пару, сэр.

— Я тоже думаю так, — сказал Алан.

Я готов был выскочить из кровати, а Дункан не отходил от этих петухов, готовый вмешаться при первом удобном случае. Но когда последние слова были произнесены, ждать больше было нечего. И Дункан, очень побледнев, бросился между ними.

— Джентльмены, — сказал он, — я думал совсем о другом. У меня есть две флейты, а вот тут два джентльмена — оба прославленные игроки на этом инструменте. Давно уже идет спор о том, кто из них лучше играет. Вот и представился прекрасный случай разрешить этот спор.

— Что же, сэр... — сказал Алан, все еще обращаясь к Робину, с которого не сводил глаз, так же как и Робин с него, — что же, сэр, мне кажется, что я действительно что-то подобное слышал. Вы музыкант, как говорят? Умеете вы немного играть на флейте?

— Я играю, как Мак-Фиммон! — воскликнул Робин.

— Это смело сказано, — заметил Алан.

— Я до сих пор оправдывал и более смелые сравнения, — ответил Робин, — притом имея дело с более сильными противниками.

— Это легко испытать, — сказал Алан.

Дункан Ду поторопился принести обе флейты, являвшиеся его главным достоянием, и поставить перед гостями баранью ногу и бутылку питья, называемого «Атольский броуз», приготовленного из старой водки, меда и сливок, медленно сбитых в определенной пропорции. Противники все еще были на шаг от ссоры, но оба уселись по сторонам горящего очага, соблюдая чрезвычайную учтивость. Мак-Ларен убеждал их попробовать его баранину и броуз, напоминая при этом, что жена его родом из Атоля и известна повсюду своим умением готовить этот напиток. Но Робин отказался от угощения, заявив, что это вредит дыханию.

— Прошу вас заметить, сэр, — сказал Алан, — что я

около десяти часов ничего не ел, а это хуже для дыхания, чем какой угодно броуз в Шотландии.

— Я не хочу иметь никаких преимуществ перед вами, мистер Стюарт,— отвечал Робин.— Ешьте и пейте, и я сделаю то же самое.

Оба съели по небольшой порции баранины и выпили по стакану броуза миссис Мак-Ларен. Затем, после продолжительного обмена учтивостей, Робин взял флейту и сыграл небольшую пьеску в очень быстром темпе.

— Да, вы умеете играть,— признал Алан и, взяв у своего соперника инструмент, сначала сыграл ту же пьесу и в том же темпе, а затем начал вариации, которые украсил целым рядом фиоритур, столь любимых флейтистами.

Мне понравилась игра Робина, но игра Алана привела меня просто в восторг.

— Это недурно, мистер Стюарт,— сказал соперник,— но вы проявили мало изобретательности в своих фиоритурах.

— Я! — воскликнул Алан, и кровь бросилась ему в лицо.— Я уличаю вас во лжи!

— Значит, вы признаете себя побитым на флейтах,— сказал Робин,— если вы хотите переменить их на шпаги?

— Прекрасно сказано, мистер Мак-Грегор,— ответил Алан,— и пока,— он сделал сильное ударение на этом слове,— я беру свои слова назад. Пусть Дункан будет свидетелем.

— Право, вам нет надобности кого-либо звать в свидетели,— сказал Робин.— Сами вы гораздо лучший судья, чем любой Мак-Ларен в Бальуйддере, потому что, честное слово, вы очень приличный флейтист для Стюарта. Передайте мне флейту.

Алан передал флейту, и Робин стал повторять и исправлять некоторые вариации Алана, которые он, казалось, прекрасно запомнил.

— Да, вы понимаете музыку,— сказал мрачно Алан.

— А теперь будьте сами судьей, мистер Стюарт,— сказал Робин и повторил вариации с самого начала, придав им новую форму, с такой изобретательностью, с таким чувством и необыкновенным вкусом, что я изумился, слушая его.

Что же касается Алана, то лицо его потемнело и за-

пылало; он кусал ногти, точно человек, которого глубоко оскорбили.

— Довольно! — воскликнул он. — Вы умеете играть на флейте, можете хвалиться этим. — И он хотел встать.

Но Робин сделал знак рукой, точно прося внимания, и перешел к медленному темпу шотландской народной песни. Это была прекрасная вещь, и сыграна она была превосходно, но, кроме того, она оказалась песнью аппинских Стюартов, самую любимую Алана. Едва прозвучали первые ноты, как он переменялся в лице, а когда темп ускорился, едва мог усидеть спокойно на месте. Задолго до окончания песни последняя тень гнева исчезла с его лица, и, казалось, он думал только о музыке.

— Робин Ойг, — объявил он, когда тот кончил играть, — вы великий флейтист. Мне не подобает играть в одной стране с вами. Клянусь честью, у вас больше музыкальности в мизинце, чем у меня в голове. И хотя мне все-таки кажется, что я шпагой мог бы доказать вам нечто другое, предупреждаю вас заранее, что это было бы дурно! Противно моим убеждениям спорить с человеком, который так хорошо играет на флейте!

На этом ссора окончилась. Всю ночь броуз и флейты переходили из рук в руки. Уже совсем рассвело, и все трое были порядочно навеселе, когда Робин подумал об уходе.

XXVI. Конец бегства.

Мы переправляемся через Форт

Было уже около половины августа, и стояла прекрасная, теплая погода, обещавшая ранний и обильный урожай. Как я говорил уже, не прошло и месяца с начала моей болезни, а меня нашли уже способным продолжать путь. У нас было так мало денег, что мы прежде всего должны были торопиться, потому что, не успей мы вовремя дойти до мистера Ранкэйлора или если бы он отказался помочь мне, мы бы, конечно, умерли с голоду. Кроме того, по соображениям Алана, погоня за нами теперь должна была значительно ослабеть, и граница реки Форт или даже Стирлингский мост, где

находилась главная переправа через реку, должна была охраняться с меньшим вниманием.

— Главный принцип в военном деле, — говорил Алан, — идти туда, где вас менее всего ожидают. Форт затрудняет нас. Ты знаешь поговорку: «Форт — узда для дикого гайлэндера». Итак, если мы будем пытаться обойти истоки реки и спуститься у Киппена или Бальфрона, то там именно нас и будут стараться поймать. Но если мы прямо пойдем на старый мост в Стирлинге, то, даю тебе слово, нас пропустят не оставивая.

Следуя этому плану, мы в первую же ночь дошли до дома Мак-Ларена в Стратэйре, родственника Дункана, где и переночевали 21 августа. Оттуда мы снова с наступлением ночи сделали следующий легкий переход. 22-го мы, в кустах вереска, на склоне холма в Уэм-Вар, в виду стада оленей, проспали счастливейшие десять часов на чудном, ярком солнце и на такой сухой почве, какой я никогда не видел. В следующую ночь мы дошли до Аллан-Уотера и, спустившись вдоль его берега, увидели внизу перед собой всю равнину Стирлинга, плоскую, как блин; посередине на холме расположен был город с замком, а лунный свет играл в излучинах Форта.

— Теперь, — сказал Алан, — не знаю, рад ли ты этому, ты снова на своей родине. Мы уже перешли границу Гайлэнда, и если нам теперь удастся перебраться через эту извилистую реку, мы сможем бросить шапки в воздух.

На Аллан-Уотере, близко к месту, где он впадает в Форт, мы увидели небольшой песчаный островок, заросший репейником, белокопытником и другими низкорослыми растениями, которые могли бы закрыть нас, если мы ляжем на землю. Здесь-то мы и расположились лагерем, совсем в виду Стирлингского замка, откуда слышался барабанный бой, так как близ него маршировала часть гарнизона. В поле на берегу реки весь день работали косари, и мы слышали лязг камней о косы, голоса и даже отдельные слова разговаривавших. Нужно было лежать, прижавшись к земле, и молчать. Но песок на островке был нагрет солнцем, зеленая трава защищала наши головы, пища и вода были у нас в изобилии,

и, в довершение всего, мы находились почти в безопасности.

Как только косари кончили свою работу в начале сумерек, мы перешли вброд на берег и направились к Стирлингскому мосту вдоль рвов, пересекавших поля.

Мост находился вблизи холма, на котором возвышался замок: это был старый, высокий, узкий мост с башенками. Можно себе представить, с каким интересом я смотрел на него, не только потому, что это известное в истории место, но и потому, что мост этот должен был спасти меня и Алана. Месяц еще не взошел, когда мы пришли сюда; немногочисленные огни светились вдоль фасада крепости, а ниже виднелись немногие освещенные окна в городе. Но все было совершенно спокойно, и казалось, у прохода не было стражи.

Я стоял за то, чтобы тотчас же отправиться, но Алан был осторожнее.

— Как будто все спокойно,— сказал он,— но мы все-таки полежим здесь во рву и посмотрим.

Так мы лежали около четверти часа, то молча, то перешептываясь и не слыша ничего, кроме плеска воды над устоями моста. Наконец прошла мимо старая хромая женщина с палкой. Сперва она остановилась близко от места, где мы лежали, и стала что-то причитать о том, как ей трудно приходится, и о том, какой длинный путь ей пришлось пройти; затем она пошла по крутому подъему моста. Старуха была так мала ростом, а ночь так темна, что мы скоро потеряли хромого женщину из виду и только слышали, как звук ее шагов, стук палки да кашель становились все слабее.

— Она, наверное, прошла,— шепнул я.

— Нет,— ответил Алан,— ее шаги все еще глухо звучат по мосту.

В эту минуту послышался голос:

— Кто идет?

И мы услышали, как приклад ружья загремел о камни. Я предполагаю, что часовой раньше спал и что если бы мы попытались, то прошли бы незамеченными. Но теперь он проснулся, и случай был упущен.

— Это нам не удастся,— сказал Алан,— никогда нам это не удастся, Давид.

И, не прибавив ни слова, он пополз прочь через по-

ля. Немного далее, когда мы были вне поля зрения часового, Алан поднялся и пошел по дороге, направляющейся к востоку. Я не понял, зачем он это делает, да едва ли я мог быть чем-нибудь доволен, так меня огорчило только что пережитое разочарование. Минуту назад я видел себя в своем воображении у дверей мистера Ранкэйлора, видел, как я предъявляю ему свои права на наследство, подобно герою баллады. И вот я снова скитающийся, гонимый преступник, который бредет на другой стороне Форта.

— Ну? — сказал я.

— Ну,— отвечал Алан,— чего же ты хочешь? Они не такие дураки, какими я считал их. Нам все еще остается перейти Форт, Давид... Проклятие дождям, питавшим его, и холмам, между которыми он течет!

— А зачем мы идем к востоку? — спросил я.

— О, просто попытать счастья! — сказал он.— Если мы не можем перейти реку, то надо посмотреть, не переправимся ли мы через залив.

— На реке есть брод, а в заливе его нет,— сказал я.

— Конечно, есть брод,— сказал Алан,— но какой от него прок, если он охраняется?

— Но,— сказал я,— реку можно переплыть.

— Можно тем, кто это умеет,— отвечал он,— но я не слышал, чтобы кто-нибудь из нас с тобой был очень искусен в этом деле. Что касается меня, то я плаваю, как камень.

— Я не могу сравниться с вами в умении возражать, Алан,— сказал я,— но мне кажется, что мы худое меняем на еще худшее. Если трудно переплыть реку, то, очевидно, еще труднее переплыть залив.

— Но ведь существуют лодки, если не ошибаюсь,— сказал Алан.

— Да, а также деньги,— возразил я.— Но так как у нас нет ни того, ни другого, они могли бы и не существовать вовсе.

— Ты так думаешь? — спросил Алан.

— Да,— отвечал я.

— Давид,— сказал он,— у тебя мало изобретательности и еще менее веры. Но дай мне только поворочать мозгами, и если мне не удастся выпросить, занять или даже украсть лодку, я сделаю ее!

— Так это вам и удастся! — сказал я. — Но вот что всего важнее: если вы перейдете мост, то мост ничего не расскажет. Но если вы переплывете залив и лодка окажется не на той стороне — кто-нибудь должен был перевести ее, — вся местность будет настороже.

— Полно! — закричал Алан. — Если я сделаю лодку, я создам и человека, чтобы отвезти ее назад! Итак, не приставай ко мне больше с глупостями, а иди — это все, что от тебя требуется, — и предоставь Алану думать за тебя.

Таким образом, мы всю ночь шли по северной части равнины у подножия высоких Окильских гор, мимо Аллоа, Клэксманнана и Кельрасса, которые мы обошли. В десять часов утра, проголодавшиеся и усталые, мы добрались до маленького поселка Лимекильнс. Это местечко расположено близко к берегу залива, на другой стороне которого виден город Куинзферри. Над поселками, городом, деревнями и фермами поднимался дымок. Жатва была окончена; два корабля стояли на якоре; взад и вперед по заливу плавали лодки. Все это представляло для меня очень приятное зрелище, и я не мог вдоволь налюбоваться на эти веселые, зеленые, возделанные холмы и на людей, работающих в полях и на море.

Но там, на южном берегу Форта, стоял дом мистера Ранкэйлора, где, я был уверен, меня ожидало богатство. А я стоял здесь, на северной стороне, одетый в бедную одежду чужеземного покроя, с тремя серебряными шиллингами вместо целого состояния; голова моя была оценена, а единственным моим товарищем был человек, приговоренный к смерти!

— О Алан! — сказал я. — Подумай только: там, напротив, меня ждет все, что только может желать душа... Птицы прилетают туда, лодки переплывают — все, кто хочет, могут попасть туда — все, кроме меня! Алан, сердце мое разрывается на части!

В Лимекильнсе мы зашли на небольшой постоялый двор — мы узнали его по шесту над дверью — и купили хлеба и сыра у пригожей девушки, по-видимому служанки. Мы сложили все в узелок, думая присесть и подкрепиться в небольшом лесу на берегу моря, который виднелся впереди на расстоянии трети версты. Пока мы шли, я продолжал смотреть на ту сторону залива и

вздыхать, не замечая, что Алан стал задумчивым. Наконец он остановился.

— Обратил ты внимание на девушку, у которой мы купили это? — спросил он, похлопывая по хлебу и сыру.

— Конечно, — сказал я, — это была хорошенькая девушка.

— Ты так думаешь?! — воскликнул он. — Но, Давид, это хорошая новость.

— Отчего же? — спросил я с удивлением. — Какую это может принести нам пользу?

— Ну, — сказал Алан, кинув на меня плутоватый взгляд, — я надеюсь, что это, может быть, доставит нам лодку.

— Думать наоборот было бы вернее, — сказал я.

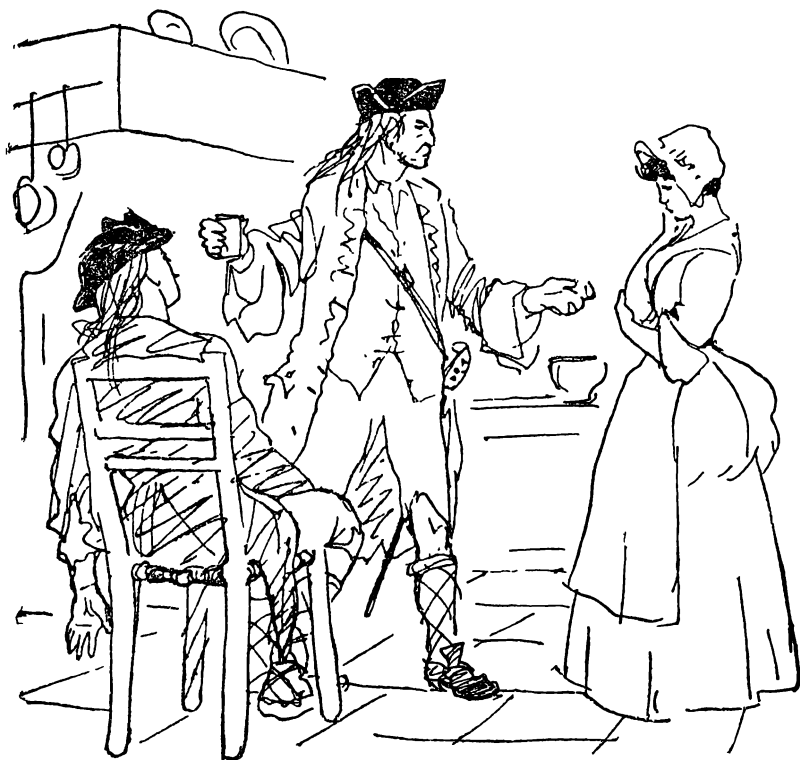
— Это ты так думаешь, — ответил Алан. — Мне не нужно, чтобы она влюбилась в тебя, а нужно, чтобы она пожалела тебя, Давид, а для этого нет надобности находить тебя красавцем. Покажись! — Он осмотрел меня с любопытством. — Мне бы хотелось, чтобы ты был немного бледнее, но в остальном ты отлично годишься для моей цели: у тебя настоящий вид висельника, оборванца, каторжника, точно ты стащил платье у огородного пугала. Марш направо кругом и прямо к постоялому двору за нашей лодкой!

Я, смеясь, последовал за ним.

— Давид Бальфур, — сказал он, — ты очень веселый джентльмен, и твоя роль, без сомнения, покажется тебе очень смешной. Но при всем том, если ты хоть в грош ставишь мою голову, не говоря уже о твоей, ты, может быть, будешь так добр, что взглянешь на это дело серьезно. Я собираюсь сыграть комедию, успех которой для нас обоих имеет громадное значение. Пожалуйста, не забывай этого и води себя соответствующим образом.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — пусть будет по-вашему.

Когда мы подошли к поселку, Алан велел мне взять его под руку и повиснуть на нем, словно я обессилел от усталости. Когда он отворил дверь постоялого двора, казалось, что он почти несет меня. Служанка, по-видимому, удивилась — и было отчего! — нашему быстрому возвращению, но Алан, не тратя даром слов для объяснения, усадил меня на стул, спросил чарку водки, которую



давал мне пить маленькими глотками, а затем, разломав хлеб и сыр, начал кормить меня, точно нянька, и все это с таким озабоченным, нежным видом, который обманул бы даже самого судью. Не мудрено, что служанка обратила внимание на бледного, переутомленного юношу и его любящего товарища. Она стала рядом с нами, оперлась на стол.

— Что с ним случилось? — спросила она наконец.

Алан, к моему великому удивлению, повернулся к ней с яростью.

— Что случилось! — закричал Алан. — Он прошел больше сотен верст, чем у него волос на подбородке, и чаще спал в мокром вереске, чем на сухих простынях.

«Что случилось!» — говорит она. Скверное случилось, вот что... — И он продолжал с недовольным видом ворчать себе под нос и кормить меня.

— Он слишком молод для этого, — сказала служанка.

— Слишком молод, — проворчал Алан, стоя к ней спиной.

— Ему было бы лучше ехать, — сказала она.

— А где же мне достать ему лошадь? — воскликнул Алан, оборачиваясь к ней с тем же разъяренным видом. — Вы бы хотели, чтоб я украл ее?

Я думал, что такая грубость заставит ее удалиться в сердцах, и действительно она на время замолчала. Но мой товарищ прекрасно знал, что делал, и хотя в некоторых отношениях был очень наивен, но в делах, подобных этому, отличался большой проницательностью.

— Я отлично вижу, — сказала она наконец, — что вы джентльмены.

— Ну, — сказал Алан, немного смягченный (я думаю, против воли) этим простодушным замечанием, — положим, что это правда. Но слышали вы когда-нибудь, чтобы благородное происхождение наполняло карманы деньгами?

На это она вздохнула, точно сама была обедневшей важной леди.

— Нет, — сказала она. — Это вы правду сказали!

Я все время злился, что играю такую роль, и молчал, не зная, стыдиться ли мне или смеяться. Но тут я не мог далее выдержать и попросил Алана оставить меня в покое, так как уже чувствую себя лучше. Голос мой прерывался, потому что я всегда ненавидел ложь. Но мое замешательство тоже помогло заговору, потому что девушка, без сомнения, приписала хрипоту в моем голосе болезни и усталости.

— Разве у него нет родных? — спросила она со слезами.

— Как не быть! — воскликнул Алан. — Нам бы только добраться до них. У него есть родные, и очень богатые. Нашлась бы постель, где лечь, и пища, и доктора, чтобы смотреть за ним, а тут он должен бродяжить по лужам и спать в вереске, точно нищий.

— Почему же? — спросила девушка.

— Это я не могу вам сказать, милая моя, — ответил

Алан,— но вот что я сделаю: я просвищу вам маленькую пёсенку.

С этими словами он перегнулся через стол и едва слышно, но с удивительным чувством просвистал несколько тактов песни «Чарли, мой любимец»¹.

— Тсс...— сказала она и через плечо посмотрела на дверь.

— Вот какое дело! — сказал Алан.

— Такой молодой! — воскликнула девушка.

— Он достаточно велик для...— И Алан ударил указательным пальцем по шее сзади, подразумевая, что я достаточно взрослый для того, чтобы лишиться головы.

— Какой позор! — воскликнула она, сильно краснея.

— Это тем не менее случится,— сказал Алан,— если мы не устроимся лучше.

Тут девушка повернулась и выбежала из комнаты, оставив нас одних. Алан был в прекрасном настроении оттого, что его планы так быстро исполняются. Я же злился, что меня выставляют якобитом и обращаются со мной, как с ребенком.

— Алан,— воскликнул я,— я не могу больше выносить этого!

— Тебе все-таки придется это сделать, Дэви,— сказал он.— Если ты теперь все испортишь, то сам, может быть, и выскочишь из огня, но Алан Брек наверное погибнет.

Это было так верно, что я мог только вздохнуть, и даже этот вздох послужил целям Алана, так как его услышала девушка, когда она снова влетела в комнату с блюдом сосисок и бутылкой крепкого пива.

— Бедняжка! — сказала она и, поставив перед нами еду, дружески тронула меня за плечо, точно приглашая ободриться.

Затем она предложила нам есть, говоря, что платы за это не возьмет, так как гостиница принадлежит ей или, по крайней мере, ее отцу, который на целый день уехал в Питтенкриефф. Мы не ждали второго приглашения, так как хлеб и сыр — плохое питание, а сосиски пахли очень вкусно. Пока мы сидели и ели, девушка, стоя на том же месте у стола, глядела на нас, раздумывая, хмурясь и вертя в руках завязки своего передника.

¹ «Чарли, мой любимец» была якобитской песней.

— Я думаю, что у вас слишком длинный язык,— сказала она наконец Алану.

— Да,— ответил он,— но вы видите, что я знаю, с кем говорю.

— Я никогда не выдам вас,— отвечала она,— если вы это хотите сказать.

— Нет,— воскликнул он,— этого вы не сделаете! Но я скажу вам, что вы сделаете: вы поможете нам!

— Я не могу,— отвечала она,— нет, не могу!

— А если бы вы могли? — спросил Алан; девушка ничего не ответила.— Послушайте, милая,— продолжал Алан,— здесь есть лодки... Я видел даже две на берегу, когда проходил по окраине города. Если бы мы могли воспользоваться лодкой, чтобы под прикрытием ночи переехать в Лотиан, и нашли бы какого-нибудь молчаливого порядочного человека, чтобы он вернул эту лодку и держал язык за зубами, два человека были бы спасены: я — по всей вероятности, он же — наверняка. Если мы не получим этой лодки, то у нас остаются только три шиллинга. И, даю вам честное слово, я не знаю, куда нам тогда идти, и что надо делать, и где найдется место для нас, кроме как на виселице! Неужели мы так и не получим лодку, голубушка? Неужели вы будете лежать в своей теплой постели и вспоминать о нас, когда ветер будет завывать в трубе, а дождь стучать по крыше? Вы будете есть свой обед у жаркого очага и думать о моем бедном, больном мальчике, кусающем себе на болоте пальцы от голода и холода? Он должен идти вперед, здоров он или болен... Хотя бы смерть держала его за горло, он все-таки должен тащиться под дождем по бесконечным дорогам, и, когда он будет испускать последний вздох на груде холодных камней, при нем не будет никого, кроме меня и бога.

Я заметил, что призыв Алана очень взволновал девушку. Ей хотелось помочь нам, и вместе с тем она боялась, что поможет преступникам. Поэтому я решил вмешаться в разговор и успокоить ее сомнения частичей правды.

— Слыхали вы когда-нибудь,— спросил я,— о мистере Ранкэйлоре из Ферри?

— Ранкэйлор, стряпчий,— отвечала она.— Разумеется!

— Ну вот,— продолжал я,— я направляюсь к нему.— Так что вы можете сами судить, злодей ли я. Я скажу вам больше: хотя действительно вследствие ужасной ошибки моя жизнь в некоторой опасности, однако у короля Георга во всей Шотландии нет лучшего подданного, чем я.

Лицо девушки сразу прояснилось, но зато Алан омрачился.

— Больше мне ничего не надо,— сказала она.— Мистер Ранкэйлор — известный человек.— И она посоветовала нам, покончив с едой, уйти из поселка возможно скорее и скрыться в леске на берегу моря.— И можете довериться мне,— прибавила она,— я найду средство переправить вас.

Мы больше не стали ждать, ударили по рукам, быстро доели сосиски и снова пошли из Лимекильнса в лесок. Это была маленькая рощица, образовавшаяся из каких-нибудь двадцати кустов бузины, и боярышника, и нескольких молодых ясеней, но достаточно густая, чтобы скрыть нас от проходящих по дороге или по берегу. Здесь мы должны были оставаться, наслаждаясь чудной, теплой погодой и надеждой на избавление и обдумывая в подробностях, что нам оставалось делать.

В течение всего дня у нас была только одна неприятность: пришел странствующий музыкант и уселся в лесу с нами. Это был пьяный оборванец с красным носом и гипоящимися глазами; из кармана у него выглядывала бутылка с водкой. Он рассказал нам длинную историю своих обид, которые ему нанесли люди всех рангов, начиная от лорда-президента судебной палаты, отказавшего ему в справедливом иске, до судебных приставов в Инверкэitinge, которые были более милостивы к нему, чем он ожидал. У него не могло не явиться подозрений насчет двух приятелей, сидевших весь день в чаще без дела. Все время, пока он находился с нами, мы чувствовали себя как на горячих углях от его назойливых вопросов. Музыкант не был похож на человека, умеющего держать язык за зубами, и после его ухода мы с большим нетерпением стали ожидать, когда сможем сами уйти отсюда.

День простоял ясный. Ночь настала тихая и светлая. В городе и поселках начали появляться огни, потом,

спустя некоторое время, они гасли один за другим. Было уже больше одиннадцати, и мы давно мучились тревогой, когда наконец услышали скрип весел в уключинах. При этом звуке мы выглянули и увидели девушку, которая приближалась к нам в лодке. Она никому не доверила нашего дела, даже возлюбленному, если такой был у нее, и как только уснул ее отец, вышла украдкой из дому через окно, стащила у соседа лодку и сама явилась нам на помощь.

Я был в замешательстве, не зная, как выразить ей мою благодарность, но девушка еще более изумилась, слушая нас. Она просила не терять времени и не говорить, заметив — очень справедливо, — что главное в нашем деле — это поспешность и молчание. И, говоря таким образом, она довезла и высадила нас на берегу Лотиана, недалеко от Карридена, пожала нам руки и снова отплыла по направлению к Лимекильнсу, прежде чем мы успели произнести хоть слово благодарности за ее услугу.

Впрочем, мы ничего не могли бы сказать, так как слов было недостаточно для такой доброты. Только Алан долгое время стоял на берегу и качал головой.

— Это славная девушка, Давид, — сказал он наконец. — Это очень славная девушка!

И час спустя, когда мы уже лежали в пещере на берегу и я начинал дремать, он снова стал превозносить ее. Со своей стороны, я не мог ничего прибавить. Я чувствовал угрызения совести и страх за это добродушное создание. Меня мучило, что мы воспользовались ее наивностью, и страшило, не подвергли ли мы ее опасности, вмешав в нашу историю.

XXVII. Я прихожу к мистеру Ранкэйлору

На следующий день мы решили, что Алан будет один бродить где хочет до заката, но, как только наступят сумерки, он спрячется около дороги недалеко от Ньюхолльса и не шевельнется, пока не услышит моего свиста. Я сперва предложил ему просвистеть вместо сигнала «Славный Эйрльский дом», мою любимую песню.

Но он ответил, что эта песня слишком общеизвестна и что ее случайно может насвистывать любой пахарь. Вместо того он научил меня отрывку гайлэндерской песни, который я до сих пор храню в памяти и, возможно, не забуду до самой смерти. Каждый раз, вспоминая эту песню, я мысленно переносусь к последнему дню наших скитаний, когда Алан, сидя в глубине пещеры и отбивая такт, насвистывал, а свет и тени играли на его лице.

Солнце еще не взошло, когда я шел уже по длинной улице Куинзферри. Это был городок с добротными каменными домами, многие из которых имели шиферные крыши. Городская ратуша, как мне показалось, была хуже, чем в Цибле, да и сама улица не так хороша, но все, вместе взятое, заставило меня стыдиться своих грязных лохмотьев.

По мере того как наступал день, зажигались очаги, отворялись окна и люди выходили из домов, мое беспокойство и уныние усиливались. Я почувствовал теперь, что не имею под собой почвы и не могу доказать не только моих прав, но даже и установить свою личность. Если все мои ожидания окажутся иллюзией, то я действительно жестоко обманулся и очутился в печальном положении. Но если даже дело обстояло так, как я предполагал, то и тогда, по всей вероятности, понадобится немало времени, чтобы восстановить мои права. А разве я мог ждать с тремя шиллингами в кармане, да еще с Аланом на руках, которого надо было отправить отсюда? Если мои надежды рухнут, мы оба еще можем очутиться на виселице. Я продолжал ходить взад и вперед по улице, замечая, что люди искоса поглядывали на меня при встрече или, заметив меня из окна, толкали друг друга локтем, с улыбкой что-то говоря. У меня зародилось новое опасение: мне трудно будет добиться даже разговора со стряпчим и тем более убедить его в правдивости моего рассказа.

Хоть убей меня, я никак не мог набраться храбрости и обратиться с вопросом к кому-нибудь из этих почтенных граждан: мне стыдно было заговорить с ними в таких грязных отрепьях. Если бы я спросил, где находится дом мистера Ранкэйлора, они, вероятно, расхохотались бы мне в лицо. Итак, я то ходил взад и вперед по улице, то спускался к гавани, точно собака, потерявшая хозяи-

на. По временам меня охватывало отчаяние, и странное чувство грызло мое сердце. Наконец настал уже день. Было около девяти часов утра. Я устал от своих странствий и случайно остановился против очень хорошего дома, обращенного красивыми, чистыми окнами к берегу. На подоконниках стояли цветы; стены были только что оштукатурены; охотничья собака зевала на ступеньках, словно давая понять, что она у себя дома. Я стоял и завидовал этому бессловесному скоту, когда дверь открылась и из нее вышел краснощекий, добродушный господин с пронизательными глазами, в густо напудренном парике и в очках. У меня был такой несчастный вид, что никто на меня не обращал внимания; он же раза два взглянул на меня. Казалось, этот джентльмен был поражен моей жалкой внешностью и, прямо подойдя ко мне, спросил, что мне здесь нужно.

Я ответил, что пришел в Куинзферри по делу, и, собравшись с духом, попросил его указать мне дом мистера Ранкэйлора.

— Это тот самый дом, из которого я только что вышел,— ответил он,— и, по довольно странной случайности, я сам мистер Ранкэйлор.

— В таком случае, сэр,— сказал я,— очень прошу вас переговорить со мной.

— Я не знаю вашего имени,— возразил он,— и даже вашего лица.

— Меня зовут Давид Бальфур,— отвечал я.

— Давид Бальфур! — повторил он, повысив голос, как бы с удивлением. — А откуда вы взялись, мистер Давид Бальфур? — спросил он, глядя мне довольно строго в глаза.

— Я побывал во многих странных местах, сэр,— сказал я,— но думаю, что лучше будет поговорить об этом в другой обстановке.

Он, казалось, некоторое время раздумывал, поглаживая рукой губу и поглядывая то на меня, то на мостовую.

— Да,— решил мистер Ранкэйлор,— это будет, без сомнения, самое лучшее.

И он повел меня с собою в дом, крикнул кому-то, кого я не видел, что будет занят все утро, и провел меня в маленькую пыльную комнату, заваленную книгами и документами. Тут он сел, пригласил и меня сесть, хотя, каза-



лось, с некоторым сожалением перевел взгляд с чистого стула на мои грязные лохмотья.

— А теперь,— сказал он,— если у вас есть дело, то будьте кратки и поскорей добирайтесь до сути.— *Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo*¹,— понимаете вы это? — сказал он, пристально глядя на меня.

— Я даже поступлю так, как говорит Гораций, сэр,— отвечал я, улыбаясь,— и прямо приведу вас *in medias res*².

Он кивнул, по-видимому довольный, так как действительно его латинская цитата была приведена, чтобы испытать меня. Несмотря на то что я чувствовал себя немного ободренным, кровь прилила мне в лицо, когда я прибавил:

— У меня есть основание думать, что я имею права на поместье Шоос.

¹ Цитата из «Науки поэзии» Горация, где он восхваляет Гомера за то, что тот не начинает рассказ о Троянской войне с яйца, то есть с начала.

² В середину вещей (лат.).

Он достал из ящика папку с бумагами и, открыв ее, положил перед собой.

— Дальше? — спросил он.

Но я выпустил свой заряд и теперь замолчал.

— Ну, ну, мистер Бальфур, — сказал он, — вам надо продолжать. Где вы родились?

— В Иссендине, сэр, — сказал я, — в тысяча семьсот тридцать четвертом году, двенадцатого марта.

Он, казалось, следил за моими показаниями по своей книге, но я не знал, что это значило.

— Ваш отец и мать? — спросил он.

— Моим отцом был Александр Бальфур, школьный учитель в Иссендине, — сказал я, — а мать — Грэс Питтароу... Мне кажется, она была родом из Ангуса.

— Есть у вас бумаги, удостоверяющие вашу личность? — спросил мистер Ранкэйлор.

— Нет, сэр, — сказал я, — но они на руках у мистера Кемпбелла, священника, и могут быть во всякое время представлены. Мистер Кемпбелл может удостоверить мою личность, и, кроме того, я не думаю, чтобы мой дядя вздумал отречься от меня.

— Вы имеете в виду мистера Эбенезера Бальфура? — спросил он.

— Да, его, — сказал я.

— И вы его видели? — спросил он.

— Я был принят в его собственном доме, — ответил я.

— Встречали вы когда-нибудь человека, по имени Хозизен? — спросил мистер Ранкэйлор.

— Я встретил его в наказание за мои грехи, вероятно, — сказал я, — потому что по его приказу и стараниями моего дяди меня похитили близ города, увезли в море, где я чуть не погиб при кораблекрушении и после сотни других бедствий попал сюда и теперь сижу перед вами в этих отрепьях.

— Вы говорите, что потерпели кораблекрушение, — продолжал Ранкэйлор. — Где это случилось?

— Около южного берега острова Малл, — сказал я. — Остров, на который я был выброшен, называется Эррейд.

— А, — сказал он, улыбаясь, — вы сильнее меня в географии. Должен вам сказать, что до сих пор все согласуется со сведениями, которые я получил раньше. Но вы говорите, что вас похитили. Как это понимать?

— В самом прямом смысле этого слова, сэр,— отвечал я.— Я направлялся к вам, когда меня заманили на бриг, ударили по голове, бросили в трюм, так что я смог понять, что случилось, только когда мы были уже далеко в море. Мне угрожало попасть на рабовладельческие плантации, но по божьей милости я избежал этой участи.

— Бриг погиб двадцать седьмого июня,— сказал он, заглядывая в книгу,— а теперь двадцать четвертое августа. Тут довольно большой пробел во времени, мистер Бальфур.

— Уверю вас, сэр,— отвечал я,— что этот пробел очень легко заполнить. Но прежде чем рассказывать, мне хотелось бы убедиться, что я говорю с другом.

— Ну, это значит попасть в заколдованный круг,— сказал стряпчий.— Я также не могу быть уверенным, пока не выслушаю вас. Я не могу быть вашим другом, пока не буду достаточно осведомлен о вашем деле.

— Вы не должны забывать, сэр,— отвечал я,— что я уже пострадал из-за своей доверчивости и был отправлен в рабство вашим же клиентом, если не ошибаюсь.

Все это время я, видимо, поднимался во мнении мистера Ранкэйлора и, таким образом, завоевывал его доверие. Но моя неожиданная реплика заставила его громко рассмеяться.

— Нет, нет,— воскликнул он,— дело обстоит не так плохо! *Fui, pop sum*¹. Я действительно был поверенным вашего дяди, но пока вы болтались на Западе, много воды утекло. И если у вас не звенело в ушах, то не от недостатка разговоров о вас. В самый день кораблекрушения мистер Кемпбелл пришел в мою контору и потребовал, чтобы вас во что бы то ни стало разыскали. Я никогда не слышал о вашем существовании, но знал вашего отца, и на основании некоторых данных—о них я поговорю после—я был склонен бояться самого дурного. Мистер Эбенезер, не отрицая, что видел вас, объявил—это показалось мне невероятным,—что дал вам значительную сумму и вы уехали в Европу с намерением закончить свое образование. Это казалось и вероятным и похвальным. На вопрос, как это случилось, что вы ни словом не известили мистера Кемпбелла, он заявил, будто бы вы выра-

¹ Был, но не есть (лат.).

зили горячее желание порвать со своей прошлой жизнью. На дальнейший вопрос, где вы находитесь, он отвечал, что не знает наверное, но думает, что в Лейдене. Вот и все его ответы. Я не думаю, чтобы кто-либо поверил ему,— продолжал мистер Ранкэйлор улыбаясь.— В особенности ему не понравились некоторые мои вопросы, и он, попросту говоря, выставил меня за дверь. Мы были тогда в большом затруднении. Несмотря на все наши подозрения, у нас не было никаких доказательств. В это же время явился капитан Хозизен и рассказал, что вы утонули. Тут выяснилось, что ваш дядя лгал, но без других результатов, кроме беспокойства для мистера Кемпбелла, убытка для моего кармана и еще одного пятна на репутации мистера Бальфура, которая и без того уже запятнана. А теперь, мистер Давид,— прибавил он,— вы знаете весь ход дела и можете судить, насколько я достоин доверия.

На самом деле рассказ его был более педантичен, чем он звучит в моей передаче, и уснащен большим количеством латинских цитат. Но его юмор и сочувствие ко мне, сквозившие в его взгляде и во всех его манерах, почти рассеяли мое недоверие. К тому же по его обхождению со мной я понял, что он уже больше не сомневается в том, кто я такой. Итак, первое: моя личность была установлена.

— Сэр,— сказал я,— рассказывая вам свои приключения, я должен предать в ваши руки жизнь своего друга и поэтому рассчитываю на вашу скромность. Дайте мне слово, что жизнь его будет для вас священна. Что же касается моей безопасности, то лучшей гарантией мне служит выражение вашего лица.

После этого я рассказал ему свои похождения с самого начала, а он слушал, сдвинув очки на лоб и закрыв глаза, так что я иногда боялся, не спит ли он. Но нет, я потом убедился, что он слышал каждое слово. Вообще тонкость его слуха и редкая память часто удивляли меня. Он запоминал даже странные, незнакомые гэльские имена и повторил мне их спустя много лет, хотя слышал их один-единственный раз в своей жизни. Когда я назвал Алана Брека, произошла смешная сцена. Имя Алана, разумеется, гремело по всей Шотландии, так же как известие об аппинском убийстве и о награде, предложенной

за голову убийцы. Не успело это имя сорваться с моего языка, как стряпчий шевельнулся и открыл глаза.

— На вашем месте я не стал бы называть ненужных имен, мистер Бальфур,— сказал он,— в особенности имен гайлэндеров, многие из которых виновны перед законом.

— Весьма возможно, что это было бы лучше,— возразил я,— но, раз оно уж вырвалось у меня, остается только пожалеть и продолжать дальше.

— Вовсе нет,— отвечал мистер Ранкэйлор.— Вы, вероятно, заметили, что я туговат на ухо и потому не совсем разобрал это имя. Если позволите, мы будем называть вашего друга Томсоном,— тогда не будет недоразумений. А впредь я бы на вашем месте поступил так со всеми гайлэндерами, о которых вам придется упоминать, живы они или мертвы.

Тут я понял, что он прекрасно слышал имя и догадался, что я могу дойти в своем рассказе до убийства. Если ему нравилось притворяться, меня это не касалось. Я улыбнулся и согласился, заметив, впрочем, что это совсем не гайлэндское имя. Во всем остальном рассказе Алан назывался мистером Томсоном,— это меня тем более сместило, что хитрость была в его же духе.

Далее Джемс Стюарт был представлен под именем родственника Томсона. Колин Кемпбелл получил имя мистера Глена, а когда речь зашла о Ключни, я назвал его мистером Джемсоном, гайлэндским предводителем. Это был самый откровенный фарс, и я удивлялся, почему у стряпчего была охота разыгрывать. Впрочем, это было в духе времени, когда в государстве существовали две партии и люди, стоявшие вне этих партий, всячески старались не задевать ни ту, ни другую.

— Ого,— сказал стряпчий, когда я кончил,— да это целая эпическая поэма, целая «Одиссея». Вам следует передать ее на латинском языке, когда знания ваши будут пополнены, или, если вы предпочтете, на английском, хотя я лично выбрал бы латинский, как более выразительный язык. Вы много путешествовали. Какой только приход в Шотландии не видел вас? Кроме того, вы выказали странную способность вечно попадать в ложное положение и в то же время, в общем, вести себя достойным образом. Мистер Томсон мне представляется джентльменом, обладающим некоторыми прекрасными качествами,

хотя он, пожалуй, находит слишком большое удовольствие в кровопролитии. Однако, несмотря на его достоинства, мне было бы приятнее, если б он просолился в Северном море, так как такой человек, мистер Бальфур, может причинить большие затруднения. Но вы, разумеется, поступите справедливо, оставаясь верным ему: он в свое время был верен вам. It comes — можно сказать — он был вам верным товарищем, не менее *paribus curis vestigia figit*, потому что иначе вы должны были бы оба болтаться на виселице. Ну, к счастью, эти дни миновали, и я думаю, рассуждая по-человечески, что близится конец ваших бедствий.

Рассуждая так о моих приключениях, он глядел на меня глазами, светившимися юмором и добротой, и я едва мог скрыть свое удовольствие. Я так долго скитался среди людей вне закона и спал в горах под открытым небом, что мне казалось большим достижением снова сидеть в чистом доме под крышей и дружески беседовать с прилично одетым господином. Раздумывая таким образом, я нечаянно взглянул на мои лохмотья, и мне опять стало стыдно. Стряпчий заметил это и понял меня. Он встал, крикнул наверх, чтобы поставили еще один прибор, так как мистер Бальфур останется обедать, и повел меня в спальню на верхнем этаже. Здесь он предложил мне воды, мыло и гребенку, дал мне одежду, принадлежащую его сыну, и с соответствующими наставлениями оставил меня за туалетом.

XXVIII. В поисках наследства

Я как мог привел себя в порядок и, заглянув в зеркало, с радостью увидел, что нищего уже нет, а Давид Бальфур снова воскрес. Но все-таки я как-то стыдился этой перемены и более всего — чужого платья. Когда я был готов, мистер Ранкэйлор встретил меня на лестнице, поздравил и опять повел в кабинет.

— Садитесь, мистер Давид, — сказал он. — И теперь, когда вы стали более похожи на самого себя, я посмотрю, не могу ли я сообщить вам что-нибудь новое. Вас, вероятно, удивляли отношения, сложившиеся между вашим

отцом и дядей. Это действительно странная история, которую я с трудом могу объяснить вам. Потому что,— прибавил он с явным смущением,— всему делу причиной была любовь.

— По правде говоря,— заметил я,— понятие о таком чувстве плохо вяжется у меня с представлением о дяде.

— Но ваш дядя, мистер Давид, был когда-то молод,— возразил стряпчий,— и, что, вероятно, еще больше удивит вас, он был красив и изящен. Люди выглядывали из дверей, чтобы посмотреть на него, когда он проезжал мимо них на своем горячем коне. Я сам наблюдал это, и, признаюсь откровенно, не без зависти, потому что я был от рода некрасивым малым, а в те времена это было важно.

— Мне кажется, что это какой-то сон,— заметил я.

— Да, да,— ответил стряпчий,— так всегда бывает между молодым и старым поколением. Но это не все: ваш дядя был умен и многое обещал в будущем. В тысяча семьсот пятнадцатом году он вздумал отправиться на помощь мятежникам, но ваш отец последовал за ним, нашел его в канаве и привез обратно на потеху всего графства. И вот оба юноши влюбились в одну леди. Мистер Эбенезер, которым все восторгались, которого любили и баловали, был совершенно уверен в своей победе, а когда увидел, что ошибся, то совсем потерял рассудок. Вся округа знала об этом: он то лежал больной дома среди рыдавших родных, склонившихся над его постелью, то ездил с одного постоялого двора на другой, рассказывая о своем несчастье Тому, Дику и Гарри. Ваш отец, мистер Давид, был добрый джентльмен, но очень, очень слабохарактерный. Он потакал глупости своего брата и, наконец, с вашего позволения, решил отказаться от леди. Но она была не глупа — вы, верно, от нее унаследовали здравый смысл — и не согласилась выйти за другого. Оба на коленях ползали перед ней, и наконец она обоим указала на дверь. Это произошло в августе... Боже мой, я в тот год вернулся из колледжа!.. Сцена, должно быть, была чрезвычайно смешная.

Я сам подумал, что это была глупая история, но не мог забыть, что в ней участвовал мой отец.

— Вероятно, сэр, в этой истории была и трагическая сторона,— сказал я.

— Нет, сэр, ее вовсе не было,— отвечал нотариус.— В трагедии предполагается какая-нибудь веская причина для спора, какое-нибудь *dignus vindice podus*, а в этой пьесе завязкой служила блажь молодого избалованного болвана, которого следовало покрепче связать и выпороть ремнем. Но не так думал ваш отец. И дело кончилось тем, что после бесконечных уступок с его стороны и самых разнообразных сентиментальных и эгоистических выходок вашего дяди они заключили нечто вроде сделки, от последствий которой вам пришлось недавно пострадать. Один из братьев взял леди, а другой — поместье. Это допикхотство вашего отца, несправедливое само по себе, повлекло за собой длинный ряд несправедливостей. Ваш отец и мать жили и умерли бедными, вас воспитали в бедности, и в то же время какие тяжелые годы переживали арендаторы Шооса! И что пережил сам мистер Эбелезер, мог бы я прибавить, если бы это меня интересовало!

— Во всем этом самое странное то,— сказал я,— что характер человека мог так измениться.

— Верно,— сказал мистер Ранкэйлор.— Но мне это кажется довольно естественным. Не мог же он не понять, что сыграл в этом деле некрасивую роль. Люди, знавшие эту историю, отвернулись от него.

— Хорошо, сэр,— сказал я,— но какое же мое положение во всем этом?

— Поместье несомненно принадлежит вам,— отвечал стряпчий.— Что бы ни подписал ваш отец, оно по закону должно перейти к вам. Но ваш дядя будет защищаться до последней возможности. Процесс всегда дорого стоит, а семейный процесс еще и позорен. Мой совет — не требовать слишком многого от вашего дяди, пожалуй, даже оставить его в Шоосе, а удовольствоваться пока хорошей ежегодной рентой.

Я сказал ему, что согласен на уступки и что мне, разумеется, было бы неприятно выставлять семейные дела на суд публики. В то же время в мыслях моих уже начал в общих чертах составляться план, который мы впоследствии привели в исполнение.

— Так что самое главное,— спросил я,— это уличить моего дядю в том, что он виноват в похищении меня?

— Разумеется,— отвечал мистер Ранкэйлор.— Но, по

возможности, помимо суда. Поймите, мистер Давид, мы, без сомнения, могли бы найти несколько матросов с «Конвента», которые подтвердили бы ваше похищение, но если они будут вызваны свидетелями, мы не сможем остановить их показаний, и наверное они упомянут имя мистера Томсона. А это, как я заключаю из ваших слов, нежелательно.

— Вот, сэр, как я думаю поступить,— сказал я и открыл ему свой план.

— Но из этого следует, что мне придется встретиться с этим Томсоном? — спросил он, когда я кончил.

— Да, сэр, я так думаю,— сказал я.

— Вот так штука! — воскликнул он, потирая лоб. — Вот тебе и раз! Нет, мистер Давид, мне кажется, что план ваш неприемлем. Я ничего не имею против вашего друга мистера Томсона, я ничего не знаю о нем дурного: если бы я знал — обратите на это внимание, мистер Давид! — моей обязанностью было бы задержать его. Но рассудите сами: благоразумно ли нам встречаться? Он, может быть, виновен в каком-нибудь преступлении. Он, возможно, не все вам рассказал о себе. Его, может быть, и зовут не Томсон, а иначе! — воскликнул поверенный, подмигивая. — Ведь эти молодцы подбирают себе имена по дороге, как ягоды боярышника.

— Я предоставляю вам решать самому, сэр,— сказал я.

Однако было ясно, что мой план произвел на него впечатление, так как он продолжал размышлять, пока нас не позвали обедать в обществе миссис Ранкэйлор. И не успела она оставить нас одних за бутылкой вина, как стряпчий вернулся к моему предложению. Когда и где я должен встретиться с моим другом мистером Томсоном? Уверен ли я в его скромности? Предположим, что мы поймаем врасплох старую лисицу,— соглашусь ли я на те или другие условия? Подобные вопросы он задавал мне через большие промежутки времени, задумчиво потягивая вино. Когда мои ответы, очевидно, удовлетворили его, он еще больше задумался, забыв даже о кларете. Затем он достал лист бумаги и карандаш и стал что-то писать, взвешивая каждое слово. Наконец он позвонил, и в комнату вошел клер.

— Торрэнс,— сказал он,— это должно быть перепи-

сано набело до вечера. А когда все будет сделано, то будьте так любезны приготовить пойти с этим джентльменом и со мной, так как вы, вероятно, понадобится нам в качестве свидетеля.

— Сэр,— воскликнул я, как только клерк ушел,— так вы решились?

— Вы сами видите,— сказал он, наливая вино в стакан.— Но не будем больше говорить о делах. Вид Торрэнса напомнил мне о смешном случае, который произошел несколько лет назад. У меня было назначено с ним свидание у Эдинбургского перекрестка. Каждый пошел по своим делам, а когда пробило четыре часа, Торрэнс, выпив лишнее, не узнал своего начальника, а я, забыв очки дома, видел без них так плохо, что, даю вам слово, не был в состоянии узнать своего клерка.— Тут Ранкэйлор от души рассмеялся.

Я сказал, что это действительно странный случай, и из вежливости улыбнулся. Но меня весь день удивляло, почему он беспрестанно возвращается к этой истории, рассказывая ее все с новыми подробностями и заливаясь смехом, так что я наконец пришел в замешательство от такого поведения моего нового друга.

Приблизительно в назначенное мною Алану время я под руку с мистером Ранкэйлором вышел из дома, а за нами следовал Торрэнс с документами в кармане и закрытой корзинкой в руках. Пока мы шли по городу,стряпчему приходилось раскланиваться направо и налево и постоянно останавливаться с людьми, просившими у него совета по общественным и частным вопросам. При этом я мог заметить, что он пользовался большим уважением в городе. Мы пошли вдоль гавани по направлению к гостинице «В боярышнике» и к молу у парома, бывшими свидетелями моего несчастья. Я не мог без волнения глядеть на эти места, вспоминая, что многих из бывших тогда со мною людей уже не было в живых.

Я думал об этом, как вдруг мистер Ранкэйлор вскрикнул, ударив рукой по карману, и засмеялся.

— Ну,— воскликнул он,— не забавно ли это! После всего, что я говорил, я все-таки забыл очки!

Тут я, разумеется, понял, к чему клонился его рассказ, и сообразил, что он нарочно оставил очки дома, чтобы, приняв помощь Алана, в то же время не видеть

его и не попасть таким образом в неловкое положение. Действительно, это было хорошо придумано: если бы теперь дело и приняло дурной оборот, то как мог мистер Ранкэйлор удостоверить личность моего друга и дать показания против него? А все-таки он что-то слишком долго не замечал, что забыл дома очки. Все время, пока мы шли по городу, он раскланивался и разговаривал с таким большим количеством людей, что мог возбудить сомнение, так ли слабы его глаза.

Как только мы миновали гостиницу — я на пороге увидел хозяина с трубкой в зубах и удивился, что он не состарился, — мистер Ранкэйлор изменил порядок шествия и пошел сзади с Торрэнсом, а меня послал вперед разведчиком. Я взошел на холм, насвистывая время от времени свой гэльский мотив. Наконец я с радостью услышал ответный свист, и Алан поднялся из-за куста. Он немного упал духом, проведя весь день в одиночестве, скрываясь и плохо закусив в пивной около Дундаса. Но при взгляде на мою одежду лицо его просияло, а когда я рассказал ему, как подвинулись наши дела, и объяснил ему, какую роль он должен сыграть, Алан совсем воспрянул духом.

— Это блестящая мысль, — сказал он, — и, уверяю вас, для исполнения ее вы не могли бы найти лучшего человека, чем Алан Брек. Такую штуку, заметьте, не всякий сумеет сделать: она требует человека сообразительного. Но мне думается, что ваш поверенный хотел бы скорее видеть меня, — сказал Алан.

Я стал звать мистера Ранкэйлора и махать ему рукой. Он подошел, и я представил его моему другу мистеру Томсону.

— Я очень рад встретиться с вами, мистер Томсон, — сказал стряпчий. — Но я забыл свои очки, и наш друг мистер Давид, — он хлопнул меня по плечу, — скажет вам, что без них я почти слеп, так что не удивляйтесь, если завтра я пройду мимо, не узнав вас.

Он сказал это, думая успокоить Алана. Но гордость последнего возмущалась даже от такого пустяка.

— Сэр, — сухо отвечал он, — мне кажется, это не имеет значения, так как мы встретились для определенной цели — добиться справедливости по отношению к мистеру Бальфуру — и, помимо этого, вряд ли имеем

что-нибудь общее. Но я принимаю ваши извинения: вы принесли их очень кстати.

— Я не смею надеяться на большее, мистер Томсон, — искренне сказал Ранкэйлор. — Мы с вами главные действующие лица в этом деле, и нам следует прийти к соглашению, а потому позвольте взять вас под руку, так как оттого, что темно и я забыл очки, плохо вижу тропинку. Вы же, мистер Давид, пойдете в Торрэнсе очень интересного собеседника. Только помните, что ему совсем не для чего знать ваши приключения, а также приключения... гм... мистера Томсона.

На этом основании оба они пошли вперед, доверительно разговаривая друг с другом, а Торрэнс и я образовали арьергард.

Когда мы подошли к Шоос-гаузу, наступила ночь. В пятидесяти ярдах от дома мы шепотом еще раз посоветовались; затем поверенный, Торрэнс и я тихонько двинулись вперед и притаились за углом дома. Как только мы стали по местам, Алан, не скрываясь, подошел к дому и начал стучать.

XXIX. Я вступаю в свои владения

Алан некоторое время тщетно стучал в дверь: удары его только будили эхо в доме и окрестностях. Наконец я услышал стук осторожно отворяемого окна и понял, что дядя на своем наблюдательном пункте. При недостаточном ночном освещении он мог видеть только фигуру Алана, вырисовывавшуюся темным силуэтом на ступеньках; трое же свидетелей были совершенно скрыты от него, так что честному человеку в собственном доме нечего было бы тревожиться. Несмотря на это, он долгое время молча смотрел на посетителя, и когда заговорил, то в голосе его слышался страх.

— Что это? — спросил он. — Ночь — не время для порядочных людей, а с почными птицами у меня нет дел. Что вас привело сюда? У меня есть мушкетон.

— Это вы, мистер Бальфур? — отвечал Алан, отступая и вглядываясь в темноту. — Обращайтесь поосторожнее с мушкетомом: будет скверно, если он выстрелит.

— Что вас привело сюда? И кто вы такой? — злобно спросил мой дядя.

— Я не намерен сообщать свое имя всей округе, — сказал Алан. — А что меня сюда привело — это дело другое и касается вас более, чем меня. И, если вы желаете слушать, я положу это дело на музыку и пропою его вам.

— А что это такое? — спросил дядя.

— Давид, — отвечал Алан.

— Что? — воскликнул дядя явно изменившимся голосом.

— Сказать вам его фамилию? — спросил Алан.

Последовала пауза. Затем дядя с сомнением в голосе прибавил:

— Мне кажется, лучше будет впустить вас в дом.

— Безусловно, — сказал Алан, — но вопрос в том, пойду ли я. Вот что я вам скажу. Мне кажется, что нам лучше обсудить это дело здесь, на пороге, или нигде. Предупреждаю вас: я так же упрям, как и вы, и притом я джентльмен более высокого происхождения.

Эта перемена тона смутила Эбенезера. Подумав некоторое время, он сказал:

— Хорошо, хорошо, что надо, то надо, — и затворил окно.

Он очень долго спускался по лестнице и еще дольше открывал запоры, вероятно раскаиваясь в своем решении на каждой ступени и перед каждым болтом и засовом. Наконец мы услышали скрип дверных петель, и дядя мой осторожно вышел. Увидев, что Алан отступил на один или на два шага, он сел на верхней ступеньке, держа наготове мушкетон.

— А теперь, — заявил он, — помните, что у меня в руках мушкетон и что если вы приблизитесь на шаг, то будете убиты.

— Это очень вежливо сказано, — заметил Алан.

— Ну, — отвечал дядя, — ваше поведение не обещает ничего хорошего, и я должен быть наготове. А теперь мы понимаем друг друга, и вы можете рассказать о своем деле.

— Если вы такой догадливый человек, — сказал Алан, — то, без сомнения, заметили, что я гайлэндский джентльмен. Имя мое к делу не идет, но страна моих родственников находится недалеко от острова Малл, о кото-

ром вы, вероятно, слышали. В тех местах погибло судно, и когда на следующий день мой родственник искал вдоль берега деревянные обломки корабля, то наткнулся на полуживого юношу. Он привел его в чувство, а затем вместе с другими джентльменами отвел в старый, полуразрушенный замок, где с тех пор и содержится его. Мои родственники — народ довольно дикий и не такой щепетильный насчет закона, как некоторые известные мне люди. Узнав, что юноша благородного происхождения и приходится вам родным племянником, мистер Бальфур, они попросили меня зайти к вам и переговорить с вами об этом. И, предупреждаю вас, если мы не сойдемся, вы его вряд ли опять увидите, так как мои родственники, — наивно прибавил Алан, — очень бедные люди.

Дядя прокашлялся.

— Для меня это довольно безразлично, — ответил он. — Я всегда был недоволен им, и я не считаю своим долгом вмешиваться в эту историю.

— Ну, ну, — сказал Алан, — я вижу, чего вы добиваетесь: вы притворяетесь, будто он вам безразличен, для того чтобы мы назначили за него меньший выкуп.

— Нет, — ответил дядя, — я говорю чистую правду. Меня совсем не интересует этот мальчишка. Я не стану платить никакого выкупа, и вы можете делать с ним все, что угодно, — мне все равно.

— Нет, сэр, — сказал Алан. — Ведь кровь не вода, черт возьми! Вы из одного стыда не покинете сына своего брата. Если вы это сделаете и это станет известным, вы, думается мне, будете не очень-то любимы в вашей стране.

— Я и так не особенно любим, — отвечал Эбenezер. — И, кроме того, я не понимаю, как это может стать известным. Я рассказывать не буду, вы и ваши родственники — тем более. Это праздная болтовня, мой милый.

— Тогда Давид сам расскажет, — сказал Алан.

— Каким образом? — резко спросил дядя.

— Очень просто, — сказал Алан. — Мои друзья держали вашего племянника у себя, пока была надежда получить за него деньги, но, потеряв ее, они, без сомнения, отпустят его на все четыре стороны, будь он проклят!

— О, мне это тоже безразлично! — отвечал дядя. — Меня это не особенно огорчит.

— А я думал иначе,— сказал Алан.

— Почему? — спросил Эбenezер.

— Ну, мистер Бальфур,— отвечал Алан,— у каждого дела могут быть только две стороны: или вы любите Давида и заплатите, чтобы освободить его, или у вас есть причины не желать его возвращения, и тогда вы заплатите, чтобы мы оставили его у себя. Очевидно, вы не желаете первого. Значит, вам желательно второе. Очень рад. И я, и друзья мои получим за это славные денежки.

— Я не понимаю вас,— сказал дядя.

— Не понимаете? — спросил Алан.— Так слушайте: вы не хотите, чтобы мальчишка возвращался. Что с ним надо сделать и сколько вы за это заплатите?

Дядя не отвечал и беспокойно ерзал по ступеньке.

— Слушайте, сэр! — закричал Алан.— Помните, что я джентльмен. Я ношу королевское имя и не такой человек, чтобы уйти с пустыми руками. Или вы дадите мне ответ вежливо и незамедлительно, или же, клянусь вершиной Глэнко, я проткну вам брюхо своей шпагой!

— Эй, любезный,— воскликнул дядя, вскочив на ноги,— подождите минутку! Что с вами? Я обыкновенный человек, а не учитель танцев и стараюсь быть вежливым, насколько это возможно. А ваши дикие слова позорят вас: «Проткну брюхо!» Как бы не так! А чего же я буду ждать со своим мушкетеном? — проворчал он.

— Порох и ваши старые руки перед блестящей шпагой в моих руках то же, что улитка в сравнении с ласточкой,— сказал Алан.— Прежде чем ваш трепещущий палец найдет курок, эфес моей шпаги будет торчать в вашей груди.

— Эй, любезный, да разве я спорю? — возразил дядя.— Говорите что хотите, поступайте по-своему — я не буду перечить. Скажите только, что вам надо, и увидите, что мы отлично поладим.

— Верно, сэр,— сказал Алан,— я требую одной откровенности. Короче говоря: хотите вы, чтобы парня убили или чтобы мои родственники продолжали его содержать?

— Боже мой,— воскликнул Эбenezер,— разве можно так выражаться!

— Убить или сберечь? — повторил Алан.

— О, сберечь, сберечь! Без кровопролития, прошу вас.

— Как хотите,— сказал Алан,— но это будет дороже. Содержать его затруднительно — это щекотливое дело...

— Я все-таки хочу, чтобы его содержали,— отвечал мой дядя.— Я никогда не поступал безнравственно и не начну поступать так теперь для удовольствия дикого гайлэндера.

— Вы слишком щепетильны,— насмешливо произнес Алан.

— Я человек принципа,— просто сказал Эбенезер,— и, если за это надо платить, я заплачу. Вы забываете, кроме того, что мальчик сын моего брата.

— Хорошо,— сказал Алан,— теперь уговоримся о цене. Мне нелегко назначить ее, и сперва хотелось бы узнать некоторые подробности. Мне нужно знать, например, сколько вы заплатили Хозизену, когда в первый раз сбывали юношу с рук.

— Хозизену? — закричал дядя, застигнутый врасплох.— За что?

— За похищение Давида,— сказал Алан.

— Это ложь! — воскликнул дядя.— Его никогда не похищали. Тот, кто сказал это вам, солгал. Похищен! Он никогда не был похищен.

— Если он этого избежал, то не по моей вине да и не по вашей,— сказал Алан,— а также и не по вине Хозизена, если только ему можно верить.

— Что вы хотите сказать? — воскликнул Эбенезер.— Разве Хозизен рассказывал вам что-нибудь?

— Ах вы старый негодяй, да как же я мог бы иначе это знать! — воскликнул Алан.— Мы с Хозизеном компаньоны, мы делим прибыль. Теперь вы сами видите, как вам может помочь ваша ложь. И, должен вам откровенно признаться, вы сделали большую глупость, посветив его в ваши личные дела. Но теперь поздно жалеть: что посеешь, то и пожнешь. Вопрос вот в чем: сколько вы заплатили ему?

— Разве он не говорил вам? — спросил мой дядя.

— Это мое дело,— отвечал Алан.

— Хорошо,— сказал дядя,— мне все равно: чтобы он ни говорил, он все равно лгал. Я скажу вам чистую правду: я дал ему двадцать фунтов. И, чтобы быть со-

вершенно честным, прибавлю: сверх того он должен был получить деньги за продажу мальчика в Каролине, так что, в сущности, вышло бы немного больше, но, как видите, не из моего кармана.

— Благодарю вас, мистер Томсон. Этого вполне достаточно,— сказал стряпчий, выступая вперед. Затем учтиво продолжал: — Добрый вечер, мистер Бальфур.

— Добрый вечер, дядя Эбенезер,— сказал я.

— Славная сегодня ночь, мистер Бальфур,— прибавил Торрэнс.

Мой дядя не отвечал ни слова, продолжая сидеть на ступеньке, точно окаменев.

Алан тихонько вынул из его рук мушкетон, а стряпчий, взяв его под руку, стащил со ступеньки, повел в кухню и усадил на стул у очага, где огонь был потушен и горел один только ночник. Мы все последовали за ним.

Мы глядели на дядю, чрезвычайно радуясь своей удаче, но не без некоторой жалости к пристыженному старику.

— Ну, ну, мистер Эбенезер,— сказал стряпчий,— не падайте духом: я обещаю вам, что мы удовольствуемся немногим. А пока дайте нам ключ от погреба. Торрэнс принесет нам старого вина, которое мы разопьем по поводу этого события.— Затем, обратившись ко мне и взяв меня за руку, сказал: — Мистер Давид, желаю вам всего хорошего в вашем новом положении, которое, я уверен, вы вполне заслужили.— Потом он шутливо обратился к Алану: — Поздравляю вас, мистер Томсон, вы очень искусно вели дело, но одного только я не мог понять: как вас, собственно, зовут? Яков или Карл? Или, может быть, Георг?

— Отчего вы думаете, что меня зовут одним из этих трех имен, сэр? — спросил Алан, выпрямляясь и точно предчувствуя оскорбление.

— Оттого, что вы упоминали о своем королевском имени, сэр,— отвечал Ранкэйлор,— а так как никогда еще не существовало короля Томсона — я, по крайней мере, никогда не слышал о таком,— я подумал, что вы говорите об имени, данном вам при крещении.

Это было одним из тех ударов, к которым Алан был наиболее чувствителен, и, надо признаться, он с трудом перенес его. Не ответив ни слова, он отошел в дальний

угол кухни и, надувшись, сел там. Только когда я подошел к нему, подал ему руку и поблагодарил его по справедливости, как главного виновника моего успеха, он слегка улыбнулся и наконец решился присоединиться к нашему обществу.

К этому времени мы развели огонь и откупорили бутылку вина; из корзины появился хороший ужин, за который сели Алан, Торрэнс и я, тогда как стряпчий и дядя пошли совещаться в соседнюю комнату.

Посидев там около часа, они наконец пришли к соглашению, после чего мой дядя и я по всей форме скрепили своими подписями договор. По условиям договора, мой дядя обязывался вознаградить Ранкэйлора за его вмешательство и выплачивать мне ежегодно две трети чистого дохода от поместья Шоос.

Итак, нищий странник из баллады вернулся домой. Лежа в ту ночь на кухонных сундуках, я сознавал себя состоятельным человеком, имеющим положение в своей стране. Алан, Ранкэйлор и Торрэнс храпели на своих жестких постелях. На меня же, прошедшего столько дней и ночей под открытым небом, в грязи, на камнях, голодным, в постоянном страхе за свою жизнь, эта счастливая перемена подействовала сильнее, чем прежние невзгоды.

Я не спал до рассвета, глядя на отражение пламени на потолке и строя планы на будущее.

XXX. Прощание

Хотя лично я причалил к тихой пристани, но у меня на руках оставался Алан, которому я был стольким обязан. Кроме того, у меня на душе тяжким бременем лежало дело об убийстве Колины Кемпбелла и тюремное заключение Джемса Глэнского.

Назавтра, около шести часов утра, гуляя с Ранкэйлором перед Шоос-гаузом, вокруг которого расстились поля и леса моих предков, теперь принадлежавшие мне, я открыл ему свою душу. И, несмотря на серьезную тему нашего разговора, мой взгляд радостно скользил по окружающему и сердце мое прыгало от гордости.

Стряпчий вполне согласился со мной: пока дело касалось моих обязанностей к Алану, я должен был помочь ему выбраться отсюда, несмотря ни на какой риск. Но что касается Джемса, он был совершенно другого мнения.

— Мистер Томсон — одно, а родственник мистера Томсона — совсем другое, — сказал он. — Я мало знаком с фактами, но заключаю, что одно знатное лицо, назовем его Г. А.¹, здесь замешано и даже, как думают, относится к этому человеку враждебно. Г. А., без сомнения, благородный джентльмен, но *timeo qui posuere deos*. Если вы хотите помешать его мщению, то помните, что есть лишь одна возможность не допустить ваших свидетельских показаний: посадить вас на скамью подсудимых. Тогда вы оказались бы в том же положении, что и родственник мистера Томсона. Вы скажете, что вы невинны, но ведь и он невиновен. А быть судимым гайлэндскими присяжными, по гайлэндской распре и под председательством гайлэндского судьи — прямая дорога на виселицу.

Эти рассуждения приходили и мне в голову, и я не находил на них возражения. Но я все-таки спросил наивно:

— В таком случае, сэр, мне остается только быть повешенным, не правда ли?

— Мой милый мальчик, — воскликнул он, — идите с богом и поступайте, как считаете честным! В мои лета не следовало бы советовать вам выбирать безопасное, но позорное, и я, прошу прощения, беру назад свои слова. Ступайте и выполняйте свой долг, и если вас присудят к виселице, идите на виселицу, как джентльмен. На свете есть вещи похуже виселицы.

— Таких немного, сэр, — сказал я улыбаясь.

— Ну нет, сэр, — воскликнул он, — очень много! И, чтобы не идти далеко за примером, для вашего дяди было бы теперь лучше, если бы он прилично болтался на виселице.

С этими словами он вернулся в дом — все еще в прекрасном расположении духа, так как, очевидно, остался доволен мной, — и написал два письма, вслух комментируя их.

¹ Г. А. — Герцог Арджайльский.

— Это письмо,— сказал он,— к моим банкирам — Британскому льнопрядильному обществу, открывающему кредит на ваше имя. Посоветуйтесь с мистером Томсоном: он, вероятно, знает, что надо делать, а вы при помощи этого кредита доставите ему средства к существованию. Я надеюсь, что вы сумеете беречь деньги, но в деле мистера Томсона можно быть даже расточительным. Относительно его родственника лучше всего направиться к лорду-адвокату¹, рассказать ему все и предложить свои свидетельские показания. Примет ли он их, или нет, или обратит их против Г. А.— это уже другое дело. Чтобы достать вам хорошую рекомендацию к лорду-адвокату, я написал письмо вашему однофамильцу, ученому мистеру Бальфуру Пильригскому, которого я очень уважаю. Лучше, если вас представит человек,носящий одну с вами фамилию, а лэрд Пильригский пользуется большим уважением у властей и находится в хороших отношениях с лордом-адвокатом Грантом. На вашем месте я не стал бы обременять его подробностями, и, знаете ли, считаю, что совершенно лишнее упоминать о мистере Томсоне. Старайтесь подражать лорду — это хороший пример. Будьте осторожны с адвокатом, и да поможет вам бог, мистер Давид!

Вслед за тем он пристился со мной и вместе с Торрэнсом отправился к Куинзферри, тогда как Алан и я пошли по направлению к Эдинбургу. Проходя по тропинке мимо столбов у ворот и недостроенного домика привратника, мы оглянулись на дом моих предков. Громадный, обнаженный, без единой струйки дыма, он казался необитаемым, только в одном из верхних окон виднелась верхушка ночного колпака, который раскачивался вверх и вниз, вперед и назад, точно голова кролика в норе. Я не услышал слова приветствия, когда явился сюда, и не видел ласки, когда был здесь, но зато за мной наблюдали при моем уходе отсюда.

Мы шли медленно, не чувствуя ни малейшего желания ни идти, ни говорить. Оба мы думали о близкой разлуке и с грустью вспоминали минувшие дни. Впрочем, мы говорили о том, что надо было сделать: было реше-

Л о р д - а д в о к а т — представитель судебной власти в Шотландии, главный общественный обвинитель.

но, что Алан будет скрываться где-нибудь поблизости, но один раз в день приходить в определенное место, где я смогу общаться с ним лично или через посланного. А я должен был отыскать адвоката из аппинских Стюартов, которому, следовательно, можно довериться: на его обязанности будет найти судно и обеспечить Алану безопасный отъезд из Шотландии. Покончив с делом, мы снова замолкли. Я пробовал было шутить с Аланом, называя его мистером Томсоном, а он дразнил меня новым платьем и поместьем, но было ясно, что нам хочется скорее плакать, чем смеяться.

По тропинке, пересекавшей холм Корсторфайн, мы дошли до места, носившего название «Отдых». Взглянув на корсторфайнское болото, затем на город и на замок на горе, мы оба остановились, так как поняли без слов, что здесь наши пути расходятся. Алан повторил мне еще раз адрес адвоката, затем час, когда я смогу найти его самого и сигналы, с помощью которых можно будет отыскать его. Я отдал ему все, что имел — гинеею или две, взятые у Ранкэйлора, — чтобы он пока не голодал. Мы постояли, молча глядя на Эдинбург.

— Что же, прощай, — сказал Алан, протягивая мне руку.

— Прощайте, — сказал я, быстро пожав ее, и спустился с холма.

Мы ни разу не взглянули друг другу в лицо. Пока Алан был еще в виду, я даже не оглянулся на него, но зато дальше, идя по дороге в город, почувствовал себя таким потерянным и одиноким, что готов был сесть у дороги и заплакать, как ребенок.

Около полудня я, миновав Весткирку и Грассмаркет, вошел в город. Огромная высота домов, достигавших десяти и пятнадцати этажей, узкие сводчатые входы, непрерывно извергавшие народ, товары, выставленные в окнах, шум и суета, дурной воздух, нарядные одежды и масса других впечатлений ошеломили меня, и я машинально отдался на волю толпы, которая понесла меня из стороны в сторону. Но я не переставал думать об Алане и «Отдыхе» и все время — хотя читатель, наверное, поймет, что я не мог не восхищаться новым для меня, красивым зрелищем, — у меня болело сердце, и я чувствовал, что совесть упрекает меня в чем-то дурном.

Наконец сама судьба привела меня к дверям банка Британского льнопрядильного общества.

Теперь, когда Давид достиг известного положения, издатель намерен с ним на время распрощаться. Современем, может быть, он расскажет о бегстве Алана, о том, что было предпринято по делу об убийстве, и о многих других интересных обстоятельствах. Это, во всяком случае, будет зависеть от желания публики. Издатель питает большую склонность как к Алану, так и к Давиду и охотно провел бы в их обществе еще некоторое время, но не все могут разделять его желания. Опасаясь этого, а также обвинения в недостатке внимания, он торопится заявить, что у друзей все шло хорошо, в общечеловеческом смысле этого слова. Что бы ни случилось с ними, они всегда поступали честно, но и о себе не забывали.



РОМАН

КАТРИОНА

Продолжение романа «Похищенный»

*Записки о дальнейших приключениях
Давида Бальфура дома и за границей,
в которых описываются его последующее
участие в деле об аппинском убийстве,
его столкновение с лордом-адвокатом
Грантом, плен в Басс-Роке,
путешествие по Голландии и Франции
и странные взаимоотношения
с Джемсом Мором Друммондом, или
Мак-Грегором, сыном знаменитого
Роб-Роя, и его дочерью Катрионою,
написанные им самим и изданные
Робертом Льюисом Стивенсоном.*

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЫДУЩИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ДАВИДА БАЛЬФУРА, ОПИСАННЫХ В РОМАНЕ
«ПОХИЩЕННЫЙ»**

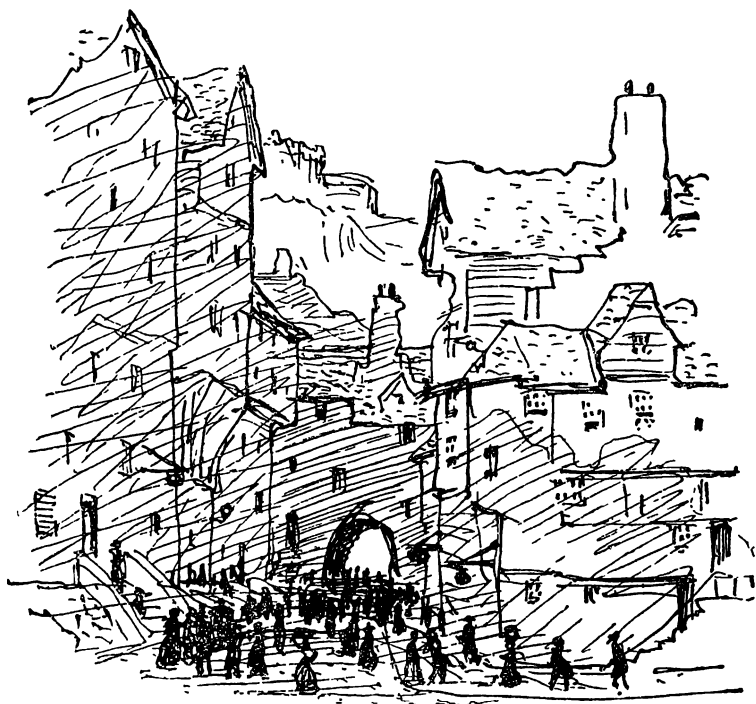
Братья Александр и Эбенецер Бальфуры из Шоосгауза, находящегося около Крамонда, в Эттрикском лесу, оба влюбились в одну и ту же леди. Когда эта последняя предпочла старшего, Александра, то братья согласились, что Александр женится на ней, а Эбенецер в вознаграждение за свое разочарование получит поместье Шоос. Александр переехал с женой в Иссендин, где получил место школьного учителя, жил очень скромно. Здесь у них родился единственный сын Давид Бальфур — герой настоящего романа. Давид, воспитанный в неведении семейных обстоятельств и своих прав на поместье, потерял на восемнадцатом году родителей и не получил в наследство ничего, кроме запечатанного письма отца, адресованного дяде Давида — Эбенецеру и врученного ему иссендинским священником мисгером Кемпбеллом. Отправившись в Шоос, чтобы передать письмо, Давид нашел в лице дяди бездетного скрягу, который весьма дурно принял племянника. После напрасных стараний лишить его жизни дядя обманом заманил его на борт брига «Конвент», под командой капи-

тана Хозизена, отправлявшегося в Каролину, с тем, чтобы там Давида продали невольником на плантации. Но в самом начале путешествия «Конвент» наскочил на лодку и потопил ее. Из пассажиров лодки спасся и попал на судно Алан Брек — дворянин горной Шотландии, изгнанный после сорок пятого года. В то время он тайным образом доставлял подать, уплачиваемую его кланом своему вождю Ардшилю, жившему изгнанником во Франции. Хозизен и экипаж брига, узнав, что Алан везет золото, сговорились убить и ограбить его, но Давид, услышавший о заговоре, предупредил Алана и обещал ему помогать.

Под прикрытием капитанской каюты, а также благодаря храбрости Алана и его умению фехтовать оба они в последовавшем нападении одержали верх над нападавшими, убив и ранив их более половины. Вследствие этого капитан Хозизен лишился возможности продолжать путешествие и условился с Аланом, что высадит его на берег в таком месте, откуда ему легче всего попасть в Аппин, на его родину. Но, пытаясь достичь берега, «Конвент» наскочил на мель и погиб у берегов Малла. Часть экипажа спаслась; Давид был выброшен один на остров Эррейд и оттуда уже попал на Малл и прошел его. Алан, еще раньше проходивший тем же путем, велел передать Давиду, чтобы он следовал за ним и присоединился к нему в Аппине, в доме его родственника Джемса Глэнского. Идя на это свидание, Давид попал в Аппин в тот самый день, когда королевский агент Колин Рой-Кемпбелл из Гленура в сопровождении отряда солдат отправлялся выгонять арендаторов из конфискованных поместий Ардшиля: случайно он присутствовал при смерти Гленура, убитого на дороге выстрелом из ближайшего леса. Заподозренный в сообщничестве с убийцей, в то время как на самом деле он гнался за ним, Давид обратился в бегство. Вскоре к нему присоединился Алан Брек, который прятался неподалеку, хотя стрелял не он. Обоим пришлось вести жизнь преследуемых беглецов, так как убийство возбудило большой шум и обвинение в нем пало на Джемса Стюарта Глэнского, на уже осужденного Алана Брека и на неизвестного юношу, под которым подразумевался Давид Бальфур. За поимку их была объявлена награда, и солдаты обыски-

вали всю страну. Во время своих скитаний Алан и Давид посетили Джемса Стюарта в Аухарне, прятались в доме Ключи Макферсона и на время болезни Давида останавливались у Дункана Ду Мак-Ларена в Бальуйдере, где Алан состязался на флейтах с Робинот Ойгом, сыном Роб-Роя. Наконец, после многочисленных опасностей и претерпев много страданий, они достигли границы Гайлэнда и реки Форт; однако, боясь быть арестованными, не решались переправиться через реку, пока не убедили дочь содержателя постоянного двора в Лимекильнсе, Ализон Хэсти, перевезти их ночью на Лоттианский берег. Алан продолжал скрываться, а Давид отправился к мистеру Ранкэйлору, стряпчему, бывшему поверенному по делам поместья Шоос. Этот последний сейчас же принял его сторону и составил план действий, который при помощи Алана был приведен в исполнение, вследствие чего Эбенезер Бальфур был принужден признать право своего племянника на наследование поместья, а пока выплачивать ему ежегодно приличную сумму из дохода от него.

Давид Бальфур, вступив во владение своим наследством, предполагает ехать заканчивать свое образование в Лейденском университете. Но прежде ему следует исполнить долг дружбы и помочь Алану уехать из Шотландии, а также долг совести, заключающийся в засвидетельствовании невинности Джемса Стюарта Глэнского, заключенного в тюрьму в ожидании суда за аппинское убийство.



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

ЛОРД-АДВОКАТ

1. Нищий стал богачом

25 августа 1751 года, около двух часов пополудни, я, Давид Бальфур, выходил из Британской льнопрядильной компании. Рассыльный нес за мной мешок с деньгами, а несколько главных представителей этой фирмы поклонились мне, когда я прошел мимо их дверей. Два дня назад и даже еще вчера утром я был похож на нищего с большой дороги, одетого в лохмотья, без гроша в кармане; товарищем моим был осужденный законом

мятежник, а голова моя была оцепена за преступление, о котором говорила вся страна. Сегодня я занял положение в свете, положение лэрда, владеющего обширным поместьем. Рассыльный из банка нес за мной мои деньги, в кармане моем лежали рекомендательные письма — словом, как говорит поговорка, «мяч лежал у самых ног моих».

Однако два обстоятельства несколько умилили мой пыл. Первым было трудное и опасное дело, которым мне предстояло заняться; вторым — место, где я находился. Громадный и сумрачный город, движение и шум толпы — все это было для меня совсем новым миром после болотных кочек, морских песков и тихих деревенских пейзажей, среди которых я так недавно скитался. В особенности смущали меня горожане. Сын Ранкэйлора был небольшого роста и худощав; его одежда с трудом налезла на меня. В таком виде мне не пристало важно выступать впереди банкового рассыльного. Меня бы, конечно, стали высмеивать или, что еще того хуже, расспрашивать. Мне нужно было приобрести себе одежду, а пока идти рядом с рассыльным, взяв его под руку, точно мы друзья.

В магазине в Люккенбусе я купил себе платье, не слишком роскошное, так как я вовсе не желал казаться выскочкой, но добротное и приличное, чтобы слуги относились ко мне с уважением. Оттуда я прошел к оружейнику, где приобрел плоскую шпагу, как того требовало мое положение. С этим оружием я почувствовал себя в большей безопасности, хотя при моем умении защищаться оно, скорее, могло быть опасным. Рассыльный, человек довольно опытный, нашел удачным мой выбор одежды.

— Ничего не бросается в глаза, — сказал он, — все скромно и прилично. Что же касается шпаги, то, конечно, она требуется вашим положением. Но если бы я был на вашем месте, то сумел бы сделать из своих денег лучшее употребление.

И он предложил мне купить теплые чулки у торговки в Коугэт-Бек, приходившейся ему двоюродной сестрой, у которой они были «необыкновенно прочны».

Но у меня были другие, более спешные дела. Я очутился в старинном, мрачном городе, который всякому постороннему человеку казался каким-то кроличьим садком не только по количеству обитателей, но и по тому,

как были запутаны его переходы и закоулки. Ни один чужеземец не мог отыскать здесь приятеля или знакомого. Если он даже и попал в тот дом, куда следует, то мог бы искать весь день ту дверь, которая была ему нужна,— так много народа жило в этих домах. Обычно здесь нанимали мальчика, называвшегося «кэдди». Он служил проводником и водил вас, куда вам было нужно, и потом, когда ваши дела были закончены, провожал вас обратно домой. Но кэдди, занимавшиеся постоянно этим делом и обязанные знать каждый дом и каждое лицо в городе, образовали группу шпионов. Я слышал от мистера Кемпбелла, что они сообщались между собой, чрезвычайно интересовались делами нанимателя и служили глазами и ушами полиции. В моем положении было очень неблагоприятно водить за собой такого шпиона. Мне нужно было сделать три визита: моему родственнику мистеру Бальфуру из Пильрига, адвокату Стюартов — аппинскому поверенному, и, наконец, Вильяму Гранту, эсквайру из Престонгрэнджа, лорду-адвокату Шотландии. Визит к мистеру Бальфуру не мог компрометировать меня; кроме того, так как Пильриг находился за городом, я при помощи моих ног и языка мог бы сам найти туда дорогу. Но с остальными двумя визитами дело обстояло иначе. Визит к аппинскому поверенному в то время, когда вокруг только кричали, что об аппинском убийстве, был не только опасен, но и в полнейшем противоречии с посещением лорда-адвоката. Даже в лучшем случае мое объяснение с Вильямсом Грантом должно было быть затруднительно для меня, но, если бы он узнал, что я пришел к нему от аппинского поверенного, это вряд ли поправило бы мои собственные дела и могло бы совсем испортить дело Алана. Вот почему у меня был вид человека, который одновременно бежит вместе с зайцами и преследует их вместе с собаками,— положение, которое мне совсем не нравилось. Поэтому я решил сразу же покончить с мистером Стюартом и всей якобитской стороной моего дела и воспользоваться для этой цели указаниями рассыльного из банка. Но случилось, что я не успел еще сказать ему адрес, как пошел дождь, не очень сильный, но который мог испортить мое новое платье, и мы остановились под навесом при входе в узкий переулок.

Будучи не знаком с местностью, я прошел немного

дальше. Узкий мощеный тупик круто спускался вниз. По обе его стороны тянулись поразительно высокие дома с выступавшими один над другим этажами. На самом вер-ху виднелась только узкая полоска неба. По всему, что я мог разглядеть сквозь окна домов, а также по почтенной внешности людей, которые входили и выходили из них, я заключил, что население этих домов очень приличное; весь же этот уголок заинтересовал меня, точно сказка.

Я все еще стоял и смотрел, как вдруг сзади меня по-слышались скорые мерные шаги и звон стали. Быстро по-вернувшись, я увидел отряд вооруженных солдат, окру-жавших высокого человека в плаще. У него была чрезвы-чайно изящная, благородная походка, он с естественной грацией размахивал руками, но красивое его лицо имело хитрое выражение. Мне показалось, что он смотрит на меня, но я не мог поймать его взгляда. Вся процессия прошла мимо, направляясь к двери, выходившей в пере-улок, которую открыл человек в богатой ливрее. Два сол-дата ввели арестанта в дом, остальные с ружьями стали ждать у дверей.

На улицах города ничего не может произойти, чтобы не собрались праздные люди и дети. То же случилось и сейчас. Вскоре, однако, собравшиеся разошлись, и оста-лись только трое. Среди них была девушка, одетая, как леди, и носившая на головном уборе цвета Друммондов. Товарищи ее или, вернее, провожатые были оборванны-ми молодцами, подобных которым я во множестве встреч-чал во время скитания по Гайлэнду. Все трое серьезно разговаривали между собой по-гэльски. Звук этого язы-ка был мне приятен, так как напоминал об Алане. Хотя дождь перестал и рассыльный торопил меня, приглашая идти дальше, я подошел еще ближе к этой группе в на-дежде расслышать их разговор. Молодая девушка стро-го бранила обоих оборванцев, а они раболепно просили прощения; было видно, что она принадлежала к семье их вождя. Все трое рылись в карманах, и, насколько я мог понять, у всех вместе было всего полфартинга. Я улыб-нулся, увидев, что все гайлэндеры похожи друг на друга: у всех благородные манеры и пустые кошельки.

Девушка внезапно обернулась, и я увидел ее лицо. Нет ничего удивительнее того действия, какое лицо моло-дой женщины оказывает на мужчину: оно запечатлевает-

ся в его сердце, и кажется, будто именно этого лица-то и не доставало ему. У нее были удивительные глаза — яркие, как звезды; они, должно быть, тоже содействовали общему впечатлению. Но яснее всего я припоминаю ее чуть-чуть приоткрытый рот. Какова бы ни была причина, но я стоял и глазел на нее как дурак. Она же, не предполагая, что кто-нибудь может находиться так близко, посмотрела на меня удивленным взглядом и более долго, чем того требовали приличия.

Мне пришло в голову, не удивляется ли она моей новой одежде. При этой мысли я покраснел до корней волос, но она, должно быть, сделала из этого собственное заключение, потому что отошла со своими провожатыми подальше в переулок, где они и продолжали свой спор, которого я больше не мог слышать.

Я часто и прежде восхищался молодыми девушками, но никогда мое восхищение не было таким сильным и неожиданным. Я обыкновенно бывал более склонен отступить, чем смело идти вперед, так как очень боялся быть осмеянным женщиной. Казалось бы, что и сейчас было множество причин для того, чтобы я прибегнул к своему постоянному образу действий; я встретил эту молодую девушку на улице, в сопровождении двух оборванных, неприличного вида гайлэндеров и не мог сомневаться в том, что она следовала за арестантом. Но к этому присоединилось и нечто другое: девушка, очевидно, подумала, что я подслушиваю ее тайны. Теперь, в моем новом положении, когда у меня была шпага и новое платье, я не мог перенести этого. Разбогатевший нищий не мог примириться с мыслью, что стоит так низко в мнении молодой девушки.

Я последовал за ней и, сняв со всем изяществом, на которое был способен, мою новую шляпу, сказал:

— Сударыня, считаю долгом заявить вам, что не понимаю по-гэльски. Правда, я слушал ваш разговор, потому что у меня есть друзья по ту сторону границы и звук этого языка напоминает мне о них. Но если бы вы говорили по-гречески, я и тогда бы узнал не больше о ваших личных делах.

Она слегка поклонилась мне.

— В этом я не вижу ничего дурного, — сказала она; произношение ее было правильно и очень походило на



Девушка внезапно обернулась, и я увидел ее лицо.

английское, хотя звучало гораздо приятнее.— И кошка может смотреть на короля.

— Я не хотел оскорбить вас,— продолжал я.— Я не знаю городского обхождения и никогда до сегодняшнего дня не бывал в Эдинбурге. Считайте меня деревенщиной, и вы будете правы. Мне легче самому признаться в этом, чем ждать, когда вы это увидите.

— Действительно, довольно странно, чтобы постоянные люди разговаривали друг с другом на улице,— сказала она.— Но если вы воспитаны в деревне, то это меняет дело. Я тоже деревенская девушка и родом из Гайлэнда, как видите, поэтому я и чувствую себя как в чужой стране.

— Не прошло еще недели с тех пор, как я перешел границу и был на склонах Бальуйддера,— заметил я.

— Бальуйддера? — воскликнула она.— Так вы из Бальуйддера? При одном этом имени у меня становится радостно на душе. Если вы пробыли там довольно долго, то, конечно, узнали кой-кого из наших друзей и родственников.

— Я жил у чрезвычайно честного и доброго человека, по имени Дункан Ду Мак-Ларен,— отвечал я.

— Я знаю Дункана, и вы совершенно правильно называли его честным человеком,— сказала она.— Жена его тоже честная женщина.

— Да,— согласился я,— они прекрасные люди. Местность там тоже очень красива.

— Где еще можно найти подобное местечко? — воскликнула она.— Я люблю все запахи его зелени и все, что там растет.

Мне очень нравилось оживление девушки.

— Жаль, что я не привез вам пучка вереска,— сказал я.— Хотя мне и не следовало заговаривать с вами, но теперь, когда оказалось, что у нас есть общие знакомые, очень прошу вас не забывать меня. Мое имя Давид Бальфур. Сегодня у меня счастливый день: я вступил во владение поместьем и недавно избежал серьезной опасности. Мне хотелось бы, чтобы вы не забыли моего имени ради Бальуйддера,— заключил я.— Я тоже буду хранить ваше имя в память о моем счастливом дне.

— Мое имя пельзя произносить,— отвечала она выскомерно.— Уже более ста лет его никто не упоминает,

разве только случайно. У меня нет имени, как у Сынов Мира¹. Меня называют только Катрионой Друммонд.

Теперь я знал, с кем имел дело. Во всей Шотландии было запрещено лишь одно имя — имя Мак-Грегоров. Но, вместо того чтобы бежать от такого нежелательного знакомства, я продолжал наш разговор.

— Я встречал человека, который был в таком же положении, как и вы, — сказал я, — и думаю, что он вам, вероятно, родственник. Его зовут Робин Ойг.

— Неужели? — воскликнула она. — Вы встречали Роба?

— Я провел с ним ночь, — отвечал я.

— Да, он ночная птица, — заметила она.

— Там было две флейты, — продолжал я, — и вы сами понимаете, как прошло время.

— Во всяком случае, вы, вероятно, не враг, — сказала она. — Это его брата провели мимо нас минуту тому назад в сопровождении красных солдат. Он мой отец.

— Неужели? — воскликнул я. — Так вы дочь Джемса Мора?

— Его единственная дочь, — отвечала она, — дочь заключенного! Как я могла забыть об этом хоть на час и разговаривать с чужими!

Тут один из спутников ее обратился к ней на ужасном английском языке, спрашивая, что ему делать с табаком. Я обратил на него внимание: это был небольшого роста человек, с кривыми ногами, рыжими волосами и большой головой. Впоследствии, на беду, мне пришлось поближе узнать его.

— Сегодня не будет табаку, Нэйль, — отвечала она. — Как тебе достать его без денег? Пусть это послужит тебе уроком: в следующий раз будь внимательнее. Я думаю, что Джемс Мор не очень будет доволен Нэйлем.

— Мисс Друммонд, — сказал я, — я уже говорил вам, что сегодня для меня счастливый день. За мной идет рассыльный из банка. Вспомните, что я был радушно принят в вашей стране, в Бальуйддере.

¹ Сказочные персонажи.

— Вас принимал человек не моего клана,— отвечала она.

— Положим,— отвечал я,— но я очень обязан вашему дяде за его игру на флейте. Кроме того, я предложил вам свою дружбу, и вы позабыли вовремя отказаться от нее.

— Ваше предложение сделало бы вам честь, если бы речь шла о большой сумме,— сказала она,— но я скажу вам, в чем тут дело. Джемс Мор сидит в тюрьме, закованный в кандалы. Последнее время его ежедневно приводят сюда к лорду-адвокату...

— К лорду-адвокату? — воскликнул я. — Разве это?..

— Это дом лорда-адвоката Гранта из Престонгрэнджа,— отвечала она.— Они уже несколько раз приводили сюда моего отца. Не знаю, для какой цели, но, кажется, появилась какая-то надежда на его спасение. Они не позволяют мне видаться с отцом, а ему — писать мне. Нам приходится поджидать его на Кингс-стрите, чтобы передать по дороге табак или что-нибудь другое. Сегодня этот разиня Нэйль, сын Дункана, потерял четыре пени, которые я дала ему на покупку табака. Джемс Мор останется без табака и подумает, что его дочь позабыла о нем.

Я вынул из кармана монету в шесть пенсов, отдал ее Нэйлю и послал его за табаком. Затем, обратившись к ней, я заметил:

— Эти шесть пенсов были со мной в Бальуйддере.

— Да,— сказала она,— вы друг Грегоров!

— Мне не хотелось бы обманывать вас,— продолжал я.— Я очень мало знаю о Грегорах и еще менее о Джемсе Море и его делах. Но, с тех пор как я стою в этом переулке и узнал кое-что о вас, вы не ошибетесь, если назовете меня «другом мисс Катрионы».

— Одно не может быть без другого,— возразила она.

— Я постараюсь заслужить это звание,— сказал я.

— Что можете вы подумать обо мне,— воскликнула она,— когда я протягиваю руку первому попавшемуся незнакомцу!

— Я думаю только, что вы хорошая дочь.

— Я верну вам деньги,— сказала она.— Где вы оставались?

— По правде сказать, я пока нигде не остановился,— сказал я,— так как нахожусь в городе менее трех часов. Но если вы дадите мне свой адрес, я сам приду за своими шестью пенсами.

— Могу я положиться на вас? — спросила она.

— Вам нечего бояться: я сдержу свое слово,— отвечал я.

— Иначе Джемс Мор не принял бы ваших денег,— сказала она.— Я живу за деревней Дин, на северном берегу реки, у миссис Друммонд Ожильви из Аллардейса, моей близкой родственницы.

— Значит, мы увидимся с вами, как только позволят мои дела,— сказал я и, снова вспомнив об Алане, поспешно простился с ней.

Я не мог не подумать, прощаясь, что мы чувствовали себя слишком свободно для такого кратковременного знакомства и что действительно благовоспитанная девушка была бы менее решительной. Рассыльный прервал мои дурные мысли.

— Я думал, что у вас есть хоть немного здравого смысла,— заметил он с неудовольствием.— Таким образом мы никогда не дойдем до места. С первого шага вы уже стали бросать деньги. Да вы настоящий волокита — вот что! Водитесь с потаскушками!

— Если вы только осмелитесь говорить так о молодой леди...— начал я.

— «Леди»! — воскликнул он.— Сохрани меня боже! О какой леди идет речь? Разве это леди? Город полон такими леди. «Леди»! Видно, что вы мало знакомы с Эдинбургом.

Я рассердился.

— Ведите меня, куда я приказывал вам,— сказал я,— и не смейте рассуждать.

Он не вполне послушался меня; хотя и не обращаясь прямо ко мне, он по дороге, бесстыдно усмехаясь, напевал чрезвычайно фальшиво:

Шла Малли Ли по улице, слетел ее платок.
Она сейчас головку вбок — глядит, где мил дружок,
И мы идем туда, сюда, во все концы земли,
Ухаживать, ухаживать за ней, за Малли Ли!

II. Гайлэндский стряпчий

Мистер Чарлз Стюарт, стряпчий, жил на верху самой длинной лестницы, которую когда-либо выложил каменщик: в ней было не менее пятнадцати маршей. Когда я наконец добрался до двери и мне отворил клерк, объявивший, что хозяин дома, я едва мог перевести дух и отправить своего рассыльного.

— Идите прочь на все четыре стороны! — сказал я, взяв у него из рук мешок с деньгами, и последовал за клерком.

В первой комнате помещалась контора. Там не было никакой мебели, кроме стула клерка и стола, заваленного судебными делами. В соседней комнате человек невысокого роста внимательно изучал какой-то документ и едва поднял глаза, когда я вошел. Он даже не снял пальца с листа, который он просматривал, словно собирался выпроводить меня и снова заняться своим делом. Это мне вовсе не понравилось. Еще менее понравилось мне то, что клерк из своей комнаты мог слышать весь наш разговор.

Я спросил, он ли мистер Чарлз Стюарт, стряпчий.

— Я самый, — отвечал он. — Позвольте мне, со своей стороны, спросить, кто вы такой?

— Вы никогда не слышали ни обо мне, ни о моем имени, — сказал я. — Но у меня есть знак от человека, хорошо известного вам. Вы его хорошо знаете, — повторил я, — но, может быть, не желали бы слышать о нем при теперешних обстоятельствах. Дело, которое я хочу доверить вам, конфиденциальное. Словом, я хотел бы быть уверенным, что оно останется между нами.

Не говоря ни слова, он встал, с недовольным видом отложил в сторону свой документ, отослал клерка по какому-то поручению и запер за ним дверь.

— Теперь, сэр, — сказал он, вернувшись, — говорите, что вам надо, и не бойтесь ничего. Хотя я уже предчувствую, в чем дело! — воскликнул он. — Говорю вам вперед: или вы сам Стюарт, или присланы Стюартом! Это славное имя, и мне не годится роптать на него, но я начинаю сердиться при одном его звуке.

— Мое имя Бальфур, — сказал я. — Давид Бальфур

из Шооса. А кто послал меня, вы узнаете по этой вещице.— И я показал ему серебряную пуговицу.

— Положите ее обратно в карман, сэр! — воскликнул он.— Вам нечего называть имя ее владельца. Я узнаю пуговицу этого негодяя. Черт бы его побрал! Где он теперь?

Я сказал ему, что не знаю, где теперь находится Алан, но что он нашел себе безопасное убежище — так он, по крайней мере, думал — где-то на севере от города. Он должен остаться там, пока не достанут для него судно. Я сообщил ему также, как и где можно увидеть Алана.

— Я всегда ожидал, что мне придется угодить на виселицу из-за моей семейки! — воскликнул он.— И мне думается, что день этот настал! Найти для него судно, говорит он! А кто будет платить за него? Он, должно быть, с ума сошел!

— Эта часть дела касается меня, мистер Стюарт, — сказал я.— Вот вам мешок с деньгами, а если понадобится больше, то можно будет достать и еще.

— Мне нет надобности спрашивать, к какой партии вы принадлежите, — заметил он.

— Вам нет надобности спрашивать, — ответил я, улыбаясь, — потому что я самый настоящий виг.

— Подождите, подождите... — прервал мистер Стюарт.— Что все это значит? Вы виг? Тогда зачем же вы здесь с пуговицей Алана? И что это за темное дело, в котором замешаны и вы, господин виг! Вы просите меня взяться за дело человека, осужденного за мятеж и обвиняемого в убийстве, — человека, чью голову оценили в двести фунтов, а потом объявляете, что вы виг! Хоть я встречал и много вигов, но что-то не помню таких!

— Он — осужденный законом мятежник, — сказал я, — и я об этом сожалею, так как считаю его своим другом. Я бы желал, чтобы им лучше руководили в молодости. На горе ему, его обвиняют также в убийстве, но обвинение это несправедливо.

— Если вы уверяете, что это так... — начал Стюарт.

— Не вы один услышите это от меня, но и другие, и в скором времени, — отвечал я.— Алан невинен так же, как и Джемс.

— О, — заметил он, — одно вытекает из другого. Если



Алан не причастен к делу, то и Джемс не может быть виновен.

Вслед за тем я кратко рассказал ему о моем знакомстве с Аланом, о случае, вследствие которого я сделался свидетелем аппинского убийства, о различных приключениях во время нашего бегства и о моем вступлении во владение поместьем.

— Теперь, сэр,— продолжал я,— когда вы познакомились со всеми этими событиями, вы сами видите, каким образом я оказался замешанным в дела вашего семейства и ваших друзей. Для всех нас было бы желательнее, чтобы дела эти были более простые и менее кровавые. Вы поймете также и то, что у меня могут быть по этому делу такие поручения, которые я не могу дать первому попавшемуся адвокату. Мне остается только спросить вас, беретесь ли вы за мое дело.

— Мне бы не особенно хотелось браться за него, но раз вы пришли с пуговицей Алана, то мне едва ли воз-

можно выбирать,— сказал Стюарт.— Каковы же ваши распоряжения? — прибавил он, взяв перо.

— Первое — это тайно отправить отсюда Алана,— начал я.— Думаю, что этого и повторять нечего.

— Да, я это вряд ли забуду,— отвечал Стюарт.

— Второе — это деньги, которые я остался должен Ключи,— продолжал я.— Мне нелегко переправить их ему, но вас это вряд ли затруднит. Ему следует два фунта пять шиллингов и три четверти пенса.

Он записал.

— Затем мистер Гендерлэнд,— сказал я,— проповедник и миссионер в Ардгуре. Я бы очень хотел послать ему табак. Вы, без сомнения, поддерживаете отношения с вашими аппинскими друзьями, а это так близко от Аппина, что, вероятно, сможете взяться и за это дело.

— Сколько послать табак? — спросил он.

— Два фунта, я думаю,— отвечал я.

— Два,— повторил Стюарт.

— Потом еще Ализон Хэсти, девушка из Лимекильнса,— продолжал я,— та, которая помогла нам с Аланом переправиться через Форт. Я бы хотел послать ей хорошее воскресное платье, приличное ее положению. Это значительно облегчило бы мою совесть: ведь, по правде сказать, мы оба обязаны ей жизнью.

— Я с удовольствием отмечаю, что вы щедры, мистер Бальфур,— сказал он, записывая.

— Было бы стыдно не быть щедрым в первый день, когда стал богатым,— возразил я.— А теперь сосчитайте, пожалуйста, сколько пойдет на издержки и на оплату вашего труда. Мне хотелось знать, не останется ли мне немного карманных денег, не потому, что мне жаль истратить всю сумму,— мне лишь бы знать, что Алан в безопасности,— и не потому, что у меня ничего больше нет, но я в первый день взял так много денег в банке, что будет не очень красиво, если на другой день я снова явлюсь за деньгами. Только смотрите, чтобы вам хватило,— прибавил я,— мне вовсе не хотелось бы снова встречаться с вами.

— Мне нравится, что вы так предусмотрительны,— отозвался стряпчий.— Но, мне кажется, вы идете на риск, оставляя такую большую сумму на мое усмотрение.

Он сказал это с явной насмешкой.

— Что же, приходится рисковать,— отвечал я.— Я хочу попросить вас еще об одной услуге, а именно — указать мне квартиру, так как пока у меня нет крова. Только надо устроить так, будто я случайно нашел эту квартиру, а то будет очень скверно, если лорд-адвокат узнает, что мы с вами знакомы.

— Можете быть совершенно спокойны,— сказал Стюарт.— Я никогда не произнесу вашего имени, сэр. Я думаю, что лорда-адвоката пока можно поздравить с тем, что он не знает о вашем существовании.

Я увидел, что не совсем удачно принялся за дело.

— В таком случае для него готовится неприятный сюрприз,— заметил я,— ему придется узнать о моем существовании завтра же, когда я приду к нему.

— Когда вы придете к нему? — повторил мистер Стюарт.— Кто из нас сошел с ума, вы или я? Зачем вам идти к адвокату?

— Для того, чтобы выдать себя,— отвечал я.

— Мистер Бальфур,— воскликнул он,— вы, кажется, смеетесь надо мной?!

— Нет, сэр,— сказал я,— хотя вы, кажется, позволили себе такую вольность по отношению ко мне. Но я говорю вам раз навсегда: я не расположен шутить.

— И я тоже,— отвечал Стюарт.— И говорю вам, употребляя ваше же выражение, что ваше поведение нравится мне все менее и менее. Вы являетесь ко мне со всякого рода предложениями, имеющими целью побудить меня взяться за ряд весьма сомнительных дел и довольно долгое время быть в сношениях с весьма подозрительными людьми. А затем вы объявляете, что прямо из моей конторы идете мириться с лордом-адвокатом! Ни пуговицы Алана, ни даже он сам не заставят меня приняться за ваше дело.

— По-моему, нечего так сердиться,— сказал я.— Может быть, и возможно избежать того, что вам так не нравится, но я вижу лишь один выход: пойти к адвокату и открыться ему. Но вы, может быть, знаете иной выход. И если вы действительно найдете его, то, признаюсь, я почувствую большое облегчение. Мне кажется, что от переговоров с лордом-адвокатом мне не поздоровится. Однако мне ясно, что я должен дать свои показания,— так я надеюсь спасти репутацию Алана,

если от нее еще что-нибудь осталось, и голову Джемса, что не терпит отлагательства.

Он помолчал секунду и затем сказал:

— Ну, любезный, вам никогда не позволят дать эти показания.

— Ну, мы еще посмотрим,— отвечал я,— я умею быть настойчивым, когда хочу.

— Ах вы чудак! — закричал Стюарт. — Ведь им нужна голова Джемса! Джемса надо повесить. И Алана тоже, если бы они могли поймать его, но уж Джемса-то во всяком случае! Ступайте-ка к адвокату с таким делом, и вы увидите, что он сумеет утихомирить вас.

— Я лучшего мнения о лорде-адвокате,— сказал я.

— К черту адвоката! — воскликнул он. — Тут главное Кемпбеллы, мой милый! Весь клан навалится на вас, да и на несчастного адвоката тоже! Удивительно, как вы не понимаете своего положения! Если у них не будет честного средства остановить вашу болтовню, они прибегнут к нечестному. Они могут посадить вас на скамью подсудимых, понимаете ли вы это? — воскликнул он и ткнул меня пальцем в колено.

— Да,— сказал я,— не далее как сегодня утром мне говорил об этом другой стряпчий.

— Кто такой? — спросил Стюарт. — Он, по крайней мере, говорил разумно.

Я сказал, что не могу назвать его, потому что это убежденный старый виг и он бы не пожелал быть замешанным в такого рода дело.

— Мне кажется, что весь свет замешан в это дело! — крикнул Стюарт. — Что же вы ответили ему?

Я рассказал ему, что произошло между мной и Ранкэйлором перед Шоос-гаузом.

— Значит, вы будете висеть рядом с Джемсом Стюартом! — сказал он. — Это нетрудно предсказать.

— Я все-таки надеюсь на лучшее,— отвечал я,— но не отрицаю, что иду на риск.

— «На риск»! — повторил он и снова помолчал. — Мне следует поблагодарить вас за вашу верность моим родственникам, которым вы оказываете большое расположение,— продолжал он,— если только у вас хватит твердости не изменить им. Но предупреждаю, что вы подвергаете себя опасности. Я бы не хотел быть на ва-

шем месте, хотя сам я Стюарт, если бы это было нужно всем Стюартам со времен Ноя. Риск! Да я постоянно подвергаюсь риску. Но судиться в стране Кемпбеллов по делу Кемпбеллов, когда и судьи и присяжные — Кемпбеллы... Думайте обо мне что хотите, Бальфур, но это свыше моих сил.

— У нас, должно быть, различные взгляды на вещи,— заметил я.— Я был воспитан в этих взглядах моим отцом.

— Честь и слава ему! Он оставил достойного сына,— сказал он.— Но мне не хотелось бы, чтобы вы судили меня слишком строго. Мое положение чрезвычайно тяжелое. Видите ли, сэр, вы говорите, что вы виг, а я сам не знаю, кто я такой. Разумеется, не виг — вигом я не могу быть. Но, примите это к сведению, я, может быть, не особенно ревностный сторонник противной партии.

— Правда? — воскликнул я.— Этого можно было ожидать от такого умного человека.

— Без лести, пожалуйста! — воскликнул он.— Умные люди есть как на одной, так и на другой стороне. Но я лично не имею ни малейшего желания вредить королю Георгу. Что же касается короля Якова, то я ничего не имею против того, что он за морем. Видите ли, я прежде всего юрист. Я люблю свои книги, склянку с чернилами, хорошую защитительную речь, хорошо написанное дело, стаканчик вина, распитый в здании парламента с другими адвокатами, и, пожалуй, партию в гольф в субботу вечером. Какое все это имеет отношение к гайлэндским пледам и палашам?

— Действительно,— сказал я,— вы мало похожи на дикого гайлэндера.

— Мало? — повторил он.— Совсем не похож, мой милый! А между тем я по рождению гайлэндер и обязан плясать под дудку своего клана. Мой клан и мое имя должны быть прежде всего. Это то же самое, о чем и вы говорили. Отец научил меня этому, и вот мне приходится заниматься прекрасным ремеслом! Постоянно я имею дело с изменой и изменниками и должен тайно перевозить их то туда, то сюда, а тут еще французские рекруты — пропади они пропадом! — их тоже приходится тайно переправлять! А иски-то, просто горе с их исками! Недавно я возбудил иск от имени молодого Ардшиля —

моего двоюродного брата. Он требовал себе поместье на основании брачного договора. Это конфискованное-то поместье! Я говорил им, что это бессмыслица, но им до этого дела нет. И вот я должен был прятаться за другого адвоката, которому тоже не нравилось это дело, потому что оно грозило гибелью нам обоим, вооружало против нас, ложилось позорным пятном на нашу репутацию! А что я мог сделать? Ведь я Стюарт и должен расширяться в лепешку за свой клан и свое семейство! Еще вчера одного из Стюартов отвезли в тюрьму. За что? Я прекрасно знаю: акт тысяча семьсот тридцать шестого года, набор рекрутов для короля Людовика. Вот увидите, он вызовет меня защищать его, и это ляжет новым пятном на мое имя. Уверяю вас, что если бы я только что-нибудь понимал в ремесле священника, то бросил бы все и стал бы священником!

— Это действительно тяжелое положение,— сказал я.

— Чрезвычайно тяжелое! — воскликнул он.— Вот почему я такого высокого мнения о вас, не Стюарте, за то, что вы погружаетесь с головой в дело Стюартов. Зачем вы это делаете, я не знаю. Разве что по чувству долга...

— Вы не ошибаетесь,— ответил я.

— Это прекрасное качество,— сказал он.— Но вот вернулся мой клерк. Если позволите, мы пообедаем втроем. После обеда я дам вам адрес очень приличного человека, который охотно примет вас постояльцем. Кроме того, я наполню ваши карманы золотом из вашего же мешка. Дело ваше вовсе не будет стоить так дорого, как вы предполагаете, даже перевоз на корабле.

Я сделал ему знак, что клерк может услышать.

— Вам нечего бояться Робби! — воскликнул он.— Он тоже Стюарт, бедняга, и отправил тайком больше французских рекрутов и изменников-панистов, чем у него было волос на голове. Робин ведает этой частью моих дел. Кого мы теперь найдем, Роб, для переезда во Францию?

— Здесь находится в настоящее время Энди Скоугель на «Тристле»,— отвечал Роб.— Я как-то встретил также Хозизена, но у него нет корабля. Затем еще Том Стобо, но в нем я не так уверен: я видел, как он разговаривал с какими-то лихими и подозрительными лично-

стями. Если дело идет о ком-нибудь значительном, то я не доверил бы его Тому.

— Голову этого человека оценили в двести фунтов, Робин,— сказал Стюарт.

— Неужели это Алан Брек? — воскликнул клерк.

— Он самый,— отвечал его хозяин.

— Черт возьми, это серьезное дело! — проговорил Робин.— Я попробую поговорить с Энди: он лучше всего подойдет.

— Это, кажется, очень трудное дело,— заметил я.

— Ему конца и краю не будет, мистер Бальфур,— отвечал Стюарт.

— Ваш клерк,— продолжал я,— только что упомянул имя Хозизена. Вероятно, это тот Хозизен, которого я знаю, командир брига «Конвент». Неужели вы бы доверились ему?

— Он не особенно хорошо поступил с вами и Аланом,— отвечал мистер Стюарт,— но вообще-то я о нем скорее хорошего мнения. Если бы он по уговору принял Алана на борт своего корабля, то, я уверен, поступил бы с ним честно. Что вы скажете на это, Роб?

— Нет более честного шкипера, чем Эли,— отвечал клерк.— Я доверился бы слову Эли, если бы был вождем Аппина,— добавил он.

— Ведь это он привез тогда доктора, не правда ли? — спросил стряпчий.

— Он самый,— ответил клерк.

— И он же и отвез его? — продолжал Стюарт.

— Да, хотя у того кошель был полон золота и Эли знал об этом! — воскликнул Робин.

— Да, должно быть, трудно составить верное мнение о людях с первого взгляда,— сказал я.

— Вот об этом-то я и забыл, когда вы вошли ко мне, мистер Бальфур,— отвечал стряпчий.

III. Я отправляюсь в Пильриг

Как только я проснулся на следующий день на моей новой квартире, я сейчас же встал и оделся в новое платье. Потом, проглотив завтрак, отправился продол-

жать свои похождения. Я мог надеяться, что дело Алана уладится. Дело Джемса было гораздо труднее, и я не мог не сознавать, что это предприятие может обойтись мне дорого, как говорили все, кому я открывал свой план. Казалось, что я достиг вершины горы лишь затем, чтобы броситься вниз; что я для того лишь перенес столько тяжелых испытаний, чтобы, достигнув богатства, признания, возможности носить городское платье и шпагу, покончить в конце концов самоубийством, и выбрав притом наихудший вид самоубийства — виселицу, по приказу короля.

«Зачем я это делаю?» — спрашивал я себя, идя по Гай-стриту по направлению к северу через Лейд-Винд.

Сперва я ответил себе, что хочу спасти Джемса Стюарта; правда, на меня сильно подействовало его отчаяние, слезы его жены и несколько слов, сказанных мною при этом случае. В то же время я подумал, что мне довольно безразлично — или должно быть безразлично, — умрет ли Джемс в постели или на эшафоте. Положим, он родственник Алана, но в интересах Алана лучше всего бы сидеть смирно и предоставить королю, герцогу Арджайльскому и воронам по-своему расправиться с Джемсом. Я не мог также забыть, что, когда мы были в беде, он не выказал особенной заботливости по отношению к Алану и ко мне.

Затем мне пришло в голову, что я действую во имя справедливости. «Это прекрасное слово», — подумал я и решил, что, так как, к нашей беде, у нас есть политика, самым важным делом должно быть оказание справедливости и что смерть одного невинного наносит ущерб всему государству.

Потом, в свою очередь, заговорила совесть: она пристыдила меня за то, что я вообразил, будто действую из каких-то высших побуждений, и доказала мне, что я только болтливый, тщеславный ребенок, наговоривший много громких слов Ранкэйлору и Стюарту и теперь из самолюбия желавший выполнить то, чем он похвастался. Совесть нанесла мне еще один удар, обвинив в известного рода трусости, в желании при помощи небольшого риска купить себе безопасность: пока я еще не заявил о себе и не оправдался, я, без сомнения, рисковал каждый день встретить Мунго Кемпбелла или помощника шерифа.

фа, которые могли бы узнать и задержать меня. Не было сомнения, что если я успешно сделаю свое заявление, то могу быть спокойнее в будущем. Но когда я здраво отнесся к этому аргументу, то не нашел в нем ничего постыдного. Что же касается остального, то я подумал: «Предо мною два пути, и оба они ведут к одному. Недопустимо, чтобы повесили Джемса, если в моих силах спасти его, и будет смешно, если я, наболтав так много, ничего не сделаю. Счастье Джемса, что я раньше времени похвастался, да и для меня это вышло недурно, потому что я обязан поступить по совести. У меня есть имя и средства джентльмена. Будет плохо, если откроется, что у меня нет благородства джентльмена».

Затем я подумал, что это не христианские мысли, прошептал молитву, испрашивая смелости, которой мне недоставало, решимости честно исполнить свой долг, как делает солдат в сражении... и остаться невредимым.

Эти размышления придали мне твердости, хотя я не закрывал глаза на грозившую мне опасность и на то, что если буду продолжать свое дело, то легко смогу очутиться на ступенях виселицы. Утро было ясное, хотя дул восточный ветер. Его свежее дыхание холодило мне кровь, напоминая об осени, о падающих листьях, о мертвецах, покоившихся в могилах. Мне казалось, что если я умру в этот счастливый период моей жизни, умру за чужое дело, то это будет происками дьявола. На вершине Кальтонского холма дети с криками пускали бумажных змеев, которые ясно вырисовывались на фоне неба. Я заметил, что один, взлетев по ветру очень высоко, упал между кустами дрока. При виде этого я подумал: «Вот так будет и с тобой, Дэви!»

Мой путь лежал через Моутерский холм и вдоль поселка, расположенного на его склоне, среди полей. Во всех домах слышалось гудение ткацких станков; в садах жужжали пчелы; люди переговаривались между собой на незнакомом мне языке. Впоследствии я узнал, что деревня эта называется Пикарди и что в ней работают французские ткачи на льнопрядильное общество. Здесь мне дали новое указание относительно дороги в Пильриг — место моего назначения. Немного далее у дороги я увидел виселицу, на которой висели два законченных в цепи человека. Их, по обычаю, окунули в де-

готь, и теперь они болтались на ветру; цепи звенели, птицы кружились над несчастными висельниками и громко кричали. Обойдя виселицу, я натолкнулся на старуху, похожую на колдунью, которая сидела за одним из столбов. Она кивала головой, кланялась и разговаривала сама с собой.

— Кто это, матушка? — спросил я, указывая на оба труп.

— Благослови тебя бог! — воскликнула она. — Это мои два любовника, мои два прежних любовника, голубчик мой.

— За что они повешены? — спросил я.

— За правое дело, — сказала она. — Часто я предсказывала им, чем все это кончится. За два шотландских шиллинга, ни на грош больше, оба молодца теперь висят здесь! Они забрали их у ребенка из Броутон.

— Ай, — сказал я скорей себе, чем сумасшедшей старухе, — неужели они наказаны за такой пустяк? Это действительно значит все потерять.

— Покажи свою ладонь, голубчик, — заговорила она, — и я узнаю твою судьбу.

— Нет, матушка, — отвечал я, — я и так достаточно далеко вижу свой путь. Неприятно видеть слишком далеко вперед.

— Я читаю твою судьбу на твоем лице, — сказала она. — Я вижу красивую девушку с блестящими глазами, маленького человека в коричневой одежде, высокого господина в напудренном парике и тень от виселицы на твоём пути. Покажи ладонь, голубчик, и старая Меррэн тебе хорошенько погадает.

Две случайные фразы, которые, казалось, намекали на Алана и на дочь Джемса Мора, так поразили меня, что я бросился бежать от колдуньи, кинув ей медяк, а она сидела и играла монетою в тени, отбрасываемой повешенными.

Если бы не эта встреча, дорога моя вдоль по Лейт-Уокскому шоссе была бы приятнее. Старинный вал пересекал поля, подобных которым по тщательности обработки я никогда не видел. Кроме того, мне нравилась такая деревенская глушь. Но мне все еще слышался звон кандалов на висельниках, мерещились гримасы и ужимки старой ведьмы, и как кошмар меня давила

мысль о двух повешенных. Да, печальная судьба — по-
пасть на виселицу!

Попал ли на нее человек за два шотландских шил-
линга или, как говорил мистер Стюарт, из чувства дол-
га — разница была невелика, если этот человек вымазан
дегтем, закован и повешен! Может висеть и Давид
Бальфур... Другие юноши пройдут мимо по своим де-
лам и безразлично взглянут на него; сумасшедшие ста-
рухи будут сидеть у подножия виселицы и предска-
зывать им судьбу. Нарядно одетые, благородные девушки,
пройдя мимо, отвернутся и заткнут себе носы. Я отчет-
ливо представлял этих девушек: у них серые глаза и
цвета Друммондов на головных уборах.

Хотя я сильно упал духом, но настроение у меня бы-
ло все-таки решительное, когда я подошел к Пильригу и
увидел красивый дом с остроконечной крышей, располо-
женный на дороге между группами молодых деревьев.
У входа стояла оседланная лошадь лэрда, а он сам на-
ходился в кабинете среди ученых сочинений и музыкаль-
ных инструментов, так как был не только глубоким фи-
лософом, но и хорошим музыкантом. Он довольно при-
ветливо принял меня и, прочитав письмо Ранкэйлора,
любезно предложил мне свои услуги:

— Чем я могу быть вам полезен, кузен Давид, так
как, оказывается, мы кузены. Написать записку к Пре-
стонгрэнджу? Это очень легко сделать. Но что написать
в этой записке?

— Мистер Бальфур,— сказал я,— я уверен, да и ми-
стер Ранкэйлор тоже, что, если бы я рассказал вам мою
историю во всех подробностях, она бы вам не очень по-
нравилась.

— Очень жаль слышать это от вас, милый родствен-
ник,— ответил он.

— Я не принимаю вашего сожаления, мистер Баль-
фур,— сказал я,— мне нельзя поставить в вину ничего,
кроме обыкновенных человеческих слабостей. Первород-
ный Адамов грех, отсутствие прирожденной праведно-
сти и греховность всей моей природы — вот за что я дол-
жен отвечать. Меня научили также, куда обращаться за
помощью,— добавил я, заключив по внешнему виду ми-
стера Бальфура, что он будет обо мне лучшего мнения,
когда увидит, что я тверд в катехизисе.— Что же касает-

ся светской чести, то ни в чем важном не могу упрекнуть себя. Все мои затруднения произошли не по моей воле и, насколько могу судить, не по моей вине. Затруднение мое в том, что я оказался замешанным в политическое недоразумение, о котором, как мне сказали, вы будете очень рады избежать упоминания.

— Прекрасно, мистер Давид,— отвечал он,— я рад, что вы таковы, каким вас рекомендует Ранкэйлор. Что же касается ваших политических недоразумений, то вы совершенно правы: я стараюсь быть выше подозрений и, во всяком случае, избегать всего, что могло бы вызвать их. Вопрос в том,— продолжал он,— как я, не зная дела, могу помочь вам?

— Сэр,— сказал я,— я предлагаю вам написать лорду, что я молодой человек из довольно хорошей семьи и со средствами,— все это, как мне кажется, совершенная правда.

— Ранкэйлор ручается за это,— отвечал мистер Бальфур,— и я верю его свидетельству.

— К этому вы можете прибавить, если вам достаточно моего слова, что я хороший сын англиканской церкви, верный королю Георгу и воспитан в этих понятиях,— продолжал я.

— Ни то, ни другое не повредит вам,— сказал мистер Бальфур.

— Затем вы можете написать, что я явился к лорду по очень важному делу, связанному со службой его величеству и отправлением правосудия,— подсказал я.

— Так как я не знаю, в чем дело, то не могу судить о его значении. Очень важное поэтому выпускается. Остальное я могу выразить приблизительно так, как вы предлагаете.

— А затем, сэр,— сказал я, потерев себе подбородок большим пальцем,— затем, сэр, мне бы очень хотелось, чтобы вы ввернули словечко, которое, может быть, могло бы защитить меня.

— Защитить? — спросил он.— Вас? Эта фраза немного смущает меня. Если дело настолько опасно, то, признаюсь, я не особенно расположен вмешиваться в него с закрытыми глазами.

— Мне кажется, я могу в двух словах объяснить, в чем дело,— сказал я.

— Это, пожалуй, было бы самое лучшее,— ответил он.

— Речь идет об аппинском убийстве,— продолжал я. Он поднял обе руки.

— Боже, боже! — воскликнул он.

По выражению его лица и голоса я понял, что лишился покровительства.

— Позвольте объяснить вам...— начал я.

— Покорно благодарю, я больше не желаю слышать об этом. Я совершенно отказываюсь слушать... Ради вашего имени и Ранкэйлора, а может быть, немного и для вас самих я сделаю, что могу, чтобы помочь вам, но о фактах я более не хочу слышать. Кроме того, я считаю своей обязанностью предостеречь вас. Это опасное дело, мистер Давид, а вы еще молоды. Будьте осторожны и обдумайте свое решение.

— Поверьте, что я уже не раз обдумал его, мистер Бальфур,— сказал я.— Обращаю снова ваше внимание на письмо Ранкэйлора, где, надеюсь, он выразил свое одобрение по поводу моего намерения.

— Хорошо, хорошо,— сказал он,— я сделаю для вас, что могу.— С этими словами он взял перо и бумагу, посидел некоторое время размышляя, а затем стал писать, взвешивая каждое слово.— Правильно ли я понял, что Ранкэйлор одобряет ваше намерение? — спросил Бальфур.

— После небольшого колебания он сказал, чтобы я с божьей помощью шел вперед,— сказал я.

— Действительно, тут нужна божья помощь,— заметил мистер Бальфур, заканчивая письмо. Он подписал его, перечел и снова обратился ко мне: — Вот вам, мистер Давид, рекомендательное письмо. Я поставлю на нем печать, не заклеив его, и отдам вам открытым, как того требует форма. Но так как я действую впотьмах, то снова прочту его вам, чтобы вы видели, то ли это, что вам нужно.

Пильриг, 26 августа 1751 г.

М и л о р д!

Позволю себе обратить ваше внимание на моего однофамильца и родственника Давида Бальфура из Шооса, эсквайра, молодого джентльмена незапятнанного проис-

хождения и с хорошим состоянием. Он, кроме того, воспитан в религиозных принципах, а политические его убеждения не оставляют желать ничего лучшего. Мистер Бальфур не рассказывал мне своего дела, но я понял, что он хочет объявить вам нечто касательно службы его величеству и отправления правосудия — дела, в которых ваше усердие известно. Мне остается прибавить, что намерение молодого джентльмена известно и одобрено несколькими его друзьями, которые будут с волнением следить за исходом дела, успешным или неудачным.

— После чего,— продолжал мистер Бальфур,— я подписался с обычными выражениями почтения. Обратили вы внимание на то, что я написал «несколько ваших друзей»? Надеюсь, что вы можете подтвердить это множественное число.

— Разумеется, сэр. Мое намерение известно и одобрено не одним только человеком,— сказал я.— Что же касается вашего письма, за которое я осмеливаюсь поблагодарить вас, то в нем есть все, на что я только мог надеяться.

— Это все, что я мог написать,— ответил он,— и, зная, в какое дело вы намерены вмешаться, мне остается только молить бога, чтобы этого оказалось достаточно.

IV. Лорд-адвокат Престонгрэндж

Мой родственник оставил меня обедать. «Ради чести дома»,— говорил он. Поэтому я еще более торопился на обратном пути. Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, чтобы поскорее совершить следующий шаг и отдать себя в руки закона. Для человека в моем положении возможность положить конец нерешительности и искушению была чрезвычайно соблазнительна. Тем более велико было мое разочарование, когда, придя к Престонгрэнджу, я услышал, что его нет дома. Я думаю, что в ту минуту и потом, в течение нескольких часов, это действительно так и было. Но несомненно и то, что, когда адвокат вернулся и весело проводил время в соседней комнате со своими друзьями, о моем присутствии совершенно забы-

ли. Я давно бы ушел, если бы не сильное желание поскорее объясниться и иметь возможность лечь спать со спокойной совестью. Сначала я занялся чтением, так как в маленьком кабинете, где меня оставили, было множество книг. Но читал я очень невнимательно. День становился облачным, сумерки наступили раньше обычного, а кабинет освещался только маленьким окошечком, и я под конец должен был отказаться и от этого развлечения, проведя остаток времени в томительном бездействии. Разговоры в ближайшей комнате, приятные звуки клавикордов и женское пение отчасти заменяли мне общество.

Не знаю, который это был час, но уже стемнело, когда отворилась дверь кабинета и я увидел на пороге высокого человека. Я тотчас же встал.

— Здесь кто-нибудь есть? — спросил он. — Кто вы?

— Я пришел с письмом от лорда Пильрига к лорду-адвокату, — сказал я.

— Давно вы здесь? — спросил он.

— Не решаюсь определить, сколько часов, — отвечал я.

— В первый раз слышу об этом, — продолжал он, пожимая плечами. — Прислуга, верно, забыла о вас. Но вы наконец дождались, я — Престонгрэндж.

С этими словами он вышел в соседнюю комнату. И я по его знаку последовал за ним. Он зажег свечу и сел у письменного стола. Комната была большая, продолговатая, вся уставленная книгами вдоль стен. При слабом пламени свечи ясно выделялась красивая фигура и мужественное лицо адвоката. Однако лицо его было красным, а глаза влажными и блестящими. Он слегка пошатывался, прежде чем сел. Без сомнения, он хорошо поужинал, хотя вполне владел своими мыслями и словами.

— Ну, сэр, садитесь, — сказал он, — и покажите мне письмо Пильрига.

Он небрежно посмотрел начало, поднял глаза и поклонился, когда дошел до моего имени. При последних словах внимание его, однако, удвоилось, и я уверен, что он перечел их дважды. Можете себе представить, как билось мое сердце: ведь теперь Рубикон был перейден и я находился на поле сражения.

— Очень рад познакомиться с вами, мистер Бальфур,— сказал он, окончив чтение.— Позвольте предложить вам стаканчик кларета.

— Осмелюсь заметить, милорд, что вряд ли это будет хорошо для меня,— заметил я.— Как видите из письма, я пришел по довольно важному делу, а я не привык к вину, и оно может дурно повлиять на меня.

— Вам лучше знать,— сказал он.— Но если позволите, я сам не прочь выпить бутылочку.

Он позвонил, и, как по сигналу, явился лакей с вином и стаканами.

— Вы решительно не хотите составить мне компанию? — спросил адвокат.— В таком случае пью за наше знакомство! Чем могу служить вам?

— Мне, может быть, следует начать с того, милорд, что я пришел сюда по вашему собственному настоятельному приглашению,— сказал я.

— У вас есть передо мной некоторое преимущество,— отвечал он,— должен сознаться, что до этого вечера я не слышал о вас.

— Совершенно верно, милорд. Мое имя вам действительно незнакомо,— сказал я.— А между тем вы уже довольно давно желаете познакомиться со мной и даже заявили об этом публично.

— Мне бы хотелось получить от вас некоторое разъяснение,— возразил он.

— Не послужит ли вам некоторым разъяснением,— сказал я,— то, что если бы я желал шутить — а я вовсе не расположен это делать,— я, кажется, имел бы право требовать от вас двести фунтов.

— В каком это смысле? — спросил он.

— В смысле награды, объявленной за мою поимку,— ответил я.

Он сразу поставил стакан и выпрямился на стуле, на котором сидел развалившись.

— Как мне понимать это? — спросил он.

— «Высокий, здоровый, безбородый юноша, лет восемнадцати,— процитировал я,— с лоулэндским произношением».

— Я узнаю эти слова,— сказал он.— И если вы явились сюда с неуместным намерением позабавиться, то они могут оказаться губительными для вас.

— У меня совершенно серьезное намерение,— отвечал я,—и вы отлично меня поняли. Я — молодой человек, который разговаривал с Гленуром перед тем, как тот был убит.

— Могу только предположить, видя вас здесь, что вы хотите убедить нас в своей невинности,— сказал он.

— Вы сделали совершенно правильное заключение,— согласился я.— Я верный подданный короля Георга, иначе не пришел бы сюда, в логово льва.

— Очень этому рад,— заметил он.— Это такое ужасное преступление, мистер Бальфур, что нельзя допустить и мысли о возможности снисхождения. Кровь была пролита варварским образом и людьми, о которых всем известно, что они враждебно настроены против его величества и наших законов. Я придаю этому очень большое значение и настаиваю на том, что преступление направлено лично против его величества.

— К сожалению, милорд,— несколько сухо прибавил я,— считается, что оно направлено лично против еще одного важного лица, которое я не хочу называть.

— Если вы этими словами желаете на что-нибудь намекнуть, то должен заметить, что считаю их неуместными в устах верного подданного. И если бы они были произнесены публично, я счел бы своим долгом обратить на них внимание,— сказал он.— Мне кажется, что вы не сознаете опасности своего положения, иначе были бы осторожнее и не усугубляли бы ее, бросая тень на правосудие. В нашей стране и в моих скромных возможностях правосудие нелицеприятно.

— Вы слишком многое приписываете мне, милорд,— сказал я.— Я только повторяю общую молву, которую слышал везде по пути от людей самых различных убеждений.

— Когда вы станете благоразумнее, то поймете, что не следует всякому слуху верить, а тем более его повторять,— сказал адвокат.— Я верю, что у вас не было дурного намерения. Положение почитаемого всеми нами вельможи, который действительно был задет этим варварским убийством, слишком высоко, чтобы его могла достигнуть клевета. Герцог Арджайльский — вы видите, я с вами откровенен,— смотрит на это дело так же, как я: мы оба должны смотреть на него с точки зрения наших

судейских обязанностей и службы его величеству. Я бы желал, чтобы в наше печальное время все были бы так же свободны от чувства семейной вражды, как он. Но случилось, что жертвой своего долга пал Кемпбелл. Кто, как не Кемпбеллы, всегда был впереди других на пути долга? Я не Кемпбелл и потому могу смело сказать это. К тому же оказывается, к нашему общему благополучию, что глава этого знатного дома в настоящее время председатель судебной палаты. И вот на всех постоянных дворах по всей стране дали волю своим языкам люди с ограниченным умом, а молодые джентльмены вроде мистера Бальфура необдуманно повторяют эти толки.— Всю свою речь он произнес, пользуясь известными ораторскими приемами, точно выступал на суде. Затем, обращаясь ко мне снова как джентльмен, он сказал: — Но это все не относится к делу. Остается только узнать, как мне быть с вами?

— Я думал, что скорее я узнаю от вас это, милорд,— отвечал я.

— Верно,— сказал адвокат.— Но, видите ли, вы пришли ко мне с хорошей рекомендацией. Это письмо подписано известным честным вигским именем,— продолжал он, на минуту взяв его со стола.— И, помимо судебного порядка, мистер Бальфур, всегда есть возможность прийти к соглашению. Я заранее говорю вам: будьте осторожнее, так как ваша судьба зависит лишь от меня. В этом деле — осмеливаюсь почтительно заметить — я имею больше власти, чем сам король. И если вы понравитесь мне и удовлетворите мою совесть вашим последующим поведением, обещаю вам, что сегодняшнее свидание останется между нами.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Я хочу сказать, мистер Бальфур,— отвечал он,— что если ваши ответы удовлетворяют меня, то ни одна душа не узнает, что вы здесь были. Заметьте, я даже не зову своего клерка.

Я увидел, к чему он клонит.

— Я думаю, что нет надобности объявлять кому-либо о моем посещении,— сказал я,— хотя не вижу, чем это может быть особенно выгодно для меня. Я не стыжусь, что пришел сюда.

— И не имеете ни малейшей причины стыдиться,—

отвечал он одобрительно,— так же как и бояться последствий, если будете осмотрительны.

— С вашего позволения, милорд,— возразил я,— меня нелегко запугать.

— Уверяю вас, что вовсе не хочу вас запугивать,— продолжал он.— Но займемся допросом. Предостерегаю вас: не говорите ничего, не относящегося к моим вопросам. От этого в значительной степени будет зависеть ваша безопасность. Есть границы и моей власти.

— Постараюсь последовать вашему совету, милорд,— сказал я.

Он положил на стол лист бумаги и написал заголовок.

— Из ваших слов явствует, что вы были в Леттерморском лесу в момент рокового выстрела,— начал он.— Было это случайностью?

— Да, случайностью,— сказал я.

— Каким образом вы вступили в разговор с Колином Кемпбеллом? — спросил он.

— Я спросил у него дорогу в Аухари,— ответил я.

Я заметил, что он не записывает моего ответа.

— Гм...— сказал он,— я об этом совершенно забыл. Знаете ли, мистер Бальфур, я на вашем месте как можно менее останавливался бы на ваших сношениях с этими Стюартами. Это только усложняет дело. Я пока не расположен считать эти подробности необходимыми.

— Я думал, милорд, что в подобном случае все факты одинаково существенны,— возразил я.

— Вы забываете, что мы теперь судим этих Стюартов,— многозначительно ответил он.— Если нам придется когда-нибудь судить вас, то будет совсем другое дело: я тогда буду настаивать на вопросах, которые теперь согласен обойти. Однако покончим: в предварительном показании мистера Мунго Кемпбелла сказано, что вы немедленно после выстрела побежали вверх по склону. Как это случилось?

— Я побежал не немедленно, милорд, и побежал потому, что увидел убийцу.

— Значит, вы увидели его?

— Так же ясно, как вас, милорд, хотя и не так близко.

— Вы знали его?

— Я бы его узнал.

— Ваше преследование, значит, было безуспешно, и вы не могли догнать убийцу?

— Не мог.

— Он был один?

— Один.

— Никого более не было по соседству?

— Неподалеку в лесу был Алан Брек Стюарт.

Адвокат положил перо.

— Мы, кажется, играем в загадки,— сказал он.— Боюсь, что это окажется для вас плохой забавой.

— Я только следую вашему указанию, милорд, и отвечаю на ваши вопросы,— отвечал я.

— Постарайтесь одуматься вовремя,— сказал он.— Я отношусь к вам с самой нежной заботой, но вы, кажется, нисколько этого не цените. И если не будете осторожнее, все может оказаться бесполезным.

— Я очень ценю ваши заботы, но думаю, что вы не понимаете меня,— отвечал я немного дрожащим голосом, так как увидел, что он наконец прижал меня к стене.— Я пришел сюда, чтобы дать показания, которые могли бы вас убедить, что Алан не принимал никакого участия в убийстве Гленура.

Адвокат с минуту казался в затруднении; он сидел со сжатыми губами и бросал на меня взгляды разъяренной кошки.

— Мистер Бальфур,— сказал он наконец,— я говорю вам ясно, что вы идете дурным путем и от этого могут пострадать ваши интересы.

— Милорд,— отвечал я,— я в этом деле так же мало принимаю в соображение свои собственные интересы, как и вы. Видит бог, у меня только одна цель: я хочу, чтобы восторжествовала справедливость и были оправданы невинные. Если, преследуя эту цель, я вызываю ваше неудовольствие, милорд, то мне придется примириться с этим.

При этих словах он встал со стула, зажег вторую свечу и некоторое время пристально глядел мне в глаза. Я с удивлением заметил, что лицо его изменилось, стало чрезвычайно серьезным и, как мне показалось, почти бледным.

— Вы или очень наивны, или, наоборот, чрезвычайно хитры, и я вижу, что должен обращаться с вами более

доверительно,— сказал он.— Это дело политическое, да, мистер Бальфур, приятно нам это или нет, но дело это политическое, и я дрожу при мысли о том, какие последствия оно может вызвать. К политическому делу — мне вряд ли есть надобность говорить это молодому человеку с вашим образованием — мы должны относиться совсем иначе, чем просто к уголовному. *Salus populi suprema lex*¹ — принцип, допускающий большие злоупотребления, но он силен той силой необходимости, которую мы находим в законах природы. Если позволите, мистер Бальфур, я объясню вам это подробнее. Вы хотите уверить меня...

— Прошу прощения, милорд, но я хочу уверить вас только в том, что могу доказать,— сказал я.

— Тише, тише, молодой человек,— заметил он,— не придирайтесь к словам и позвольте человеку, который мог бы быть вашим отцом, употреблять свои собственные несовершенные выражения и высказать собственные скромные суждения, даже если они, к несчастью, не совпадают с суждениями мистера Бальфура. Вы хотите уверить меня, что Брек невиновен. Я придаю бы этому мало значения, тем более что мы не можем поймать его. Но дело не только в этом. Допустить, что Брек невиновен — значит отказаться от обвинения другого, совершенно иного преступника, дважды поднимавшего оружие против короля и дважды прощенного, сеятеля недовольства и бесспорно — кто бы ни произвел выстрел — инициатора этого дела. Мне нет надобности объяснять вам, что я говорю о Джемсе Стюарте.

— На что я вам так же чистосердечно отвечу, что о невиновности Алана и Джемса я именно и пришел объявить вам честным образом, милорд, и готов засвидетельствовать это в суде,— сказал я.

— На что я вам так же чистосердечно отвечу, мистер Бальфур,— возразил он,— что в данном случае я не требую вашего свидетельства и желаю, чтобы вы вовсе воздержались от него.

— Вы находитесь во главе правосудия в этой стране,— воскликнул я,— и предлагаете мне совершить преступление!

¹ Спасение народа — наивысший закон (лат.).

— Я всей душой забочусь об интересах Шотландии,— отвечал он,— и внушаю вам то, чего требует политическая необходимость. Патриотизм не всегда бывает нравственным в точном смысле этого слова. Мне кажется, что вы должны быть этому рады: в этом ваша защита. Факты против вас. И если я все еще стараюсь помочь вам выйти из очень опасного положения, то делаю это отчасти потому, что ценю вашу честность, которая привела вас сюда, отчасти из-за письма Пильрига, но главным образом потому, что в этом деле я на первое место ставлю свой политический долг, а судейский долг — на второе. По тем же самым причинам, откровенно повторяю вам, я не желаю выслушивать ваше свидетельство.

— Я желал бы, чтобы вы не приняли моих слов за возражение. Я только хочу верно определить наше взаимное положение,— сказал я.— Если вам, милорд, не нужно мое свидетельство, то противная сторона, вероятно, будет очень рада ему.

Престонгрэндж встал и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Вы не так юны,— заметил он,— чтобы не помнить ясно сорок пятый год и смуту, охватившую всю страну. Пильриг пишет, что вы преданы церкви и правительству. Но кто же спас их в тот роковой год? Я не говорю о королевском высочестве и его войске, которое в свое время принесло большую пользу. Однако страна была спасена, и сражение выиграно еще прежде, чем Кумберленд наступил на Друммоси. Кто же спас ее? Повторяю: кто спас протестантскую веру и весь наш государственный строй? Во-первых, покойный лорд-президент Каллоден: он много сделал и мало получил за это благодарности. Так и я отдаю все свои силы той же службе и не жду другой награды, кроме сознания исполненного долга. А кроме него, кто же еще? Вы сами знаете это не хуже меня. О нем много злословят, и вы сами намекали на это, когда вошли сюда, и я остановил вас. То был герцог великого клана Кемпбеллов. И вот теперь Кемпбелл во время отправления своих служебных обязанностей подло убит. И герцог и я — мы оба гайлэндеры. Но мы цивилизованные гайлэндеры, а громадное большинство наших кланов и семейств не цивилизованы. Они отличаются добродетелями и недостатками диких народов. Они еще

варвары, как и Стюарты. Только варвары Кемпбеллы стоят за законную страну, а варвары Стюарты — за незаконную. Теперь судите сами. Кемпбеллы ожидают мщения. Если они не получают его — если Джемс избежит смерти, — среди Кемпбеллов будет волнение. А это значит, будут волнения во всем Гайлэнде, который и так не спокоен и далеко не разоружен. Разоружение — одна лишь комедия.

— В этом я могу поддержать вас, — сказал я.

— Волнения в Гайлэнде на руку нашему старинному бдительному врагу, — продолжал лорд, вытягивая палец и продолжая шагать. — И я даю вам слово, сорок пятый год может вернуться, с той разницей, что Кемпбеллы будут на противной стороне. Неужели для того, чтобы спасти этого Стюарта, который уже без того несколько раз осужден, если не за это, то за разные другие дела, вы предлагаете вовлечь нашу родину в междоусобную войну, подвергнуть опасности веру своих отцов, рисковать жизнью и имуществом многих тысяч совершенно невинных людей?.. Эти соображения перевешивают в моем мнении и, надеюсь, перевесят и в вашем, мистер Бальфур, если вы любите свою родину, правительство и религиозную истину.

— Вы говорите со мной откровенно, и я вам за это благодарен, — сказал я. — Я, со своей стороны, постараюсь поступить так же честно. Я верю, что ваша политика совершенно правильна. Я верю, что на вас лежат такого рода тяжелые обязанности. Я верю, что вы приняли на себя эти обязанности, когда вступали на высокий пост, занимаемый вами. Но я простой человек, почти мальчик, и с меня достаточно простых обязанностей. Я могу думать только о двух вещах: о несчастном, несправедливо осужденном на немедленную и позорную смерть, и о слезах его жены, которые не выходят у меня из головы. Я не могу не обращать на это внимание. Таков уж мой характер. Если стране суждено погибнуть, пускай она гибнет. Если я ослеплен, то молю бога, чтобы он просветил меня, пока еще не слишком поздно.

Слушая меня, он стоял неподвижно и, когда я кончил, еще некоторое время оставался в прежнем положении.

— Это непредвиденное препятствие,— произнес он громко, разговаривая сам с собой.

— Как вы намерены распорядиться относительно меня, милорд? — спросил я.

— Знаете ли вы,— сказал он,— что вы могли бы ночевать в тюрьме, если бы я захотел?

— Я ночевал в худших местах, милорд,— отвечал я.

— Вот что, мой милый,— сказал он,— из нашего разговора мне ясно, что я могу положиться на ваше честное слово. Обещайте мне, что сохраните в тайне не только то, что произошло между нами сегодня, но и все, что знаете об аппинском деле, и я отпущу вас.

— Я могу обещать хранить это до завтра или до любого ближайшего дня, назначенного вами,— возразил я — Я не хочу, чтобы вы думали обо мне слишком дурно. Но если бы я дал слово без ограничения, то вы, милорд, достигли бы своей цели.

— Я не хотел поймать вас,— заметил он.

— Я в этом уверен,— сказал я.

— Подождите,— продолжал он,— завтра воскресенье. Приходите в понедельник, в восемь часов утра, а до тех пор обещайте молчать.

— Охотно обещаю, милорд,— сказал я.— Что же касается ваших слов, то даю слово молчать до конца моих дней.

— Заметьте,— прибавил он,— что я не прибегаю к угрозам.

— Это вполне согласуется с вашим благородством, милорд,— сказал я.— Но я не настолько туп, чтобы не почувствовать их, хотя они и не были произнесены.

— Ну,— заметил он,— спокойной ночи. Желаю вам хорошо спать. Я же на это не рассчитываю.

Он вздохнул, взял свечу и проводил меня до выхода.

V. В доме адвоката

На следующий день, в воскресенье 27 августа, я имел возможность слышать несколько известных эдинбургских проповедников, о которых мне рассказывал когда-то раньше мистер Кемпбелл. Увы, я с таким же успехом

мог бы находиться в Иссендине и слушать самого мистера Кемпбелла! Сумятица в моих мыслях, которые постоянно возвращались к свиданию с Престонгрэнджем, мешала мне быть внимательным. На меня гораздо меньшее впечатление произвели рассуждения духовных лиц, чем вид громадного сбора народа в церкви, похожего, как я думал, на толпу в театре или — при моем тогдашнем расположении духа — в залах суда. Такое впечатление на меня произвела в особенности Весткирка с ее тремя ярусами галерей, куда я пришел в напрасной надежде увидеть мисс Друммонд.

В понедельник я в первый раз в жизни пошел к цирюльнику и остался очень доволен результатами его работы. Отправившись оттуда к адвокату, я у дверей его дома снова увидел красные мундиры солдат, выделявшиеся ярким пятном в переулке. Я посмотрел вокруг, желая найти молодую леди и ее спутников, но нигде не было видно их следа. Зато как только меня ввели в комнату, где я провел такие томительные часы в субботу, я в углу заметил высокую фигуру Джемса Мора. Он, казалось, находился в мучительном беспокойстве, все время двигал руками и ногами, а глаза его тревожно бегали по стенам маленькой комнаты. Я с жалостью вспомнил о его отчаянном положении. То ли поэтому, то ли потому, что я все еще интересовался его дочерью, я заговорил с ним.

— Доброе утро, сэр,— сказал я.

— Желаю вам того же, сэр,— отвечал он.

— Вы ожидаете свидания с Престонгрэнджем? — спросил я.

— Да, сэр, и молю бога, чтобы ваше дело к этому джентльмену было приятнее моего,— отвечал он.

— Надеюсь, по крайней мере, что вас ненадолго задержат, так как, вероятно, вас примут прежде меня,— сказал я.

— Всех принимают прежде меня,— возразил он, пожимая плечами и поднимая руки.— Прежде было иначе, сэр, но времена меняются. Не так было, когда и шпага что-нибудь значила, молодой джентльмен, и когда было достаточно называться солдатом, чтобы обеспечить себе пропитание.

Он произнес эту тираду немного в нос, с той гайлэндской манерой, которая выводила меня из себя.

— Ну, мистер Мак-Грегор,— сказал я,— мне кажется, что главное достоинство солдата — молчание, а первая добродетель его — покорность судьбе.

— Я вижу, что вы знаете мое имя...— и, скрестив руки, он поклонился мне,— хотя сам я не смею его произносить. Оно слишком хорошо известно, враги слишком часто видели мое лицо и слышали мое имя. Поэтому я не должен удивляться, если и то и другое известно людям, которых я не знаю.

— Которых вы совсем не знаете, сэр,— заметил я,— так же как не знают и другие. Но если вы желаете знать, то мое имя Бальфур.

— Это прекрасное имя,— вежливо ответил он,— его носят порядочные люди. Я припоминаю теперь, что один молодой джентльмен, носивший то же имя, в сорок пятом году был врачом в моем батальоне.

— Это, вероятно, был брат Бальфура из Бэса,— отвечал я, так как теперь был уже подготовлен к вопросу о враче.

— Он самый, сэр,— сказал Джемс Мор,— а так как ваш родственник был мне товарищем по оружию, то позвольте пожать мне вашу руку.

Он долго и нежно жал мне руку, все время радостно глядя на меня, точно отыскал родного брата.

— Да,— сказал он,— времена переменились с тех пор, как вокруг меня и вашего родственника свистели пули.

— Он приходился мне очень дальним родственником,— сухо отвечал я,— и должен признаться, что я никогда не видел его.

— Все равно,— заметил он,— я в этом не вижу разницы. А вы сами, я думаю, тогда не были в деле: я что-то не могу припомнить ваше лицо, которое забыть довольно трудно.

— В тот год, о котором вы упоминаете, мистер Мак-Грегор, я поступил в приходскую школу,— ответил я.

— Вы так еще молоды! — воскликнул он.— О, тогда вы никогда не поймете, что значит для меня эта встреча. Встретиться в минуту несчастья здесь, в доме моего врага, с родственником товарища по оружию — это придает мне бодрости, мистер Бальфур, так же как звук гайлэндских флейт! Да, сэр, многим из нас приходится с грустью, а некоторым и со слезами вспоминать прошлое. В своей

стране я жил как король: с меня было достаточно моего палаша, моих гор и верности моих земляков и друзей. Теперь меня содержат в вонючей тюрьме. И знаете ли, мистер Бальфур,— продолжал он, взяв меня за руку и расхаживая со мною по комнате,— знаете ли, сэр, что я не имею самого необходимого! Злоба моих врагов лишила меня средств. Как вам известно, сэр, я заключен по ложному обвинению в преступлении, в котором так же невинен, как и вы. Меня не осмеливаются судить, а пока держат голого и босого в тюрьме. Желал бы я встретить вашего родственника или его брата из Бэса! И тот и другой были бы рады помочь мне. Тогда как вы сравнительно чужой...

Мне совестно рассказывать все, что он наговорил мне, как он кляпчил и жаловался, а также то, как я отрывисто и сердито ему отвечал. Иногда мне хотелось заткнуть ему рот какой-нибудь мелочью. Но это было свыше моих сил, из чувства ли стыда и самолюбия, из-за себя ли самого или Катрионы, оттого ли, что я считал такого отца недостойным его дочери, или потому, что меня сердила лживость этого человека, не знаю. Он продолжал льстить мне и восхвалять меня, расхаживая со мной по этой маленькой комнате, всего в три шага длины. Я несколькими краткими ответами успел уже значительно рассердить, хотя не совсем еще лишить надежды этого попрошайку, когда Престонгрэндж появился в дверях и любезно пригласил меня в большую комнату.

— Я буду некоторое время занят,— сказал он,— а чтобы вы не сидели без дела, я хочу представить вас моим трем прекрасным дочерям, о которых вы, может быть, слышали, так как они, пожалуй, более известны, чем их отец.

Он провел меня в длинную комнату, помещавшуюся этажом выше, где за пальцами с вышиванием сидела худощавая старая леди, а у окна стояли три самые красивые девушки в Шотландии, так мне, по крайней мере, показалось.

— Это мой новый друг, мистер Бальфур,— сказал адвокат, взяв меня под руку.— Давид, это моя сестра, мисс Грант, которая так добра, что заведует моим хозяйством, и будет очень рада, если чем-нибудь сможет помочь вам. А вот,— прибавил он,— обращаясь к моло-

дым девушкам,— вот мои три прекрасные дочери. Как вы находите, мистер Давид, которая лучше всех? Держу пари, что он никогда не дерзнет ответить, как честный Алан Рамсэй!

Все трое, а также старая мисс Грант громко возмутились против этой выходки, которая и у меня — я знал стихи, на которые он ссылался,— вызвала румянец стыда. Мне казалось, что отцу непростительно цитировать подобные вещи, и я был очень поражен, что молодые леди, порицая его или делая вид, что порицают, в то же время смеялись.

Они все еще смеялись, когда Престонгрэндж вышел из комнаты и оставил меня, как рыбу на песке, в этом совсем неподходящем для меня обществе. Оглядываясь теперь назад, на то, что последовало, я не могу отрицать, что был поразительно бесчувствен и что леди, должно быть, были очень хорошо воспитаны, если терпели меня так долго. Тетка, положим, сидела за своим вышиванием и только иногда поднимала голову и улыбалась, но барышни, в особенности старшая, притом и самая красивая, оказывали мне большое внимание, за что я совсем не умел отплатить им. Я напрасно убеждал самого себя, что у меня есть некоторые достоинства и хорошее поместье, что мне нет причины чувствовать себя смущенным в обществе молодых девушек, из которых старшая немногим превосходила меня годами и ни одна, вероятно, не была наполовину так образованна, как я. Но рассуждения не меняли дела, и по временам я краснел при мысли, что в этот день брился в первый раз.

Так как разговор, несмотря на их старания, шел очень вяло, то старшая сжалилась над моей неловкостью, села за клавикорды, на которых играла мастерски, и некоторое время занимала меня игрой и пением шотландских и итальянских мелодий. Это придало мне немного развязности, и, припомнив мотив, которому Алан научил меня в пещере близ Карридена, я решился даже просвистеть один или два такта и спросить, знает ли она его.

Она покачала головой.

— Никогда не слыхала,— отвечала она.— Просвистите-ка его до конца... Повторите еще раз,— прибавила она, когда я просвистел.

Она подобрала мотив на клавикордах; сейчас же,

к моему удивлению, украсила его звучным аккомпанементом и, играя, стала петь с очень комичным выражением и настоящим шотландским акцентом:

Разве я неверно подобрала вам мотив,
Не та ли это песня, что вы просвистели?

Видите ли,—прибавила она,—я умею сочинять и слова, только они у меня не рифмуются.—Потом продолжала:

Я мисс Грант, адвоката дочь.
Вы, кажется, Давид Бальфур?

Я сказал ей, что поражен ее талантом.

— Как называется ваша песня? — спросила она.

— Я не знаю ее настоящего названия,—отвечал я,—и называю ее «Песнью Алана».

Она взглянула мне прямо в лицо.

— Я буду называть ее «Песнью Давида»,—сказала она.—Впрочем, если песни, которые ваш израильский тезка играл Саулу, хоть немного походили на эту, то меня нисколько не удивляет, что царь не сделался добрее: уж очень это меланхолическая музыка. Ваше название песни мне не нравится. Если вы когда-нибудь захотите услышать ее снова, то спрашивайте ее под моим названием.

Она это произнесла так выразительно, что у меня забилось сердце.

— Почему, мисс Грант? — спросил я.

— Потому,—отвечала она,—что если когда-нибудь вас повесят, я переложу на музыку ваши последние слова и вашу исповедь и буду их петь.

Я не мог больше сомневаться, что она отчасти знакома с моей историей и грозившей мне опасностью. Но каким образом и что ей известно, было трудно угадать. Она, очевидно, знала, что в имени Алана было что-то опасное, и предостерегала меня не упоминать о нем; очевидно, знала также, что на мне тяготеет подозрение в преступлении. Я понял, кроме того, что последними резкими словами, за которыми последовала чрезвычайно шумная пьеса, она хотела положить конец нашему разговору. Я стоял рядом с ней, притворяясь, что слушаю ее и восхищаюсь ее музыкой, но на самом деле унесся далеко в вихре собственных мыслей. Я находил, что эта

молодая леди очень любит таинственное; при первом же свидании я натолкнулся на тайну, которая была выше моего понимания. Значительно позже я узнал, что воскресенье не пропало даром, что молодые леди разыскали и допросили рассыльного из банка, открыли мое посещение Чарлза Стюарта и вывели заключение, что я замешан в деле Джемса и Алана и, весьма вероятно, поддерживаю с последними постоянные сношения. Оттого мне и был сделан этот ясный намек за клавирами.

Не успела она доиграть свою пьесу, как одна из младших барышень, стоявшая у окна, выходящего в переулок, закричала сестрам, чтобы они шли скорее, так как опять пришла «Сероглазка». Все сейчас же бросились к окну и столпились там, чтобы что-нибудь увидеть. Окно, к которому они подбежали, было расположено в углу комнаты над входной дверью и боком выходило в переулок.

— Идите сюда, мистер Бальфур, — закричали девушки, — посмотрите, какая красавица! Она все эти дни приходит сюда с какими-то оборванцами, а между тем сама она настоящая леди.

Мне не было надобности долго смотреть. Я взглянул только раз, боясь, чтобы она не увидела меня здесь, в этой комнате, откуда раздавалась музыка; не увидела бы, что я смотрю из окна на нее, стоящую на улице, в то время как ее отец в том же доме со слезами, может быть, молит сохранить ему жизнь, а я сам только что отверг его просьбу. Но один лишь взгляд на нее повысил меня в собственном мнении и придал мне смелости по отношению к молодым девушкам. Бесспорно, они были прекрасны, но и Катриона была красива: в ней чувствовалось что-то живое, огненное. Насколько эти девушки угнетали меня, настолько она оживляла меня. Я вспомнил, как с ней мне легко было говорить, и подумал, что если я не сумел поддержать разговор с изящными барышнями, то в этом, быть может, они были сами виноваты. К моему смущению стало примешиваться какое-то веселое чувство, а когда тетка улыбнулась мне из-за своей работы, а три дочери окружили меня, как ребенка, причем по лицам их было видно, что это они делают по «папашину приказанию», мне самому захотелось улыбнуться.

Вскоре к нам вернулся папаша, по-видимому все такой же добродушный, довольный, любезный, как и прежде.

— Ну, девочки,— сказал он,— я должен опять увести мистера Бальфура, но вы, надеюсь, уговорили его прийти еще раз: я всегда буду рад его видеть.

Каждая из них сказала мне несколько любезных слов, и адвокат увел меня.

Если он надеялся, что визит его семейству ослабит мое сопротивление, то очень ошибся. Я был не таким дураком, чтобы не понять, как я плохо сыграл свою роль: девушки, должно быть, от души зевнули, как только я повернулся к ним спиной. Я им показал, что мне не хватает любезности и изящества, и теперь жаждал случая проявить себя человеком решительным, суровым и даже опасным.

Желание мое скоро исполнилось: сцена, которая разыгралась затем, носила совсем иной характер.

VI. Бывший лорд Ловат

В кабинете Престонгрэнджа нас ожидал человек, который с первого же взгляда возбудил во мне такое отвращение, точно он был хорек или клещ. Он был очень безобразен, но имел вид джентльмена. Несмотря на спокойные манеры, он был способен на внезапные вспышки ярости. Слабый голос его по желанию мог звучать пронзительно и угрожающе.

Адвокат дружески и фамильярно познакомил нас.

— Вот, Фрэзер,— сказал он,— тот самый Бальфур, о котором мы говорили. Мистер Давид, это мистер Фрэзер, которого прежде называли другим именем... но это уже старая история. У мистера Фрэзера есть к вам дело.

С этими словами он отошел к библиотечным полкам и сделал вид, будто наводит справки в какой-то книге в дальнем углу комнаты.

Таким образом меня как бы оставили наедине с человеком, которого я менее всего ожидал видеть. Слова, с которыми его представили мне, не оставляли никаких сомнений. Это был не кто иной, как лишенный прав вла-

делец Ловата и вождь большого клана Фрэзеров. Я знал, что он во главе своего клана участвовал в восстании, что его отец — серая горная лисица Гайлэнда—за то же преступление сложил голову на плахе, что земли этой семьи были конфискованы, а члены ее лишены дворянского достоинства. После этого я не мог понять, что Фрэзер делает в доме Гранта. Я не мог представить себе, что он теперь служит в суде, отказался от своих убеждений и низкопоклонничает перед правительством до такой степени, что стал помощником лорда-адвоката в деле об аппинском убийстве.

— Ну-с, мистер Бальфур,— начал он,— что я могу слышать от вас?

— Не могу дать вам заранее никаких объяснений,— ответил я.— Но вы можете осведомиться у лорда-адвоката: ему известны мои взгляды.

— Должен сказать вам, что я принимаю участие в аппинском деле,— продолжал он.— Я выступаю как помощник Престонгрэнджа. Изучив предварительные данные, я могу уверить вас, что ваше мнение ошибочно. Вина Брека очевидна, а ваше свидетельство о том, что вы видели его на холме в самый момент убийства, неминуемо приведет его к виселице.

— Трудно будет повесить его, прежде чем его не поймают,— заметил я.— Что же касается остального, то я охотно предоставляю вам оставаться при своем мнении.

— Герцог уже уведомлен обо всем,— продолжал он.— Я только что вернулся от его светлости. Он высказался предо мной со всей искренностью и прямоотой, подобающими вельможе, упомянул и о вас, мистер Бальфур, и заранее выразил вам свою благодарность, если вы позволите, чтобы вами руководили те, кто лучше вас понимают ваши собственные интересы, так же как и интересы страны. В его устах благодарность не есть пустое выражение *experto crede*. Вы, вероятно, слышали кое-что о моем имени и моем клане, о достойном порицания примере и печальной смерти моего покойного отца, не говоря уже о моих собственных заблуждениях. Я теперь примирился с добрейшим герцогом. Он замолвил за меня словечко нашему другу Престонгрэнджу. И вот у меня снова нога в стремя, и я частично разделяю с ним его обязанности в деле преследования врагов короля Георга

и мщения за наглое и прямое оскорбление его величества.

— Бесспорно, славная должность для сына вашего отца,— заметил я.

Он нахмурил брови.

— Вы, кажется, пытаетесь иронизировать,— сказал он,— но меня привел сюда мой долг: я должен добросовестно исполнить данное мне поручение, и вы напрасно стараетесь отвлечь меня. Позвольте заметить вам, что молодому человеку с вашим умом и самолюбием хороший толчок с самого начала даст больше, чем десять лет усидчивой работы. Толчок этот теперь вам могут дать: выбирайте, какое назначение вы желаете получить, и герцог позаботится о вас, как любящий отец.

— Мне кажется, что мне недостает сыновнего послушания,— возразил я.

— Вы, кажется, действительно полагаете, что государственный строй нашей страны рухнет из-за какого-то невоспитанного мальчишки? — воскликнул он.— Аппинское дело служит испытанием: все, кто желает успеть в будущем, должны содействовать ему. Вы думаете, я для своего удовольствия ставлю себя в фальшивое положение человека, который преследует того, с кем вместе сражался? Но у меня нет выбора.

— Мне кажется, сэр,— заметил я,— что вы лишились права выбора уже тогда, когда приняли участие в этом чудовищном восстании. Я, к счастью, нахожусь в другом положении: я верный подданный и без замешательства могу смотреть в глаза как герцогу, так и королю Георгу.

— Так ли это? — сказал он.— Уверяю вас, что вы сильно заблуждаетесь. Престонгрэндж до сих пор был так учтив, как он сообщил мне, что не опровергал ваших доводов, но вы не должны думать, что они не возбуждают сильного подозрения. Вы уверяете, что невиновны. Любезный сэр, факты доказывают, что вы виновны.

— Жду вашего объяснения,— сказал я.

— Показание Мунго Кемпбелла, ваше бегство после совершения убийства, тайна, которую вы так долго окружали себя, милый мой,— продолжал мистер Симон,— всего этого достаточно, чтобы повесить ягненка, а не то что Давида Бальфура! Я буду присутствовать на суде и тогда заговорю во всеуслышание. Я заговорю иначе,



чем сегодня, и как ни мало вам нравятся сейчас мои слова, но тогда они еще менее будут вам по душе. А, вы побледнели! — воскликнул он. — Я нашел ключ к вашему бесстыдному сердцу. Вы бледны, глаза ваши бегают, мистер Давид! Вы видите, что виселица и могила ближе к вам, чем вы предполагали.

— Признаюсь в естественной слабости, — сказал я. — Я не нахожу в этом ничего позорного... Позор... — продолжал я.

— Позор ждет вас на виселице, — прервал он.

— Где я сравняюсь с лордом, вашим отцом, — сказал я.

— Вовсе нет! — воскликнул он. — Вы, кажется, еще не поняли всего. Мой отец пострадал за великое дело, за то, что вмешался в раздоры королей. Вы же будете повешены за грязное убийство из-за грошей. Ваша роль в нем заключалась в том, чтобы предательски задержать несчастного разговором. Вашими сообщниками были

гайлэндские оборванцы. Может быть доказано, великий мистер Бальфур,— и будет доказано, поверьте мне, человеку, заинтересованному в этом деле,— что вы были подкуплены. Я уже представляю себе, как все переглядываются в суде, когда я приведу свои доказательства: вы, юноша с образованием, позволили подкупить себя и пойти на это ужасное преступление из-за пары старого платья, бутылки гайлэндской водки, трех шиллингов и пяти с половиною пенсов медной монетой.

В этих словах была доля правды, которая поразила меня точно ударом: действительно, пара платья, бутылка водки и три шиллинга и пять с половиною пенсов медной монетой составляли почти все, что я с Аланом унес из Аухарна. Я понял, что кто-то из слуг Джемса болтал в тюрьме.

— Вы видите, что я знаю больше, чем вы воображали,—с торжествующим видом заключил он.—Вы не должны думать, великий мистер Давид, что у правительства Великобритании и Ирландии не будет достаточно средств, чтобы придать делу такой оборот. У нас здесь, в тюрьме, есть люди, которые готовы по нашему приказанию поклясться в чем угодно,— по моему приказанию, если вам больше нравится. Теперь вы можете представить себе, какую славу принесет вам смерть, если вы предпочтете умереть. Итак, с одной стороны — жизнь, вино, женщины и герцог, готовый служить вам; с другой — веревка на шею, виселица, на которой вы будете болтаться, самая гнусная история о подкупленном убийце, которую услышат ваши потомки. Взгляните сюда,— крикнул он пронзительным голосом,— взгляните на документ, который я вынимаю из кармана! Посмотрите на имя: это, кажется, ваше имя, великий мистер Давид, чернила еще не успели просохнуть. Догадываетесь ли вы, что это за документ? Это приказ о вашем аресте. Стоит мне только прикоснуться к звонку рядом со мной, и приказ этот будет немедленно приведен в исполнение. А если по этому приказу вы попадете в Толбут, то, помоги вам бог, жребий будет брошен.

Не могу отрицать, что такая низость ужаснула меня, и я пришел в уныние от грозящей мне опасности и близкого позора. Мистер Симон уже заранее торжествовал, видя, что я побледнел; не сомневаюсь, что теперь я был

так же бел, как моя рубашка. Кроме того, мой голос дрожал.

— В этой комнате есть джентльмен! — воскликнул я.—Я обращаюсь к нему. В его руки я отдаю свою жизнь и честь.

Престонгрэндж с шумом захлопнул книгу.

— Я предупреждал вас, Симон,— сказал он.— Вы сыграли свою игру и проиграли ее. Мистер Давид,— продолжал он,— поверьте, что вас не по моему желанию подвергли этому испытанию. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что я рад тому, что вы с честью вышли из него. Вы не поймете почему, но этим вы некоторым образом оказываете услугу и мне. Если бы мой друг действовал успешнее, чем я в прошлую ночь, то оказалось бы, что он лучше знает людей, чем я. Оказалось бы, что мы не на своих местах, мистер Симон и я. А я знаю, что наш друг Симон честолобив,— сказал он, слегка дотрагиваясь до плеча Фрэзера.— Что же касается этой комедии, то она окончена. Мои симпатии на вашей стороне, и каков бы ни был исход этого несчастного дела, я сочту своим долгом позаботиться, чтобы к вам отнеслись снисходительно.

Это были добрые слова. Впрочем, насколько я мог заметить, отношения моих противников были не особенно дружелюбны и даже слегка враждебны. Тем не менее было ясно, что это свидание устроили, а может быть, и предварительно разыграли они оба. Мои противники хотели испытать меня всеми средствами. Теперь, когда уговоры, лесть и угрозы оказались тщетными, мне интересно было знать, что они предпримут дальше. Но после всего, что я испытал, в глазах у меня стоял туман. Я мог только повторять:

— Отдаю свою жизнь и честь в ваши руки.

— Хорошо, хорошо,— сказал Престонгрэндж,— постараемся спасти их. А пока обратимся к более мягким средствам. Вы не должны сердиться на моего друга мистера Симона, который действовал так, как ему было предписано. Если вы даже питаете неприязнь и ко мне за то, что я, присутствуя тут же, как бы поощрял его, это чувство не должно распространяться на невинных членов моего семейства. Им очень хочется почаще видеть вас, и я не желал бы, чтобы моя молодежь обманулась в своих ожиданиях. Завтра они отправятся в Гол-Парк.

Хорошо было бы и вам пойти туда. Сперва зайдите ко мне: может быть, мне нужно будет сообщить вам кое-что наедине. Затем вы пойдете в сопровождении моих барышень, а до тех пор повторите свое обещание хранить тайну.

Лучше было бы мне сразу отказаться, но, по правде говоря, я не в состоянии был рассуждать. Не помню, как я распростился с моими собеседниками, и, очутившись за дверью, с облегчением прислонился к стене дома, чтобы обтереть лоб. Ужасное появление мистера Симона не выходило из моей памяти, как неожиданный аккорд, который долго звучит в ушах. Все, что я слышал и читал об его отце, о нем самом, об его лживости и постоянных глупостях, вспомнилось мне сейчас и слилось с тем, что я только что испытал. Думая о гнусной клевете, которую он хотел меня опозорить, я содрогался. Преступление человека, повешенного у Лейт-Уока, мало отличалось от того, в котором теперь обвиняли меня. Разумеется, подло украсть ничтожную сумму у ребенка, но то, что Симон Фрэнгер собирается сказать на суде обо мне, было так же отвратительно.

Голоса двух ливрейных лакеев Престонгрэнджа, которые разговаривали на пороге дома, привели меня в себя.

— Вот,— сказал первый,— возьми эту записку и отнеси ее как можно скорей капитану.

— Что же, опять требуют этого разбойника? — спросил второй.

— Вероятно,— отвечал первый.— Он нужен ему и Симону.

— Мне сдается, что Престонгрэндж спятил,— заметил второй.— Он не может жить без Джемса Мора.

— Ну, это не наше дело,— сказал первый.

Они разошлись. Первый пошел исполнять свое поручение, второй возвратился в дом.

Все это обещало мало хорошего. Не успел я уйти, как они уже послали за Джемсом Мором, на которого, вероятно, и намекал мистер Симон, говоря о людях, заключенных в тюрьму и готовых всеми возможными средствами спасти свою жизнь. Волосы мои стали дыбом, а через минуту кровь бросилась мне в голову при мысли о Катрионе. Бедная девушка! Отца ее присудили к виселице за проступки, которые вряд ли можно было изви-

нить. Но что еще хуже: он, видимо, готов был для спасения своей жизни совершить самое позорное преступление — дать ложную клятву. И, в довершение несчастья, жертвой его был выбран я.

Я быстро и наугад пошел вперед, чувствуя потребность в движении, воздухе и просторе.

VII. Я не сдержал свое слово

Положительно не знаю, каким я образом вышел на Ланг-Дейкс. Это проселочная дорога, которая ведет в город с северной стороны. Передо мной расстился весь Эдинбург, начинавшийся с замка, стоявшего на утесе над лохом, и продолжавшийся длинным рядом шпилей и крыш с дымящимися трубами. При виде этого у меня на сердце стало тяжело. Как я уже говорил, я привык к опасностям. Однако то, с чем я столкнулся лицом к лицу в это утро среди так называемой городской безопасности, превзошло все, что мне случалось испытывать. Боязнь попасть в неволю, кораблекрушение, возможность погибнуть от шпаги или выстрела — все это я с честью выдержал. Но то, что звучало в резком голосе и что можно было прочитать на жирном лице Симона — по-настоящему лорда Ловата, — отнимало у меня всякое мужество.

Я сел на берегу озера, там, где росли камыши, погрузил руки в воду и смочил виски. Я бы охотно отказался сейчас от своей безумной затеи, если бы не чувство самоуважения. Было ли то храбростью, или трусостью, или, как мне теперь кажется, и тем и другим вместе, но я решил, что зашел слишком далеко, чтобы возможно было отступление. Я смело говорил с этими людьми и впредь буду говорить так же. Что бы ни случилось, я не откажусь от своих слов.

Сознание своей твердости придало мне некоторую бодрость. Но все-таки у меня точно камень лежал на сердце, и жизнь моя казалась чрезвычайно тяжелой задачей. Особенно жаль мне было двоих: себя самого, такого одинокого среди стольких опасностей, и молодую девушку, дочь Джемса Мора. Я видел ее мельком, но успел

составить о ней суждение. Я считал, что у этой девушки чувство чести развито, как у мужчины, и что она может умереть от бесчестия. А между тем я имел основание предполагать, что в эту минуту отец ее спасает собственную подлую жизнь ценой моей жизни. Мысленно я соединял свою судьбу с судьбой этой девушки. Хотя я и видел ее только на улице и всего одну минуту, но странным образом она успела понравиться мне, а теперь наше положение, казалось, сближает нас: она была дочерью моего кровного врага, можно сказать, моего убийцы. Мне показалось жестоким всю жизнь терпеть лишения и преследования из-за чужих дел, а самому не знать ни малейшей радости. Правда, я был сыт, у меня была постель, и я мог отдохнуть, когда этому не мешало беспокойство, но ничего более не дало мне мое богатство. Если мне суждена была виселица, то жить мне осталось недолго. Если же меня не повесят и я выпутаюсь из этой беды, то жизнь моя может быть очень длинной и томительно скучной. Вдруг мне сразу представилось ее лицо таким, каким я увидел его в первый раз, с полуоткрытым ртом, и я решительно направился по дороге в Дин. «Если завтра меня повесят и, что весьма вероятно, я проведу сегодняшнюю ночь в тюрьме, то хоть услышу что-нибудь о Катрионе и поговорю с ней», — решил я.

Ходьба и мысли о свидании с Катрионой подкрепили меня, и ко мне начала возвращаться некоторая энергия.

В том месте, где деревня Дин уходит в глубь долины и спускается к реке, я навел справки у мельника. Он указал мне ровную тропинку, которая вела на дальний конец деревни, к чистенькому маленькому домику, окруженному садом с лужайками и яблонями. Сердце мое сильно забилося, когда я вошел за садовую ограду, и совсем упало, когда я столкнулся лицом к лицу с безобразной старой леди в белом платье, с мужской шляпой на голове.

— Что вам тут надо? — спросила она.

Я сказал ей, что пришел к мисс Друммонд.

— А какое у вас дело к мисс Друммонд? — сердито продолжала она.

Я рассказал, что встретил ее в прошедшую субботу, имел счастье оказать ей ничтожную услугу и явился теперь по приглашению молодой леди.

— Так вы и есть Сикспенс!¹ — воскликнула она чрезвычайно насмешливо. — Хороший дар, нечего сказать, и прекрасный джентльмен! Разве у вас нет имени и прозвища, или вы так и окрещены Сикспенсом? — спросила она.

Я назвал свое имя.

— Господи помилуй! — воскликнула она. — Разве у Эбенезера есть сын?

— Нет, — отвечал я, — я сын Александра. Я теперь шоосский лэрд.

— Вам будет довольно трудно доказать свои права на поместье вашего дяди, — заметила она.

— Я вижу, что вы хорошо его знаете, — сказал я, — и вам, вероятно, будет приятно узнать, что дела мои с ним улажены.

— Что же вас привело сюда, к мисс Друммонд? — продолжала она.

— Я пришел за своим сикспенсом, — ответил я. — В этом нет ничего удивительного: племянник своего дяди, я должен быть скуповат.

— О да, вы не так скупы, — одобрительно заметила старая леди. — Я думала, что вы суший теленок со своим сикспенсом, счастливым днем и памятью Бальуйддера. (Из этих слов я с удовольствием заключил, что Катриона не забыла нашего разговора.) Но все это к делу не относится, — сказала она. — Должна ли я понять, что вы собираетесь жениться на ней?

— Мне кажется, что это преждевременный вопрос, — сказал я. — Она еще очень молода, да, к сожалению, и я тоже. Я видел ее всего один раз. Не отрицаю, что со времени нашей встречи я много думал о ней. Но думать — одно, а брать на себя обязательство — другое, и мне кажется, это было бы очень глупо с моей стороны.

— Вы, как я вижу, за словом в карман не полезете, — продолжала старая леди. — Я, слава богу, тоже. Я была так глупа, что согласилась взять на свое попечение дочь этого мошенника, — прекрасная обязанность, нечего сказать! Но так как я взяла ее на себя, то и буду выполнять по-своему. Вы хотите уверить меня, мистер Бальфур из Шооса, что женились бы на дочери Джемса Мора, даже

¹ Сикспенс — монета в шесть пенсов.

если его повесят? Ну, а там, где женитьба невозможна,—там не должно быть и никаких ухаживаний, намотайте себе это на ус. Девушки легкомысленны,—прибавила она, качая головой.—И хотя вы этого не подумаете, глядя на мои морщины, я сама была молода и даже красива.

— Леди Аллардейс,—сказал я,—я знаю, что это ваше имя... Вы, кажется, и спрашиваете и отвечаете за нас двоих. Так мы никогда не договоримся. С вашей стороны жестоко допрашивать меня, человека, которому грозит виселица, намерен ли я жениться на девушке, которую видел только один раз. Я уже сказал вам, что не так неосторожен, чтобы брать на себя такое обязательство. Но я все-таки кое в чем соглашаюсь с вами. Если девушка будет и дальше нравиться мне — а я имею причины надеяться на это,—то ни отец ее, ни виселица не смогут разлучить нас. Что же касается моей семьи, то у меня ее нет. Я ничем не обязан своему дяде, и если женюсь, то для того только, чтобы доставить радость одной особе, и больше никому.

— Я слышала подобные слова, когда вас еще не было на свете,—отвечала миссис Ожилви,—и потому мало придаю им значения. Здесь надо многое принять во внимание. К моему стыду должна признаться, что Джемс Мор мой родственник. Но чем лучше семья, тем больше в ней бывает повешенных и обезглавленных,—такова уж история несчастной Шотландии! Если бы речь шла только о виселице! Я была бы рада видеть Джемса с веревкой на шее — по крайней мере, это был бы конец. Кэтрин хорошая девушка, у нее доброе сердце: весь день она терпит воркотню такого старого уroda, как я. Но у нее есть слабость. Она теряет голову, как только дело доходит до этого долговязого, лживого, лицемерного нищего — ее отца, до всех Грегоров, до политики короля Якова и тому подобного. Если вы думаете, что могли бы руководить ею, то очень ошибаетесь. Вы говорите, что видели ее только раз...

— Видите ли, я говорил с ней только раз,—прервал ее я.—Но сегодня я опять видел Катриону из окна Престонгрэнджа.

Я так сказал потому, что это слово хорошо звучало, и тотчас же был наказан за свое хвастовство.

— Это еще что? — воскликнула старая леди, внезапно

нахмутив лицо.— Мне кажется, что вы и в первый раз встретились с ней у дверей адвоката.

Я ответил, что действительно это было так.

— Гм...— сказала она, а затем воскликнула брюзгливым тоном: — Ведь я только из ваших слов знаю, кто вы и что вы! Вы уверяете, что вы Бальфур из Шооса, но, кто вас знает, вы можете быть и Бальфуром черт знает откуда! Возможно, что вы пришли сюда за тем, о чем вы говорите, но возможно также, что вы здесь черт знает для чего! Я достаточно предана вигам, чтобы сидеть смирно и стараться помочь членам моего клана. Но я не позволю дурачить себя. Скажу вам откровенно: вы слишком много говорите о двери и окне адвоката для человека, который ухаживает за дочерью Мак-Грегора. Можете передать это адвокату, пославшему вас сюда. До свидания, мистер Бальфур,— прибавила она, посылая мне воздушный поцелуй,— приятного пути туда, откуда вы пришли.

— Если вы считаете меня шпионом...— вспыхнул я, и слова остановились у меня в горле. Я постоял и посмотрел на нее, затем поклонился и повернулся к выходу.

— Ну, ну, наш любезник, кажется, рассердился!— воскликнула она.— Считаю вас шпионом? Кем же я должна считать вас, когда совсем вас не знаю? Но я вижу, что ошиблась, и так как не могу драться с вами, то должна извиниться. Прекрасно бы я выглядела со шпатель в руке! Ну, ну,— продолжала она,— вы вовсе уж не такой дурной малый. Мне кажется, что у вас есть свои достоинства. Но, Давид Бальфур, вы чертовски самолюбивы. Вам надо стараться избавиться от этого, мой милый. Вам следует научиться гнуть спину и немного меньше воображать о себе. И еще надо бы вам привыкнуть к мысли, что женщины не гренадеры. Но я уверена, что вы неисправимы: до конца жизни вы будете понимать в женщинах не более, чем я в военном ремесле.

Я никогда не слыхал подобных речей от дам, так как единственные две леди, которых я знал, мать моя и миссис Кемпбелл, были очень набожны и благовоспитанны. Вероятно, удивление ясно выразилось на моем лице. Миссис Ожилви вдруг расхохоталась.

— Боже мой,— закричала она, задыхаясь от смеха,— вы, с таким ангельским лицом, хотите жениться на дочери гайлэндского разбойника! Дэви, милый мой, это надо

сделать хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас будут детишки. А теперь,— продолжала она,— вам нечего болтаться здесь: барышни нет дома, а я, старуха, боюсь, буду для вас плохой компанией. Да, кроме того, у меня нет никого, кто бы позаботился о моей репутации: я и так слишком долго оставалась наедине с таким обворожительным юношей. Приходите в другой раз за своим сикспенсом! — крикнула она мне вслед, когда я уже ушел.

Стычка с этой шальной леди придала мне смелости, которой мне до тех пор не хватало. Вот уже два дня, как образ Катрионы не выходил у меня из головы: она была как бы фоном для всех моих размышлений, и меня уже не удовлетворяло бы собственное общество, если бы где-нибудь в уголке сознания я не чувствовал ее. Теперь она стала мне сразу близкой. Мне казалось, что я мысленно дотрагиваюсь до той, к которой на деле прикасался всего раз в жизни. Я всем своим существом потянулся к ней: весь мир без нее казался мне безотрадной пустыней, по которой, как солдаты в походе, проходят люди, исполняя свой долг. Одна лишь Катриона на всем свете могла подарить мне счастье. Впоследствии я сам удивлялся, что мог предаваться подобным мыслям в то опасное для меня время, и, вспоминая свою молодость, стыдился самого себя. Мне еще надо было закончить свое образование, надо было заняться каким-нибудь полезным делом — отслужить там, где все обязаны служить. Мне еще надо было доказать, что я мужчина.

Погрузившись в свои размышления, я прошел уже полдороги по направлению к городу, когда заметил шедшую мне навстречу фигуру, и волнение мое еще больше усилилось. Мне казалось, что я должен Катрионе сказать чрезвычайно много, но не знал, с чего начать. Вспомнив, как я был неразговорчив в это утро в доме адвоката, я был уверен, что теперь совсем онемею. Но когда она приблизилась ко мне, все мои опасения рассеялись. Даже то, о чем я только что думал, нисколько не смущало меня. Я нашел, что могу говорить с ней так же свободно и разумно, как с Аланом.

— О,— воскликнула она,— вы приходили за своим сикспенсом! Что же, получили вы его?

Я сказал ей, что не получил, но так как я встретил ее, то прогулялся не зря.

— Правда, сегодня я уже видел вас,— продолжал я и объяснил, где и когда.

— А я не видела вас,— сказала она,— у меня глаза хотя и большие, но не видят далеко. Я только слышала пение в доме.

— Это пела старшая и самая красивая мисс Грант,— отвечал я.

— Говорят, что они все красивы,— заметила она.

— Они тоже находят вас красавицей, мисс Друммонд,— отвечал я,— и стояли у окна, чтобы увидеть вас.

— Жаль, что я так близорука,— сказала она,— а то бы я их тоже увидела. Так вы были в доме? Вы, должно быть, приятно провели время с красивыми леди, слушая хорошую музыку?

— Вы ошибаетесь,— отвечал я,— я чувствовал себя так же неловко, как рыба на склоне горы. Дело в том, что я скорее создан для общества грубых мужчин, чем красивых леди.

— Да, я это тоже нахожу,— сказала она, и оба мы рассмеялись.

— Странное дело,— заметил я,— я нисколько не боюсь вас, а готов был убежать от мисс Грант. Я также испугался вашей родственницы.

— О, я думаю, ее всякий испугался бы! — воскликнула она.— Мой отец сам боится ее.

Упоминание об ее отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с нею, я смотрел на нее и вспоминал этого человека, которого я знал так мало, но который возбуждал во мне такие ужасные подозрения. И, сравнивая его с нею, я чувствовал себя предателем, потому что молчу.

— Кстати,— сказал я,— сегодня утром я встретил вашего отца.

— Неужели? — воскликнула она радостным голосом.— Вы видели Джемса Мора? Вы, значит, говорили с ним?

— Да, я говорил с ним,— сказал я.

Тут дело приняло самый дурной для меня оборот: она взглянула на меня с глубокой благодарностью.

— Благодарю вас,— сказала она.

— Меня не за что благодарить,— начал я и остановился. Мне показалось, что если я должен скрывать от нее все, то хоть несколько слов я все же ей мог ска-

зять.— Я довольно грубо говорил с ним,— продолжал я.— Он мне не особенно понравился. Я говорил с ним дерзко, и он рассердился.

— В таком случае вам нечего разговаривать с его дочерью и еще рассказывать ей об этом! — воскликнула она.— Я не хочу знать тех, кто не любит и не уважает моего отца.

— Позвольте мне сказать еще слово,— сказал я, начиная дрожать.— Мы оба, может быть, бываем у Престонгрэнджа в дурном настроении. Ведь у обоих у нас там неприятные дела, и это опасный дом. Мне было жаль его, и я первый заговорил, но не особенно рассудительно, должен сознаться. Вы, вероятно, скоро увидите, что дела его в одном отношении исправляются.

— Вероятно, не с помощью вашей дружбы,— сказала она,— и ему остается только благодарить вас за сочувствие.

— Мисс Друммонд,— воскликнул я,— я один на свете!..

— Это меня несколько не удивляет,— сказала она.

— О, дайте мне высказаться! — просил я.— Я только раз выскажусь, а потом оставлю вас навсегда, если вы того желаете. Я пришел сегодня в надежде услышать ласковое слово, в котором сильно нуждаюсь. Я знаю, что мои слова должны были оскорбить вас, и знал это, когда произносил их. Мне было бы легко выразиться мягче и солгать вам. Неужели вы думаете, что это не соблазняло меня? Разве вы не видите, что я говорю правду?

— Мне кажется, не стоит труда обсуждать это, мистер Бальфур,— сказала она.— Я думаю, что довольно с нас одной встречи и теперь мы можем мирно расстаться.

— О, пусть хоть один человек поверит мне,— умолял я,— иначе я не вынесу! Весь свет ополчился против меня! Как мне сделать свое дело, если судьба моя так ужасна?! Я не могу завершить его, если никто не поверит в меня. Одному человеку придется умереть, потому что я не в силах выполнить свой долг.

Она все время смотрела вдаль, высоко подняв голову, но мои слова и тон, каким они были произнесены, заставили ее прислушаться.

— Что вы сказали? — спросила она.— О чем вы говорите?

— Мои показания могут спасти невинного человека,— сказал я,— а меня не допускают в свидетели. Что бы вы сделали на моем месте? Вы знаете, что это значит,— ведь ваш отец тоже в опасности. Покинули бы вы несчастного? Меня хотели подкупить: обещали мне золотые горы, чтобы заставить меня от него отказаться, были пущены в ход все средства. А сегодня один негодяй объявил мне, что меня хотят лишить моего честного имени! Меня хотят впутать в дело об убийстве: они хотят доказать, что я ради платья и денег задержал Гленура своими разговорами; меня хотят опозорить и убить. Если со мной поступят таким образом, со мной, едва достигшим совершеннолетия, если такую историю будут рассказывать обо мне по всей Шотландии, если вы тоже поверите ей и мое имя станет позорным, то как мне перенести это, Катриона? Это невозможно! Это больше, чем может вынести душа человеческая!

Я говорил беспорядочно, отрывистыми фразами. Когда же я умолк, то увидел, что она глядит на меня испуганными глазами.

— Гленур! Это аппинское убийство,— сказала она тихо, но с большим удивлением.

Провожая ее, я повернул обратно, и теперь мы приближались к вершине холма над деревней Дин. При ее словах я как вкопанный остановился против нее.

— Боже мой,— воскликнул я,— боже мой, что я наделал! — и схватился рукою за виски.— Как мог я сделать это? Я, должно быть, обезумел, если говорю подобные вещи!

— Ради бога, что с вами случилось? — воскликнула она.

— Я дал слово,— простонал я,— я дал слово и вот... не сдержал его. О Катриона!

— Скажите мне, в чем дело? — спросила она.— Вы это не должны были говорить? Вы думаете, может быть, что у меня нет чести, что я выдам друга? Смотрите, я поднимаю правую руку и клянусь вам, что буду молчать!

— О, я знаю, что вы сдержите клятву,— возразил я,— но я! Еще сегодня утром я стоял перед ними и смело переносил их взгляды. Я предпочитал умереть позорной смертью на виселице, чем поступить нечестно, а через

несколько часов в обыкновенном разговоре на большой дороге нарушаю свое обещание! «Из нашего разговора мне ясно видно,— сказал адвокат,— что могу положиться на ваше честное слово!» Где теперь мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы не можете верить мне. Я совсем упал в ваших глазах. Нет, лучше умереть! — Все это я проговорил плачущим голосом, хотя слез у меня не было.

— Мне больно за вас,— сказала Катриона,— но, право, вы слишком совестливы. Вы говорите, что я не поверю вам. Да я бы вам во всем доверилась! Что же касается этих людей, то я и думать о них не хочу! Ведь они хотят поймать вас в ловушку и уничтожить! Фи! Теперь не время унижаться! Поднимите голову! Я буду восторгаться вами, как героем, вами, мальчиком почти одних лет со мною! Стоит ли придавать такое значение нескольким лишним словам, сказанным другу, который скорее умрет, чем выдаст вас!

— Катриона,— спросил я, глядя на нее исподлобья,— правда это? Вы бы доверились мне?

— Неужели вы не верите моим словам? — воскликнула она.— Я чрезвычайно высокого мнения о вас, мистер Давид Бальфур. Пускай вас повесят. Я вас никогда не забуду, я состарюсь и все буду помнить вас. Мне кажется, что в такой смерти есть что-то великое. Я буду завидовать тому, что вас повесили!

— А может быть, меня запугали как ребенка? — сказал я.— Они, может быть, только смеются надо мной.

— Это мне нужно знать,— ответила она,— я должна знать все. Ошибка, во всяком случае, уже сделана. А теперь расскажите мне все.

Я сел на краю дороги; она опустилась рядом со мной. Я рассказал ей все дело почти так, как написал здесь, пропустив только свои соображения о поведении ее отца.

— Ну,— заметила она, когда я кончил,— вы действительно герой, хотя я никогда бы этого не подумала. Мне кажется также, что вам угрожает опасность. О, Симон Фрэзер! Можно ли было ожидать! Участвовать в таком деле ради жизни и денег! — И вдруг она громко воскликнула: — Ах, мучение! Взгляните на солнце!

Это выражение: «Ах, мучение!» — я впоследствии часто слышал от нее: оно входило в состав ее собственного оригинального языка.

Действительно, солнце уже склонялось к горам.

Она велела мне скоро опять прийти, подала руку и оставила меня в самом радостном волнении. Я не торопился возвращаться на свою квартиру, так как боялся немедленного ареста, но поужинал на постоялом дворе и большую часть ночи одиноко бродил среди ячменных полей, так ясно чувствуя присутствие Катрионы, точно нес ее на руках.

VIII. Наемный убийца

На следующий день, 29 августа, я пришел на свидание к адвокату в новом платье, сшитом по моему заказу.

— А, — сказал Престонгрэндж, — вы сегодня очень нарядны; у моих барышень будет прекрасный кавалер. Это очень любезно с вашей стороны, мистер Давид, очень любезно! О, мы еще прекрасно поживем, и мне кажется, что ваши невзгоды с этого времени почти закончились.

— У вас есть что-нибудь новое для меня? — воскликнул я.

— Сверх ожидания, да, — отвечал он. — Ваши свидетельские показания в конце концов все-таки будут приняты. Вы, если желаете, можете поехать со мной на суд, который состоится в Инвераре в четверг, 21 сентября.

Я от удивления не находил слов.

— А пока, — продолжал он, — я хотя и не прошу вас возобновить свое обязательство, но должен посоветовать вам все держать в тайне. Завтра с вас снимут предварительное показание. Чем менее лишнего будет сказано, тем лучше.

— Постараюсь быть скромным, — сказал я. — Я думаю, что обязан вам этою милостью, и от души благодарю вас. После вчерашнего, милорд, это мне кажется раем. Я едва могу поверить.

— Надо, однако, постараться поверить, — сказал он успокоительно. — Я очень рад, что вы считаете себя обязанным мне: вы можете вскоре, даже сейчас же отплатить мне. Дело значительно изменилось. Ваши показания, которыми я сегодня не буду беспокоить вас, без сомнения, повлияют на исход дела относительно всех заинтере-

сованных в нем лиц, и потому мне в разговоре будет легче коснуться с вами одного обстоятельства...

— Милорд,— прервал я,— извините, что я перебиваю вас, но как это удалось сделать? Препятствия, о которых вы говорили мне в субботу, даже мне показались непреодолимыми. Как же все устроилось?

— Милейший мистер Давид,— отвечал он,— я не вправе разглашать «даже вам», как вы говорите, совещания правительства. Вы должны удовольствоваться самим фактом.

Говоря это, он глядел на меня с отеческой улыбкой, играя в то же время новым пером. Мне казалось невозможным, чтобы в его словах была тень обмана, но, когда он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и снова обратился ко мне, я уже не чувствовал этой уверенности и инстинктивно насторожился.

— Я желал бы коснуться одного обстоятельства,— начал он.— Я намеренно оставил его прежде в стороне, но теперь этого больше не нужно. Это, разумеется, не имеет отношения к допросу, который будет производиться другим лицом и представляет для меня только частный интерес. Вы говорите, что встретили Алана Брека на холме.

— Да, милорд,— отвечал я.

— Сейчас же после убийства?

— Да.

— Говорили с ним?

— Да.

— Вы, вероятно, знали его еще раньше? — вскользь спросил он.

— Не могу догадаться, почему вы так думаете, милорд,— отвечал я,— но я действительно знал его.

— Когда вы снова расстались с ним? — спросил он.

— Я отказываюсь отвечать,— сказал я,— этот вопрос будет мне предложен в суде.

— Поймите же, мистер Бальфур,— сказал он,— что мой вопрос не может повредить вам. Я обещал сохранить вам жизнь и честь и, поверьте, смогу сдержать свое слово. Поэтому вам нечего тревожиться. Вы, кажется, полагаете, что можете помочь Алану, а между тем говорите о благодарности, которую — вы заставляете меня сказать это — я действительно заслужил. Множество различных

соображений подсказывают одно и то же. Я никогда не откажусь от мысли, что если бы вы только захотели, то могли бы навести нас на след Алана.

— Милорд,— сказал я,— даю вам слово, что я даже не подозреваю, где Алан.

Он на минуту остановился.

— А как его можно найти? — спросил он.

Я сидел перед ним как чурбан.

— Так вот какова ваша благодарность, мистер Давид! — заметил он. Опять наступило молчание.— Ну,— сказал он, вставая,— мне не везет: мы не понимаем друг друга. Не будем больше говорить об этом. Вы получите извещение, когда, где и кто будет вас допрашивать. А теперь мои барышни, вероятно, ждут вас. Они никогда не простят мне, что я задерживаю их кавалера.

Вслед за этими словами я был передан в распоряжение трех граций, которые были разряжены так, как я и вообразить не мог, и составляли очаровательный букет.

Когда мы выходили из дверей, случилось маленькое событие, которое имело, как оказалось, очень важные последствия. Я услышал громкий свист, прозвучавший точно короткий сигнал, и, оглянувшись вокруг, на миг заметил рыжую голову Нэйля, сына Дункана. В следующую минуту он уже исчез, и я не увидел даже края платья Катрионы, которую, как я подумал, вероятно, сопровождал Нэйль.

Мои три телохранителя повели меня по Бристо и Брунтсвильд-Линкс. Отсюда дорога привела нас в Гоп-Парк — красивый сад с дорожками, усыпанными гравием, со скамейками, навесами и охраняемый сторожем. Дорога туда была немного длинна. Две младшие леди напустили на себя усталый вид, что ужасно тяготило меня, а старшая смотрела на меня почти со смехом. И хотя я старался себя уверить, что на этот раз являюсь им в лучшем свете, чем накануне, мне стоило большого труда держаться независимо. Когда мы пришли в парк, я очутился в обществе восьми или десяти молодых джентльменов — среди них было несколько офицеров, большинство же были адвокаты, — окруживших трех красавиц и пожелавших сопровождать их. Хотя меня представили всем очень любезно, но, казалось, обо мне немедленно все забыли. Молодые люди в обществе похожи на диких

зверей: они или нападают на чужого человека, или без всякой вежливости и, если можно так сказать, человеколюбия пренебрегают им. Я уверен, что если бы очутился среди павианов, то меня встретили бы точно так же. Некоторые адвокаты принялись острить, а офицеры шуметь, и я не могу сказать, кто из них больше раздражал меня. За их манеру держать шпагу или прикасаться к полам кафтана я бы из зависти охотно вытолкал их из парка. Я уверен, что они, со своей стороны, чрезвычайно завидовали мне потому, что я явился сюда в таком прелестном обществе. Вследствие всего этого я скоро оказался позади и чопорно выступал в тылу всей веселой компании, погруженный в собственные думы.

Меня вывел из раздумья один из офицеров, лейтенант Гектор Дункансби, хитрый и неуклюжий гайлэндер. Он спросил, не Пальфуром ли меня зовут.

— Да,— отвечал я не особенно любезно, так как находил, что тон его недостаточно вежлив.

— А, Пальфур,— сказал он и продолжал повторять: — Пальфур, Пальфур!

— Я боюсь, что мое имя не нравится вам, сэр? — спросил я, досадуя на самого себя, что сержусь на этого неотесанного малого.

— Нет,— отвечал он,— но я думал...

— Я бы посоветовал вам лучше не заниматься этим, сэр,— заметил я.— Я уверен, что это неподходящее для вас занятие.

— Слыхали вы когда-либо, где Алан Грегор нашел щипцы? — сказал он.

Я спросил, что он хочет этим сказать, и он, отрывисто смеясь, отвечал, что я, вероятно, в том же месте нашел кочергу и проглотил ее.

Я не мог не понять его намерения и вспыхнул.

— Прежде чем нанести оскорбления джентльмену,— сказал я,— я бы научился правильно говорить по-английски.

Подмигнув мне и кивнув, он взял меня за рукав и спокойно вывел из Гоп-Парка. Но как только гуляющие не могли нас больше видеть, его обращение переменилось.

— Ах вы лоулэндский негодяй! — закричал он и кулаком ударил меня по челюсти.

Я в ответ нанес ему такой же, если не более сильный

удар. Он отступил немного и вежливо снял передо мною шляпу.

— Я думаю, что ударов довольно,— сказал он.— Я считаю себя оскорбленным! Где видана такая наглость, чтобы королевскому офицеру осмелились говорить, что он не знает английского языка? У нас в ножнах есть шпаги, а поблизости — королевский парк. Хотите вы идти вперед или позволите мне указать вам дорогу?..

Я поклонился ему в ответ, пропустил его вперед и сам пошел за ним. Я слышал, что он по дороге что-то бормотал себе под нос об английском языке и о королевском мундире, так что я имел основание думать, что он серьезно оскорблен. Но его поведение в начале нашего знакомства опровергло это предположение. Было очевидно, что он пришел с намерением затеять со мной ссору, справедливую или несправедливую — все равно; было очевидно также, что здесь крылись новые козни моих врагов. Мне было ясно, что на этой дуэли убит буду я.

Когда мы пришли в суровый, скалистый, пустынный Кингс-Парк, мне несколько раз хотелось повернуться и убежать, так мало я был расположен показать свое неумение фехтовать и так мне не хотелось умереть или даже получить рану. Но я сообразил, что если ненависть моих врагов не остановилась перед этим, то, весьма вероятно, не остановится ни перед чем; и что хотя неприятно быть проколотым шпагой, но все-таки лучше, чем умереть на виселице. Я сообразил, кроме того, что своими неосторожными и дерзкими словами и быстрым ударом преградил себе все пути к отступлению; что если я даже убегу, то противник мой, по всей вероятности, будет преследовать и поймают меня, и к остальным моим невзгодам еще прибавится бесчестие. В конце концов я продолжал идти за ним, как преступник идет за палачом, без искры надежды в сердце.

Мы миновали утесы и пришли в Хентерс-Пог. Здесь, на площадке, поросшей дерном, мой противник обнажил шпагу. Никто не видел нас, кроме нескольких птиц. Мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и стать в позицию, стараясь казаться как можно спокойнее. Но, видимо, это не удовлетворило мистера Дункансби, который нашел какую-то ошибку в моих действиях, остановился, пристально посмотрел на меня, отошел, за-

тем снова сделал выпад и стал угрожать мне поднятым вверх острием шпаги. Так как у Алана я не видел таких приемов и, кроме того, был очень встревожен мыслью о близкой смерти, то совершенно растерялся и беспомощно стоял, желая только одного — убежать.

— Что с вами? — закричал лейтенант и внезапным выпадом выбил шпагу из моих рук, отбросив ее далеко в камыши.

Этот маневр он повторил трижды. Когда я на третий раз принес обратно свое опозоренное оружие, я увидел, что он вложил свою шпагу в ножны и ожидал меня с сердитым видом, засунув руки за борт мундира.

— Будь я проклят, если дотронусь до вас! — воскликнул он и с горечью осведомился, какое я имею право выходить на дуэль с «шентльменом», если не умею отличать острую сторону шпаги от тупой.

Я отвечал, что в этом виновато мое воспитание, и спросил, признает ли он, что я, приняв его вызов, дал ему удовлетворение и что в трусости он меня не может упрекнуть.

— Это правда, — сказал он, — я сам храбр как лев. Но стоять, как вы, ничего не понимая в фехтовании, — уверяю вас, я не способен на подобное дело. Я очень сожалею, что ударил вас, хотя, мне кажется, вы ударили меня еще сильнее: у меня до сих пор трещит голова. Если бы я только знал, как обстоит дело, то, уверяю вас, не согласился бы на подобную штуку.

— Хорошо сказано, — отвечал я. — Я уверен, что вы не захотите во второй раз действовать по наущению моих личных врагов.

— Разумеется, нет, Пальфур, — сказал он. — Мне кажется, что и со мной поступили нехорошо, заставив сражаться со старой бабой или, что все равно, с малым ребенком! Я это скажу Ловату и, ей-богу, вызову его самого!

— Если бы вы знали, в чем причина моей ссоры с мистером Симоном, — сказал я, — вы были бы еще более возмущены тем, что вас вмешивают в подобные дела.

Он поклялся, что верит этому, потому что все Ловаты испечены из одной муки, которую молот сам дьявол. Затем он вдруг пожал мне руку и объявил, что я все-таки порядочный малый, но только жаль, что мое воспитание

так запущено, и, что если у него будет время, он сам позаботится о нем.

— Вы можете оказать мне гораздо большую услугу,— сказал я и на вопрос, в чем она состоит, прибавил: — Пойдемте вместе со мной к одному из моих врагов и удостоверьте, как я вел себя сегодня. Это будет настоящей услугой. Хотя мистер Симон на первый раз и прислал мне любезного противника, но в мыслях у него было убийство. Он пошлет другого, за другим — третьего. А так как вы видели мое умение обращаться с холодным оружием, то сами можете судить, каков будет результат.

— Мне бы тоже это не понравилось, если бы я сражался на шпагах вроде вас! — воскликнул он. — Но я помогу вам, Пальфур. Ведите!

Если, направляясь в этот проклятый парк, я шел медленно, то на обратном пути мои ноги несли меня очень быстро. Помню, что я ощущал сильную жажду, по дороге напился у колодца святой Маргариты и что вода показалась мне необычайно вкусной. Мы прошли через церковь, вышли из церковной двери, спустились нижним ходом и прямо пришли к дому Престонгрэнджа, сговорившись по дороге о подробностях предстоящего разговора. Лакей заявил, что хозяин дома, но занят с другими джентльменами очень секретным делом и приказал не принимать.

— Мое дело займет всего три минуты, и я не могу ждать,— сказал я. — Можете сказать, что оно вовсе не секретно и я даже буду рад свидетелям.

Когда лакей довольно неохотно отправился с нашим поручением, мы решили последовать за ним в переднюю, куда доносились голоса из соседней комнаты. Там заседали трое: Престонгрэндж, Симон Фрэзер и мистер Эрскин, пертский шериф. А так как они собрались для совещания по поводу аппинского убийства, то мое появление, очевидно, помешало им. Однако они согласились принять меня.

— Ну, мистер Бальфур, что вас опять привело сюда? И кого это вы ведете с собой? — спросил Престонгрэндж.

Фрэзер молча глядел на стол.

— Он пришел сюда, чтобы принести свидетельство в мою пользу, милорд, и мне кажется, что вам необходимо выслушать его,— ответил я и повернулся к Дункансби.

— Я должен заявить,— сказал лейтенант,— что сегодня дрался на дуэли с Пальфуром в Хентерс-Пог, о чем теперь чрезвычайно жалею, а также, что он вел себя как только можно требовать от джентльмена и что я питаю большое уважение к Пальфуру.

— Благодарю вас за ваше честное заявление,— сказал я.

Затем Дункансби поклонился и вышел из комнаты, как мы условились заранее.

— Какое мне дело до этого? — спросил Престонгрэндж.

— Я объясню это вам в двух словах, милорд,— сказал я.— Я привел этого джентльмена, королевского офицера, чтобы мне была оказана справедливость. Я думаю, что теперь мое чувство чести удостоверено. До известного дня — вы знаете до какого, милорд,— будет совершенно бесполезно натравливать на меня других офицеров. Я не соглашусь прорубать себе дорогу сквозь весь гарнизон замка.

Жилы налились на лбу Престонгрэнджа, и он яростно взглянул на меня.

— Я думаю, что сам черт толкнул этого мальчишку мне под ноги! — воскликнул он. Затем, обратившись со свирепым видом к своему соседу, продолжал: — Это ваше дело, Симон. Я узнаю вашу руку и, позвольте вам заметить, недоволен вами. Сговорившись воспользоваться одним средством, нечестно тайком прибегать к другому. Вы поступили со мной нечестно. Как, вы заставляете меня посылать туда этого мальчишку вместе с моими дочерьми! И лишь потому, что я намекнул вам... Фу, сэр, не вмешивайте других в свои бесчестные дела!

Симон страшно побледнел.

— Я больше не хочу служить мячом между вами и герцогом! — воскликнул он.— Кончайте или соглашением, или ссорой, но не впутывайте в это меня. Я не хочу более быть у вас на посылках, получать ваши противоречивые указания и выслушивать порицания как от того, так и от другого.

Один лишь шериф Эрскин сохранял самообладание и спокойно вмешался в разговор.

— А пока,— сказал он,— я думаю, мы должны сказать мистеру Бальфуру, что репутация храбрости утверж-

дена за ним. Он может спать спокойно. До того дня, на который он намекал, его храбрость больше не будет подвергаться испытанию.

Его хладнокровие напомнило им о том, что надо быть осторожными, и, пробормотав несколько вежливых фраз, они поспешили выводить меня из дома.

IX. Страна вереска в огне

Когда я покинул Престонгрэнджа, то впервые почувствовал гнев. Адвокат насмеялся надо мной. Он уверял, что мои показания будут приняты и что он сам позаботится о моей безопасности. И оказалось, что в это время не только Симон покушался на мою жизнь при помощи гайлэндского офицера, но, как следовало из собственных слов Престонгрэнджа, он тоже приводил в исполнение какой-то свой проект. Я сосчитал своих врагов: Престонгрэндж, поддерживаемый королевской властью; герцог — глава западного Гайлэнда; рядом с ними и в помощь им — Ловат, имеющий огромную силу на севере и повелевающий целым кланом якобитских шпионов и продажных людей. Вспомнив затем Джемса Мора и рыжую голову Дунканова сына — Нэйля, я подумал, что в этом союзе, может быть, участвует еще четвертый и что остатки отчаянного клана Роб-Роя соединятся против меня с остальными. Мне было необходимо иметь сильного друга или умного советника. Вероятно, вокруг меня было много людей, желающих и способных помочь мне, иначе Ловат, герцог и Престонгрэндж не искали бы средств отделаться от меня. Я приходил в ярость при мысли, что могу на улице пройти мимо своего сторонника и не узнать его.

И точно в ответ на мои мысли, какой-то джентльмен, проходя мимо, толкнул меня, бросил многозначительный взгляд и свернул в тупик. Я сразу узнал его — это был стряпчий Чарлз Стюарт. Благословляя судьбу, я пошел вслед за ним. Войдя в тупик, я увидел, что он стоит у входа на лестницу. Он сделал мне знак и тотчас исчез. Семью этажами выше я снова увидел его у двери в квартиру, которую он запер на ключ, как только мы вошли.

Квартира была совсем пустая, без всяких признаков мебели. Это была одна из квартир, которые Стюарту поручено было сдать.

— Нам придется сидеть на полу, — сказал он, — но зато мы здесь в безопасности, а я очень желал видеть вас, мистер Бальфур.

— Как дела Алана? — спросил я.

— Отлично, — отвечал он. — Энди завтра забирает его с Джилланских песков. Ему очень хотелось попрощаться с вами, но в нынешнем положении, я думаю, что вам лучше не встречаться. Теперь скажите мне главное: как подвигается ваше дело?

— Мне сегодня утром объявили, — сказал я, — что мои свидетельские показания будут приняты и что я отправляюсь в Инверари вместе с адвокатом.

— Ну, этому я никогда не поверю! — воскликнул Стюарт.

— У меня самого есть некоторые подозрения, — сказал я, — но мне очень бы хотелось выслушать ваши доводы.

— Уверяю вас, я страшно взбешен! — воскликнул Стюарт. — Если бы моя рука могла дотянуться до их правительства, я сорвал бы его, как испорченное яблоко. Я адвокат Аппина и Джемса Глэнского, и потому моя обязанность защищать жизнь моего родственника. Послушайте только, как идут мои дела, и судите сами. Им прежде всего надо отделаться от Алана. Они не могут привлечь Джемса в качестве соучастника, пока не привлекут сначала Алана как главного виновника. Это закон: нельзя ставить телегу перед лошадью.

— Как же они могут привлечь Алана, не поймав его? — спросил я.

— Есть возможность избежать ареста, — сказал он. — На это тоже есть закон. Было бы очень удобно, если бы вследствие бегства одного злоумышленника другой остался безнаказанным. Чтобы избежать этого, вызывают главного виновника и, в случае неявки, заочно приговаривают его. Можно делать вызов в четырех местах: на месте жительства обвиняемого — там, где он прожил не менее сорока дней; в главном городе графства, где он обыкновенно проживает; или, наконец, — если есть основание предполагать, что он не в Шотландии, — на Эдин-

бургском перекрестке, на дамбе и берегу Лейта, в продолжение шестидесяти дней. Цель последнего постановления очевидна: отходящие корабли могут успеть сообщить эти сведения за границу и тогда вызов не будет простой формальностью. Теперь представьте себе случай с Аланом. Я никогда не слышал, чтобы у него был постоянный дом. Я был бы весьма обязан человеку, который бы указал, где после сорок пятого года Алан прожил сорок дней. Нет графства, где бы он постоянно или временно пребывал. Если у него вообще есть жилище, в чем я сомневаюсь, то, вероятно, в полку, во Франции; и если он еще не уехал из Шотландии, что мы знаем, а они подозревают, то самый недалекий человек поймет, что он стремится уехать. Где же и каким образом должен быть сделан вызов? Я спрашиваю это у вас, не юриста.

— Вы сами сказали,— отвечал я,— здесь на перекрестке, на дамбе и берегу Лейта, в продолжение шестидесяти дней.

— В таком случае, вы лучший юрист, чем Престонгрэндж! — воскликнул стряпчий. — Он один только раз вызвал Алана, двадцать пятого, в тот день, когда мы встретились впервые. Вызвал раз и на этом покончил. И где? На перекрестке в Инверари — главном городе Кемпбеллов! Скажу вам по секрету, мистер Бальфур, они не ищут Алана.

— Что вы хотите сказать? — воскликнул я. — Не ищут его?

— По моим соображениям, нет,— сказал он. — Мне кажется, они вовсе не желают найти его. Они, может быть, думают, что он сумеет оправдаться, и тогда Джемс, которого они главным образом преследуют, сможет вернуться. Это, вы сами видите, не дело, а заговор.

— Но могу сказать вам, что Престонгрэндж настойчиво расспрашивал об Алане,— сказал я,— хотя, как я теперь припоминаю, мне было очень легко увернуться.

— Вот, видите ли... — сказал он. — Может быть, я и неправ — это все одни догадки. А теперь я возвращаюсь к фактам. Я узнаю, что Джемс и свидетели — свидетели, мистер Бальфур! — закованы в кандалы и заключены в тесные камеры военной тюрьмы в форте Виллиам. К ним никого не пускают и запрещают им вести переписку. Это свидетелям-то, мистер Бальфур! Слыхали вы когда-либо

что-нибудь подобное? Уверяю вас, что никогда ни один старый, нечестивый Стюарт не нарушал закона более наглым образом. Об этом совершенно ясно сказано в акте парламента тысяча семисотого года, относительно неправильного заключения. Как только я узнал это, то подал прошение лорду секретарю суда и получил сегодня ответ. Вот вам и закон! Вот правосудие!

Он подал мне документ, тот самый сладкоречивый и лицемерный документ, который впоследствии был включен в памфлет «постороннего», изданный в пользу, как значилось в подзаголовке, бедной вдовы и пятерых детей Джемса.

— Смотрите,— сказал Стюарт,— он не посмел отказать мне увидаться с моим клиентом и потому «советует командиру впустить меня». Советует! Лорд-секретарь суда в Шотландии советует! Разве не ясно его намерение? Он надеется, что командир или так глуп, или, напротив, так умен, что откажется последовать совету. Мне пришлось бы возвратиться из форта Виллиам сюда. Затем последовала бы новая проволочка до получения мною нового разрешения, а они пока выгораживали бы офицера, «военного человека, совершенно незнакомого с законом»,— знаю я эту песню! Затем путешествие в третий раз. А тут уже сейчас должен начаться суд, прежде чем я успею снять первое показание. Не прав ли я, называя это заговором?

— Похоже на то,— сказал я.

— Я сейчас же докажу вам это,— возразил он.— Они имеют право держать Джемса в тюрьме, но не могут запретить мне посещать его. Они не имели права заключать свидетелей. Позволят ли мне видеть их, людей, которые должны были бы быть так же свободны, как сам лорд-секретарь суда? Читайте: «Что касается остального, то он отказывается давать какие-либо приказания зрителям тюрем, которые не совершили ничего противного их обязанностям». Ничего противного? Боже мой! А акт тысяча семисотого года? Мистер Бальфур, это взорвало меня! Я чувствую, как все горит в моей груди!

— А на простом английском языке эта фраза значит,— сказал я,— что свидетели будут по-прежнему находиться в заключении и вы не увидите их.

— Я не увижу их до Инверари, где назначен суд,—

воскликнул он,— а затем услышу слова Престонгрэнджа об ответственности, которая лежит на нем, и об огромных правах, предоставленных защите! Но я перехитрю их, мистер Давид. Я собираюсь перехватить свидетелей по дороге и попытаться добиться капли справедливости от «военного, совершенно незнакомого с законом», который будет сопровождать партию заключенных в суд.

Случилось действительно так: мистер Стюарт в первый раз увиделся со свидетелями на дороге около Тинедрума благодаря поблажке, которую сделал ему офицер.

— Меня ничто не удивит в этом деле,— заметил я.

— Но я вас удивлю! — воскликнул он.— Видите вы это? — И он показал мне брошюру, только что вышедшую из печатного станка.— Это обвинительный акт. Смотрите, вот имя Престонгрэнджа под списком свидетелей, и в нем не упоминается ни слова о Бальфуре. Но дело не в этом. Как вы думаете, кто платил за печатание этой брошюры?

— Предполагаю, что король Георг,— сказал я.

— Представьте себе, что я! — воскликнул он.— Положим, она печаталась ими для них, для Грантов, и Эрскинов, и того ночного вора, Симона Фрэзера. Но разве я мог получить обвинительный акт? Нет! Я должен был с закрытыми глазами идти на защиту, я должен был слышать обвинение в первый раз в суде вместе с присяжными.

— Разве это не противозаконно? — спросил я.

— Не могу утверждать это,— отвечал он.— Эта любовь была так естественна и оказывалась так постоянно до нашего дела, что закон никогда и не занимался этим вопросом. А теперь подивитесь руке провидения! Посторонний человек приходит в печатню Флеминга, видит на полу корректуру, поднимает ее и приносит мне. Тогда я дал отпечатать этот документ на средства защиты. Слыхал ли кто что-либо подобное? И теперь он доступен всем, великий секрет известен, все его могут видеть. Но как вы думаете: как их поведение должно было понравиться мне, на чьей ответственности жизнь моего родственника?

— Я думаю, что оно вам совсем не понравилось,— сказал я.

— Теперь вы видите, как обстоит дело,— заключил

он,— и почему я смеюсь вам прямо в лицо, когда вы говорите, что вас допустят давать показания.

Теперь настала моя очередь. Я вкратце рассказал ему об угрозах и предложениях мистера Симона, о сцене, последовавшей после у Престонгрэнджа. О первом своем разговоре я, согласно обещанию, не сказал ничего, да в этом и не было надобности. Пока я говорил, Стюарт все время кивал головой, как механическая кукла. Но как только я кончил, он открыл рот и с особым выражением произнес только одно слово:

— Исчезните!

— Я не понимаю вас,— заметил я.

— Так я объясню вам,— отвечал он.— По моему мнению, вам так или иначе надо исчезнуть. Об этом и спору нет. Адвокат, в котором еще остались некоторые проблески порядочности, добился вашей безопасности у герцога и Симона. Он отказался отдать вас под суд и отказался убить вас. И вот в чем причина их несогласий, так как Симон и герцог не могут быть верными ни другу, ни врагу! Итак, вас не будут судить и не убьют вас, но могут похитить и увезти, как леди Грэндж, или я глубоко ошибаюсь! Готов держать пари на что угодно, в этом и заключалось их «средство».

— Это наводит меня на мысль...— сказал я и рассказал ему о свистке и о рыжем слуге Нэйле.

— Уж где Джемс Мор, там всегда какая-нибудь мошенническая проделка, в этом не сомневайтесь,— сказал он.— Его отец был вовсе не дурным человеком, хотя не уважал законов и не был другом моей семьи, так что мне нечего стараться защищать его. Что же касается Джемса, то он хитрец и негодяй. Мне так же, как и вам, чрезвычайно не нравится появление рыжего Нэйля. Это выглядит нехорошо, да. Это дурно пахнет. Старый Ловат устроил дело леди Грэндж. Если молодой Ловат займется вашим, то это будет в духе семьи. За что Джемс Мор сидит в тюрьме? За такое же преступление — похищение. Его слуги привыкли к подобной работе. Он предоставит их в распоряжение Симона, и вскоре мы услышим, что Джемс прощен или что он бежал, а вы будете в Бенбекуле или в Эпплькроссе.

— По-вашему выходит, что это серьезное дело,— заметил я.

— Я хочу, чтобы вы скрылись, пока они еще не успели наложить на вас руки,— заключил он.— Сидите спокойно до самого суда и появьтесь в самый последний момент, когда вас менее всего будут ждать. Конечно, все это говорится в предположении, что ваше свидетельство, мистер Бальфур, стоит того, чтобы подвергаться такому риску и таким неприятностям.

— Скажу вам одно,— ответил я,— я видел убийцу, и то был не Алан.

— Тогда, клянусь небом, мой родственник спасен! — воскликнул Стюарт.— Жизнь его зависит от ваших показаний. Нечего жалеть ни времени, ни денег — ничего, лишь бы иметь возможность появиться на суде.— Он вытряхнул на пол содержимое своих карманов.— Берите, что вам понадобится до окончания дела. Ступайте прямо по этому переулку. От него ведет прямая дорога на Ланг-Дейкс. И послушайте меня, не возвращайтесь в Эдинбург, пока вся эта суматоха не уляжется.

— Куда же мне идти? — спросил я.

— Я очень бы хотел указать вам,— отвечал он,— но всюду, куда я мог бы вас направить, они непременно будут искать. Нет, уж лучше решайте сами, и да поможет вам бог! За пять дней до суда, шестнадцатого сентября, известите меня. Я буду в Стирлинге, в «Королевском гербе». И если вы до тех пор сумеете уберечься, то я позабочусь, чтобы вы добрались до Инверари.

— Еще одно,— сказал я,— могу я видеть Алана?

Он, казалось, был в нерешимости.

— Лучше бы вам не видаться,— отвечал он.— Однако не могу отрицать, что Алан очень этого желает и нарочно будет находиться ночью у Сильвермилльса. Если вы убедитесь, что за вами не следят, мистер Бальфур,— по только убедитесь в этом,— то спрячьтесь в удобном месте и наблюдайте целый час за дорогой, прежде чем рискнуть. Было бы ужасно, если бы вас обоих схватили.

Х. Рыжий человек

Было около половины четвертого, когда я вышел на Ланг-Дейкс. Я хотел идти в Дин. Так как там жила Катриона, а ее родственникам, гленджайльским Мак-

Грегорам, почти наверняка поручили поймать меня, то это было одно из немногих мест, которых мне следовало избегать. Но так как я был очень молод и вдобавок влюблен, то, не задумываясь, повернул в этом направлении. Однако чтобы успокоить свою совесть и проявить здравый смысл, я принял меры предосторожности. Дойдя до вершины небольшого холма по дороге, я спрятался в ячмень и стал ждать. Через некоторое время прошел человек, похожий на гайлэндера, но которого я никогда прежде не видел. Вскоре затем появился рыжий Нэйль, потом проехала телега мельника, а после проходили только обыкновенные поселяне. Этого было бы достаточно, чтобы самого смелого человека отклонить от его намерения, но мое увлечение Катрионой было слишком сильно, и меня тянуло к ней. Я убедил себя, что если Нэйль идет по этой дороге, то это понятно: ведь она ведет к двери его господина. Что же касается другого гайлэндера, то, если я буду пугаться всякого встречного горца, вряд ли достигну чего-либо. И, вполне удовлетворенный такими легкомысленными рассуждениями, я быстро зашагал и немного позже четырех был у дома миссис Друммонд Ожильви.

Обе леди находились в доме, и, увидев их вместе у открытой двери, я снял шляпу и сказал: «Мальчик пришел за сикспенсом», — думая, что это понравится вдове.

Катриона выбежала и сердечно поздоровалась со мной. К моему великому удивлению, старая леди была не менее любезна. Гораздо позже я узнал, что она на рассвете послала верхового к Ранкэйлору в Куинзферри, услышав, что он поверенный Шоос-гауза. Сейчас у нее в кармане лежало письмо моего доброго друга, который рекомендовал меня с самой лучшей стороны. Мне не надо было читать этого письма, чтобы догадаться об ее намерениях. Очень возможно, что я был «деревенщиной», но все же не в такой степени, как она полагала. Даже для моего немудрящего ума было ясно, что она затеяла устроить брак своей родственницы с безбородым юношей, кое-что значившим как лэрд в Лотиане.

— Пусть Сикспенс закусит с нами, Кэтрин, — сказала она. — Сбегай и распорядись.

Пока мы оставались одни, она очень старалась угодить мне. Она делала это умно, прикрываясь шуткой, все время называла меня Сикспенсом, но так, что я должен

был значительно повиситься в собственном мнении. Когда вернулась Катриона, то намерения старухи, если это было возможно, стали еще очевиднее: она расхваливала девушку, как барышник своего коня. Я краснел при мысли, что она считает меня таким дураком. То мне казалось, что девушка ни в чем не виновата, и я готов был поколотить старуху; то казалось, что обе они сговорились поймать меня в ловушку, и тогда я сидел между ними с мрачным и злым видом. Наконец свахе пришлось в голову оставить нас одних. Когда у меня возникают какие-нибудь подозрения, мне бывает трудно усыпить их. Но хотя я и знал, к какому воровскому роду принадлежала Катриона, все же я не мог смотреть ей в лицо и не верить в ее искренность.

— Я не должна вас расспрашивать? — с живостью спросила она, как только мы остались одни.

— Нет, сегодня я могу говорить с чистой совестью, — ответил я. — Я освобожден от своего слова, и после того, что произошло сегодня утром, я не стал бы держать его, если бы даже меня и просили.

— Так расскажите мне все, — попросила она. — Моя родственница скоро вернется.

Итак, я рассказал ей всю историю с лейтенантом — от начала до конца, — стараясь представить ее в возможно более смешном виде, и действительно в этой бессмыслице было много забавного.

— Ну, мне кажется, вам так же мало везет с суровыми мужчинами, как и с прекрасными леди! — сказала она, когда я кончил. — Но кто же был ваш отец, что не научил вас владеть шпагой? Это совсем неблагородно. Я ни про кого не слыхала ничего подобного.

— Во всяком случае, это очень неудобно для меня, — отвечал я. — Вероятно, мой отец — добропорядочный человек — сделал большую ошибку, научив меня вместо этого латыни. Но вы видите, я делаю, что могу: стою неподвижно и позволяю рубить себя.

— Знаете ли, чему я улыбаюсь? — спросила она. — Вот чему. Я рождена быть мужчиной. В своих мечтах я всегда юноша: я представляю себе, что со мной происходит и то и другое. Когда же дело доходит до боя, я вспоминаю, что я только девушка, не умею держать шпаги или нанести хороший удар. И тогда мне приходится пере-

делывать всю историю таким образом, чтобы поединок прекратился, но я все-таки остаюсь победительницей, совсем как вы в вашей истории с лейтенантом. Я тоже все время произношу прекрасные речи, совсем как мистер Давид Бальфур.

— Вы кровожадная девушка,— сказал я.

— Я знаю, что надо уметь шить, пряхсть и вышивать,— отвечала она,— но если бы это было вашим единственным занятием, вы бы нашли его скучным. Но это не значит, что я хочу убивать людей. Убили вы кого-нибудь в жизни?

— Представьте себе, да! Я убил двоих, будучи мальчиком, которому место было еще в колледже,— сказал я.— А между тем я не стыжусь вспомнить об этом.

— Но что вы чувствовали после убийства? — спросила она.

— Я сидел и ревел как ребенок,— отвечал я.

— Мне это знакомо! — воскликнула она.— Я понимаю, откуда берутся эти слезы. Но, во всяком случае, мне не хотелось бы убивать: я бы хотела быть Катериной Дуглас, просунувшей руку в засов и сломавшей ее. Это моя любимая героиня. Не хотели бы вы так умереть за своего короля? — спросила она.

— По правде сказать,— заметил я,— моя любовь к королю — да благословит его бог! — более сдержанна. И мне кажется, что я сегодня так близко от себя видел смерть, что теперь мечтаю больше о жизни.

— Вы правы! — сказала она.— Такое чувство достойно мужчины! Только вам надо научиться фехтовать. Мне не хотелось бы иметь друга, не умеющего сражаться. Но вы, наверно, не шпагой убили тех двоих.

— Нет,— отвечал я,— я убил их из пистолета. К счастью, эти люди находились очень близко от меня, потому что я так же хорошо владею пистолетом, как и шпагой.

Таким образом она выпытала у меня о схватке на бриге, о которой я умолчал, когда впервые рассказал ей о своих делах.

— Да,— сказала она,— вы храбрый! А другом вашим я восхищаюсь и люблю его.

— Я думаю, что нельзя не любить его! — сказал я.— У него, как и у всех, есть свои недостатки, но он храбр,

верен и добр, да благословит его бог! Странно было бы мне забыть Алана.

Мысль о нем, о возможности увидеться с ним этой ночью не давала мне покоя.

— Где у меня голова, ведь я не поделилась с вами моей новостью! — воскликнула Катриона и рассказала, что получила письмо от отца, сообщавшего, что она может на следующий день навестить его в замке, куда его перевели, и что дела его поправляются. — Вы не желаете это слышать? — прибавила она. — Неужели вы осуждаете моего отца, не зная его?

— Я вовсе не осуждаю его, — возразил я. — Даю вам слово, я очень рад, что вы теперь спокойнее. Если выражение моего лица и изменилось, то сознайтесь, что сегодня неудачный день для примирений и что с людьми, стоящими у власти, очень скверно иметь дело. Этот Симон Фрэзер все еще сильно удручает меня.

— О, — воскликнула она, — надеюсь, вы не будете сравнивать! Вам надо помнить, что Престонгрэндж и Джемс Мор, мой отец, — одной крови.

— Я никогда об этом не слышал, — сказал я.

— Странно, что вы так мало знакомы с этим, — сказала она. — Одни могут называться Грантами, а другие Мак-Грегорами, но они все-таки принадлежат к одному клану. Все они сыны Альпина, по имени которого, я думаю, называется наша страна.

— Какая страна? — спросил я.

— Моя и ваша родина, — отвечала она.

— Сегодня день открытий, кажется, — сказал я. — Я всегда думал, что она называется Шотландией.

— Шотландия — имя страны, которую вы называете Ирландией, — отвечала она. — Старинное же и настоящее название земли, где мы живем и из которой мы созданы, Альбан. Она называлась Альбан, когда наши предки сражались за нее против Рима и Александра, и ее до сих пор называют так на вашем языке, который вы забыли.

— По правде, я никогда и не учился ему, — сказал я. У меня не хватило духу поправить ее насчет Александра Македонского.

— Но ваши предки говорили на нем много поколений подряд, — сказала она. — На нем пели колыбельные песни, когда нас еще не было на свете. И ваше имя еще

напоминает о нем. О, если бы вы говорили на этом языке, я показалась бы вам совсем другой. Мое сердце говорит этим языком.

Я пообедал с обеими леди. Все было очень вкусно; еду подавали на старинной посуде; и вино было отличное, так как миссис Ожильви, кажется, была богата. Разговаривали мы тоже довольно приятно. Но когда я увидел, что солнце начало быстро опускаться и тени становятся все длиннее, я встал, чтобы проститься. Мысленно я решил уже повидаться с Аланом. Поэтому мне нужно было засветло добраться до леса, где мы должны были встретиться. Катриона проводила меня до садовой калитки.

— Я долго вас не увижу? — спросила она.

— Не знаю, — отвечал я, — может быть, долго, может быть, никогда...

— И это может случиться, — сказала она. — Вам жаль?

Я наклонил голову, глядя на нее.

— Мне-то, во всяком случае, жаль, — сказала она. — Я не часто видела вас, но очень уважаю вас. Вы правдивы и храбры. Я думаю, что со временем вы будете больше похожи на мужчину. Я буду рада услышать об этом. Если дело пойдет худо, все погибнет, как мы этого опасаемся, помните, что у вас есть друг. После вашей смерти, когда я стану старухой, я буду рассказывать моим внукам о Давиде Бальфуре, и слезы будут катиться по моим щекам. Я расскажу им, как мы расстались, и что я сказала, и что я сделала. Господь храни вас и направляй, об этом молит ваш маленький друг, так сказала я, а вот что я сделала...

Она взяла мою руку и поцеловала ее. Это так меня поразило, что я вскрикнул, точно меня ударили. Она покраснела, взглянула на меня и наклонила голову.

— Да, мистер Давид, — сказала она, — вот что я думаю о вас. Я вам отдала свою душу вместе с этим поцелуем.

Я прочел на ее лице воодушевление, но это было рыцарское чувство отважного ребенка, и ничего больше. Она поцеловала мне руку, как поцеловала бы ее принцу Чарли, с тем возвышенным чувством, какого не знают заурядные люди. Никогда я так отчетливо не сознавал, что влюблен в нее, и никогда не видел так ясно, как мно-

го мне еще нужно достичь, чтобы она полюбила меня такою же любовью. Однако я должен был сознаться, что немного поднялся в ее глазах и что сердце ее билось в лад с моим.

После той чести, которую она оказала мне, я не мог ограничиться выражением банальной любезности. Мне даже трудно было говорить; ее голос чуть не вызвал слезы на мои глаза.

— Благодарю вас за вашу доброту, дорогая,— сказал я.— До свидания, маленький друг.— Я назвал ее именем, которое она сама дала себе. Затем я поклонился и ушел.

Дорога моя лежала вниз по долине Лейс-Ривера, по направлению к Стокбриджу и Сильвермилльсу.

Тропинка шла по краю долины, посредине которой волновался и шумел поток. Солнечные лучи падали с запада среди длинных теней и при поворотах долины освещали все новые картины, создавая как бы новый мир в каждом уголке ее. Воспоминание о Катрионе и надежда увидеть Алана точно придавали мне крылья. К тому же мне бесконечно нравились и место, и час, и говор воды. Я замедлял шаги и беспрестанно оглядывался. Вот почему, а также благодаря провидению, я заметил неподалеку от себя в кустах рыжую голову.

В моем сердце вспыхнула злоба. Я повернулся и быстро пошел обратно. Тропинка проходила мимо кустов, где я видел голову. Минуя эту засаду, я приготовился встретить и отразить нападение, но ничего подобного не случилось, и я беспрепятственно пошел дальше. От этого страх мой только увеличился. Было еще светло, но место казалось чрезвычайно пустынным. Если мои преследователи упустили такой удобный случай поймать меня, то я мог предположить, что им надо было большего, чем Давид Бальфур. Ответственность за жизнь Алана и Джемса лежала у меня на душе тяжелым бременем.

Катриона все еще прогуливалась в саду.

— Катриона,— сказал я,— я снова вернулся к вам.

— С изменившимся лицом,— прибавила она.

— Я отвечаю за две человеческие жизни, кроме своей собственной,— сказал я.— Было бы грешно и стыдно пренебрегать осторожностью. Я не знал, хорошо ли я делаю, что пришел сюда. Мне было бы очень жаль, если бы из-за этого мы попали в беду.

— Есть человек, которому было бы еще более жаль и которому очень не нравятся ваши слова! — воскликнула она. — Что же я сделала, чтобы дать вам право так говорить?

— Вы не одни, — отвечал я. — С тех пор как я ушел от вас, за мной следили, и я могу назвать своего преследователя: это Нэйль, сын Дункана, слуга вашего отца.

— Вы, вероятно, ошиблись, — сказала она, побледнев. — Нэйль в Эдинбурге по поручению отца.

— Этого я и боюсь, — ответил я, — то есть последнего. Что же касается его пребывания в Эдинбурге, то, мне кажется, я могу доказать вам обратное. Вероятно, у вас есть какой-нибудь сигнал на случай необходимости, по которому он придет вам на помощь, если только находится поблизости.

— Откуда вы это знаете? — спросила она.

— При помощи магического талисмана, данного мне богом при рождении и называемого здравым смыслом, — отвечал я. — Подайте, пожалуйста, ваш сигнал, и я покажу вам рыжую голову Нэйля.

Не сомневаюсь, что я говорил резко и с горечью: на душе у меня было тяжело. Я осуждал и себя самого, и девушку и ненавидел обоих: ее — за подлую семью, из которой она происходила; себя — за то, что бездумно засунул голову в такое осипое гнездо.

Катриона приставила пальцы ко рту и свистнула. Свист ее был чрезвычайно чистый, отчетливый и сильный, как у мужчины. Некоторое время мы стояли неподвижно. Я уже собирался просить ее повторить, когда услышал, что кто-то пробирается в чаще снизу. Я с улыбкой протянул руку в этом направлении, и вскоре Нэйль прыгнул в сад. Глаза его горели, а в руках он держал обнаженный «черный нож», как говорят в Гайлэнде, но, увидев меня рядом со своей госпожой, остановился, точно пораженный ударом.

— Он пришел на ваш зов, — сказал я, — можете судить, как близко он был от Эдинбурга и какого рода поручение ему дал ваш отец. Спросите его самого. Если благодаря вашему плану я сам должен лишиться жизни или лишиться тех, кто от меня зависит, то лучше предоставьте мне идти на опасность с открытыми глазами.

Она взволнованно заговорила с ним по-гэльски.

Вспомнив изысканную вежливость Алана в подобных случаях, мне захотелось горько рассмеяться. Теперь именно, видя мои подозрения, ей следовало бы придерживаться английского языка.

Она обращалась к нему с вопросами раза два или три, и я мог заметить, что Нэйль, несмотря на свое рабочее, казался очень рассерженным.

Затем она обратилась ко мне.

— Он клянется, что вам ничего не грозит,— сказала она.

— Катриона,— возразил я,— верите ли вы ему сами? Она заломила руки.

— Разве я могу знать? — воскликнула она.

— Но я должен найти способ узнать это,— сказал я.— Я не могу больше бродить в потемках, когда должен заботиться о двух человеческих жизнях! Катриона, попытайтесь стать на мое место! Клянусь богом, что я всеми силами стараюсь стать на ваше. Между нами никогда не должно было произойти такого разговора, нет, никогда! Сердце мое надрывается из-за этого. Попробуйте задержать вашего слугу до двух часов ночи, больше ничего не надо. Попытайтесь добиться этого от него.

Они опять заговорили по-гэльски.

— Он говорит, что получил поручение от Джемса Мора, моего отца,— сказала она. Она стала еще бледнее, и голос ее при этих словах задрожал.

— Теперь все достаточно ясно! — заметил я.— Да простит бог нечестивых!

Она не произнесла ни слова, но продолжала смотреть на меня, и лицо ее было все так же бледно.

— Прекрасное это дело! — продолжал я.— Значит, я должен погибнуть, и те двое вместе со мной.

— О, что мне делать? — воскликнула она.— Разве я могу противиться приказанию моего отца, когда он в тюрьме и жизнь его в опасности!

— Может быть, мы ошибаемся,— сказал я.— Не лжет ли Нэйль? У него, может, и не было прямых приказаний. Все, вероятно, устроил Симон, и ваш отец ничего об этом не знает.

Она расплакалась, и совесть стала сильно упрекать меня, так как девушка была действительно в ужасном положении.

— Ну,— сказал я,— задержите его хоть на час. Я тогда рискну и благословлю вас.

Она протянула мне руку.

— Я так нуждаюсь в добром слове,— рыдала она.

— Так на целый час, не правда ли? — проговорил я, держа ее руку в своей.— Три жизни зависят от этого, дорогая!

— На целый час! — воскликнула она и стала громко молиться богу, чтобы он простил ее.

Я решил, что мне здесь нечего оставаться, и побежал.

XI. Лес около Сильвермилльса

Я не терял времени и со всех ног бросился через долину, мимо Стокбрига и Сильвермилльса. По уговору, Алан должен был каждую ночь, между двенадцатью и двумя часами, скрываться в мелком леске к востоку от Сильвермилльса и к югу от южной мельничной запруды. Я нашел это место довольно легко. Лесок рос на крутом склоне, у подножия которого, быстрый и глубокий, шумел мельничный водоворот. Здесь я пошел медленнее и стал спокойнее обсуждать свой образ действий. Я увидел, что уговор мой с Катрионой ничему не мог помочь. Нельзя было предположить, чтобы Нэйля одного послали на это дело, но он, может быть, был единственным человеком, принадлежавшим к партии Джемса Мора. В последнем случае оказалось бы, что я содействовал тому, чтобы повесили отца Катрионы, и ничего не сделал существенного для собственного спасения. По правде сказать, мне раньше это не приходило в голову. Предположим, что, задержав Нэйля, девушка этим способствовала гибели своего отца. Я подумал, что она бы никогда не простила себе этого. А если меня в эту минуту преследовали еще и другие, то зачем я иду к Алану? Что я принесу ему, кроме опасности? Может ли это быть мне приятно?

Я был уже на западном краю леса, когда эти два соображения вдруг поразили меня. Ноги мои сами собой остановились и сердце тоже. «Что за безумную игру я веду?» — подумал я и сейчас же повернулся, собираясь пойти в другое место.

Повернувшись, я увидел перед собой Сильвермилльс. Тропинка, обогнув деревню, образовала изгиб, но вся была на виду. На ней никого не было видно: ни гайлэндеров, ни лоулэндеров. Вот то выгодное стечение обстоятельств, которым мне советовал воспользоваться Стюарт! Я сбоку обогнул запруду, осторожно обошел вокруг восточного угла, прошел его насквозь и вернулся к западной опушке, откуда снова мог наблюдать за дорогой, не будучи виден сам. Она была свободна. Я начинал успокаиваться.

Более часа сидел я, спрятавшись между деревьями, и ни заяц, ни орел не могли наблюдать внимательнее. Когда я засел там, солнце уже зашло, но небо еще золотилось и было светло. Однако не прошло и часа, как очертания предметов стали смутными, и наблюдение становилось трудным. За все это время ни один человек не прошел на восток от Сильвермилльса, а те, которые шли на запад, были честными поселянами, возвращающимися с женами на отдых. Если бы меня даже преследовали самые хитрые шпионы во всей Европе, то и тогда, подумал я, было бы невозможно догадаться, где я нахожусь. И, войдя немного глубже в лес, я прилег и стал ждать Алана.

Я напрягал свое внимание насколько мог и стерег не только дорогу, но и все кусты и поля, которые мог охватить глазом. Первая четверть луны сверкала между деревьями. Все кругом дышало сельской тишиной. Лежа на спине в продолжение трех или четырех часов, я имел прекрасный случай обдумать все свое поведение.

Сначала мне пришли в голову два соображения: во-первых, я не имел права идти в этот день в Дин, и, во-вторых, если я все-таки пошел туда, я не имел права теперь находиться здесь. Из всех лесов Шотландии именно этот лес, куда должен был прийти Алан, был, естественно, запретным местом для меня. Я соглашался с этим и все-таки оставался в лесу, удивляясь сам себе. Я подумал о том, как дурно обошелся с Катрионой в эту самую ночь, как болтал ей о двух жизнях, за которые я отвечаю, и этим вынудил ее ухудшить положение ее отца. А теперь я опять рисковал этими жизнями из-за одного своего легкомыслия. От спокойной совести зависит храбрость. Как только предо мной обнаружилось мое поведе-

ние, мне показалось, что я, безоружный, стою среди опасностей. Я вдруг присел. Что, если я пойду к Престон-грэнджу, увижусь с ним, что очень легко сделать, пока он еще не спит, и изъявлю ему свою полную покорность? Кто осудил бы меня? Не Стюарт. Мне стоило только сказать, что за мной гнались, что я отчаялся выбраться из своего тяжелого положения и поэтому сдался. Но Катриона? Здесь у меня опять был готов ответ: я не мог допустить, чтобы она предала своего отца. Итак, я в одну минуту мог избавиться от забот, которые, по правде сказать, были не моими: снять с себя обвинение в аппинском убийстве, освободиться от всех Стюартов и Кемпбеллов, вигов и тори всей страны, жить по собственному усмотрению, наслаждаться своим богатством и умножать его, посвятить свои досуги ухаживанию за Катрионой, что, во всяком случае, было для меня более подходящим занятием, чем скрываться подобно вору, возобновив, быть может, ту ужасную жизнь, которую я вел, бежав с Аланом.

Такая капитуляция не показалась мне постыдной; я только удивлялся, что раньше не додумался до этого. Потом я стал искать причины такой внезапной перемены в моих убеждениях. Сначала я подумал, что причина всего этого заключалась в том, что я пал духом, а это, в свою очередь, было следствием беспечности, порожденной старым, широко распространенным среди людей грехом — слабохарактерностью. Следуя только по приятному пути, отдаваясь влечению к молодой девушке, я совершенно позабыл о чести и подвергнул опасности жизнь Джемса и Алана. А теперь я хочу выпутаться из затруднения тем же способом. Нет, вред, нанесенный делу моим эгоизмом, должен быть исправлен. Я принял решение, которое мне менее всего нравилось: уйти из лесу, не дождавшись Алана, и отправиться одному дальше, в темноту, где меня ждали тревога и опасности.

Я так подробно описал ход моих размышлений потому, что считаю это полезным для молодых людей. Но говорят, что есть свои резоны, чтобы сажать капусту, и что даже в религии и этике есть место для здравого смысла. Час прихода Алана был уже близок, и месяц успел спрятаться. Если я уйду, то мои соглядатаи могут

не заметить меня в темноте и по ошибке напасть на Алана; если же я останусь, то смогу, по крайней мере, предостеречь моего друга и спасти его. Потворствуя своим слабостям, я рисковал жизнью другого человека. Было бы неразумно подвергать его снова опасности только потому, что я желал искупить свою ошибку. С этими мыслями я встал со своего места, потом сел снова, но уже в другом расположении духа, в равной мере удивляясь тому, что я поддался слабости, и в то же время радуясь вновь обретенному спокойствию.

Вскоре в чаще послышался шорох. Приложив губы почти к земле, я просвистел одну или две ноты Алановой песни. Последовал такой же осторожный ответ, и вскоре мы с Аланом столкнулись в темноте.

— Ты ли это, наконец, Дэви? — прошептал он.

— Я самый, — отвечал я.

— Боже, как мне хотелось тебя увидеть! — сказал он. — Время тянулось бесконечно долго. Целыми днями я прятался в стог сена, в котором не мог разглядеть даже своих пальцев. А потом эти часы, когда я ждал тебя, а ты все не приходил! Честное слово, ты пришел не слишком рано! Ведь завтра я уезжаю! Что я говорю — завтра? Сегодня, хотел я сказать!

— Да, Алан, сегодня, — сказал я. — Теперь уже, верно, позже двенадцати, и вы уедете сегодня. Длинный вам путь предстоит!

— Мы прежде хорошенько побеседуем, — сказал он.

— Разумеется, и я могу рассказать вам много интересного, — ответил я.

Я довольно сбивчиво рассказал ему обо всем, что произошло. Однако, когда я кончил, ему все было ясно. Он слушал, задавал очень мало вопросов, время от времени от души смеялся, и его смех в особенности здесь, в темноте, где мы не могли видеть друг друга, был мне необыкновенно приятен.

— Да, Дэви, ты странный человек, — сказал он, когда я кончил свой рассказ, — ты порядочный чудак, и я не желал бы встречаться с подобными тебе. Что же касается твоей истории, то Престонгрэндж — виг, такой же, как и ты, и потому я постараюсь поменьше говорить о нем, и, честное слово, я верю, что он был бы твоим лучшим другом, если бы ты только мог доверять ему. Но Симон

Фрэзер и Джемс Мор — скоты, и я называю их именем, которое они заслужили. Сам черт был отцом Фрэзеров — это всякий знает. Что же касается Грегоров, то я не выносил их с тех пор, как научился стоять. Я помню, что расквасил одному из них нос, когда еще был так не тверд на ногах, что сидел у него на голове. Отец мой — упокой его господь! — очень гордился этим, и, признаюсь, имел основание. Я никогда не стану отрицать, что Робин недурной флейтист, — прибавил он. — Что же касается Джемса Мора, то черт бы его побрал!

— Мы должны обсудить один вопрос, — сказал я. — Прав или не прав Чарлз Стюарт? Только ли за мной они гонятся или за нами обоими?

— А каково ваше собственное мнение, многоопытный человек? — спросил он.

— Я не могу решить, — ответил я.

— Я тоже, — сказал Алан. — Ты думаешь, эта девушка сдержит слово? — спросил он.

— Да, — ответил я.

— Ну, за это нельзя ручаться, — сказал он. — И, во всяком случае, все это дело прошлое: рыжий слуга Джемса уже давно успел присоединиться к остальным.

— Как вы думаете, сколько их? — спросил я.

— Это зависит от их намерений, — ответил Алан. — Если они хотят поймать только тебя, то пошлют двух-трех энергичных и проворных малых, а если рассчитывают и на меня, то пошлют, наверное, десять или двенадцать человек, — прибавил он.

Я не мог сдержаться и рассмеялся.

— Я думаю, что ты своими глазами видел, как я заставил отступить такое же количество противников и даже больше! — воскликнул он.

— Это теперь не имеет значения, — сказал я, — так как сию минуту они не гонятся за нами.

— Ты так думаешь? — спросил он. — А я несколько не удивился бы, если б они теперь сторожили этот лес. Видишь ли, Давид, это все гайлэндеры. Между ними, вероятно, есть и Фрэзеры, есть кое-кто из клана Грегоров, и я не могу отрицать, что и те и другие, в особенности Грегоры, очень умные и опытные люди. Человек мало что знает, пока не прогонит, положим, стадо рогатого скота на протяжении десяти миль в то время, когда раз-

бойники гонятся за ним. Вот тут-то я и приобрел большую часть своей проницательности. Нечего и говорить, это лучше, чем война. Но и война тоже хорошее дело, хотя, в общем, довольно скучное. У Грегоров была большая практика.

— Без сомнения, в этом отношении многое упущено в моем воспитании,— сказал я.

— Я постоянно вижу это на тебе,— возразил Алан.— Но вот что странно в людях, учившихся в колледже: вы невежественны и не хотите признаться в этом. Я не знаю греческого и еврейского, но, милый мой, я сознаю, что не знаю их,— в этом вся разница. А ты лежишь на животе вот тут в лесу и говоришь мне, что избавился от всех Фрэзеров и Мак-Грегоров. «Потому что я не видел их»,— говоришь ты. Ах ты глупая башка, ведь быть невидимыми — это их главный способ действий.

— Хорошо, подготовимся к худшему,— сказал я.— Что же нам делать?

— Я задаю тебе тот же вопрос,— ответил он.— Мы могли бы разойтись. Это мне не особенно нравится, и, кроме того, у меня есть основания возражать против этого. Во-первых, теперь совершенно темно, и есть некоторая возможность улизнуть от них. Если мы будем вместе, то пойдем в одном направлении; если же порознь, то в двух: более вероятно наткнуться на кого-нибудь из этих джентльменов. Во-вторых, если они поймают нас, то дело может дойти до драки, Дэви, и тогда, признаюсь, я был бы рад тому, что ты рядом со мной, и думаю, что и тебе не помешало бы мое присутствие. Итак, по-моему, нам надо немедленно выбраться отсюда и направиться на Джиллан, где стоит мой корабль. Это напомнит нам прошлые дни, Дэви. А потом нам надо подумать, что тебе делать. Мне тяжело оставлять тебя здесь одного.

— Будь по-вашему! — сказал я.— Вы пойдете туда, где вы остановились?

— На кой черт! — сказал Алан.— Хозяева, положим, относились ко мне недурно, но, думаю, очень бы разочаровались, если б снова увидели меня, так как при теперешних обстоятельствах я не могу считаться желанным гостем. Тем сильнее я жажду вашего общества, мистер Давид Бальфур из Шооса,— гордитесь этим! С тех пор

как мы расстались у Корсторфайна, я, кроме двух разговоров с Чарлзом Стюартом здесь, в лесу, не говорил почти ни слова.

С этими словами он поднялся с места, и мы стали потихоньку двигаться по лесу в восточном направлении.

ХII. Я снова в пути с Аланом

Было, должно быть, около часа или двух ночи; месяц как я уже говорил, скрылся; с запада внезапно подул довольно сильный ветер, гнавший тяжелые разорванные тучи. Мы пустились в путь в такой темноте, о какой только может мечтать беглец; вскоре прошли через Пикарди и миновали мою старинную знакомую — виселицу с двумя ворами. Немного далее мы увидели полезный для нас сигнал: огонек в верхнем окне дома в Лохенде. Мы наудачу направились к нему и, потоптав кое-где жатву, спотыкаясь и падая в канавы, наконец очутились в болотистой пустоши, называемой Фиггат-Винс. Здесь, под кустом дрока, мы подремали до утра.

Мы проснулись около пяти часов. Утро было прекрасное. Западный ветер продолжал сильно дуть и унес все тучи по направлению к Европе. Алан уже сидел и улыбался. С тех пор как мы расстались, я в первый раз видел моего друга и глядел на него с большой радостью. На нем был все тот же широкий плащ, но — это было новостью — он надел вязаные гетры, достигавшие до колен. Без сомнения, они должны были изменить его вид, но день обещал быть теплым, и костюм его был немного не по сезону.

— Ну, Дэви,— сказал он,— разве сегодня не славное утро? Вот такой денек, каким должны быть все дни! Это не то, что ночевать в стоге сена. Пока ты наслаждался сном, я сделал нечто, что делаю чрезвычайно редко.

— Что же такое? — спросил я.

— Я молился,— сказал он.

— А где же мои джентльмены, как вы называете их? — спросил я.

— Бог знает,— ответил он.— Во всяком случае, мы

должны рискнуть. Вставай, Давид! Идем снова наудачу! Нам предстоит прекрасная прогулка.

Мы направились на восток, идя вдоль морского берега, к тому месту, где подле устья Эска курятся соляные ямы. Утреннее солнце необыкновенно красиво сверкало на Артуровом стуле¹ и на зеленых Петландских горах. Прелесть этого дня, казалось, раздражала Алана.

— Я чувствую себя дураком,— говорил он,— покидая Шотландию в подобный день. Эта мысль не выходит у меня из головы. Мне, пожалуй, было бы приятнее остаться здесь и быть повешенным.

— Нет, нет, Алан, это вам не понравится,— сказал я.

— Не потому, что Франция плохая страна,— объяснил он,— но все-таки это не то. Она, может быть, и лучше других стран, но не лучше Шотландии. Я очень люблю Францию, когда нахожусь там, но я тоскую по шотландским тетеревам и по торфяному дыму.

— Если вам больше не на что жаловаться, Алан, то это еще не так важно,— сказал я.

— Мне вообще не пристало жаловаться на что бы то ни было,— сказал он,— после того как я вылез из проклятого стога.

— Вам, должно быть, страшно надоел ваш стог? — спросил я.

— Нельзя сказать, что именно надоел,— отвечал он.— Я не из тех, кто легко падает духом, но я лучше чувствую себя на свежем воздухе и когда у меня небо над головой. Я похож на старого Блэка Дугласа: он больше любил слышать пение жаворонка, чем писк мыши. А в том месте, Дэви,— хотя должен сознаться, это подходящее место для того, чтобы прятаться,— было совершенно темно с утра до ночи. Эти дни — или ночи, потому что я не мог отличить одно от другого,— казались мне долгими, как зима.

— А как вы узнавали час, когда вам надо было идти на свидание? — спросил я.

— Хозяин около одиннадцати часов вечера приносил мне еду, немного водки и огарок свечи, чтобы можно было поесть при свете,— сказал он.— Тогда-то мне пора было отправляться в лес. Я лежал там и горько тосковал

¹ Артуров стул — название горы в окрестностях Эдинбурга.

по тебе, Дэви,— продолжал он, положив мне руку на плечо,— и старался угадать, прошло ли уже два часа, если не приходил Чарли Стюарт и я не узнавал этого по его часам. Затем я отправлялся обратно к своему ужасному стогу сена. Да, это было скучное занятие, и я благодарю бога, что покончил с ним.

— Что же вы делали там? — спросил я.

— Старался как можно лучше провести время. Иногда я играл в костяшки — я отлично играю в костяшки,— но неинтересно играть, когда никто не восхищается тобой. Иногда я сочинял песни.

— О чем? — спросил я.

— Об оленях, о вереске,— сказал он,— о старых вождах, которых давно уже нет, о том, о чем вообще поется в песнях. Иногда я старался вообразить себе, что у меня две флейты и я играю. Я играл длинные арии, и мне казалось, что я играю их замечательно хорошо. Уверяю тебя, иногда я даже слышал, как фальшивил! Но главное то, что все это кончилось.

Затем он заставил меня снова рассказать о своихключениях, которые опять выслушал сначала со всеми подробностями, чрезвычайно одобрительно и по временам уверяя меня, что я «странный, но храбрый малый».

— Так ты испугался Симона Фрэзера? — спросил он как-то.

— Еще бы! — воскликнул я.

— Я также испугался бы его, Дэви,— сказал он.— Это действительно ужасный человек. Но следует и ему воздать должное: могу уверить тебя, что на поле сражения это весьма порядочная личность.

— Разве он так храбр? — спросил я.

— Храбр? — сказал он.— Он более непоколебим, чем стальной меч.

Рассказ о моей дуэли вывел Алана из себя.

— Подумать только! — воскликнул он.— Ведь я учил тебя в Корринаки. Три раза, три раза обезоружить! Да это позор для меня, твоего учителя! Вставай, вынимай свое оружие. Ты не сойдешь с места, пока не будешь в состоянии поддержать свою и мою честь!

— Алан,— сказал я,— это просто безумие. Теперь не время брать уроки фехтования.

— Я не могу отрицать этого,— сознался он.— Но три раза! А ты стоял как соломенное чучело и бегал поднимать свою шпагу, как собака — носовой платок!.. Давид, этот Дункансби, должно быть, необыкновенный боец! Он, вероятно, чрезвычайно искусен. Если бы у меня было время, я вернулся бы и попробовал бы сам подраться с ним. Он, должно быть, мастер этого дела.

— Глупый человек,— сказал я,— вы забываете, что ведь он бился со мной.

— Нет,— сказал он,— но три раза!

— Вы же сами знаете, что я совершенно не искушен в этом деле! — воскликнул я.

— Нет, я никогда не слышал ничего подобного,— сказал он.

— Я обещаю вам одно, Алан,— заметил я,— когда мы встретимся в следующий раз, я буду фехтовать лучше. Вам не придется иметь друга, не умеющего наносить удары.

— «В следующий раз»! — сказал он.— Когда это будет, желал бы я знать?

— Ну, Алан, я об этом тоже уже думал,— отвечал я,— и вот мой план: я хотел бы сделаться адвокатом.

— Это скучное ремесло, Дэви,— сказал Алан,— и, кроме того, там приходится кривить душой. Тебе лучше бы пошел королевский мундир.

— Вернейший способ нам встретиться! — воскликнул я.— Но так как вы будете в мундире короля Людовика, а я — короля Георга, то это будет щекотливая встреча.

— Ты, пожалуй, прав,— согласился он.

— Так уж я лучше буду адвокатом,— продолжал я.— Я думаю, что это более подходящее занятие для человека, которого три раза обезоружили. Но лучше всего вот что: один из лучших колледжей для изучения права — колледж, где учился мой родственник Пильриг,— находится в Лейдене, в Голландии. Что вы на это скажете, Алан? Не смог бы волонтер королевских шотландцев получить отпуск, незаметно промаршировать до Лейдена и навестить лейденского студента?

— Конечно, смог бы! — воскликнул он.— Видишь ли, я в хороших отношениях с моим полковником, графом Дрюммонд-Мельфортом, и — что еще важнее! — мой

двоюродный брат, подполковник, служит в полку голландских шотландцев. Ничего не может быть проще, как получить отпуск, чтобы навестить подполковника Стюарта из Галькета. Граф Мельфорт, очень ученый человек, пишущий книги, как Цезарь, без сомнения будет очень рад воспользоваться моими наблюдениями.

— Разве граф Мельфорт писатель? — спросил я. Хотя Алан выше всего ставил воинов, но я лично предпочитал тех, кто пишет книги.

— Да, Давид, — сказал он. — Можно было бы заметить, что полковник должен был найти себе лучшее занятие. Но могу ли я осуждать его, когда сам сочиняю песни?

— Хорошо! — заметил я. — Теперь вам остается только дать мне адрес, куда писать вам во Францию. А как только я попаду в Лейден, я пришлю вам свой.

— Лучше всего писать мне на имя моего вожда, — сказал он, — Чарлза Стюарта Ардшиля, эсквайра, в город Мелон, в Иль-де-Франс. Рано ли, поздно ли, но твое письмо в конце концов попадет в мои руки.

В Мюссельбурге, где мы завтракали треской, меня чрезвычайно позабавили разговоры Алана. Его плащ и гетры в это теплое утро привлекали к себе внимание, и, может быть, было действительно разумно объяснить посторонним, почему он так одет. Алан принялся за это дело крайне ретиво. Он болтал с хозяйкой дома, хвалил ее способ изготовления трески, потом все время жаловался на простуженный живот и с серьезным видом рассказал о всех симптомах своей болезни. После этого он с большим интересом выслушал все советы, которые дала ему старуха.

Мы покинули Мюссельбург до того, как туда пришел дилижанс из Эдинбурга, так как, по словам Алана, нам следовало избегать подобной встречи. Ветер, хотя и сильный, был очень теплый, солнце пригревало, и Алан в своем костюме страдал от жары. От Престонпанса мы свернули на Гладсмюрское поле, где он гораздо подробнее, чем требовалось, стал мне описывать сражение, происходившее на этом поле. Отсюда прежним быстрым шагом мы пошли в Кокензи. Хотя здесь и сооружались рыбацьи снасти для ловли сельдей, все же это был пустынный, отживающий свой век полуразрушенный горо-

док. Но местная пивная отличалась чистотой, и Алан, сильно разгорячившись, все-таки выпил бутылку эля и снова рассказал хозяйке старую историю о своем простуженном животе, только теперь симптомы его болезни были совсем иные.

Я сидел и слушал, и мне пришло в голову, что я не припомню, чтобы он обратился к женщинам хотя бы с тремя серьезными словами. Он всегда шутил, зубоскалил и в душе издевался над ними, но им все это казалось интересным. Я заметил это ему, когда хозяйку вызвали из комнаты.

— Чего ты хочешь? — сказал он. — Мужчина должен уметь занимать женщин: он должен рассказывать им разные истории, чтобы позабавить их, бедных овечек! Тебе следовало бы поучиться этому, Давид. Тебе надо бы усвоить приемы этого своего рода ремесла. Если бы вместо старухи была молодая и хоть сколько-нибудь красивая девушка, я не стал бы говорить с нею о своем животе, Дэви. Но когда женщины слишком стары, чтобы искать развлечений, они непременно хотят быть аптекарями. Почему? Да разве я знаю? Думаю, что такими уж сотворил их бог. Но я считаю, что тот дурак, кто не старается им понравиться.

Тут вернулась хозяйка, и Алан быстро отвернулся от меня, словно ему не терпелось продолжать прежний разговор. Хозяйка начала рассказывать о происшествии, случившемся с ее зятем в Аберлэди, болезнь и смерть которого она описала чрезвычайно пространно. Рассказ ее был не только скучен, но иногда и страшен, так как она говорила с большим чувством. Поэтому я впал в глубокое раздумье, выглядывая из окна на дорогу и едва замечая, что там происходит. Но вдруг я вздрогнул.

— Мы клали ему припарки к ногам, — говорила хозяйка, — и горячие камни на живот, и давали ему иссоп, и настойку из болотной мяти, и прекрасный, чистый серый бальзам...

— Сэр, — сказал я Алану спокойно, перебивая ее, — сейчас мимо прошел один из моих друзей.

— Неужели? — отвечал Алан, точно это было совсем не важно, и продолжал: — Вы говорили, сударыня?..

И надоедливая женщина продолжала свой рассказ.

Вскоре, однако, он заплатил ей монетой в полкроны, и она должна была пойти за сдачей.

— Кто это был? Рыжеголовый? — спросил Алан.

— Вы угадали, — ответил я.

— Что я тебе говорил, там, в лесу? — воскликнул он. — Все-таки странно, что он тут! Он был один?

— Совершенно один, насколько я мог видеть, — сказал я.

— Он прошел мимо? — спросил он.

— Он шел мимо, — сказал я, — и не оглядывался по сторонам.

— Это еще более странно, — сказал Алан. — Я думаю, Дэви, что нам надо уходить. Но куда? Черт знает, это становится похожим на прежние времена! — воскликнул он.

— Однако разница в том, — сказал я, — что теперь у нас есть деньги.

— И еще в том, мистер Бальфур, — заметил Алан, — что теперь мы выслежены: собаки уже нашли след и вся свора гонится за нами, Давид. Дело плохо, черт бы его побрал! — Он серьезно призадумался, глядя перед собой со знакомым мне выражением лица. — Вот что, хозяйш-ка, — сказал он, когда она вернулась, — есть у вас другой выход из постоялого двора?

Она отвечала, что есть, и объяснила, куда он выходит.

— В таком случае, сэр, — сказал он, обращаясь ко мне, — мне кажется, что этот путь будет самым коротким. До свидания, милая. Я не забуду про настойку из корицы.

Мы вышли через огород и пошли по тропинке среди полей. Алан зорко смотрел по сторонам и, увидев, что мы находимся в небольшой котловине, скрыгой от взглядов людей, присел на траву.

— Будем держать военный совет, Дэви, — сказал он. — Но прежде всего надо дать тебе маленький урок. Представь себе, что я был бы похож на тебя, — что о нас вспомнила бы старуха? Только то, что мы вышли через задний ход. А о чем теперь она будет вспоминать? О том, что к ней зашел изящный молодой человек, страдающий болезнью желудка, который очень заинтересовался рассказом о ее зяте. О Дэви, постарайся научиться немного соображать!

— Я постараюсь, Алан,— сказал я.

— А теперь вернемся к рыжему,— продолжал он.— Как он шел — быстро или медленно?

— Ни то, ни другое,— сказал я.

— Он не торопился? — спросил он.

— Нисколько,— ответил я.

— Гм!..— сказал Алан.— Это очень странно. Мы сегодня утром никого не заметили на Фиггат-Винсе. Он, видимо, обогнал нас и как будто нас не искал, а между тем очутился на нашем пути. Ну, Дэви, я начинаю понимать. Мне кажется, что они ищут не тебя, а меня. И, думаю, отлично знают, куда идти.

— Знают? — спросил я.

— Я думаю, что Энди Скоугель продал меня,— он сам, или его помощник, знавший кое-что, или же клерк Чарли Стюарт, что было бы прискорбно,— сказал Алан.— Если хочешь знать мое мнение, то мне кажется, что на Джилланских песках будет разбито несколько голов.

— Алан,— воскликнул я,— если вы окажетесь правы, там будет много народу! Будет мало пользы от того, что вы разобьете несколько голов.

— Это все-таки было бы некоторым удовлетворением,— сказал Алан.— Но подожди немного, подожди! Я думаю, что благодаря этому западному ветру у меня еще есть возможность спастись. Вот каким образом, Дэви. Мы сговорились встретиться с этим Скоугелем с наступлением темноты. «Но,— сказал он,— если будет хоть малейший западный ветер, то я окажусь на месте гораздо раньше и буду стоять за островом Фидра». Если наши преследователи знают место, то они должны знать также и время. Понимаешь, что я хочу сказать, Дэви? Благодаря Джонни Копу и другим дуракам в красных мундирах я знаю эту страну как свои пять пальцев. И если ты согласен снова бежать с Аланом Бреком, то мы можем опять углубиться в страну и снова выйти на берег моря у Дирлетона. Если корабль там, то постараемся попасть на него; если же его нет, то мне опять придется вернуться в свой скучный стог сена. В обоих случаях я надеюсь оставить джентльменов с носом.

— Мне кажется, что есть некоторая надежда на успех,— сказал я.— Будь по-вашему, Алан!

ХIII. Джилланские пески

Бегство с Аланом не дало мне тех знаний, которые он сам получил во время своих переходов с генералом Копом. Я не могу рассказать, каким путем мы шли. Извинением мне может служить только то, что мы уж очень торопились. Временами мы бежали, временами шли быстрым шагом. Два раза во время своего быстрого движения мы наталкивались на поселян. Хотя на первого из них мы налетели прямо из-за угла, но у Алана был уже наготове вопрос.

— Не видели вы моей лошади? — задыхаясь, проговорил он.

— Нет, я не видал никакой лошади, — отвечал крестьянин.

Алан потратил некоторое время, объясняя ему, что мы путешествовали, сидя по очереди на лошади; что лошадь наша убежала и он боится, не вернулась ли она обратно в Линтон. Но и этого ему показалось мало: прерывающимся голосом он стал проклинать свое несчастье и мою глупость, которая, по его словам, была всему причиной.

— Те, которые не могут говорить правду, — заметил он, когда мы снова пустились в путь, — должны заботиться о том, чтобы оставить по себе хорошую, искусно придуманную ложь. Если люди не знают, что вы делаете, они страшно интересуются вами, но если им кажется, что они знают о вас кое-что, то интересуются вами столько же, сколько гороховой похлебкой.

Сначала мы направились в глубь страны, а под конец наш путь шел к северу. Слева мы оставили церковь в Аберлэди, справа — вершину Бервик-Ло. Идя таким образом, мы вышли на берег моря неподалеку от Дирлетона. К западу от Северного Бервика и до самого Джилланского мыса тянется цепь четырех небольших островов — Креглис, Лэм, Фидра и Айброу, — примечательных разнообразием их величины и формы. Наиболее оригинальный из них Фидра — серый островок, состоящий как бы из двух горбов; развалины, находящиеся на этом острове, привлекают к нему особое внимание. Я помню, что, когда мы подошли поближе, через окно или дверь развалившегося здания светилось море, точно человеческий глаз.

Около Фидры есть прекрасное место для стоянки судов, защищенное от западного ветра, и мы еще издали увидели стоявший там «Тистль».

Против этих островов берег совершенно пустынный. На нем не видно человеческого жилья и редко встречаются прохожие, разве иногда пробегут играющие дети. Маленькое местечко Джиллап расположено на дальнем конце мыса. Дирлетонские жители уходят работать на поля в глубь страны, а рыбаки из Северного Бервика отправляются на рыбную ловлю из своей гавани, так что пустыннее этого места едва ли сыщешь на всем берегу. Мы на животе ползли между бесчисленными кочками и выбоинами, внимательно наблюдая по сторонам, и сердца наши громко колотились в груди; солнце так ослепительно сияло, море так искрилось в его лучах, ветер так колыхал прибрежную траву, а чайки с таким шумом бросались вниз и взлетали вверх, что эта пустыня казалась мне живой. Место это, без сомнения, было бы хорошо выбрано для тайного отъезда, не будь эта тайна нарушена. Но даже и теперь, когда она стала известной и за местом этим наблюдали, нам удалось незаметно проползти до самого края песчаных холмов, где они прямо спускаются к морю.

Тут Алан остановился.

— Дэви,— сказал он,— нам предстоит трудное дело. Пока мы лежим здесь, мы в безопасности, но это ничуть не приближает меня ни к моему кораблю, ни к берегу Франции. Однако, если мы встанем и начнем подавать сигналы бригу, нас могут увидеть. Как ты думаешь, где теперь твои джентльмены?

— Они, может быть, еще не пришли,— отвечал я.— А если и пришли, то все-таки есть шанс и на нашей стороне: они ждут нас с востока, а мы пришли с запада.

— Да,— сказал Алан,— хотел бы я, чтобы нас было больше и чтобы разыгралось настоящее сражение: мы бы прекрасно проучили их! Но это не сражение, Давид, а нечто такое, что совсем не вдохновляет Алана Брека. Я не знаю, на что решиться, Давид.

— Время уходит, Алан,— заметил я.

— Знаю,— сказал Алан,— я только об этом и думаю. Но это ужасно затруднительный случай. О, если бы я только знал, где они!

— Алан,— сказал я,— это не похоже на вас. Надо действовать или теперь, или никогда.

Нст. Это не я,—

запел Алан, скорчив смешную гримасу, выражавшую и стыд и лукавство.—

Нет, не ты и не я, не ты и не я,
Нет, клянусь тебе, Джонни, не ты и не я...

Потом он вдруг встал, выпрямился и, держа в правой руке развернутый платок, стал спускаться на берег. Я тоже встал и медленно последовал за ним, разглядывая песчаные холмы к востоку от нас. Вначале Алана не заметили. Скоугель не ожидал его так рано, а преследователи наши сторожили с другой стороны. Потом вдруг его увидели с «Тистля». Вероятно, там все было уже готово, так как на палубе не произошло суеты; через секунду шлюпка обогнула корму и стала быстро приближаться к берегу. Почти в ту же минуту на расстоянии полумили по направлению к Дониλλанскому мысу на песчаном холме внезапно появилась фигура человека, размахивавшего руками. И хотя эта фигура мгновенно исчезла, чайки на том месте еще некоторое время беспокойно летали.

Алан не видел этого: он не спускал глаз с моря, судна и шлюпки.

— Будь что будет! — сказал он, когда я рассказал ему о том, что заметил.— Скорее бы пристала эта лодка, а то не снести мне головы.

Эта часть берега длинная и плоская; по ней удобно ходить во время отлива. Небольшой ручеек пересекает ее и впадает в море, а песчаные холмы у его истоков образовали как бы городские укрепления. Мы не могли видеть, что происходило за ними. Нетерпение наше не могло ускорить прибытия лодки; время как бы остановилось в эти минуты томительного ожидания.

— Мне бы хотелось знать одно,— сказал Алан,— какие приказания получили эти люди. Мы оба вместе стоим четыреста фунтов. Что, если они выстрелят в нас, Дэви? Им было бы удобно стрелять с вершины этого длинного песчаного вала.

— Это невозможно,— сказал я.— Дело в том, что у

них нет ружей. Погоня готовилась секретно. У них могут быть пистолеты, но никак не ружья.

— Я думаю, что ты прав,— заметил Алан.— Но все-таки я очень желал бы, чтобы лодка поскорей приплыла. Он щелкнул пальцами и свистнул, точно собаке.

Лодка прошла уже около трети пути, а мы находились на самом берегу моря, так что влажный песок насыпался мне в башмаки. Нам ничего не оставалось, как ждать, пристально следить за медленным приближением шлюпки, стараться не думать о длинном, непроницаемом ряде холмов, над которыми мелькали чайки и за которыми, без сомнения, скрывались наши враги.

— В этом чудесном, светлом и прохладном месте легко получить пулю в лоб,— вдруг сказал Алан.— И я хотел бы отличаться твоей храбростью, милый мой!

— Алан,— воскликнул я,— что это за разговоры! Вы сами — воплощенная храбрость. Это отличительное ваше свойство, и я готов спорить со всеми, кто в этом сомневается.

— Ты бы очень ошибся,— сказал он.— Отличительные мои свойства — это проницательность и опытность в деле. Что же касается стойкого, холодного, непоколебимого мужества, то в этом я не могу равняться с тобой. Посмотри на нас обоих в эту минуту. Я стою на песке и горю желанием уехать, а ты, насколько я знаю, еще не решил, остаться ли тебе здесь. Не думаешь ли ты, что и я захотел бы так поступить? Нет! Во-первых, у меня не хватило бы мужества, во-вторых, я очень проницательный человек и подумал бы, что меня могут засудить.

— Так вот вы к чему клоните? — воскликнул я.— О Алан, вы можете заговаривать зубы старым бабам, но меня не проведете!

Воспоминание об искушении, охватившем меня в лесу, придавало мне необычайную твердость.

— Мне надо поспеть на свидание,— продолжал я.— Я должен встретиться с вашим кузеном Чарли, я дал ему слово.

— Хорошо, если бы ты мог сдержать свое слово,— сказал Алан.— Но из-за этих господ за холмами ты не будешь иметь возможности встретиться с ним. И зачем? — продолжал он с угрожающей суровостью.— Скажи мне это, мой милый! Ты хочешь, чтобы тебя похитили, как ле-

ди Грэндж? Ты хочешь, чтобы тебя закололи кинжалом и закопали здесь, на холме? Или, может быть, случится иначе и они будут судить тебя вместе с Джемсом? Разве им можно доверять? Неужели ты хочешь вложить свою голову в пасть Симона Фрэзера и других вигов? — прибавил он с необычайной горечью.

— Алан, — воскликнул я, — все они мошенники и обманщики, я с вами согласен! Тем более нужно, чтобы в этой стране воров был хоть один порядочный человек. Я дал слово и сдержу его. Я давно уже сказал вашей родственнице, что не остановлюсь ни перед какой опасностью. Помните? Это случилось в ночь, когда был убит Красный Колин. Я и не остановлюсь. Я остаюсь здесь. Престонгрэндж обещал сохранить мне жизнь. Если он нарушит свое обещание, то я здесь же и умру.

— Хорошо, хорошо! — сказал Алан.

Все это время наши преследователи не давали о себе знать. Оказалось, что они растерялись: тогда они еще не все, как я позже узнал, прибыли на место; те же, что явились раньше, рассеялись среди холмов. Собрать их всех вместе было нелегким делом, а лодка между тем быстро подвигалась вперед. Кроме того, они были порядочные трусы — простая шайка похитителей скота, не имевшая во главе начальника-джентльмена. И чем они больше смотрели на меня и Алана, стоявших на берегу, тем менее, вероятно, им нравился наш вид.

Кто бы ни предал Алана, во всяком случае, не капитан. Он сидел в лодке и правил рулем, изо всех сил побуждая гребцов работать быстрее веслами. Лодка приближалась. Алан уже весь покраснел в ожидании скорого освобождения, как вдруг наши преследователи то ли с отчаяния, что добыча ускользнет у них из рук, то ли в надежде испугать гребцов, внезапно испустили резкий крик за холмами. Этот крик, нарушивший тишину пустынного берега, прозвучал угрожающе, и лодка мгновенно остановилась.

— Что это? — спросил капитан, так как шлюпка была теперь на расстоянии голоса.

— Мои друзья, — сказал Алан и тотчас вошел в воду, направляясь навстречу лодке. — Дэви, — прибавил он, останавливаясь, — Дэви, разве ты не идешь? Мне тяжело оставлять тебя.

— Я не сделаю ни шагу,— отвечал я.

Он постоял с секунду, колеблясь; соленая вода достигала до его колен.

— Если ты сам лезешь в петлю, я не могу помешать тебе,— сказал он.

Когда он погрузился по пояс в воду, его втащили в шлюпку, которая немедленно пошла к кораблю.

Я, заложив руки за спину, стоял там, где он оставил меня. Алан повернул голову и глядел на меня, а лодка тихо удалялась. Вдруг мне страшно захотелось заплакать, и я почувствовал себя самым одиноким юношей во всей Шотландии. Я повернулся спиной к морю и взглянул на песчаные холмы. Нигде не было следов человека. Солнце освещало мокрый песок, ветер шумел между холмами, и жалобно кричали чайки. Песчаные блохи проворно скакали на выброшенных морем водорослях. Больше ничего я не видел и не слышал на этом берегу. Между тем я сам не понимал почему, но я чувствовал, что за мной наблюдают. Это не были солдаты, иначе они сразу бы схватили нас. Без сомнения, то были обыкновенные негодяи, нанятые на мою гибель, чтобы похитить меня или же просто убить. Первое предположение казалось наиболее вероятным, но, зная характер и усердие наемников, я подумал, что второе тоже весьма возможно, и кровь похолодела у меня в жилах.

У меня явилась безумная мысль вынуть шпагу из ножен. Хотя я и не умею сражаться с джентльменами, думаю я, но в случайной схватке могу все-таки нанести врагу некоторый урон. Но я все-таки вовремя понял, что сопротивляться бессмысленно. Видимо, это и было то самое «средство», на которое намекал Престонгрэндж в разговоре с Фрэзером. Первый, я был уверен, сделал все возможное, чтобы сохранить мне жизнь; второй, весьма вероятно, дал противоречивые указания Нэйлю и его товарищам... Если бы я стал сопротивляться с оружием в руках, то попал бы прямо в руки своему злейшему врагу и подписал бы приговор.

С этими мыслями я дошел до края прибрежной полосы и оглянулся: лодка приближалась к бригу, и Алан на прощание помахал мне платком. Я ответил ему движением руки. Но Алан уже превратился в едва видимую точку на огромном пространстве, расстилавшемся передо мной.

Я нахлобучил шляпу, стиснул зубы и зашагал прямо вверх по песчаной насыпи. Подниматься было трудно: склон был крутой и песок уходил из-под ног, точно вода. Но, наконец, я ухватился руками за длинную траву, растущую на вершине, подтянулся и ступил на твердое место. В ту же минуту со всех сторон показались шесть или семь оборванцев с кинжалами в руках. Признаюсь, что я закрыл глаза и начал молиться. Когда я открыл их, мошенники безмолвно и не торопясь подползли ближе. Они не сводили с меня горящих глаз, в которых светился какой-то страх. Я поднял руки. Один из них спросил с сильным гайлэндским акцентом, сдаюсь ли я.

— Да, но протестую,— ответил я,— если вы только понимаете, что это значит, в чем я сильно сомневаюсь.

При этих словах они набросились на меня, как стая птиц на падаль, отняли шпагу, вытащили из карманов все деньги, связали мне руки и ноги крепкой веревкой, бросили меня на траву и молча глядели на своего пленника, точно он был львом или тигром, готовым вскочить и напасть на них. Но вскоре их внимание ослабло. Они придвинулись ближе друг к другу, заговорили по-гэльски и весьма цинично стали делить у меня на глазах мое имущество. Развлечением мне служило то, что я со своего места мог наблюдать за бегством моего друга. Я видел, как лодка подплыла к бригу, как надулись паруса и судно, исчезнув за островами, двинулось дальше к океану.

В продолжение двух часов не переставали приходить оборванные гайлэндеры, пока наконец их шайка не увеличилась человек до двадцати; одним из первых явился Нэйль. При каждом вновь прибывшем разговор снова оживлялся, слышались жалобы и объяснения. Я заметил, что те, кто пришел позже, не принимали участия в дележе моего добра. В конце концов они так горячо поспорили, что я подумал, уж не поссорились ли они. Затем шайка разделилась; большая часть толпой направилась к западу и только трое — Нэйль и двое других — остались меня сторожить.

— Я знаю человека, которому бы очень не понравилось ваше сегодняшнее дело, Нэйль, сын Дункана,— сказал я, когда остальные ушли.

В ответ он стал уверять, что со мной будут очень хорошо обращаться, так как он знает, что я знаком с леди.



В ту же минуту со всех сторон показались шесть или семь оборван-
цев с кинжалами в руках.

На этом кончился наш разговор, и больше никто не показался на берегу. Когда солнце зашло за гайлэндские горы и наступили сумерки, я увидел высокого, тощего, костлявого лоулэндера со смуглым лицом, приближавшегося к нам верхом на лошади.

— Что, молодцы, есть у вас такая вещь? — спросил он, держа в руках бумагу.

Нэйль подал ему другую бумагу, которую тот стал читать сквозь роговые очки. Потом, сказав, что все в порядке и мы действительно те, кого он ищет, человек этот слез с лошади. Меня посадили на его место, завязали мне ноги под животом лошади, и мы отправились в путь под предводительством лоулэндера. Он, должно быть, хорошо выбрал дорогу, так как за все время мы встретили только одну парочку влюбленных, которые, приняв нас, очевидно, за контрабандистов, бросились бежать при нашем приближении. Мы прошли у подошвы Бервик-Ло с южной стороны. Когда мы переходили через холмы, я между деревьями увидел огни деревушки и старинную церковную башню, но люди были слишком далеко, чтобы можно было позвать их на помощь, если бы я и захотел это сделать. Наконец мы снова услышали шум моря. Светила луна, но не ярко. И при этом свете я увидел три огромные башни и сломанные зубцы на стенах Танталлона — старинного укрепления Красных Дугласов. Лошадь привязали к колу на краю канавы, а меня ввели в ворота, затем во двор и в полуразрушенный коридор замка. Здесь, на каменном полу, мои проводники развели яркий огонь, — в ту ночь был небольшой мороз. Мне развязали руки, усадили около внутренней стенки и, так как лоулэндер принес провизию, дали мне хлеба из овсяной муки и кружку французской водки. Потом меня снова оставили в обществе моих трех гайлэндеров. Они сидели у самого огня, попивая водку и разговаривая. Ветер врывался через проломы стены, разносил дым и пламя и завывал в верхушках башен; внизу под скалами шумело море. Так как я был теперь спокоен за свою жизнь, а душа и тело устали от всего, что пришлось пережить в этот день, я повернулся на бок и заснул.

Не могу определить, когда меня разбудили, только месяц уже зашел и огонь почти догорел. Теперь мне развязали также и ноги и повели через развалины вниз по скло-

ну по очень крутой тропинке к бухточке между скалами, где нас ожидала рыбацья лодка. Меня посадили в нее, и мы отплыли от берега при чудном свете звезд.

XIV. Утес Басс

Я не имел понятия о том, куда меня везут, и все оглядывался по сторонам, ища глазами корабль. В моих ушах все время звучало выражение Рэнсома: «Двадцатичетырехфунтовые». «Если я еще раз подвергнусь опасности попасть на плантации, дело кончится плохо»,— думал я. Нечего было теперь ожидать другого Алана, другого кораблекрушения и запасного рея, и я представил себе, как буду работать на табачных плантациях под ударами кнута. При этой мысли дрожь пробежала по моему телу. На воде было холодно, и лодка покрылась холодной росой, так что я дрожал, сидя рядом с рулевым. Это был тот смуглый человек, которого я до сих пор называл лоулэндером. Имя его было Дэль, но обыкновенно его называли Черным Энди. Заметив, что я дрожу, он с доброй улыбкой передал мне грубую куртку с приставшей к ней рыбьей чешуей; я с радостью надел ее на себя.

— Благодарю вас за вашу доброту,— сказал я,— и осмелюсь отплатить вам за нее предостережением. Вы берете на себя большую ответственность в этом деле. Ведь вы не цевежественный дикарь-гайлэндер, а знаете, что такое закон и чем рискуют нарушающие его.

— Нельзя сказать, чтобы я уж так всегда преклонялся пред законом,— сказал он,— но в этом деле я действую совершенно спокойно.

— Что вы со мной сделаете? — спросил я.

— Ничего дурного,— ответил он,— ровно ничего. Вы будете пользоваться большой свободой. Вам будет довольно хорошо.

Поверхность моря чуть-чуть осветилась: розовые и красные пятна, точно отблески дальнего огня, появились на востоке, и в то же время проснулись бакланы и закричали на вершине Басса, который, как всякий знает, представляет собой одинокий скалистый утес, но такой громадный, что из него можно бы высечь целый город.

Море, вообще совершенно спокойное, у основания утеса глухо шумело. По мере того как светлело, я видел все отчетливее отвесные кручи, побелевшие, гочно от мороза, от следов морских птиц, покатую вершину, поросшую зеленой травой, стаю белых бакланов, кричавших со всех сторон, и темные разрушенные здания тюрьмы на самом берегу моря.

Тут внезапно открылась мне правда.

— Вы везете меня сюда! — закричал я.

— Да, в Басс, любезный, — ответил он. — Тут до вас томились древние святые, и я не думаю, что вы так же безвинно попадете в тюрьму.

— Но теперь тут никто не живет, — воскликнул я, — тюрьма давно уже обратилась в развалины!

— Тем больше удовольствия вы доставите бакланам, — сухо ответил Энди.

Становилось все светлее, и я при дневном свете увидел перевернутые вверх дном лодки между камнями, служившими рыбакам балластом, бочки и корзины, а также запас дров. Все это было выгружено на утес. Энди, я и мои три гайлэндера — я называю их своими, хотя следовало бы выразиться иначе, — тоже вышли на берег. Не успело еще взойти солнце, как лодка уже отплыла обратно, и удары весел об уключины эхом огдавались в утесах. Мы остались одни в этом странном месте заточения.

Энди Дэль был губернатором Басса, как его можно было в шутку назвать, и в то же время пастухом и хранителем дичи в этом небольшом, но богатом поместье. Он должен был смотреть за дюжиной овец, кормившихся и жиревших от травы, росшей на покато́й части утеса, и которые паслись, точно на крыше собора. Затем он должен был смотреть за бакланами, гнездившимися в утесах, от которых получался большой доход. Птенцы служили такой вкусной пищей, что гастрономы охотно платили по два шиллинга за штуку. Даже взрослые птицы дорого ценятся за сало и перья, так что часто жалованье норт-бервикского священника и до сих пор уплачивается бакланами, почему очень многие находят этот приход весьма выгодным. Для выполнения всех своих разнообразных обязанностей, а также для предохранения бакланов от воров Энди приходилось часто ночевать и проводить целые дни на утесе, так что он чувствовал себя там настоль-

ко же дома, как фермер в своей постели. Он попросил всех нас навьючить на себя кое-что из багажа, что я поспешно сделал. Через замкнутую на замок калитку—единственный вход на остров — и через развалины крепости он провел нас к дому. Зола в камине и кровать в углу указывали нам на то, что здесь было его обычное местопребывание.

Он предложил мне воспользоваться его кроватью, предполагая, сказал он, что я джентльмен.

— Мое дворянство не имеет никакого отношения к тому, где я сплю,— сказал я.— Я до сих пор жестко спал. Благодарю за это бога, я готов снова спать так же. Пока я здесь, мистер Энди,— кажется, вас так зовут,— я буду принимать участие в ваших занятиях и делить все с остальными. Вас же я прошу избавить меня от насмешек, которые, признаюсь, мне вовсе не нравятся.

Он поворчал немного на эти слова, но потом, после некоторого размышления, казалось, одобрил их. Он действительно был не глупый, рассудительный человек, хороший виг и пресвитерианец; ежедневно читал карманную библию, охотно и со знанием дела любил рассуждать о религии. Нравственность его была более сомнительна. Я узнал, что он часто занимался контрабандой и что развалины Танталлона служили ему складом контрабандных товаров. Таможенную стражу он не ставил ни в грош. Эта часть лотианского берега до сих пор совершенно дикая, и население ее одно из наиболее грубых в Шотландии.

Один случай во время моего заключения остался мне памятным по тем последствиям, которые обнаружились гораздо позже. В то время в Форте стоял военный корабль «Морской конь», под начальством капитана Паллизера. Случилось, что он крейсировал в сентябре между Файфом и Лотианом, исследуя подводные рифы. В одно прекрасное утро, очень рано, он был виден на расстоянии около двух миль к востоку от нас, где он спустил лодку и, казалось, осматривал Вильдфайрские скалы и Чертов куст — известные своей опасностью места на этом берегу. Затем, забрав лодку, корабль пошел по ветру и прямо направился на Басс. Это причинило большое беспокойство Энди и гайлэндерам: мое заточение должно было остаться в тайне, а если теперь на берег явится морской

капитан, то дело станет общеизвестным, а может быть, случится и еще худшее.

Я был один, не мог, как Алан, защищаться против столько людей и знал, что сопротивление ни в коем случае не улучшит моего положения. Приняв все это во внимание, я дал слово Энди, что буду слушать его и хорошо вести себя, и мы все отправились на вершину скалы, где легли в разных местах у края утеса, прячась и наблюдая. «Морской конь» шел все прямо, я уже думал, что он ударится о скалу, и мы, глядя вниз, видели матросов на вахте и слышали, как лотовой кричал у лота. Вдруг корабль повернул и дал залп, не знаю из скольких-ружей. От грома этого залпа сотряслась скала, дым разостлался над нашими головами, и бакланы поднялись в невероятном количестве. Чрезвычайно любопытно было слышать их крик и видеть мелькание их крыльев, и я думаю, что капитан Паллизер подошел уже так близко к Бассу единственно ради этого ребяческого удовольствия. Со временем ему пришлось дорого расплатиться за это. Когда судно приблизилось, я заметил его снасти, по которым впоследствии мог отличить его за несколько миль. Провидение помогло мне этим способом отвратить от моего друга большое несчастье и нанести чувствительный удар самому капитану Паллизеру.

Все время моего пребывания на утесе мы очень хорошо жили. У нас были эль, водка и овсяная мука, из которой утром и вечером мы готовили кашу. По временам из Кастлетона приезжала лодка, привозившая нам четверть барана. Мы не смели трогать овец на скале, которых откармливали специально для рынка. Охота на бакланов, к сожалению, была не по сезону, так что мы их не трогали. Мы сами ловили рыбу, но чаще заставляли бакланов ловить ее для нас: когда мы видели, что какая-нибудь птица поймала добычу, мы отнимали ее, прежде чем птица успевала ее проглотить.

Своеобразная природа этого места, остатки старины, которыми оно изобиловало, занимали и интересовали меня. Так как бегство было невозможно, мне предоставили полную свободу, и я исследовал территорию острова везде, где только возможно было ступить ноге человеческой. Здесь оставались еще следы прежнего тюремного сада, в котором дико росли цветы и огородные овощи, а на ма-

леньком дереве висело несколько спелых вишен. Немного ниже находилась часовня или келья отшельника; кто жил в ней, было неизвестно, и ветхость ее служила поводом для размышлений. Самая тюрьма, где я теперь расположился вместе с гайлэндскими ворами, была когда-то аренной многих исторических событий. Мне казалось странным, что так много святых и мучеников, проживавших здесь совсем недавно, не оставили даже листка из библии или вырезанного в стене имени, тогда как грубые солдаты, стоявшие на часах/на стенах наполнили все вокруг воспоминаниями о себе, по большей части ломаными трубками — их было чрезвычайно много — и металлическими пуговицами своих мундиров. Иногда мне казалось, что я слышу набожный напев псалмов в подземных темницах, где сидели мученики, и вижу, как солдаты с трубками в зубах разгуливают по стенам, а за ними из Северного моря поднимается утренняя заря.

Бесспорно, эти образы в значительной степени вызывал у меня Энди своими рассказами. Он очень хорошо и во всех подробностях знал историю утеса, так как отец его служил здесь в гарнизоне. Кроме того, он обладал особым талантом рассказчика: казалось, что живые люди говорят его устами и прошлое встает перед вашими глазами. Этот дар Энди и живой интерес, с которым я слушал его, очень сблизили нас. Я не мог отрицать, что он мне нравится, и скоро заметил, что и я ему нравлюсь, так как с самого начала старался снискать его расположение. Мне неожиданно помог странный случай, но и до этого мы были в дружеских отношениях, необычных для пленника и тюремщика.

Я бы солгал, сказав, что пребывание мое на Бассе было во всех отношениях неприятным. Нет, оно казалось мне убежищем, где я укрылся от всех своих тревог. Мне не причиняли никакого вреда; скалы и глубокое море предохраняли меня от новых покушений; я чувствовал, что жизнь и честь мои здесь в безопасности, и иногда позволял себе мириться с этим. Но порою мне приходили в голову совершенно иные мысли. Я вспоминал, как твердо я дал обещание Ранкэйлору и Стюарту; я понимал, что мое заключение на Бассе, в виду берегов Файфа и Лотиана, может произвести впечатление выдумки и я — по крайней мере, в глазах этих двух джентльменов — ока-

жусь хвастуном и трусом. Положим, я относился к этому довольно легко и убеждал себя, что, пока сохраняю хорошие отношения с Катрионой Друммонд, мнение остальных для меня безразлично, и погружался в мечты влюбленного, которые так приятны ему самому и должны казаться удивительно праздными для читателя. Но временами на меня нападал страх: во мне пробуждалось самолюбие, и то, что меня могут осуждать, казалось несправедливостью, которой я не в силах перенести. Затем приходили другие мысли, и меня начинало преследовать воспоминание о Джемсе Стюарте, заключенном в тюрьме, и о воплях его жены. Тогда меня охватывало волнение, я не мог простить себе свою бездеятельность. Мне казалось, что если я действительно мужчина, то должен любым способом вырваться — улететь или уплыть из своего убежища. В таком настроении и чтобы успокоить упреки совести, я еще более старался расположить к себе Энди Дэля.

Наконец, когда мы в одно прекрасное утро очутились вдвоем на вершине утеса, я намекнул ему, что в состоянии дать вознаграждение, если мне помогут бежать. Он взглянул на меня, откинул назад голову и громко рассмеялся.

— Вы очень смешливы, мистер Дэль,— сказал я,— но, может быть, перемените свое мнение, когда взглянете на эту бумажку.

Глупые гайлэндеры, схватив меня, отобрали только звонкую монету, а бумага, которую я теперь показывал Энди, была чеком Британского льнопрядильного общества на значительную сумму.

Он прочел ее.

— Действительно, у вас совсем недурное состояние,— сказал он.

— Я думал, что это, может быть, изменит ваши взгляды,— заметил я.

— Гм...— сказал он,— это доказывает только, что вы в состоянии подкупать, но меня подкупить нельзя.

— Это мы еще увидим,— отвечал я.— Сперва я докажу вам, что знаю, в чем дело. Вы получили приказание задержать меня здесь до четверга, двадцать первого сентября.

— Вы не совсем ошиблись,— сказал Энди.— Я должен отпустить вас, если не будет других приказаний, в субботу, двадцать третьего.

Я не мог не заметить, сколько вероломства было в этом распоряжении. Я смогу появиться перед судом, когда будет слишком поздно, и никто не поверит моим объяснениям, если я вздумаю оправдываться. Эта мысль доводила меня до иступления.

— Ну, Энди, вы человек опытный и поэтому выслушайте меня и подумайте о моих словах,— сказал я.— Я знаю, что в дело мое замешаны важные особы, и не сомневаюсь, что вы знаете их имена. Я сам, с тех пор как началось мое дело, видел некоторых из них и высказал им в лицо свое мнение. Но в каком же преступлении обвиняют меня? И как со мной обращаются? Несколько оборванных гайлэндеров хватают меня тридцатого августа, привозят на старый утес и помещают не в крепость и не в тюрьму, а в жилище хранителя дичи на Бассе. Затем отпускают на свободу двадцать третьего сентября так же тайно, как и арестовали меня. Разве, по-вашему, это законно и справедливо? Не похоже ли это, скорее, на грязную интригу, постыдную для всех, кто принимает участие в ней?

— Я не могу спорить с вами, Шоос. Это действительно выглядит некрасиво,— сказал Энди.— И если бы эти люди не были хорошими вигами и настоящими пресвитерианцами, я бы прогнал их, прежде чем помогать им в этом деле.

— Значит, Ловат — хороший виг и настоящий пресвитерианец? — сказал я.

— Я не знаю его,— отвечал он,— у меня ничего общего нет с Ловатами.

— Так, значит, вы имеете дело с Престонгрэнджем? — заметил я.

— Ну, этого я вам не скажу,— сказал Энди.

— Нечего и говорить, когда я сам знаю,— отвечал я.

— В одном вы можете быть уверены, Шоос,— сказал Энди,— а именно, что, как бы вы ни старались, я не вступлю с вами в сделку,— прибавил он.

— Хорошо, Энди, я вижу, что мне следует поговорить с вами откровенно,— заметил я. И рассказал ему все, что считал возможным рассказать.

Он выслушал меня с большим интересом и, когда я кончил, казалось, что-то соображал.

— Шоос,— сказал он наконец,— я буду с вами откro-

венен. Этот странный рассказ — в вашей передаче — не заслуживает большого доверия, и мне думается, что дело обстоит не совсем так, как вы считаете. Но вы сами кажетесь мне вполне порядочным молодым человеком. Однако я старше вас и рассудительнее и, может быть, лучше понимаю это дело, чем вы. Я высказал вам все ясно и откровенно. Вам не будет никакого вреда от того, что вы останетесь здесь, напротив, мне кажется, что вы от этого только выиграете. Не будет также никакого вреда стране — повесят только одного гайлэндера. Видит бог, это не так важно! С другой стороны, если бы я отпустил вас, то нанес бы себе самому большой вред. Итак, как хороший виг, как честный друг по отношению к вам и верный друг самому себе, я нахожу, что вам лучше остаться здесь с Энди и бакланами.

— Энди,— сказал я, положив руку ему на колено,— ведь тот гайлэндер невиновен!

— Что ж, очень жаль,— ответил он,— но, видите ли, в этом мире мы не всегда можем добиться всего, чего хотим.

XV. Рассказ Черного Энди о Тоде Лапрайке

Я пока мало говорил о гайлэндерах. Все трое были приверженцами Джемса Мора, что не оставляло сомнения в том, какую роль сыграл их господин в моем деле. Все они знали два-три слова по-английски, но один Нэйль считал себя достаточно знакомым с этим языком, чтобы пускаться в разговор, однако, когда он решался на это, его собеседники очень часто бывали совершенно другого мнения. Гайлэндеры были смирные, простые люди, гораздо более благовоспитанные, чем можно было предположить по их оборванной одежде и неуклюжему виду. С самого начала они стали как бы слугами Энди и моими.

Мне казалось, что в этом пустынном месте, среди развалин бывшей тюрьмы, неумолчного шума моря и криков морских птиц, они ощущали какой-то суеверный страх. Когда делать было нечего, они или ложились спать — казалось, это никогда не надоедало им,— или же слушали страшные истории, которые рассказывал им Нэйль. Когда же эти развлечения были невозможны —

например, двое спали, а третий не мог последовать их примеру,—то я видел, как тот, что бодрствовал, напряженный, как тетива лука, прислушивался и глядел вокруг с постепенно возрастающим беспокойством, вздрагивая, бледнея, сжимая руки. Я не имел случая узнать, какого рода страхи волновали гайлэндеров, но беспокойство их было заразительно, да и самое место, где мы находились, рождало тревогу. Я не могу найти подходящего выражения по-английски, но по-шотландски Энди твердил неизменно:

— Да,—говорил он,— Басс — жуткое место.

Мне оно тоже представляется таким. Жутко в нем было ночью, жутко и днем; странные звуки—крик бакланов, плеск моря и эхо в скалах—постоянно раздавались в наших ушах. Таков был Басс в мягкую погоду. Когда же волны становились сильнее и ударялись об утес, шум их напоминал гром или барабанный бой,—страшно и весело было слышать их! Но и в тихие дни Басс мог нагнать страх на любого, не только на гайлэндера,—я сам это несколько раз испытал на себе, так много таинственных, глухих звуков раздавалось и отражалось под сводами скал. Когда я думаю о Бассе, мне вспоминается рассказ Энди и сцена, в которой я принимал участие,—сцена, совершенно изменившая наш образ жизни и оказавшая громадное влияние на мой побег. Случилось как-то вечером, что я, задумчиво сидя у очага и вспоминая мотив Алана, начал насвистывать его. Вдруг мне на плечо опустилась чья-то рука, и голос Нэйля велел мне замолчать, потому что это нехорошая песня.

— Нехорошая? — спросил я.— Почему?

— Потому что это песня привидения,—сказал он,— у которого голова отрублена от туловища.

— Здесь не может быть привидений, Нэйль,—заметил я,—они не стали бы тревожиться для того, чтобы пугать бакланов.

— Вы думаете? — спросил Энди.— Могу уверить вас, что здесь водилось нечто похуже привидений.

— Что же здесь было хуже привидений, Энди? — спросил я.

— Колдуны,—сказал он,—или, по крайней мере, один колдун. Это странный рассказ. Если хотите, я расскажу вам его,—прибавил он.

Мы, разумеется, все захотели послушать Энди, и даже наименее знакомый с английским языком гайлэндер присел и превратился весь во внимание.

Рассказ о Тодде Лапрайке

— Мой отец, Том Дэль,— мир его праху! — в юности был диким, необузданным мальчишкой, не обладавшим ни рассудительностью, ни любезностью. Он любил молодых девушек, любил рюмочку, любил драку, но никогда я не слышал, чтобы он годился на какое-нибудь честное дело. То да се, и он наконец поступил в солдаты и служил в гарнизоне здешнего форта,— это был первый случай, чтобы кто-нибудь из Дэлей очутился на Бассе. Скверная то была служба! Начальник сам варил эль. Кажется, нельзя представить себе что-нибудь хуже! Провизию доставляли на утес с берега, но дело это велось небрежно, и бывали времена, что пищей гарнизону служила рыба и застреленные солдатами птицы. В довершение всего, то было время гонений. Смертельно холодные камеры все были заняты святыми и мучениками — солью земли, которой она была недостойна. И хотя Том Дэль и носил ружье и был простым солдатом, любившим девушек и рюмочку, как я уже говорил, но душа его была праведнее, чем того требовало его положение. Он знал кое-что о славе церкви; он порою серьезно сердился, видя, как обманывают святых божьих, и сгорал от стыда, потому что словно помогал такому темному делу. Иногда ночью, когда он стоял на часах и все было пустынно кругом, а зимняя стужа свирепствовала в замке, он вдруг слышал, как какой-нибудь узник затягивал псалом, остальные подхватывали его, и священные звуки поднимались из различных камер, так что этот старый утес среди моря казался тогда небом. Он чувствовал в душе сильнейший стыд, грехи его росли пред ним до размеров Басса и даже еще больше. Главным же грехом было то, что он помогает мучить и губить служителей церкви божьей. Но он старался бороться с этим чувством. Наступал день, вставали товарищи, и его благочестивые мысли исчезали.

В те дни на Бассе жил божий человек, по имени Педен-пророк. Вы, вероятно, слышали о Педен-пророке?

С тех пор не было никого подобного ему, и многие думают, что не было и прежде. Он был дик и свиреп, жутко было глядеть на него, жутко слушать: на лице его точно отражался Страшный суд. Голос его, резкий, как у баклана, звенел в ушах людей, а слова его жгли, как раскаленные уголья.

На утесе жила молодая девушка, должно быть не особенно порядочная, так как это было не место для приличных женщин. Но, кажется, она была красива, и они поладили с Томом Дэлем. Случилось, что Педен был в саду и молился, когда Том с девушкой проходили мимо него, и девушка вдруг стала, смеясь, передразнивать молитву святого. Тот поднялся и взглянул на обоих так, что от его взгляда у Тома подкосились ноги. Но, когда Педен заговорил, в голосе его зазвучало больше грусти, чем гнева.

«Бедняжка, бедняжка! — сказал он, глядя на девушку. — Ты визжишь и смеешься, но господь приготовил для тебя смертельный удар, и в чудесную минуту суда ты взвизгнешь только раз!»

Несколько дней спустя она бродила по скалам в обществе двух-трех солдат. Налетел сильный порыв ветра, раздул ее юбки и унес девушку со всем, что на ней было. Солдаты заметили, что она успела только раз взвизгнуть.

Этот случай, без сомнения, произвел некоторое впечатление на Тома Дэля, но вскоре оно сгладилось, и парень не исправился. Раз как-то он поспорил с другим солдатом.

«Черт меня возьми!» — сказал Том, так как любил чертыхаться.

И вдруг он увидел, что на него печально смотрит Педен: весь изможденный, в старой одежде, лицо у него длинное, глаза горят, — протянул вперед руку с черными ногтями: ведь он не заботился о своем теле.

«Фу, фу, бедняга, — воскликнул он, — бедный, безумный человек! «Черт меня возьми!» — сказал он, и я вижу черта следом за ним».

Сознание своей вины нахлынуло на Тома, как морская волна. Он бросил пику, которая была у него в руках.

«Я не хочу более поднимать оружие против Христа!» — сказал он и сдержал слово.

Сначала ему пришлось выдержать борьбу, но когда начальник увидел, что решение его твердо, то уволил его

со службы. Том поселился в Норт-Бервике, женился там и заслужил уважение всех порядочных людей.

В тысяча семьсот шестом году Басс перешел в руки Дальримплей, и права охранять его добивались двое. Оба они были достойные люди, так как прежде служили солдатами в гарнизоне, умели обращаться с бакланами, знали время, подходящее для охоты, и цены на них. Кроме того, оба были — или казались — серьезными людьми, умеющими вести приличный разговор. Одним был Том Дэль, мой отец, другого же звали Лапрайк; обыкновенно его называли Тод Лапрайк, но я никогда не слышал, было ли это его настоящее имя, или эта кличка была дана ему из-за его характера¹. Раз Том по этому делу отправился к Лапрайку и повел с собой за руку меня, тогда еще маленького мальчика. Тод жил в переулке к северу от кладбища. Это был мрачный и страшный переулок. Дом Тода находился в самом темном углу переулки, и знавшие его не любили бывать в нем. Дверь его в этот день не была заперта, так что я и отец мой вошли прямо в дом. Тод по профессии был ткач. Станок его стоял в глубине комнаты, и около него сидел сам хозяин, несколько располневший, бледный, невысокого роста человек, похожий на слабоумного, с какой-то блаженной улыбкой на губах, от которой у меня пробежал мороз по коже. Рука его держала челнок, но глаза были закрыты. Мы звали его по имени, кричали ему в ухо, трясли его за плечи, — все напрасно! Он продолжал сидеть на табурете, держал челнок и улыбался, как полоумный.

«С нами крестная сила, — сказал Том Дэль, — это хорошо!»

Не успел он сказать эти слова, как Тод Лапрайк пришел в себя.

«Это ты, Том? — спросил он. — Очень рад видеть тебя, любезный. Со мною случаются иногда подобные обмороки, — продолжал он, — это от желудка».

Оба стали разговаривать о Бассе и о том, кому из них будет поручено охранять его. Мало-помалу они разругались и расстались в гневе. Я хорошо помню, что, когда я с отцом возвращался домой, он несколько раз повторил, что ему не нравится ни Тод Лапрайк, ни его обмороки.

¹ Тод — значит «лисица».

«Обморок! — говорил он. — Я думаю, что людей сжигали на костре за подобные обмороки».

Вскоре мой отец получил Басс, а Тод остался ни при чем. Впоследствии люди вспоминали, как он принял это известие.

«Том, — сказал он, — ты еще раз одержал верх над мной, и я надеюсь, что, по крайней мере, ты получишь на Бассе все, что ожидал».

После находили, что это были многозначительные слова. Наконец настало время, когда Том Дэль должен был охотиться на молодых бакланов. К этому он привык давно: он еще ребенком лазил по скалам и теперь не хотел никому доверить это дело. Привязанный за веревку, он ползал по самым крутым, высоким склонам утеса. Несколько здоровых малых стояли на вершине, держа веревку и следя за его сигналами. Но там, где находился Том, были только скалы, да море внизу, да бакланы, которые кричали и летали взад и вперед. Весеннее утро было прекрасно, и Том посвистывал, ловя молодых птиц. Много раз он потом рассказывал мне о том, что с ним произошло, и каждый раз у него на лбу выступал холодный пот.

Случилось, что Том взглянул наверх и увидел большого баклана, клевавшего веревку. Тому это показалось необычайным и несогласным с привычками птицы. Он сообразил, что веревки не особенно крепки, а клюв баклана и утес Басс чрезвычайно тверды и что ему будет не очень приятно упасть с высоты двухсот футов.

«Шш... — сказал Том, — шш... пошла прочь!»

Баклан глянул прямо в лицо Тому, и в глазах у него появилось что-то жуткое. Бросив один только взгляд, он снова принялся за веревку; теперь он клевал как бешеный. Никогда не существовало баклана, который бы работал подобно этому: он, казалось, прекрасно знал свое дело, держа мягкую веревку между клювом и острой зубриной утеса.

В душу Тома закрался страх.

«Это не птица», — подумал он.

Он бросил взгляд назад, и в глазах его помутилось.

«Если у меня закружится голова, — сказал он, — Тому Дэлю конец».

И он подал знак, чтобы его подняли.

Казалось, баклан понимал сигналы: он тотчас бросил веревку, расправил крылья, громко крикнул, описал в воздухе круг и прямо устремился в лицо Тома Дэля. Но у Тома был нож, он выхватил его, и холодная сталь заблестела на солнце. Казалось, что птица была знакома и с ножами, потому что, как только блеснула сталь, она снова вскрикнула, но не так громко и как бы разочарованно и улетела за скалу, так что Том не видел ее больше. И как только баклан улетел, голова Тома упала на плечи, и его потащили, точно мертвое тело, болтавшееся вдоль скалы.

Чарка водки — он никогда не ходил без нее — привела его в чувство, насколько это было возможно, и он сел.

«Скорее, Джорди, беги к лодке, смотри за лодкой, скорее, — кричал он, — не то этот баклан угонит ее!»

Птицеловы удивленно переглянулись и постарались его успокоить. Но Том Дэль не успокоился, пока один из них не побежал вперед, чтобы следить за лодкой. Остальные спросили, ползет ли он снова вниз продолжать охоту.

«Нет, — сказал он, — ни я не спущусь, ни вас не пошлю. И как только я буду в состоянии стать на ноги, мы уедем с этого дьявольского утеса».

Понятно, они не теряли времени, да и хорошо сделали: не успели они доплыть до Норт-Бервика, как у Тома разыгралась жесточайшая горячка. Он пролежал все лето. И кто же был так добр, что приходил наведываться о его здоровье? Тод Лапрайк! Впоследствии люди говорили, что, как только Тод подходил к дому, горячка Тома усиливалась. Этого я не помню, но отлично знаю, чем все кончилось.

Стояла осень. Дед мой отправился на ловлю скатов, и я, как все дети, стал просить, чтобы он меня взял с собой. Помню, что улов был большой и, следуя за рыбой, мы очутились вблизи Басса, где встретились с другой лодкой, принадлежавшей Сэнди Флетчеру из Кастльтона. Он тоже недавно умер, иначе вы могли бы сами спросить его. Сэнди окликнул нас.

«Что там такое на Бассе?» — спросил он.

«На Бассе?» — переспросил дед.

«Да, — сказал Сэнди, — на его другой стороне?»

«Что там такое? — удивился дед. — На Бассе не может быть ничего, кроме овец».

«Там что-то похожее на человека»,— сказал Сэнди.

«На человека!» — воскликнули мы, и нам это очень не понравилось: у подножия утеса не было лодки, на которой можно было привезти человека, а ключи от тюрьмы висели дома у изголовья складной кровати моего отца.

Мы сблизили наши лодки и вместе подошли к острову. У деда моего имелась зрительная труба: он прежде был моряком и плавал капитаном на рыболовном судне, которое затопил на мелях Тэя. Когда мы посмотрели в трубу, то действительно увидели человека. Он находился в углублении зеленого склона, немного ниже часовни, у самой тропинки; метался, прыгал и плясал как сумасшедший.

«Это Тод»,— сказал дед, передавая трубу Сэнди.

«Да, это он»,— отвечал Сэнди.

«Или кто-нибудь, принявший его образ»,— сказал дед.

«Разница небольшая,— произнес Сэнди,— черт ли это или колдун, я попробую выстрелить в него». — И он достал ружье, из которого стрелял в дичь (Сэнди был известным стрелком во всей окрестности).

«Подожди, Сэнди,— сказал мой дед,— прежде надо хорошенько его рассмотреть: иначе это дело может дорого обойтись нам обоим».

«Что тут ждать? — заметил Сэнди.— Это будет божий суд, разрази меня бог!»

«Может быть, и так, а может быть, и иначе,— сказал мой дед, достойный человек.— Не забывай правительственного прокурора, с которым ты, кажется, уже встречался».

Это была правда, и Сэнди пришел в некоторое замешательство.

«Ну, Энди,— сказал он,— а как бы ты поступил?»

«Вот как,— отвечал дед.— Так как моя лодка идет быстрее, я вернусь в Норт-Бервик, а ты оставайся здесь и наблюдай за этим. Если я не найду Лапрайка, я вернусь, и оба мы поговорим с ним. Но если Лапрайк дома, я вывешу на пристани флаг, и ты можешь стрелять в это существо».

На этом они и порешили. Я перелез в лодку Сэнди, думая, что здесь произойдет наиболее интересное. Мой дед дал Сэнди серебряную монету, чтобы вложить ее в ружье вместе с свинцовой дробью, так как известно, что монета смертельна для оборотней. Затем одна лодка от-

правилась в Норт-Бервик, а другая не двигалась с места, наблюдая за таинственным существом на склоне утеса.

Все время, пока мы оставались там, оно металось и прыгало, приседало и кружилось как юла, а иногда мы слышали, как оно смеялось, вертясь. Я видывал, как молодые девушки, проплясав всю зимнюю ночь напролет, все еще пляшут, даже когда наступает зимний день. Но они бывают не одни: молодые люди составляют им компанию. Это же странное существо было в полном одиночестве. Там в углу у камина скрипач водит смычком. Это же существо плясало без всякой музыки, если не считать крика бакланов. Девушки были молоды, и жизнь в них была ключом. Это же был жирный и бледный человек, уже немолодых лет.

Наконец мы увидели, что на пристани на вершине мачты появился флаг. Этого только и ждал Сэнди. Он поднял ружье, прицелился и спустил курок. Раздался выстрел — и затем пронзительный крик с Басса. Мы протерли глаза и взглянули друг на друга как сумасшедшие, так как после выстрела и крика существо бесследно пропало. Светило солнце, дул ветер, и перед нами было пустое место, на котором всего секунду назад прыгало и кружилось чудовище.

Весь обратный путь я плакал, и меня лихорадило от ужаса. Взрослые чувствовали себя немногим лучше, и в лодке Сэнди мало говорили, а только призывали имя божие. А когда мы подошли к молу, то увидели, что все скалы вокруг пристани усеяны поджидавшими нас людьми. Оказалось, что они нашли Лапрайка в припадке; он улыбался и держал в руках челнок. Послали мальчика поднять флаг, а остальные остались в доме ткача. Можете быть уверены, что им это не доставляло ни малейшего удовольствия; они стояли и тихо молились — никто не хотел молиться громко, — глядя на эту страшную фигуру. Вдруг Тод с ужасным криком вскочил на ноги и, истекая кровью, упал замертво на станок.

При осмотре трупа обнаружили, что свинцовая дробь не проникла в тело колдуна — с трудом нашли одну дробинку. Но у самого его сердца оказалась серебряная монета деда.

Не успел Энди кончить, как случилось чрезвычайно глупое происшествие, не оставшееся без последствий.

Нэйль, как я говорил уже, сам был рассказчиком. Я впоследствии слышал, что он знал все гайлэндские легенды. Он очень много мнил о себе, и другие привыкли высоко ставить его. Рассказ Энди напомнил ему другой, который он прежде слышал.

— Я уже знал этот рассказ,— сказал он.— Это рассказ об Уистине Море Мак-Джилли Фадриге и о Гавре Воре.

— Это совсем не то! — воскликнул Энди.— Это история моего отца, теперь покойного, и Тода Лапрайка. Заруби это себе на носу,— прибавил он,— и держи язык за зубами.

Известно, и это подтверждено историческими данными, что лоулэндские дворяне прекрасно ладят с гайлэндерами; к сожалению, это вряд ли можно сказать про лоулэндских простолюдинов. Я уже раньше замечал, что Энди постоянно готов был ссориться с нашими тремя Мак-Грегорами, а теперь стало ясно, что столкновение между ними неизбежно.

— Такие слова не говорят джентльменам,— сказал Нэйль.

— «Джентльменам»! — воскликнул Энди.— Какие вы джентльмены, гайлэндская сволочь! Если бы вы могли видеть себя так же, как вас видят другие, то вы отказались бы от своей спеси.

Нэйль произнес какое-то гэльское проклятие, и в ту же минуту в руках его очутился кинжал.

Размышлять было некогда: я схватил гайлэндера за ногу, повалил его на землю и завладел его вооруженной рукою, не успев сообразить, что я делаю. Товарищи его бросились ему на помощь; у меня и Энди не было оружия, и нас было двое против троих. У нас, казалось, не было надежды на спасение, как вдруг Нэйль закричал по-гэльски, приказав остальным отступить, и выразил мне покорность самым унижительным образом, отдав даже свой кинжал, который я, впрочем, вернул ему на следующий день, когда он повторил свои обещания.

Мне стало ясно: во-первых, я не должен был слишком рассчитывать на Энди, который прижался к стене и стоял бледный, как смерть, пока все не кончилось; во-вторых, мое собственное положение относительно гайлэндеров очень благоприятно: они, должно быть, получили особые

указания охранять мою безопасность. Но если я и нашел, что Энди недоставало храбрости, я не имел основания упрекнуть его в неблагодарности. Он, положим, не выражал мне свою благодарность словами, но его мнение обо мне и обращение совершенно переменялись. А так как он продолжал побаиваться наших товарищей, то мы с тех пор почти всегда были вместе.

XVI. Отсутствующий свидетель

Семнадцатого сентября, в день, когда была назначена моя встреча со стряпчим, я возмутился против своей судьбы. Мысль о том, что он ждет меня в «Королевском гербе», удручала меня. Мне было страшно подумать, как он объяснит себе мое отсутствие и что он скажет, когда мы когда-нибудь встретимся. Я вынужден был признать, что моим оправданиям будет трудно поверить, но мне казалось невыносимым выглядеть в его глазах трусом и лжецом, в то время как я всегда стремился выяснить истину, словно находя в этом горькое удовлетворение; я повторял мысленно эти слова и, оглядываясь назад, перебирал в памяти все свои поступки.

Мне казалось, что по отношению к Джемсу Стюарту я вел себя как брат. Я имел право гордиться своим поведением в недавнем прошлом, и мне только надо было подумать о настоящем. Я не мог переплыть море, не мог и лететь по воздуху, но у меня был Энди. Я оказал ему услугу, и он полюбил меня. Это был рычаг, за который мне следовало ухватиться: я должен был еще раз попытаться счастье.

День клонился к вечеру; ничего не было слышно, кроме плеска воды о скалы; море было спокойно, и мои четыре товарища разбрелись: трое Мак-Грегоров полезли вверх по скале, а Энди с библией в руках уселся на солнце среди развалин. Там я нашел его, погруженного в глубокий сон. Когда он проснулся, я горячо стал просить его мне помочь, приводя множество доводов в доказательство своей правоты.

— Если бы я мог поверить, что это будет хорошо для вас, Шоос! — сказал он, глядя на меня поверх очков.

— Я хочу спасти человека,— убеждал я,— и должен сдержать свое слово. Что же может быть лучше этого?

— Да,— сказал он,— это очень благородно с вашей стороны. Но как же мне поступить? Я тоже должен сдержать свое слово, как и вы. А что вы мне предлагаете — нарушить его ради денег?

— Энди, разве я говорил о деньгах? — воскликнул я.

— О, слова ничего не значат,— сказал он,— тут важна суть. Дело заключается вот в чем: если я окажу вам услугу, которой вы от меня требуете, я потеряю свое место. Тогда, разумеется, вам придется возместить мне мои убытки и даже немного больше, из чувства чести. Но разве это не подкуп? И если бы я еще был уверен, что у вас будет возможность это сделать! Если вас повесят, что я буду делать? Нет, это невозможно. Оставьте меня, милый мой, и дайте Энди дочитать главу.

Я помню, что в глубине души я был очень доволен таким результатом, и во мне проснулось почти благодарное чувство к Престонгрэнджу, который хоть незаконным и насильственным способом, но избавил меня от опасностей, соблазнов и затруднений. Однако в этом чувстве было слишком много мелкого и трусливого, чтобы оно могло долго длиться: мысли о Джемсе снова не давали мне покоя. День, назначенный для суда, 21 сентября, я провел в таком удрученном состоянии, какого мне, кажется, никогда не приходилось испытывать, разве только на острове Эррейд. Большую часть времени я пролежал на склоне горы, в состоянии, среднем между сном и бодрствованием: тело мое было неподвижно, а голова полна тревожных мыслей. Иногда я действительно спал, но и во сне меня преследовал вид зала суда в Инверари и заключенного, который оглядывался по сторонам, стараясь найти отсутствующего свидетеля... И я снова просыпался с мрачными мыслями и болью во всем теле. Энди, кажется, наблюдал за мной, но я мало обращал на него внимания.

Наутро, в пятницу, двадцать второго, прибыла лодка с провизией, и Энди вручил мне в руки пакет. На конверте не было адреса, но он был запечатан правительственной печатью. В нем лежали две записки. «Мистер Бальфур теперь сам видит, что вмешиваться слишком поздно. За поведением его будут наблюдать и вознаградят за

благоразумие». Вот что было в первой записке, очевидно написанной левой рукой. Разумеется, в этой фразе не было ничего, что бы могло скомпрометировать писавшего, даже если бы его и обнаружили. Печать, заменявшая подпись, находилась на отдельном листке, на котором не было написано ни черточки. Но вторая записка вызвала у меня еще большее удивление. Она была написана женским почерком. «Мистер Бальфур извещается, что о нем осведомлялся друг с серыми глазами»,— прочитал я на простонародном наречии. Меня поразило, что такое письмо, да еще с правительственной печатью, попало ко мне в такую минуту. И я стоял как дурак. Воспоминание рисовало мне серые глаза Катрионы. Я с радостным чувством подумал, что, вероятно, она — это друг. Но кто ж написал это письмо и вложил его в один конверт с письмом Престонгрэнджа? И почему он счел нужным послать мне такое приятное, хотя чрезвычайно неопределенное извещение на Басс? Я не мог вообразить себе никого, кроме мисс Грант. Я помнил, что ее сестры обратили внимание на глаза Катрионы и даже дали ей соответствующее прозвище, а сама она имела привычку обращаться ко мне на простонародном языке, вероятно в насмешку над моей неотесанностью. Оставалось, следовательно, выяснить один пункт, а именно: как вообще Престонгрэндж позволил ей вмешаться в такое секретное дело и вложить свое сумасбродное послание в его конверт. Но и тут у меня появилась догадка. Во-первых, в молодой леди было что-то своенравное, и папаша, может быть, находился под ее влиянием больше, чем я думал. Во-вторых, следовало припомнить обычную тактику Престонгрэнджа: он всегда действовал вкрадчиво и при всех обстоятельствах не снимал маски дружбы. Он должен был понять, что мое заключение возмутило меня. Может быть, эта шутливая дружеская записка предназначалась для того, чтобы меня обезоружить?

Говоря откровенно, она, кажется, действительно обезоружила меня. Я вдруг почувствовал прилив нежности к красивой мисс Грант за то, что она вызывает интерес к моим делам. Упоминание о Катрионе навело меня само собой на более мирные мысли. Если адвокат слышал о ней и о нашем знакомстве, если я ужогу ему тем «благоразумием», о котором упоминалось в письме, то к чему все

это могло привести? Мне казалось, что я вижу хитрости Престонгрэнджа, и все-таки я попался на эту удочку.

Я еще находился под этим впечатлением: сердце мое билось, серые глаза Катрионы светились передо мной, точно две звезды, когда Энди прервал мое размышление.

— Я вижу, что вы получили хорошие известия, — сказал он.

Я заметил, что он с любопытством глядит мне в лицо: вместе с тем мне, точно видение, представились Джемс Стюарт и суд в Инверари, и мысли мои сразу повернулись, точно дверь на петлях. «Суд, — подумал я, — иногда тянется дольше, чем предполагают. Если я даже прибуду в Инверари и слишком поздно, то все-таки можно будет предпринять что-нибудь в интересах Джемса. Что же касается моей чести, то это будет лучшим средством спасти ее». В одну секунду, почти без размышлений, я успел составить себе план действий.

— Энди, — спросил я, — так это будет завтра?

Он отвечал, что ничего не изменилось.

— А что вам сказали относительно часа? — спросил я.

Он сказал, что это должно совершиться в два часа полудни.

— А относительно места? — продолжал я.

— Какого места? — спросил Энди.

— Места, куда вы меня высадите, — сказал я.

Он признался, что об этом ничего не было сказано.

— Прекрасно, — заметил я, — это устрою я. Ветер дует с востока, а мой путь лежит на запад. Возьмите свою лодку, я нанимаю ее. Будем весь день подниматься вверх по Форту, и завтра в два часа вы высадите меня на том месте на западе, куда мы успеем добраться.

— Ах вы безумец! — воскликнул он. — Вы все-таки хотите попытаться попасть в Инверари!

— Вы угадали, Энди, — сказал я.

— Ну, вас трудно переупрямить, — заметил он. — Мне было очень жаль вас вчера весь день, — прибавил он. — Видите ли, я до тех пор не был совершенно уверен, чего вы на самом деле хотите.

Он словно прищепил хрому лошадь.

— Скажу вам по секрету, Энди, — сказал я, — мой план имеет еще другое преимущество. Вы можете оставить этих гайлэндеров на утесе, и одна из ваших кастль-

тонских лодок заберет их завтра. Нэйль глядит на вас странным взглядом: возможно, что, как только я уеду, дело опять дойдет до кинжалов: эти дикари чрезвычайно злопамятны. Если вас будут допрашивать, то это послужит вам извинением: наши жизни были в опасности, и так как вы отвечали за мою жизнь, то предпочли спасти меня от соседства гайлэндеров и держать остальное время заключения в лодке. Знаете ли, Энди,— сказал я, улыбаясь,— мне кажется, что это очень благоразумный выход.

— Правда, мне не нравится Нэйль,— сказал Энди,— да и он, вероятно, мне не желает добра. Мне не хотелось бы иметь с ним дело. Там Энстер лучше справится с ними. Да, да,— сказал Энди.— Там сумеет лучше меня обращаться с ними. Честное слово, чем больше я думаю об этом, тем менее вижу возможности, чтобы нас хватились. Остров... Но, черт возьми, об острове совсем забыли. Э, Шоос, вы умеете быть дальновидным, когда хотите. Не говоря уже о том, что я обязан вам жизнью,— прибавил он более торжественно и подал мне руку в знак согласия.

После этого мы без разговора быстро спустились в лодку и поставили парус. Гайлэндеры в это время были заняты приготовлением завтрака, так как они обыкновенно занимались стряпней. Но один из них влез на стену, и наше бегство было замечено. Мы не отплыли и двадцати саженей от утеса; все трое стали бегать по развалинам и по отмели, где приставали лодки, точно утки вокруг разорешного гнезда, окликая нас и крича, чтобы мы вернулись. Мы еще находились за ветром и в тени утеса, которая огромным пятном ложилась на воду. Но вот почти одновременно мы выбрались на ветер и на солнце; парус надулся, лодку накренило, и мы сейчас же отошли так далеко, что не слышали большие голосов гайлэндеров. Нельзя передать тот ужас, который их охватил на утесе, где они остались теперь без поддержки цивилизованного человека и без защиты библии. Даже водки им не было оставлено в утешение,— несмотря на поспешность и тайну нашего отъезда, Энди успел захватить ее с собой.

Прежде всего мы позаботились отправить Энстера в бухточку у Глентейтских скал, чтобы покинутые нами гайлэндеры были освобождены на следующий день. Оттуда мы отправились вверх по Форту. Ветер, сначала очень сильный, стал быстро спадать, но ни разу не затихал со-

всем. Мы весь день двигались вперед, хотя иногда довольно медленно. Успело уже стемнеть, когда мы добрались до Куинзферри. Чтобы соблюсти в точности мои обязательства перед Энди, я должен был остаться в лодке. Я думал, однако, что не сделаю ничего дурного, сообщаясь с берегом письменно. На конверте Престоингрэнджа, правительственная печать которого, вероятно, немало удивила Ранкэйлора, я при свете фонаря написал ему несколько необходимых слов, которые Энди доставил по назначению. Через час он вернулся обратно с кошельком, полным денег, и уверением, что завтра в два часа меня будет ждать оседланная лошадь в Клакманнан-Пуле. Покончив с этим и бросив камень, служивший нам якорем, мы под парусом улеглись спать.

На следующий день, задолго до двух часов, мы уже были в Пуле, и мне не оставалось ничего более, как сидеть и ждать. Я почувствовал, что у меня нет особенного желания выполнить мои намерения до конца. Я был бы рад всякому сносному извинению, чтобы отказаться от них, но так как такового не оказывалось, то волнение мое было так же велико, как если бы мне предстояло давно ожидаемое удовольствие. Вскоре после часа на берег привели лошадь, и я увидел, как, в ожидании моей высадки человек, который привел ее, ходил взад и вперед, усиливая тем мое нетерпение. Энди очень точно соблюдал время моего освобождения, показывая, что решил буквально сдержать слово, но не более. Через пятьдесят секунд после двух часов я был уже в седле и мчался во весь опор к Стирлингу. Через час с небольшим я проехал через этот город и проскакал вдоль Алан-Уотера, как вдруг поднялась буря. Дождь ослеплял меня, ветер чуть не выбил из седла, и наступившая темнота застала меня в пустынном месте, где-то к востоку от Бальуйддера. Я не совсем был уверен, взял ли я правильное направление, а лошадь начинала уже уставать.

Второпях, желая избежать потери времени и избавиться от надоедливого проводника, я следовал, насколько это было возможно для верхового, по тому же пути, как во время бегства с Аланом. Я делал это вполне сознательно, идя на риск, который оказался основательным, когда разразилась буря. Последняя знакомая мне местность находилась около Уам Вара, где я проезжал, долж-

но быть, около шести вечера. Я до сих пор считаю особенным счастьем, что около одиннадцати достиг места своего назначения, то есть дома Дункана Ду. Где я скитался до этого времени, могла бы, пожалуй, сказать лишь моя лошадь. Знаю только, что два раза я падал, раз перелетел через седло и очутился в шумящем потоке. И лошадь и всадник были в грязи по самые глаза.

От Дункана я узнал новости относительно суда. Во всей этой части Гайлэнда за ним следили с глубоким интересом; вести о нем распространялись из Инверари с быстротой, на которую только способны человеческие ноги. Меня обрадовало известие, что до довольно позднего часа в эту субботу дело еще не было закончено и все думали, что оно будет перенесено на понедельник. Подстрекаемый этим известием, я не остался поест, но, так как Дункан согласился быть моим проводником, продолжал путь пешком, взяв еду с собой и жуя на ходу. Дункан нес с собой фляжку водки и ручной фонарь, который светил нам, только пока мы шли под защитой домов, так как он сильно тек и гас при каждом порыве ветра. Большую часть ночи мы скитались под проливным дождем, ничего не видя, и день застал нас бродящими бесцельно по горам. Вскоре мы наткнулись на хижину на берегу ручья, где нам дали перекусить и указали направление на Инверари. Незадолго до окончания проповеди мы подошли к дверям инверарской церкви.

Дождь слегка обмыл меня сверху, но я еще был по колени в грязи, вода текла с меня ручьем. Я так устал, что едва передвигал ноги, и лицо мое было бледно, как у привидения. Я, без сомнения, более нуждался в сухой одежде и постели для отдыха, чем во всех благодеяниях христианской веры. Несмотря на это, будучи уверен, что для меня важнее всего немедленно показаться публике, я открыл дверь, вошел в церковь в сопровождении грязного Дункана и, увидев вблизи свободное место, сел на него.

— В-тринадцатых, братия, на самый закон надо смотреть как на средство милосердия,— говорил священник, с видимым удовольствием развивая свой тезис.

Проповедь произносилась на английском языке из внимания к суду. Здесь присутствовали судьи со своей вооруженной свитой, в углу около двери сверкали але-

барды, и скамьи, против обыкновения, пестрели одеждами юристов. Все присутствующие в церкви, начиная с герцога Арджайльского и лордов Эльчиса и Кильверрана, вплоть до алебардистов, составлявших их свиту, были погружены в глубокую задумчивость. Священник и несколько человек, стоявших у дверей, увидели, как мы вошли, но сейчас же позабыли об этом; остальные не обратили на нас внимания. Итак, я находился среди друзей и врагов, не замеченный ими.

Первый, кого я узнал, был Престонгрэндж. Он сидел, наклонившись вперед, как хороший ездок на лошади; губы его шевелились от удовольствия, глаза были прикованы к священнику: проповедь, очевидно, нравилась ему. Чарлз Стюарт, наоборот, почти спал и выглядел бледным и измученным. Симон Фрэзер вел себя непристойно среди этой внимательной толпы: он сидел, заложив ногу на ногу, рылся в карманах, кашлял, поднимал брови и ворочал глазами направо и налево, то позевывая, то скрывая улыбку. Иногда он брал библию, лежавшую перед ним, пробежал по ней глазами, казалось, читал немного, опять просматривал, затем бросал книгу, зевая.

Беспрерывно вертясь на своем месте, он случайно взглянул на меня. С секунду он сидел пораженный, затем вырвал из библии пол-листка, нацарапал на нем несколько слов карандашом и передал ближайшему соседу, шепотом сказав ему что-то. Записка дошла до Престонгрэнджа, который бросил на меня только один взгляд. От него она перешла в руки мистера Эрскина, оттуда к герцогу Арджайльскому, сидевшему между двумя другими лордами суда, и его светлость, повернувшись, взглянул на меня вызывающим взглядом. Последним из всех меня увидел Чарли Стюарт, который тоже стал писать и рассылать во все стороны записки. Я не мог в толпе проследить за их направлением.

Эти записки возбудили общее внимание. Все, кто был в курсе дела или считал себя таковым, шепотом давали объяснения, остальные задавали вопросы. Самого священника, казалось, привело в замешательство волнение в церкви, внезапное движение и шепот. Голос его утратил свою звучность, он совершенно смутился и не мог продолжать проповедь с той же убедительностью. Для него, должно быть, до конца жизни осталось загадкой, отчего

проповедь, четыре части которой прошли с громадным успехом, потерпела неудачу на пятой.

Я же продолжал сидеть на своем месте, вымокший и усталый, очень волнуясь при мысли о том, что должно случиться, но в восторге от успеха своего появления здесь, в церкви.

XVII. Докладная записка

Едва священник произнес последнее слово, как Стюарт уже взял меня под руку. Мы первыми вышли из церкви, и он так торопился, что, прежде чем улица стала наполняться идущей из церкви толпой, мы уже сидели, запершись, у него в доме.

— Я явился еще вовремя? — спросил я.

— И да и нет, — отвечал он. — Дело окончено, присяжные совещаются и сообщат нам свое мнение завтра утром — мнение, которое я мог бы сформулировать еще за три дня до начала заседаний. Оно с самого начала было общеизвестно. Обвиняемый знает это. «Можете делать для меня что хотите, — шепнул он мне два дня тому назад. — Я знаю свою судьбу, потому что герцог Арджайльский сказал об этом мистеру Макинтошу». О, это был целый скандал!

Великий Арджайль шел на бой,
И пушки, и ружья гремели.

И даже самый жезл его, казалось, кричал: «Круахан!» Но теперь, когда вы явились, я уже не отчаиваюсь. Дуб еще победит мирту: мы еще поколотим Кемпбеллов в их собственной столице. Слава богу, что я дожил до этого дня!

Он прыгал от возбуждения, освобождал свои чемоданы, чтобы найти мне перемену платья, и мешал своей помощью, пока я переодевался. Он не говорил да, кажется, и не думал о том, что оставалось сделать и каким образом я должен был приняться за дело. «Мы еще победим Кемпбеллов» — вот что занимало его. И мне пришла в голову мысль, что под формой строгого судебного разбирательства, в сущности, скрывалась борьба между дикими



кланами. Я находил, что мой друг стряпчий не менее дик, чем другие. Кто из тех, кто видел Стюарта в адвокатском кресле перед поместным судьей, или за игрой в гольф, или катающимся на лодке по Брангсфильским излучинам, узнал бы его в этом говорливом и неистовом гайлэндере?

Защита, кроме Джемса Стюарта, состояла из четырех человек: шерифов Броуна из Кольстоуна и Миллера, мистера Роберта Макинтоша и мистера Стюарта-младшего из Стюарт-Голля. Все они сговорились отобедать у Стюарта после церковной службы; меня любезно включили в число приглашенных. Как только убрали со стола и шериф Миллер искусно приготовил пунш, мы заговорили о всех интересующем деле. Я вкратце рассказал историю своего похищения и ареста, а затем меня стали спрашивать о подробностях убийства. Надо припомнить, что я впервые высказывался так подробно перед юристами, однако последствия оказались весьма удручающими и не оправдали моих ожиданий.

— Одним словом,— сказал Кольстоун,— вы доказываете, что Алан находился на месте преступления; вы слышали, как он угрожал Гленуру, и хотя и уверяете, что стрелял не он, но есть сильное подозрение, что убийца

был с ним в соглашении и Алап если не помогал ему в этом деле, то одобрял его. Далее вы показываете, что, рискуя собственной свободой, он деятельно помогал бегству преступника. Остальная же часть вашего свидетельства, которая может доставить нам хоть какой-нибудь материал, основана единственно на словах Алана и Джемса — обоих осужденных. Короче говоря, вы вовсе не разбиваете, а только прибавляете еще одно лицо к той цепи, которая соединяет нашего клиента с преступником, и мне едва ли надо говорить, что появление третьего участника, скорее, усиливает впечатление заговора, на которое мы наталкиваемся с самого начала.

— Я придерживаюсь того же мнения, — сказал шериф Миллер. — Мне кажется, что все мы должны быть очень обязаны Престонгрэнджу за то, что он удалил такого неудобного свидетеля. В особенности, я думаю, должен быть благодарен ему мистер Бальфур. Вы говорите о третьем участнике, но мистер Бальфур, по-моему, очень похож на четвертого.

— Позвольте мне высказаться, сэры, — вмешался Стюарт. — Может быть еще иной взгляд на вещи. Перед нами свидетель — все равно, важно ли его свидетельство или нет, — свидетель по этому делу, похищенный старой, незаконной шайкой глэнгильских Мак-Грегоров и заключенный почти на месяц в старые холодные развалины на Бассе! Воспользуйтесь этим и посмотрите, как вы можете очернить репутацию наших противников. Сэры, эта история прогремит на весь мир! Было бы странно, имея подобное оружие, не добиться помилования моего клиента.

— Предположим, что мы завтра же начнем дело, мистер Бальфур, — сказал Стюарт-Голль. — Или я очень ошибаюсь, или мы встретим у себя на пути столько препятствий, что Джемса могут повесить, прежде чем мы добьемся, чтобы нас выслушали на суде. Это, конечно, постыдное дело, но, вероятно, вы не забыли еще более постыдного, а именно: похищения леди Грэндж. Она была еще в заточении, когда мой друг мистер Гоп Ранкэйлор сделал все, что было в силах человеческих. И чего же ему удалось добиться? Ему даже отказали в поручительстве! Теперь дело такое же: они будут сражаться тем же оружием. Джентльмены, здесь роль играет вражда кланов. Лица с высоким положением питают ненависть к имени,

которое я имею честь носить. Здесь надо принимать во внимание только откровенную злобу Кемпбеллов и их презренные интриги.

Все с радостью набросились на эту тему, и я некоторое время сидел среди своих ученых советчиков, почти оглушенный их речами, но очень мало понимая их смысл. Стряпчий горячился и допустил несколько резких выражений; Кольстоуну пришлось остановить его и поправить; остальные присоединились кто к одному, кто к другому; все шумели. Герцога Арджайльского разбили вдребезги; на долю короля Георга пришлось по пути тоже несколько ударов и много цветистых защитительных речей. Только одного человека, казалось, забыли, а именно Джемса Глэнского.

Все это время мистер Миллер сидел смирно. Это был пожилой джентльмен, румяный, с мигающими глазами; у него был чрезвычайно лукавый вид, и он говорил звучным мягким голосом, точно актер отчеканивая каждое слово, чтобы придать ему возможно больше выражения. Даже теперь, сидя молча, положив в сторону парик и держа стакан обеими руками, он, со своим смешно собранным ртом и выдающимся подбородком, представлял собой олицетворение веселого лукавства. Было очевидно, что он тоже имеет кое-что сказать и только ждет подходящего случая.

Случай этот вскоре представился. Кольстоун одну из своих речей заключил напоминанием об обязанностях относительно клиента. Второму шерифу, вероятно, понравился этот переход. Он жестом и взглядом пригласил весь стол выслушать его.

— У меня есть соображение, которое все, кажется, упустили,— сказал он.— Понятно, что мы прежде всего должны заботиться об интересах нашего клиента, но ведь на свете существует не один только Джемс Стюарт.— Тут он прищурил глаз.— Я могу снизить, *exempli gratia* (например) до мистера Джорджа Броуна, мистера Томаса Миллера или мистера Давида Бальфура. У мистера Давида Бальфура есть серьезное основание жаловаться, и я думаю, джентльмены, что, если только хорошенько рассказать его историю, некоторым вигам не поздоровилось бы.

Все сразу повернулись к нему.

— Если его историю хорошенько изложить в нужном направлении, она вряд ли останется без последствий,— продолжал он.— Весь судебный персонал, начиная с высшего его представителя до низших, был бы совершенно опозорен. И мне кажется, всех их пришлось бы заместить другими.— Говоря это, он весь светился лукавством.— Мне нечего указывать вам, что выступить в деле мистера Бальфура было бы чрезвычайно выгодно,— прибавил он.

И вот они погнались за другим зайцем — делом мистера Бальфура; спорили о речах, которые будут говорить, о том, какие должностные лица надо будет прогнать и кто займет их место. Я приведу только два примера. Предлагали даже сблизиться с Симоном Фрэзером, чьи показания, если бы их удалось получить, наверно, оказались бы губительными для герцога Арджайльского и Престонгрэнджа. Миллер чрезвычайно одобрял подобную попытку. «Перед нами сочное жаркое,— говорил он,— всякому из нас хватит по кусочку». И при этой мысли все облизывали губы. О другом уже перестали думать. Чарли Стюарт не помнил себя от восторга, предвкушая сладость мести его главному врагу — герцогу.

— Джентльмены,— воскликнул он, наполняя стакан,— я пью за шерифа Миллера! Его юридические познания всем известны, а о кулипарных свидетельствует стоящий перед нами пунш. Но когда дело доходит до политики!..— воскликнул он и осушил стакан.

— Да, но вряд ли это можно назвать политикой в том смысле, какой вы подразумеваете, друг мой,— сказал польщенный Миллер.— Это революция, если хотите. Мне кажется — я могу обещать это вам,— что историки будут вести счет годам с дела мистера Бальфура. Но если дело поведется как следует и осторожно, то революция эта будет мирной.

— Какое мне дело, если проклятым Кемпбеллам и надерут уши?! — кричал Стюарт, ударяя кулаком по столу.

Можете легко представить себе, что мне все это мало нравилось, хотя я едва мог сдержать улыбку, замечая какую-то наивность в этих старых интриганах. Но в мой расчет вовсе не входило перенести столько несчастий единственно для возвышения шерифа Миллера или для того, чтобы произвести революцию в парламенте.

Поэтому я вмешался в разговор со всею простотою, которую мог напустить на себя.

— Мне остается благодарить вас за ваш совет, джентльмены,— сказал я.— А теперь я, с вашего позволения, хотел бы задать вам два-три вопроса. Одна вещь, например, как-то совсем забыта: принесет ли это дело какую-либо пользу нашему другу Джемсу Глэнскому?

Все немного опешили и стали давать мне различные ответы, которые на практике сводились к тому, что Джемсу остается надеяться только на милость короля.

— Затем,— сказал я,— принесет ли это какую-нибудь пользу Шотландии? У нас есть пословица, что плоха та птица, которая грязнит собственное гнездо. Я помню, что, будучи еще ребенком, слышал, будто в Эдинбурге был бунт, который дал случай покойной королеве назвать эту страну варварской. Мне всегда казалось, что от этого бунта мы скорей проиграли, чем выиграли. Затем наступил сорок пятый год, и о Шотландии заговорили повсюду. Но я никогда не слышал, чтобы мы что-нибудь выиграли и сорок пятым годом. Теперь обратимся к делу мистера Бальфура, как вы его называете. Шериф Миллер говорит, что историки отметят этот год,— это меня несколько не удивляет. Я только боюсь, что они отметят его как бедственный и достойный порицания период.

Проницательный Миллер уже пронюхал, к чему я клоню, и поторопился пойти по тому же пути.

— Сильно сказано, мистер Бальфур,— сказал он.— Очень дельное замечание.

— Нам следует затем спросить себя, хорошо ли это будет для короля Георга,— продолжал я.— Шерифа Миллера это, кажется, мало заботит. Но я сильно сомневаюсь в том, чтобы можно было разрушить здание, не нанеся его величеству удара, который мог бы оказаться роковым.— Я дал им время ответить, но ни один не изъявил на это желания.— Среди тех, кому это дело не должно было оказаться выгодным,— продолжал я,— шериф Миллер упомянул нескольких человек, в том числе и меня. Надеюсь, он простит мне, но я думаю иначе. Я не колебался, пока дело шло о спасении жизни Джемса, хотя и сознавал, что многим рискую. Теперь же я думаю, что молодому человеку, желающему сделаться юристом, неудобно утвердить за собой репутацию беспо-

койного, мятежного малого, не достигнув еще двадцати лет. Что же касается Джемса, то, кажется, при настоящем положении дел, когда приговор уже почти вынесен, у него только и надежды, что на милость короля. Разве нельзя в таком случае обратиться непосредственно к его величеству, охранить репутацию высоких должностных лиц в глазах публики и избавить меня самого от положения, которое может испортить мне карьеру?

Все сидели и глядели в свои стаканы. Я видел, что мой взгляд на дело им неприятен. Но у Миллера было на всякий случай готовое мнение.

— Если мне будет дозволено привести соображения нашего молодого друга в более оформленный вид,— сказал он,— то, насколько я понимаю, он предлагает нам включить факт его заключения, а также некоторые намеки на показания, которые он готовился дать, в докладную записку правительству. Этот план имеет некоторые шансы на успех. Он может помочь нашему клиенту не хуже другого, пожалуй, даже лучше. Его величество, может быть, почувствует некоторую благодарность ко всем, имеющим отношение к этой записке, которой может быть придано значение чрезвычайно деликатного изложения верноподданнических чувств. И я думаю, что при редактировании ее надо именно подчеркнуть эту сторону.

Все кивнули, вздохнув, так как первый способ, несомненно, приходился им более по вкусу.

— Так пишите, пожалуйста, мистер Стюарт,— продолжал Мюллер,— я думаю, что записка может быть прекрасно подписана всеми нами, присутствующими здесь в качестве поверенных подсудимого.

— Это, во всяком случае, не может никому из нас повредить,— сказал Кольстоун, еще раз глубоко вздохнув; он последние десять минут воображал себя лордом-адвокатом.

Вслед за этим они без особенного энтузиазма стали составлять записку, но за этим занятием вскоре воодушевились. Мне же не оставалось делать ничего другого, как глядеть на них и отвечать на случайные вопросы. Бумага была написана очень хорошо. Она начиналась с изложения фактов, относившихся ко мне, касалась награды, объявленной за мой арест, моей добровольной явки на суд, давления, оказанного на меня, моего зато-

чения и прибытия в Инверари, когда уже было слишком поздно. Затем в ней излагались те чувства верности и радения об общественном благе, вследствие которых было решено отказаться от своего права действия. Заключалась записка энергичным воззванием к королю о помиловании Джемса.

Мне кажется, что меня лично принесли в жертву и представили беспокойным малым, которого вся эта группа юристов едва могла удержать от крайностей. Но я не придирался к этому, предложив только, чтобы меня выставили готовым дать собственные показания и подтвердить показания других перед любой следственной комиссией, и просил об одном: чтобы мне немедленно выдали копию.

Кольстоун мямлил и запинаясь.

— Это очень конфиденциальный документ,— сказал он.

— Мое положение относительно Престонгрэнджа совершенно особенное,— отвечал я.— Я, без сомнения, завоевал его сердце в наше первое свидание, так что он с тех пор постоянно был мне другом. Если бы не он, джентльмены, я бы теперь был мертв или ожидал приговора вместе с несчастным Джемсом. Поэтому-то я и хочу послать ему эту записку, как только она будет переписана. Примите также во внимание, что этот шаг послужит мне защитой. У меня здесь есть враги, привыкшие действовать энергично. Его светлость тут, у себя, и рядом с ним Ловат. Если наши действия окажутся хоть немного двусмысленными, я могу легко очутиться в тюрьме!

Так как у моих советчиков не нашлось ответа на эти соображения, они наконец решили согласиться и только поставили условие, что, препроводив эту бумагу Престонгрэнджу, я выразил бы ему почтение от имени всех присутствующих.

Адвокат в это время обедал в замке у его светлости. С одним из слуг Кольстоуна я послал ему записку, прося о свидании, и получил приглашение сейчас же повидаться с ним в одном частном доме. Я застал его одного в комнате. На лице его ничего нельзя было прочесть. Но у меня настолько хватило наблюдательности и ума, чтобы заметить в сениях несколько алебард и сообразить, что

Престонгрэндж готов был арестовать меня немедленно, если бы это оказалось нужным.

— Так это вы, мистер Давид? — сказал он.

— Боюсь, что вы не особенно рады видеть меня здесь, милорд, — отвечал я. — Прежде чем начинать разговор о деле, мне хотелось бы выразить благодарность за ваши постоянные дружеские услуги, даже если бы теперь они и прекратились.

— Я уже раньше слышал о вашей благодарности, — сухо возразил он, — и думаю, что вы, вероятно, не для того вызвали меня из-за стола, чтобы еще раз выразить ее. На вашем месте я помнил бы также, что вы стоите пока на очень шаткой почве.

— Думаю, что теперь это кончилось, милорд, — сказал я. — Если только вы взглянете на эту бумагу, то, может быть, подумаете то же.

Он внимательно стал читать ее, сильно нахмутив лоб; он перечитывал то одну часть, то другую, точно взвешивая и сравнивая производимое ими впечатление. Лицо его немного прояснилось.

— Это еще не так плохо, могло быть и хуже, — сказал он, — хотя весьма возможно, что я еще дорого заплачу за свое знакомство с мистером Давидом Бальфуром.

— Скорее за вашу снисходительность к этому несчастному молодому человеку, милорд, — заметил я.

Он продолжал просматривать бумагу, и настроение его, казалось, изменялось к лучшему.

— Кому я обязан этим? — спросил он наконец. — Вероятно, предлагались и другие вопросы. Кто же предложил этот частный метод? Миллер?

— Я сам, милорд, — отвечал я. — Эти джентльмены не оказали мне столько внимания, чтобы я отказался от чести, на которую имею право претендовать, избавляя их от ответственности, которую они справедливо должны вести. Дело в том, что все они были за процесс, который должен был произвести весьма значительные перемены в парламенте и оказаться для них, по их собственному выражению, жирным жарким. Когда я вмешался, они уже собирались разделить между собой все судебные должности. По некоторому соглашению, они должны были привлечь к себе и мистера Симона.

Престонгрэндж улыбнулся.

— Вот они, наши друзья! — сказал он. — А какие вы имели причины не соглашаться, мистер Давид?

Я высказал их ему без утайки, придавая, впрочем, больше веса и силы тем, которые касались самого Престонгрэнджа.

— Вы были ко мне лишь справедливы, — сказал он. — Я так же энергично сражался за ваши интересы, как вы против моих. Но как могли вы прибыть сюда сегодня? — спросил он. — По мере того как дело затягивалось, я начинал беспокоиться, что назначил такой короткий срок, и даже ожидал вас завтра. Но сегодня — это мне никогда не приходило в голову!

Я, разумеется, не хотел выдавать Энди.

— Я думаю, что по дороге найдется не одна замученная лошадь, — заметил я.

— Если бы я знал, что вы такой разбойник, вы бы дольше остались на Бассе, — сказал он.

— Кстати, милорд, возвращаю вам ваше письмо.

Я отдал ему записку, написанную измененным почерком.

— Там был также конверт с печатью, — сказал он.

— У меня его нет, — ответил я. — На нем не было ничего, кроме адреса, так что он не может никого компрометировать. Но вторая записка у меня, и я, с вашего позволения, желал бы сохранить ее.

Мне показалось, что он немного нахмурился, но ничего на это не возразил.

— Завтра, — заключил он, — нам здесь будет нечего делать, и я поеду обратно через Глазго. Я был бы очень рад разделить ваше общество, мистер Давид.

— Милорд... — начал я.

— Не отрицаю, что этим вы окажете мне услугу, — прервал он. — Я даже желаю, чтобы, когда мы вернемся в Эдинбург, вы остановились у меня. Мои дочери очень расположены к вам и будут рады вам. Если вы думаете, что я был вам полезен, то можете таким образом легко отплатить мне, не теряя при этом ничего, напротив, даже извлечете из этого некоторую пользу. Не всякого молодого человека вводит в общество королевский лорд-адвокат.

Несмотря на наше недавнее знакомство, этот джентльмен довольно часто задавал мне головоломные загад-

ки. Теперь мне приходилось работать мозгами: он снова повторял старый вымысел об особенной благосклонности ко мне его дочерей, из которых одна была так добра, что насмехалась надо мной, а две другие едва соблаговолили заметить меня. Я должен был ехать с Престонгрэнджем в Глазго, должен был жить с ним в Эдинбурге и вступить в общество под его покровительством! Было уже достаточно удивительно, что у него хватило добродушия простить меня. Почти невозможно было допустить в нем искреннее желание принять меня как гостя и быть мне полезным, и я стал искать тайного смысла его слов. Одно было ясно: если я стану его гостем, отступление будет невозможно — мне нельзя будет начать действовать. Кроме того, разве мое присутствие в его доме не уничтожит язвительный смысл докладной записки? Ведь не смогут же серьезно отнестись к этой жалобе, когда пострадавший будет гостем должностного лица, которое он больше всех обвиняет. Подумав об этом, я не мог сдержать улыбку.

— Это должно служить противодействием докладной записке? — спросил я.

— Вы очень хитры, мистер Давид, — сказал он, — и не совсем ошибаетесь: этот факт пригодится мне для защиты. Вы, впрочем, кажется, слишком низко цените мои дружеские чувства, которые совершенно искренни. Я чувствую к вам уважение, смешанное со страхом, мистер Давид, — сказал он улыбаясь.

— Я не только согласен, но и очень рад исполнить ваше желание, — отвечал я, — так как мое намерение — стать юристом, а ваше покровительство, милорд, будет для меня неоценимо! Кроме того, я от души благодарен вам и вашей семье за сочувствие и снисходительность. Но вот в чем затруднение. В одном пункте мы с вами значительно расходимся: вы стараетесь повесить Джемса Стюарта, я пытаюсь спасти его. Насколько моя поездка с вами может содействовать вашей защите, милорд, я в вашем распоряжении, но если она поможет повесить Джемса Стюарта, то я затрудняюсь обещать...

Мне показалось, что он вполголоса выругался.

— Вам действительно следует быть юристом. Суд — вот настоящая арена для вашего таланта, — с горечью сказал он и на некоторое время погрузился в молчание.

Вот что я скажу вам,— заключил он наконец,— теперь не может быть речи о Джемсе Стюарте, ни «за», ни «против» него. Джемс должен умереть. Жизнь его отдана и принята или, если вам больше нравится, продана и куплена. Тут не поможет ни докладная записка, ни опровержение честного мистера Давида. Как ни старайтесь, Джемсу Стюарту не будет помилования, примите это к сведению. Дело теперь идет обо мне одном: оставаться ли мне на своем посту или пасть. Не скрою от вас, что мне грозит некоторая опасность. Но почему? Может ли мистер Бальфур сообразить это? Не погову, что я неверно направил дело против Джемса — в этом, знаю, я буду оправдан,— не потому также, что я заточил мистера Давида на скале, хотя придерутся именно к этому, но потому, что я не пошел готовой и прямой дорогой, которую мне неоднократно указывали, и не отправил мистера Давида в могилу или на виселицу. Оттого и произошел скандал и эта проклятая докладная записка,— сказал он, ударяя по лежавшей на коленях бумаге.—Моя мягкость к вам привела меня в это затруднительное положение. Хотелось бы мне знать, не слишком ли велико ваше снисхождение к собственной совести, если вы даже не находите нужным помочь мне?

Не было сомнения, что в его словах было много правды: если Джемсу нельзя было помочь, то кому же мне оставалось помогать, как не этому человеку, который сам так часто помогал мне и даже теперь мог служить мне примером терпения? Кроме того, мне не только надоело, но и стыдно было постоянно подозревать и отказывать.

— Если вы назначите мне время и место, я буду готов сопровождать вас, милорд,— сказал я.

Он пожал мне руку.

— Мне кажется, что у моих барышень есть для вас новости,— сказал он мне на прощание.

Я ушел, чрезвычайно довольный тем, что заключил мир, но все-таки в душе немного озабоченный. Возвращаясь, я начал сомневаться, не был ли слишком уступчив. Впрочем, нельзя было отрицать, что лорд-адвокат, годившийся мне в отцы, был талантливым человеком высокого звания и не раз в минуту опасности приходил мне на помощь. С большим удовольствием провел я остаток этого вечера в прекрасном, без сомнения, обществе адво-

катов, но, пожалуй, с большим, чем следовало, количеством пунша. Хотя я и рано пошел спать, но не помню хорошенько, как добрался до кровати.

XVIII. Мяч

На следующее утро я из судейской комнаты, где никто не мог меня видеть, выслушал решение присяжных и приговор суда над Джемсом. Я совершенно уверен, что верно запомнил слова герцога. И так как эта знаменитая речь послужила предметом споров, я лучше передам ее в своем изложении. Сославшись на сорок пятый год, глава Кемпбеллов, заседая в суде в качестве председателя, в следующих словах обратился к стоявшему перед ним несчастному Стюарту.

— Если бы ваше возмущение не было безуспешным, то вы могли бы предписывать законы там, где теперь выслушиваете приговор. Мы, ваши теперешние судьи, были бы судимы в одном из ваших шутовских судов. И тогда вы могли бы насытиться кровью каждого рода или клана, к которому чувствовали бы отвращение.

«Это действительно называется выпустить кошку из мешка»,— подумал я. Таково было и общее впечатление. Замечательно, как молодые адвокаты ухватились за эту речь и насмеялись над ней, и, кажется, не проходило ни одного обеда или ужина, чтобы кто-нибудь не произнес: «И тогда вы могли бы насытиться». В то время сложилось много песен по этому поводу, которые теперь почти все забыты. Помню, что одна начиналась так:

Чья же кровь вам нужна, чья вам кровь нужна?
Рода ль какого, иль клана,
Или Гайлэнда дикого сына?
Чья вам кровь нужна, чья вам кровь нужна?

Другая пелась на мой любимый мотив «Эйрльский замок» и начиналась словами:

Однажды Арджайль в суде заседал,
На обед ему Стюарта дали.

В одной балладе говорилось:

И, вскочив, стал опять герцог челядь ругать:
«Оскорбленьем большим себе буду считать,
Что за трапезой должен себя насыщать
Кровью клана, который привык презирать».

Джемс, приговоренный к смерти, был погублен так же просто, как если бы герцог взял ружье и застрелил его. Это я, без сомнения, знал заранее, но другие не знали и были более моего поражены скандальными фактами, которые обнаружились во время разбора дела. Хуже всего был, конечно, этот выпад против правосудия. Не менее откровенно прозвучали слова одного из присяжных, которыми тот прервал защитительную речь Кольстоуна: «Пожалуйста, сэр, говорите покороче, мы очень устали». Но некоторые из моих новых друзей-юристов были еще более поражены нововведением, которое опозорило и даже сделало недействительным все судебное разбирательство: одного свидетеля совсем не вызвали. Имя его, положим, было напечатано, и до сих пор его можно видеть на четвертой странице списка: «Джемс Друммонд, alias (иначе) Мак-Грегор, иначе Джемс Мор, бывший арендатор в Инверонахиле». Предварительный допрос, как полагается, был снят с него письменно. Он вспомнил или выдумал — прости ему бог! — вещи, которые легли тяжелым обвинением на Джемса Стюарта; ему же самому отворили двери тюрьмы. Было очень желательно довести его показания до сведения присяжных, не подвергая самого свидетеля опасности перекрестного допроса. И способ, которым они были сообщены, удивил всех своей неожиданностью. Бумагу эту, как нечто любопытное, просто передавали на заседаниях из рук в руки. Она обошла скамью присяжных, произвела свое действие и опять исчезла, — точно нечаянно, — прежде чем достигла защитников подсудимого. Это считали предательским средством. Мысль, что тут было замешано имя Джемса Мора, заставляла меня краснеть за Катриону.

На другой день я с Престонгрэнджем, в довольно многочисленном обществе, отправился в Глазго, где я с большой неохотой провел некоторое время среди удовольствий и дел. Я жил в одном доме с моим покровителем, который поощрял меня к простому обращению с ним, принимал участие в приемах и был представлен самым важным гостям; вообще на меня обращали более вни-

мания, чем того допускали мои способности и положение, так что в присутствии посторонних я часто краснел за Престонгрэнджа. Надо сознаться, что всё, что я видел в последние месяцы, наложило печать мрачности на мой характер. Я видел людей, из которых многие рождением или талантами были предназначены главенствовать; и у кого же из них оказались чистые руки? Я видел также эгоизм всяких Броунов и Миллеров и не мог более уважать их. Престонгрэндж был еще лучше всех. Он спас меня и пощадил, когда другие думали только о том, чтобы убить меня. Но кровь Джемса лежала на нем, и его теперешнее притворство по отношению ко мне казалось мне непростительным. Меня почти выводило из терпения его желание показать, будто он находит удовольствие в разговоре со мной. Я тогда сидел и наблюдал за ним, чувствуя, как внутри меня, точно огонь, разгорается медленный гнев. «Любезный друг,— думал я,— если бы только вы избавились от дела с докладной запиской, не выгнали ли бы вы меня на улицу?» Как показали события, я был к нему более чем несправедлив: видимо, он был одновременно и более искренним человеком, и более искусным актером, чем я думал.

Но некоторым оправданием моего недоверия служило поведение группы молодых адвокатов, окружавших его в поисках покровительства. Неожиданное внимание, которое Престонгрэндж проявил к никому не известному мальчишке, чрезвычайно взволновало их, но не прошло и двух дней, как мне начали льстить и ухаживать за мной. Я был тот же самый — не лучше и не красивее,— но месяц тому назад они пренебрегали мной, а теперь не знали, как услужить мне! Тот ли я был, однако? Нет, и доказательством тому служило прозвище, которое мне дали за глаза. Видя, в каких я хороших отношениях с адвокатом, и будучи убежденным в том, что мне предстоит высоко залететь, они воспользовались термином игры в мяч и называли меня *the tee'd ball*¹. Мне говорили, что я принадлежу к их обществу. Мне, уже успевшему испытать на себе их грубость, теперь пришлось познакомиться с их угодливостью. Один молодой человек, кото-

¹ *The tee'd ball* — мяч, положенный на небольшое возвышение, чтобы его легче было подбросить.

рому меня представили в Гоп-Парке, был настолько самоуверен, что даже напомнил мне о нашей первой встрече. Я сказал, что не имею удовольствия помнить его.

— Как,— заметил он,— сама мисс Грант познакомила нас! Меня зовут так-то.

— Очень возможно, сэр,— возразил я,— но я этого не помню.

Тогда он оставил меня в покое. И отвращение к ним, которое я обыкновенно чувствовал, на минуту сменилось радостью.

Но у меня не хватает терпения останавливаться подробно на этом периоде моей жизни. Когда я бывал в обществе молодых интриганов, меня удручал стыд за свою неотесанность, но в то же время я презирал их за двуличие. Им я все же предпочитал Престонгрэнджа, считая его меньшим злом, чем они. С молодыми людьми я был чопорен и сух, но с адвокатом всегда старался быть приветливым, хоть и питал к нему неприязнь. Он порицал меня, убеждал не быть серьезнее юношей моего возраста и уговаривал дружить с ними. Я говорил ему, что туго схожусь с людьми.

— Тогда я беру свои слова обратно,— отвечал он.— Но ведь существует и простая вежливость, мистер Давид. С этими молодыми людьми вам придется провести всю жизнь. Ваше нежелание сойтись с ними похоже на высокомерие. И я боюсь, что если вы не будете более учтивы, то вам придется трудно в жизни.

— Было бы напрасной работой делать шелковый кошелек из свиного уха,— сказал я.

Утром 1 октября меня разбудил топот коней под окном — это въехал курьер. Подойдя к окну, пока он еще не успел сойти с лошади, я увидел, что он, должно быть, скакал очень быстро. Немного погодя меня вызвали к Престонгрэнджу. Он сидел в ночной рубашке и колпаке у письменного стола, на котором в беспорядке лежала груда писем.

— Мистер Давид,— сказал он,— у меня есть для вас новость. Она касается ваших друзей, которых вы, как мне кажется, немного стыдитесь, так как никогда не упоминали о их существовании.

Я, должно быть, покраснел.

— Я вижу, что вы понимаете меня,— продолжал

он.— Должен вас поздравить: у вас прекрасный вкус. Но знаете ли, мистер Давид, она чрезвычайно предприимчивая девушка. Она поспевает повсюду. Шотландское правительство не в состоянии справиться с мисс Кэтрин Друммонд, как это еще недавно случилось и с известным мистером Давидом Бальфуром. Разве из них не получится хорошая парочка? Ее первое вмешательство в политику... Но я ничего не должен рассказывать вам: власти решили, что вы услышите об этом при других обстоятельствах и от более интересного собеседника. Но она совершила серьезный проступок, и я должен огорчить вас, сообщив, что она заключена в тюрьму.

Я издал восклицание.

— Да,— сказал он,— маленькая леди в тюрьме. Но вам не следует особенно отчаиваться. Если только вы — с помощью ваших друзей и докладных записок — не лишите меня моей должности, она нисколько не пострадает.

— Но что она сделала? В чем ее преступление? — спросил я.

— Оно может быть названо государственной изменой,— отвечал он.— Она открыла королевский замок в Эдинбурге.

— Молодая леди — мой хороший друг,— сказал я.— Вы, вероятно, не стали бы шутить, если бы дело было серьезно.

— А между тем оно действительно серьезно,— отвечал он.— Плутовка выпустила на свет божий весьма сомнительную личность — своего папашу.

Итак, одно из моих предчувствий не обмануло меня. Джемс Мор снова на свободе. Он поручил своим людям стеречь меня в заключении; он предложил свое свидетельство по аппинскому делу, и его показания (при помощи какой увертки — безразлично) оказали свое влияние на присяжных. Затем он получил вознаграждение — ему вернули свободу. Властям хотелось придать его освобождению вид бегства, но я знал, что здесь была сделка. Эти размышления отогнали от меня всякую тревогу о Катрионе. Можно было подумать, что это она выпустила из тюрьмы своего отца, она сама могла верить этому. Но главным действующим лицом был здесь Престонгрэндж. Я был уверен, что он не только не допустит,

чтобы ее наказали, но не доведет дело до суда. Поэтому я не особенно политично воскликнул:

— А я этого ожидал!

— Вы по временам бываете замечательно осторожны! — сказал Престонгрэндж.

— Что вы желаете этим сказать, милорд? — спросил я.

— Я только удивился тому, — отвечал он, — что, имея достаточно ума, чтобы выводить подобные заключения, у вас не хватает его, чтобы оставлять их при себе. Но вам, я думаю, хотелось бы узнать подробности дела. Я получил два извещения: то, что менее официально, гораздо более полное и интересное, так как написано живым слогом моей старшей дочери. «Весь город говорит об одном интересном деле, — пишет она, — которое обратило бы на себя еще больше внимания, если бы узнали, что преступница — *protégée*¹ милорда моего папаша. Я уверена, что вы настолько близко принимаете к сердцу свои обязанности, что не забыли Сероглазку. Что же она сделала? Она достала широкополую шляпу с опущенными полями, длинный мохнатый мужской плащ и большой галстук; подобрала юбки как можно выше, надела две пары гамаш на ноги, в руки взяла заплатанные башмаки и отправилась в замок. Там она выдала себя за сапожника, работающего на Джемса Мора. Ее пустили в камеру, причем лейтенант, очевидно очень веселый малый, вместе с солдатами потешался над плащом сапожника. Затем они слышали спор и звук ударов внутри камеры. Оттуда вылетел сапожник в развевающемся плаще, с опущенными на лицо полями шляпы. Лейтенант и солдаты смеялись над ним, пока он бежал. Они уже не смеялись так весело, когда, войдя в камеру, не нашли там никого, кроме высокой, красивой девушки с серыми глазами и в женской одежде! Что же касается сапожника, то он был уже «за горами, за долами», и бедной Шотландии придется, вероятно, обойтись как-нибудь без него. В тот вечер я пила в одном обществе за здоровье Катрионы. Весь город восхищался ею. Я думаю, что наши щеголи стали бы носить в петлице кусочки ее подвзюк, если бы могли достать их. Я было пошла навестить

¹ *Protégée* (франц.) — лицо, находящееся под покровительством.

ее в тюрьме, но вовремя вспомнила, что я дочь моего отца. Тогда я написала ей записку и поручила передать ее верному Дойгу. Надеюсь, вы согласитесь, что и я умею быть дипломатичной, когда хочу. Тот же самый верный дурак отправит это письмо с курьером вместе с письмами ученых людей, так что вы одновременно с Соломоном Премудрым услышите и Иванушку-дурачка. Вспомнив о дураках, прошу вас сообщить эту новость Давиду Бальфуру. Мне бы хотелось видеть его лицо при мысли о длинноногой красотке в подобном положении! Не говорю уже о легкомыслии вашей любящей дочери и его почтительного друга». Так подписывается моя плутовка,— продолжал Престонгрэндж.— Вы видите, мистер Давид, я говорю вам совершенную правду, когда уверяю, что дочери мои относятся к вам с самой дружеской шутливостью.

— Дурак им чрезвычайно благодарен,— сказал я.

— Разве это не ловко проделано? — продолжал он.— Ведь эта гайлэндская девушка стала чем-то вроде героини.

— Я всегда был уверен, что она очень смелая. Я могу биться об заклад, что она ничего не подозревала... Но прошу у вас извинения: я снова затрагиваю запрещенные темы.

— Я готов поручиться, что она не знала,— возразил он откровенно.— Я готов поручиться: она думала, что идет против самого короля Георга.

Мысль о том, что Катриона находится в заключении, взволновала меня. Я видел, что даже Престонгрэндж удивлялся ее поведению и не мог удержать улыбки при воспоминании о ней. Что же касается мисс Грант, то, несмотря на ее дурную привычку насмехаться, восхищение ее было очевидным. На меня нашел какой-то пыл.

— Я не ваша дочь, милорд...— начал я.

— Я это знаю! — возразил он, улыбаясь.

— Я говорю глупости,— сказал я,— или, вернее, я не так начал. Без сомнения, мисс Грант поступила неблагодарно, пойдя в тюрьму. Но я показался бы бессердечным, если бы не полетел туда же немедленно.

— Так, так, мистер Давид,— заметил он,— я думал, что у нас с вами был уговор.

— Когда я заключал этот уговор, милорд,— сказал

я,— я, конечно, был очень тронут вашей добротой, но не могу отрицать, что заботился, кроме того, и о собственных интересах... И я стыжусь сейчас своего эгоизма. Для вашей безопасности, милорд, вам, может быть, нужно везде рассказывать, что беспокойный Дэви Бальфур — ваш друг и гость. Рассказывайте это, я не стану противоречить. Что же касается вашего покровительства, я отказываюсь от него. Я прошу лишь об одном: отпустите меня и дайте мне пропуск, чтобы я мог повидаться с ней в тюрьме.

Он строго посмотрел на меня.

— Мне думается, что вы ставите телегу перед лошадью,— сказал он.— Я чувствую к вам расположение, чего при вашей неблагодарной натуре вы, кажется, не замечаете. Но покровительства я вам не обещал да, говоря правду, и не предлагаю его.— Он помолчал немного.— Предостерегаю вас: вы сами себя не знаете,— прибавил он.— Молодость — горячая пора. Через год вы будете думать иначе.

— О, я бы хотел, чтобы молодость моя была всегда такова! — воскликнул я.— Уж слишком много я видел расчетливого и эгоистичного в молодых адвокатах, которые увиваются около вас, милорд, и даже стараются увиваться вокруг меня. Я заметил то же самое и в стариках. Все они, весь их клан, заботятся только о своих интересах! Оттого-то я и сомневаюсь в ваших дружеских чувствах ко мне. Почему я должен верить, что вы любите меня? Вы сами говорили мне, что преследуете собственную выгоду!

Тут я остановился, устыдившись, что зашел так далеко. Он смотрел на меня, но на лице его ничего нельзя было прочесть.

— Прошу у вас прощения, милорд,— заключил я.— Я умею говорить только грубо, по-деревенски. Мне кажется, что было бы прилично поехать навестить моего друга в заключении, но я обязан вам жизнью, и этого я никогда не забуду. И если нужно для вашего блага, милорд, то я останусь — останусь из одного чувства благодарности.

— Это можно было бы сказать и покороче,— мрачно сказал Престонгрэндж.— Легко, а иногда и вежливо сказать просто «да».

— Но, милорд, мне кажется, что вы все еще не вполне понимаете меня! — воскликнул я. — Для вас, за спасение моей жизни, за расположение, которое, как вы говорите, вы чувствуете ко мне, — за все это я готов остаться... Но не оттого, что ожидаю каких-либо выгод для себя. Если я буду вынужден держаться в стороне, когда будут судить молодую девушку, то я ни в коем случае не хочу чего-либо выиграть от этого. Я скорее готов претерпеть окончательное крушение, чем на этом основывать свое благополучие.

Престонгрэндж с минуту оставался серьезен, затем улыбнулся.

— Вы напоминаете мне человека с длинным носом, — сказал он. — Если бы вам пришлось в телескоп глядеть на луну, вы и там бы увидели Давида Бальфура. Но пусть будет по-вашему. Я попрошу вас оказать мне одну услугу, а затем освобожу вас. У моих клерков работы по горло: будьте так добры, перепишите мне несколько страниц, — сказал он, заметно затрудняясь в выборе между несколькими большими рукописями. — А когда вы кончите, я скажу вам: с богом! Я никогда не согласился бы обременить себя заботой о совести мистера Давида. Если бы вы сами могли по дороге бросить часть ее в болото, то поехали бы дальше значительно облегченным.

— Хотя, может быть, не в том самом направлении, милорд! — сказал я.

— За вами непременно должно остаться последнее слово! — радостно воскликнул он.

У него действительно были причины радоваться, так как он нашел способ добиться своего. Для того чтобы ослабить значение докладной записки и иметь готовый ответ, он желал, чтобы я всюду показывался с ним в качестве близкого ему человека. Но если бы я так же открыто появился у Катрионы в тюрьме, все бы не преминули вывести свои заключения, и подлинный характер бегства Джемса Мора стал бы очевидным. Такова была небольшая задача, которую я внезапно предложил ему и решение которой он так быстро нашел. Меня удерживали в Глазго под предлогом переписки, от чего я из простого приличия не мог отказаться. А пока я был занят, от Катрионы постарались избавиться частным обра-

зом. Мне совестно писать это о человеке, который оказывал мне столько услуг. Он был добр ко мне, как отец, но я постоянно замечал, что он фальшивит, как надтреснутый колокол.

XIX. Я попадаю в дамское общество

Переписывать было чрезвычайно скучно, тем более что дела, о которых говорилось в бумаге, не требовали, как я скоро заметил, никакой поспешности, и это занятие было только предлогом, чтобы удержать меня. Как только я закончил свою работу, я вскочил на коня и, стараясь не терять ни минуты, помчался вперед; поздно вечером я уже остановился на ночлег в домике на берегу Алан-Уотера. До наступления следующего дня я снова сидел в седле. В Эдинбурге только что открылись лавки, когда я въехал в город через Вест-Боу и на взмыленной лошади подскакал к дому лорда-адвоката. У меня была записка к Дойгу — доверенному лицу милорда, который, как предполагалось, знал все его секреты. Это был низенький, невзрачный, жирный человек, весь как бы пропитанный табаком и самонадеянностью. Я застал его за конторкой, выпачканного табаком, в той самой передней, где я встретился с Джемсом Мором. Он внимательно прочел записку, точно главу из библии.

— Гм...— сказал он.— Вы немного запоздали, мистер Бальфур. Птичка улетела, мы выпустили ее.

— Мисс Друммонд свободна! — воскликнул я.

— Ну да! — сказал он.— На что нам было держать ее, подумайте сами! Никому бы не понравилось, если бы подняли шум из-за этого ребенка.

— А где же она теперь? — спросил я.

— Бог знает! — сказал Дойг, пожимая плечами.

— Она, вероятно, вернулась к леди Аллардейс,— заметил я.

— Всроотно,— сказал он.

— Так я прямо отправлюсь туда,— продолжал я.

— Но вы прежде немного закусите? — спросил он.

— Нет, я не стану закусывать,— отвечал я.— Я выпил молока в Рато.

— Хорошо, хорошо,— сказал Дойг.— Но вы можете

оставить свою лошадь и багаж, так как вы, кажется, остановитесь здесь.

— Нет, нет,— сказал я,— сегодня в особенности мне совсем не улыбается ехать на Томсоновой кобыле¹.

Так как Дойг говорил с сильным акцентом, то и я, подражая ему, отвечал более простонародным языком, чем это было мне свойственно, и гораздо грубее, чем написано здесь. Тем более я был пристыжен, когда услышал сзади себя чей-то голос, который продекламировал отрывок из баллады:

Седлайте же мне вороного коня,
Седлайте, седлайте скорее!
Умчусь я на нем по прямому пути
К девице, что всех мне милее!

Когда я оглянулся, то увидел молодую леди, которая стояла передо мной, спрятав руку в складках своего утреннего платья, точно не желая подать ее мне. Но я не мог не заметить, что она смотрела на меня благосклонно.

— Приветствую вас, мисс Грант,— сказал я, поклонившись.

— И вас тоже, мистер Давид,— отвечала она, низко приседая.— Прошу вас, вспомните старую поговорку, что еда и литургия никогда не мешают. Литургии я не могу предложить вам, так как все мы добрые протестанты, но на еде настаиваю. Может случиться, что у меня найдется для вас нечто, из-за чего бы стоило остаться.

— Мисс Грант,— сказал я,— мне кажется, что я и так уже обязан вам за несколько добрых слов, написанных на бумажке без подписи.

— Без подписи? — спросила она, и на ее красивом лице появилась забавная гримаска, точно она старалась припомнить что-то.

— Если только я не ошибаюсь,— продолжал я.— Но у нас, во всяком случае, будет время поговорить об этом благодаря доброте вашего отца, который на некоторое время приглашает меня к себе. Однако в настоящую минуту дурак просит вас дать ему свободу.

— Вы даете себе нелестное название,— сказала она.

— Мистер Дойг и я рады бы были и не такому под вашим остроумным пером,— сказал я.

¹ Идти пешком

— Мне еще раз приходится удивляться скромности всех мужчин,— возразила она.— Но если вы не хотите есть, то уезжайте сейчас же. Вы вернетесь очень скоро, так как едете совершенно напрасно. Уезжайте, мистер Давид,— продолжала она, отворяя дверь.

На доброго быстро вскочил он коня,
В ворота помчался скорее,
Без отдыха ехал и всюду искал
Девицу, что ему всех милее.

Я не стал ждать второго приглашения и по дороге в Дин оправдал цитату мисс Грант.

Старая леди Аллардейс гуляла в саду одна, в своей шляпе и в своем обычном платье, опираясь на палку черного дерева с серебряным набалдашником. Когда я слез с лошади и подошел к ней с приветствием, я увидел, как кровь прилила ей к лицу, и она подняла голову с видом императрицы.

— Что привело вас к моему бедному порогу? — воскликнула она, произнося слова в нос.— Я не могу впустить вас в дом. Все мужчины в моей семье умерли: у меня нет ни сына, ни мужа, которые могли бы охранять мою дверь. Всякий бродяга может схватить меня за бороду, а борода у меня действительно есть, и это хуже всего,— прибавила она точно про себя.

Такой прием совершенно огорошил меня, а последнее замечание, похожее на бред сумасшедшей, почти лишило дара слова.

— Я вижу, что возбудил ваше неудовольствие, миледи,— сказал я.— Но все же беру на себя смелость осведомиться о мисс Друммонд.

Она взглянула на меня горящими глазами. Губы ее были крепко сжаты, образуя множество складок, а рука, опиравшаяся на палку, дрожала.

— Это мне больше всего нравится! — воскликнула она.— Вы же еще приходите спрашивать о ней? Видит бог, я бы сама желала это знать!

— Так она не здесь? — воскликнул я.

Она закинула голову, сделала шаг вперед и так закричала на меня, что я тотчас же отступил.

— Ах вы проклятый лгун! — воскликнула она.— Как, вы еще приходите спрашивать меня? Она в тюрьме, ку-

да вы посадили ее, вот она где! И подумать только, что из всех мужчин, которых я когда-либо видела, это сделали именно вы! Ах вы мерзавец! Если бы в моей семье был хоть один мужчина, он отколотил бы вас хорошенько.

Я подумал, что лучше не оставаться дольше на этом месте, так как возбуждение ее все усиливалось. Когда я повернулся, чтобы подойти к лошади, она последовала за мной. Я не стыжусь признаться, что уехал, держа одну ногу в стремяни, тогда как другая еще искала его.

Я не имел возможности продолжать поиски Катрионы, и мне не оставалось ничего другого, как вернуться к адвокату. Меня очень любезно приняли все четыре леди, которые теперь собрались вместе. Они потребовали, чтобы я им подробно рассказал о Престонгрэндже и о том, что творилось в западных провинциях, в то время как молодая леди, с которой я желал остаться наедине, насмешливо глядела на меня и, казалось, находила удовольствие в моем нетерпении. Наконец, когда я позавтракал с ними и уже готов был в присутствии тетки умолять ее дать мне объяснение, она подошла к клавикордам и, наигрывая мотив, пропела на высоких нотах:

Когда ты мог иметь — не брал,
Когда захочешь — не получишь.

Но она сменила гнев на милость и под каким-то предлогом увела меня в библиотеку своего отца. Не могу не сказать, что мисс Грант была очень нарядно одета и выглядела чрезвычайно красивой.

— А теперь, мистер Давид, садитесь и поговорим наедине, — сказала она. — У меня есть многое, о чем рассказать вам, и, кроме того, кажется, мое суждение о вашем вкусе было очень несправедливо.

— Каким образом, мисс Грант? — спросил я. — Надеюсь, что я всегда относился к вам с должным уважением.

— Будьте спокойны, мистер Давид, ваше уважение как к себе самому, так и к вашим бедным ближним, к счастью, неподражаемо. Но это к делу не идет. Вы получили от меня записку? — спросила она.

— Я имел смелость предполагать, что эта записка от вас, — сказал я, — и был вам очень благодарен.

— Она, вероятно, удивила вас, — сказала она. — Но



начнем с самого начала. Вы, может быть, не забыли тот день, когда вы так любезно сопровождали трех скучных барышень в Гоп-Парк? У меня еще менее основания забыть его, так как вы сообразовали познать меня с некоторыми правилами латинской грамматики, за что я вам глубоко благодарна.

— Боюсь, что я был слишком педантичен,— сказал я, придя в замешательство при этом воспоминании.— Но примите во внимание, что я совсем не привык к дамскому обществу.

— В таком случае я не буду говорить более о латинской грамматике,— отвечала она.— Но как могли вы покинуть оставленных на вашем попечении молодых леди? «Он швырнул ее за борт, он бросил ее, свою милую, добрую Анни»,— пропела она,— и его милой Анни, и двум ее сестрам пришлось тащиться домой одним, как стаду гусей! Оказывается, что вы вернулись к моему папаше,

где выказали необыкновенную воинственность, а оттуда поспешили в неведомые страны, направляясь, как оказывается, к утесу Басс. Молодые бакланы вам, вероятно, больше нравятся, чем красивые девушки.

Несмотря на ее насмешливый тон, в глазах молодой леди можно было прочесть доброту, и я стал надеяться, что дальше будет лучше.

— Вам нравится мучить меня,— сказал я,— и вы обращаетесь со мной как с игрушкой. Позвольте, однако, просить вас быть более милостивой. Сейчас мне важно узнать только одно: где Катриона?

— Вы называете ее так в глаза, мистер Бальфур? — спросила она.

— Уверю вас, что я и сам не знаю,— запинаясь, проговорил я.

— Ни в коем случае я не стала бы так называть посторонних мне лиц,— сказала мисс Грант.— А почему вас так тревожат дела этой молодой леди?

— Я слыхал, что она в тюрьме,— объяснил я.

— Ну, а теперь вы слышите, что она вышла из тюрьмы,— отвечала она,— что вам нужно еще? Она больше не нуждается в защитнике.

— Но я могу нуждаться в ней,— сказал я.

— Вот так-то лучше! — сказала мисс Грант.— Взгляните мне хорошенько в лицо: разве я не красивее ее?

— Я никогда не стану отрицать это,— отвечал я.— Во всей Шотландии нет красивее вас.

— Ну вот, а теперь, когда перед вами лучшая из двух, вы беспрестанно говорите о другой! — заметила она.— Вы таким образом никогда не будете иметь успеха у дам, мистер Бальфур.

— Но, мисс,— сказал я,— кроме красоты, есть ведь еще и другое.

— Вы хотите дать мне понять, что я самая красивая, но не самая милая? — спросила она.

— Я хочу дать вам понять, что я похож на петуха из басни,— сказал я.— Я вижу драгоценность, мне очень нравится смотреть на нее, но я более нуждаюсь в пшеничном зерне.

— Брависсимо! — воскликнула она.— Это вы хорошо сказали, и я вознагражу вас своим рассказом. В день вашего исчезновения я поздно вечером вернулась от зна-

комых, где мною очень восхищались — каково бы ни было ваше мнение,— как вдруг мне сказали, что меня желает видеть девушка в тартановой шапочке. Она ждала уже более часа, сказала мне служанка, и все время потихоньку плакала. Я сейчас же вышла к ней. Она встала, и я сразу узнала ее. «Сероглазка»,— подумала я, но была настолько умна, что не подала виду, будто знаю ее. «Это вы, наконец, мисс Грант? — спросила она, глядя на меня строго и вместе с тем жалобно.— Да, он говорил правду, вы очень красивы».— «Такова, как создал меня бог, моя милая,— отвечала я.— Однако я была бы очень рада и обязана вам, если бы вы объяснили, что вас привело сюда в ночную пору».— «Миледи,— сказала она,— мы родственницы: в наших жилах течет кровь сынов Альпина».— «Милая моя,— отвечала я,— я столько же думаю об Альпине и его сынах, как о прошлогоднем снеге. Слезы на вашем красивом лице меня трогают гораздо больше». Тут я оказалась настолько неосторожной, что поцеловала ее. Вы бы сами чрезвычайно желали это сделать, но, держу пари, никогда не решитесь. Я говорю, что это было неосторожно, потому что я знала ее только по наружности, но оказалось, что я не могла бы придумать ничего умнее. Она очень смелая и гордая девушка, но, я думаю, не привыкла к нежностям, и при этой ласке, хотя, признаюсь, она была оказана довольно легкомысленно, сердце ее сразу расположилось ко мне. Я не буду открывать вам женские тайны, никогда не скажу, каким образом она обворожила меня, потому что она воспользуется теми же средствами, чтобы покорить и вас. Да, это славная девушка! Она чиста, как вода горных ключей...

— О да! — воскликнул я.

— Ну, затем она рассказала мне о своем беспокойстве,— продолжала мисс Грант,— о том, в какой тревоге она относительно отца, в каком страхе за вас — без всякой серьезной причины — и как затруднительно оказалось ее положение, когда вы ушли. «И тогда я наконец вспомнила,— сказала она,— что мы родственницы и что мистер Давид называл вас красавицей из красавиц, и подумала: «Если она так красива, то будет, вероятно, и добра», собралась с духом и пришла сюда. Вот тут-то я и простила вас, мистер Дэви. Когда вы были в моем

обществе, вы точно сидели на горящих угольях. Если я когда-либо видела молодого человека, который хотел сбежать, то, по всем признакам, это были вы, а я и мои две сестры были теми леди, от которых вы желали уйти. И вдруг оказалось, что вы мимоходом обратили на меня внимание и были так добры, что рассказали о моей красоте! С этого часа можете считать меня другом. Я даже начинаю с нежностью вспоминать о латинской грамматике.

— У вас будет достаточно времени насмеяться надо мной,— сказал я.— Думаю только, что вы несправедливы к себе и что это Катриона расположила вас в мою пользу. Она слишком проста, чтобы замечать подобно вам неловкость своего друга.

— Я не поручилась бы за это, мистер Давид,— заметила она,— у девушек зоркие глаза. Но, как я это вскоре увидела, она вам настоящий друг. Я отвела ее к моему папаше, а так как кларет привел его высокопревосходительство в благодушное настроение, он принял нас. «Вот Сероглазка, о которой вы столько слышали последние дни,— сказала я,— она пришла доказать, что мы говорили правду, и я повергаю к стопам вашим самую красивую девушку в Шотландии, делая по-иезуитски мысленное ограничение в свою пользу». Она стала перед ним на колени, и я не решаюсь поклясться, что он не увидел двух Катрион, отчего ее обращение несомненно показалось ему еще более неотразимым, так как все мужчины настоящие магометане. Она рассказала ему, что случилось в этот вечер, как она задержала слугу своего отца, чтобы он не мог следовать за вами, и в какой она тревоге за отца и за вас. Со слезами просила она спасти жизнь вам обоим, из которых ни одному не грозило ни малейшей опасности. Уверяю вас, я стала наконец гордиться своим полом, так все у нее выходило красиво, и жалела только о ничтожности данного случая. Она не успела много сказать. Уверяю вас: адвокат быстро протрезвел и понял, что вся его тонкая политика распутана молодой девушкой и открыта самой непокорной его дочерью. Но мы вдвоем забрали его в руки и уладили дело. Если только умело обращаться с моим папочкой, как умею я, то с ним никто не справится.

— Он был очень добр ко мне,— сказал я.



«Вот Сероглазка, о которой вы столько слышали. Она пришла доказать, что мы говорили правду...»

— Он был так же добр к Кэтрин, я сама была свидетельницей,— возразила она.

— И она просила за меня! — сказал я.

— Да, и очень трогательно,— отвечала мисс Грант.— Я не хочу сказать вам, что она говорила. Я считаю, что у вас и так достаточно самомнения.

— Награди ее бог за это! — воскликнул я.

— Вместе с мистером Давидом Бальфуром, я думаю? — сказала она.

— Вы слишком несправедливы ко мне! — воскликнул я.— Вы думаете, что я возомнил о себе, узнав, что она молила о моей жизни? Да она сделала бы это для новорожденного щенка! Если бы вы только знали — у меня было еще больше причин возгордиться: она поцеловала мне руку! Да, поцеловала! А почему? Она думала, что я храбро стою за правое дело и, может быть, иду на смерть. Не для меня она это делала... Впрочем, мне не следовало бы говорить это вам: ведь вы не можете глядеть на меня без смеха. Это было из любви к тому, что она считает подвигом. Я думаю, никто, кроме меня и бедного принца Чарли, не удостоился бы этой чести. Разве это не значило приравнять меня к божеству? Вы думаете, сердце мое не трепещет, когда я думаю об этом?

— Я смеюсь над вами больше, чем допускается вежливостью,— сказала она,— но скажу вам одно: если вы с ней говорите так же, то у вас есть некоторая надежда на успех.

— С ней?! — воскликнул я.— Да я никогда не посмел бы! Я могу говорить так с вами, мисс Грант, потому что мне безразлично, что вы думаете обо мне! Но с ней...

— Мне кажется, что у вас самые большие ноги в Шотландии¹, — сказала она.

— Действительно, они не малы,— отвечал я, глядя вниз.

— Бедная Катриона! — воскликнула мисс Грант.

Я с недоумением взглянул на нее. Хотя я теперь отлично вижу, что она хотела сказать, но всегда был не слишком находчив в таких легких разговорах.

— Ну, мистер Давид,— сказала она,— хотя это и про-

¹ Тут, очевидно, в смысле «самый неотесанный человек».

тив моей совести, но я вижу, что мне придется быть вашим адвокатом. Она узнает, что вы приехали к ней, как только услышали о том, что она попала в тюрьму; узнает также, что вы не захотели даже остаться поестъ; из нашего разговора она узнает ровно столько, сколько я найду подходящим для неопытной девушки ее лет. Поверьте, что это сослужит вам лучшую службу, чем если бы вы говорили за себя сами, потому что я умолчу о «больших ногах».

— Так вы, значит, знаете, где она?! — воскликнул я.

— Знаю, мистер Давид, и никогда не скажу, — сказала она.

— Почему же? — спросил я.

— Я верный друг, — сказала она, — вы скоро в этом убедитесь. Но главный мой друг — мой отец. Уверяю вас, вам не удастся ничем ни соблазнить, ни разжалобить меня, чтобы я позабыла об этом. И потому избавьте меня от ваших телячьих глаз. И до свиданья пока, мистер Давид Бальфур.

— Но остается еще одно, — воскликнул я, — еще одно, чему следует помешать, потому что это принесет бесчестье как ей, так и мне!

— Будьте кратки, — сказала она, — я и так уже потратила на вас половину дня.

— Леди Аллардейс думает, — начал я, — она предполагает, что я похитил ее.

Краска бросилась в лицо мисс Грант, так что я сначала пришел в замешательство, пока не понял, что она борется со смехом. В этом я окончательно убедился по дрожи в ее голосе, когда она ответила мне.

— Я беру на себя защиту вашей репутации, — сказала она. — Можете оставить ее в моих руках.

С этими словами она ушла из библиотеки.

XX. Я продолжаю вращаться в хорошем обществе

Около двух месяцев я прожил гостем в семье Престонгрэнджа и за это время познакомился с судьями, адвокатами и всем цветом эдинбургского общества. Вы не

должны предполагать, что я пренебрегал своим воспитанием; напротив, я был чрезвычайно занят. Я изучал французский язык, готовясь к поездке в Лейден, принялся за фехтование и занимался им очень много, иногда часа три в день, значительно подвигаясь вперед. По совету моего родственника Пильрига, хорошего музыканта, меня стали обучать пению, а по настоянию мисс Грант, также и танцам, в которых я, признаться, далеко не блистал. Тем не менее все были так добры, что находили, будто я приобрел какой-то лоск и стал немножко изящнее; без сомнения, я научился обращаться более ловко с фалдами моего кафтана и шпагой и держаться в гостинице так, словно находился у себя дома. Моя одежда была теперь в порядке, и самые мельчайшие подробности моего туалета — например, как мне связать волосы или какого цвета выбрать ленту, — долго обсуждались тремя барышнями, словно это было очень важное дело. Благодаря всему этому я выглядел значительно лучше и приобрел модный вид, который очень удивил бы добрых иссендинских жителей. Две младшие мисс охотно занялись моим костюмом, потому что все их мысли обыкновенно были направлены на наряды. Не могу сказать, чтобы они как-нибудь иначе показывали, что замечают мое присутствие. И хотя они были всегда весьма внимательны и как-то равнодушно-приветливы, обе сестры не могли скрыть того, что я надоел им. Что же касается тетки, то эта удивительно тихая женщина, я думаю, относилась ко мне с таким же вниманием, как и к остальным членам семьи, что было немного. Таким образом, самыми близкими моими друзьями были адвокат и его старшая дочь, и наши дружеские отношения еще более окрепли благодаря нашим совместным развлечениям.

До открытия заседаний суда мы провели один или два дня за городом, где жили по-аристократически и вдвоем совершали прогулки верхом, что потом и продолжали в Эдинбурге, насколько это допускали постоянные дела адвоката. Когда мы мчались по трудным дорогам, не обращая внимания на дурную погоду, мы приходили в хорошее настроение, и моя застенчивость совершенно пропадала. Мы забывали, что мы чужие друг другу, и, так как разговор не был обязателен, он лился совершенно естественно. Тогда-то адвокат и его дочь услышали

отрывками мою историю, начиная с того времени, как я ушел из Иссендина, как я отправился в плавание, сражался на «Конвенте», скитался по горам и прочее. Они заинтересовались моими приключениями и однажды, когда в суде не было заседания, мы совершили прогулку, о которой я расскажу немного подробнее.

Мы выехали рано и сперва проехали мимо Шоосгауза. Трубы не дымились, дом, точно необитаемый, стоял среди обширного, покрытого инеем поля. Престонгрэндж слез с лошади, поручил ее мне и отправился навестить моего дядю. Помню, что при виде этого оголенного дома и при мысли о старом скряге, который дрожал в холодной кухне, в сердце моем пробудилось горькое чувство.

— Вот мой дом и моя семья,— сказал я.

— Бедный Давид Бальфур! — заметила мисс Грант.

Я так и не узнал, что произошло во время этого визита. Вероятно, не особенно хорошее для Эбenezера, потому что, когда адвокат вернулся, лицо его было мрачно.

— Я думаю, что вы вскоре действительно станете лэрдом, мистер Дэви,— сказал он, наполовину поворачиваясь ко мне, держа одну ногу в стремяни.

— Я не буду притворяться, будто жалею об этом,— сказал я.

По правде сказать, мы с мисс Грант в его отсутствие мысленно украшали это место насаждениями, цветниками и террасой, что я впоследствии и сделал.

Оттуда мы проехали в Куинзферри, где нас радушно встретил Ранкэйлор, который был в восторге, что принимает такого важного посетителя. Адвокат был так добр, что подробно ознакомился с моими делами, проведя часа два со стряпчим в его кабинете и выразив, как мне сказали, большой интерес ко мне и моей будущности. В это время мисс Грант, я и молодой Ранкэйлор сели в лодку и переехали через залив к Димекильнсу. Ранкэйлор смешно и, по-моему, не совсем уважительно восторгался молодой леди, но, к моему удивлению, она, казалось, скорее, была польщена. Это принесло одну несомненную пользу: когда мы подъехали к другому берегу, она приказала ему стеречь лодку, сама же пошла со мной немного дальше к постоялому двору. Мисс Грант

сама придумала эту поездку: ее заинтересовал рассказ об Ализон Хэсти, и она пожелала увидеть эту девушку. Мы опять застали ее одну — отец ее, кажется, весь день работал в поле — и она почтительно присела перед господином и красивой леди в амазонке.

— Разве вы не хотите поздороваться со мной иначе? — сказал я, протягивая руку. — Разве вы не помните старых друзей?

— Боже мой, что же это такое? — воскликнула она. — Честное слово, это тот оборванный мальчик!

— Он самый! — сказал я.

— Я часто думала о вас и о вашем друге и рада, что вижу вас таким нарядным! — воскликнула она. — Я поняла, что вы вернулись к своим родственникам по тому чудному подарку, который вы прислали мне и за который я от души благодарю вас.

— Ступайте-ка прогуляться, — сказала мисс Грант, обращаясь ко мне, — будьте послушным мальчиком. Я пришла не для того, чтобы слушать вашу болтовню. Я хочу поговорить с ней наедине.

Мне кажется, она оставалась в доме минут десять, и когда она вышла, я заметил, что глаза ее покраснели, а серебряная брошка, которую она носила на груди, исчезла. Это очень тронуло меня.

— Ничто никогда не украшало вас так, — сказал я.

— О Дэви, ради бога, не будьте таким высокопарным глупцом! — ответила она и весь остаток дня была со мною резка более, чем обычно.

Мы возвратились поздно из этой поездки.

Довольно долго я ничего не слышал о Катрионе. Мисс Грант оставалась непроницаема и шутками прекращала мои расспросы. Однажды, когда она вернулась с прогулки и застала меня в гостиной за учебником французского языка, в лице ее, как мне показалось, было что-то необычайное: щеки ее разгорелись, глаза блестели и на губах играла улыбка, которую она старалась скрыть от меня. Она выглядела олицетворением лукавства и, быстро расхаживая по комнате, вскоре втянула меня в какой-то спор о пустяках без всякого с моей стороны желания. Я очутился в положении человека, попавшего в болото: чем больше он старался выкарабкаться, тем глубже погружался в него, пока она наконец не объяви-

ла, что не позволит никому так отвечать ей и что я должен стать на колени и просить у нее прощения.

Несправедливость ее гневной вспышки возмутила меня.

— Я ничего не сказал, в чем бы вы могли меня упрекнуть,— сказал я,— а на колени я становлюсь только перед богом!

— Я и хочу, чтобы мне служили, как богине! — воскликнула она, встряхивая кудрями. — Всякий человек, который знает меня близко, должен так обращаться со мной!

— Я, пожалуй, из вежливости попрошу у вас извинения, хотя, клянусь, не знаю, в чем,— отвечал я. — Но если вы любите театральные сцены, вы можете обращаться за ними к другим.

— О Дэви,— сказала она,— а если я попрошу вас?

Я сообразил, что воюю с женщиной, а это все равно что воевать с ребенком, и притом из-за пустой формальности.

— Я считаю это ребячеством,— сказал я,— недостойным ни вас, ни меня. Но я не хочу перечить вам, и, если это грех, пусть он останется на вашей душе. — С этими словами я опустился на колени.

— Вот,— воскликнула она,— вот то положение, в которое я старалась поставить вас! — Затем, вдруг сказав «ловите», бросила мне сложенную вдвое записку и, смеясь, выбежала из комнаты.

На записке не были обозначены ни адрес отправителя, ни число.

Дорогой мистер Давид,— так начиналась она,— я постоянно получаю известия о вас через мою кузину, мисс Грант, и очень рада, что известия эти хорошие. Я здорова, живу в хорошем месте, среди добрых людей, но по необходимости должна скрываться, хотя надеюсь, что когда-нибудь мы наконец снова встретимся. О вашем дружеском поведении мне рассказала моя кузина, которая нас любит. Она велела мне написать вам эту записку и прочитала ее. Прошу вас исполнять все ее приказания и остаюсь вашим преданным другом Катрионой Мак-Грегор Друммонд.

P. S. Не навестите ли вы мою родственницу, леди Аллардейс?

Подчиняясь желанию Катрионы, я немедленно отправился в Дин и считаю это одной из своих самых смелых кампаний, как говорят солдаты. Старая леди совершенно переменилась и была со мною очень мила. Каким способом удалось мисс Грант достичь этого, я никогда не мог понять. Я только уверен, что она не решилась действовать открыто, так как ее отец был порядком замешан во всем этом деле. Это он убедил Катриону уйти от своей родственницы и поместил ее в семье Грегоров — весьма порядочных людей, безгранично преданных адвокату и к которым Катриона могла тем более питать доверие, что они принадлежали к ее клану. Они скрывали ее, пока все не было улажено, и помогли ей освободить отца. Затем, когда ее выпустили из тюрьмы, приняли обратно и по-прежнему прятали у себя. Вот каким образом Престонгрэндж воспользовался их помощью, не предавая огласке свое знакомство с дочерью Джемса Мора. Правда, прошел слухок о том, что этот бесчестный человек бежал из тюрьмы, но правительство для вида приняло строгие меры: одного из тюремных сторожей выгнали, а лейтенанта караула, моего бедного приятеля Дункансби, разжаловали. Что же касается Катрионы, то все были очень довольны, что ее не преследовали.

Я никак не мог упросить мисс Грант передать Катрионе ответ от меня. «Нет,— говорила она, когда я на этом настаивал,— я не хочу допустить в это дело «большие поги». Мне было тяжело это слышать. Я знал: она видела моего маленького друга несколько раз в неделю и рассказывала ей обо мне, когда, как говорила она, «я хорошо себя вел». Мисс Грант обращалась со мной «со снисхождением», как говорила сама, но я находил, что, скорее, она мучила меня. Она, без сомнения, была верным и энергичным другом для всех, кого любила. Главное место в ее привязанностях занимала старая, болезненная, полуслепая и очень умная леди, которая жила в верхнем этаже высокого дома в узком переулке и имела пару коноплянок в клетке. Мисс Грант очень любила водить меня к ней и заставляла занимать ее друга рассказами о моих несчастиях. Мисс Тобби Рамсэй, так звали старушку, была очень добра ко мне и рассказывала много интересного о старых людях и об истории Шотландии. Мне следует сказать, что против

окна ее комнаты, на расстоянии не более трех футов — так был узок переулок, — находилось забранное решеткой окошечко, освещавшее лестницу противоположного дома и в которое легко можно было заглянуть.

Однажды мисс Грант под каким-то предлогом оставила меня наедине с мисс Рамсэй. Мне показалось, что старушка невнимательна и чем-то обеспокоена. Кроме того, я чувствовал себя очень неуютно, так как, против обыкновения, окно было отворено, несмотря на холодную погоду. Вдруг, точно издалека, в ушах моих прозвенел голос мисс Грант.

— Шоос, — крикнула она, — взгляните в окно и посмотрите, кого я привела вам!

Мне кажется, что более красивого зрелища я никогда не видел. Весь переулок был залит лучами солнца, так что, кажется, даже посветлели черные и грязные стены домов, а у окошка напротив мне улыбались два личика — мисс Грант и Катрионы.

— Вот, — сказала мисс Грант, — я хотела, чтобы она видела вас в изящном наряде, как та девушка в Лимекильнсе. Я хотела, чтоб она видела, что я сумела сделать из вас, когда всерьез принялась за дело!

Я вспомнил, что в этот день она дольше, чем обыкновенно, занималась моим туалетом, и думаю, что с такою же заботливостью отнеслась и к внешности Катрионы.

— Катриона! — мог я только воскликнуть.

Она не сказала ни слова, только помахала мне рукой, улыбнулась и вдруг отошла от окна.

Не успело это видение исчезнуть, как я побежал к выходу, но наружная дверь дома оказалась запертой на замок; потом я вернулся к мисс Рамсэй и потребовал у нее ключ, но с таким же успехом мог бы требовать его от скалы. Она дала слово, говорила она, и я должен быть умным мальчиком. Выломать дверь было невозможно, не говоря уже о неприличии такого поступка. Так же невозможно было выпрыгнуть из окна седьмого этажа. Мне оставалось только наблюдать за переулком и караулить, когда появится Катриона, спускаясь с лестницы. Увидеть мне пришлось немного: только две шляпки на смешной пачке юбок, точно две подушки для булавок. Катриона даже не взглянула вверх на проща-

ние, потому что мисс Грант, как я узнал позже, внушила ей, что люди выглядят не очень привлекательно, когда на них смотрят сверху вниз.

Вырвавшись от мисс Рамсэй, я по дороге домой упрекал мисс Грант за ее жестокость.

— Мне жаль, что вы разочаровались, — кротко заметила она. — Мне же это доставило большое удовольствие. Вы выглядели лучше, чем я того опасалась. Когда вы появились в окне, вы выглядели — если это только не сделает вас тщеславным — очень красивым молодым человеком. Вы должны помнить, что она не могла разглядеть ваших ног, — сказала она, как бы успокаивая меня.

— О, — воскликнул я, — оставьте мои ноги в покое: они не больше, чем у других.

— Они даже меньше, чем у многих других, — сказала она, — но я говорю притчами, как пророки.

— Я не удивляюсь, что их иногда забрасывали камнями! — воскликнул я. — Но, несчастная, как вы могли сделать это? Зачем вам нужно было дразнить меня одной минутой?

— Любовь — все равно что человек, — сказала она. — Она тоже нуждается в пище.

— О Барбара, дайте мне как следует повидаться с ней! — просил я. — Вы можете видеть ее, когда хотите. Дайте мне только полчаса!

— Кто устраивает это любовное дело, вы или я? — спросила она.

Когда же я продолжал приставать к ней с просьбами, она прибегла к ужасному средству: стала передразнивать, как я зову Катриону по имени. Этим она несколько дней держала меня в подчинении.

О докладной записке никто ничего не слышал — я, по крайней мере. Престонгрэндж и его светлость лорд-президент, насколько я знаю, постарались замять это дело; во всяком случае, они сохранили докладную записку у себя, и публика ничего о ней не узнала. В назначенный день, 8 ноября, во время страшной выюги Джемса Глэнского повесили в Леттерморе у Балахклиша.

Таков был финал моей политики! Джемса повесили, а я жил в доме Престонгрэнджа и был преисполнен благодарности за его отеческое попечение. Джемса повесили,

а я, встретив на улице мистера Симона, был вынужден снять перед ним шляпу, как благонравный школьник перед учителем. Джемса повесили при помощи обмана и насилия, а мир продолжал существовать, и ничего в нем не изменилось, и злодеи, устроившие этот ужасный заговор, продолжали считаться добропорядочными отцами семейств, ходившими в церковь к святому причастию.

25 того же месяца из Лейта отправлялся корабль, и мне внезапно предложили собираться в Лейден. Престонгрэнджу я, разумеется, ничего не мог возразить: я и без того слишком долго пользовался его гостеприимством. Но с дочерью его я был откровеннее: жалуясь на свою судьбу, которая удаляла меня из Эдинбурга, я уверял ее, что, если она не позволит мне проститься с Катрионой, я в последнюю минуту откажусь ехать.

— Разве вы не помните моего совета? — спросила она.

— Знаю, что вы советовали, — сказал я, — знаю также, как многим я обязан вам и что я должен слушаться ваших приказаний. Но сознайтесь сами: вы иногда бываете слишком веселы, чтобы вам можно было безоговорочно довериться.

— Вот что я скажу вам, — возразила она, — будьте на судне в девять часов утра. Отчалит оно не ранее часа дня, и если вы не останетесь довольны тем, что я пришлю вам на прощание, то можете снова вернуться на берег и сами искать Кэтрин.

Так как я ничего больше не мог добиться от нее, то оставалось удовольствоваться хоть этим.

Наступил наконец день, когда мне пришлось распрощаться с мисс Грант. У нас были искренние дружеские отношения, я был многим обязан ей, но мысль о том, как мы расстанемся, не давала мне покоя, так же как соображения о деньгах, которые я должен буду раздать слугам на чай. Я знал, что она считает меня очень застенчивым, и хотел возвыситься в ее глазах. Итак, я собрался с духом и, когда мы в последний раз остались одни, довольно смело спросил ее, не позволит ли она мне поцеловать ее на прощание.

— Вы странным образом забываетесь, мистер Бальфур, — сказала она. — Не могу припомнить, чтобы я дала

вам какое-нибудь право злоупотреблять нашим знакомством.

Я стоял перед ней, как остановившиеся часы, не зная, ни что подумать, ни что сказать, когда она вдруг обеими руками обвила мою шею и от души поцеловала меня.

— Какой вы еще ребенок! — воскликнула она. — Неужели вы думали, что я могла расстаться с вами, как с чужим? Оттого что я не могу сохранить серьезность в течение пяти минут и не могу смотреть на вас без смеха, вы не должны думать, что я не люблю вас. А теперь, чтобы завершить ваше воспитание, я дам вам совет, который пригодится вам в скором времени. Никогда ни о чем не спрашивайте у женщин. Они не могут не ответить «нет», но бог еще не сотворил той девушки, которая могла бы противиться искушению. Богословы предполагают, что в этом проклятие Евы: так как она не устояла, когда дьявол предложил ей яблоко, то дочери ее не могут ничего другого сделать.

— Так как я скоро лишусь своего прекрасного профессора... — начал я.

— Это очень любезно, — сказала она, приседая.

— Я хотел бы предложить один вопрос, — продолжал я. — Могу я спросить девушку, хочет ли она выйти за меня замуж?

— Вы думаете, что не могли бы иначе жениться на ней? — спросила она. — Или, по-вашему, лучше, чтобы она сделала предложение?

— Вы сами видите, что умеете быть серьезной, — сказал я.

— В одном я буду очень серьезна, Давид, — отвечала она, — я всегда останусь вашим другом.

Когда на следующее утро корабль отправился в путь, все четыре леди стояли у того окна, из которого мы когда-то смотрели на Катриону. Они кричали мне «прощайте» и махали носовыми платками. Я знал, что одна из четырех действительно была огорчена! При мысли об этом, а также вспоминая о том, как я три месяца назад подошел к этой самой двери, грусть и благодарность смешались в моем сердце.



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

О Т Е Ц И Д О Ч Ь

XXI. Путешествие в Голландию

Корабль стоял на якоре далеко за Лейтским молом, так что попасть на него можно было только при помощи лодки. Это было сделать нетрудно: стоял тихий холодный и облачный день с легким туманом, носившимся над водой. Когда я приблизился к судну, то корпус его, окутанный туманом, был совершенно невидим, в то время как высокие мачты ярко вырисовывались в солнечном свете, похожем на мерцание огня. Корабль оказался просторным, удобным торговым судном с немного тупым носом, до отказа нагруженным солью, соленой лососиной и тонкими нитяными чулками для голландцев. Когда я поднялся на борт, меня приветствовал капитан, некий Сэнг, из Лесмаго кажется, очень сердечный, добродушный моряк, занятый последними хлопотами перед отплытием. Никто из пассажиров еще не появлялся, так что мне оставалось только прогуливаться по палубе, лю-

боясь видом и ломая себе голову, что за прощальный сюрприз мне обещала мисс Грант.

Эдинбург и Петланд-Гиллс сверкали надо мною в какой-то светлой дымке, по которой пробегали временами тени облаков. От Лейта остались только верхушки труб, а на поверхности воды, где лежал туман, ничего не было видно. Мне вдруг послышался плеск весел, а вскоре, точно из дыма костра, появилась лодка. На корме неподвижно сидел закутанный в теплую одежду человек, а рядом с ним высокая красивая девушка, при виде которой у меня чуть не остановилось сердце. Я едва успел прийти в себя, как она ступила на палубу, и я встретил ее с улыбкой и поклоном, который теперь у меня получился гораздо изящнее, чем несколько месяцев назад, когда мы впервые увиделись с ней. Не было сомнения, что оба мы значительно изменились: она, казалось, выросла, как молодое, красивое деревцо. В ней появилась какая-то милая застенчивость, которая очень шла к ней, точно она смотрела теперь на себя со стороны, и стала более женственной. Было ясно, что нас обоих коснулась одна и та же волшебная палочка. И если мисс Грант только одного из нас сумела сделать красивее, зато она обоих сделала изящнее.

Мы оба одновременно вскрикнули: каждый из нас подумал, что другой приехал, чтобы попрощаться. И вдруг мы поняли, что едем вместе.

— О зачем Беби не сказала мне этого! — воскликнула она и тут же вспомнила о письме, которое ей было дано с условием вскрыть его только на корабле.

Письмо это, адресованное мне, было следующего содержания:

Дорогой Дэви, как вы находите мой прощальный сюрприз? Как вам нравится ваша спутница? Поцеловали вы ее или сделали ей предложение? Я хотела уже остановиться здесь, но тогда смысл моего вопроса остался бы непонятным. Что касается лично меня, то ответ мне известен. Итак, примите хороший совет: не будьте слишком застенчивы и ради бога не пробуйте быть слишком смелым — ничего не может более повредить вам. Остаюсь вашим любящим другом и наставницей

Барбарой Грант.

Я написал несколько слов на листке, вырванном из моей записной книжки. Вместе с запиской от Катрионы я вложил мое ответное письмо в конверт и, запечатав его моей новой печатью с гербом Бальфуров, отправил со слугой Престонгрэнджа, который все еще ждал меня в лодке.

Затем мы с Катрионой снова стали глядеть друг на друга, а через минуту по обоюдному порыву снова пожали друг другу руки.

— Катриона! — сказал я.

Казалось, что этим единственным словом начиналось и кончалось мое красноречие.

— Вы рады меня видеть? — спросила она.

— Мне кажется, что это праздные слова, — сказал я. — Мы слишком близкие друзья, чтобы говорить о таких пустяках.

— Ну, не лучшая ли она девушка в мире? — воскликнула Катриона. — Я никогда не видела такой правдивой и красивой девушки!

— А ведь ей такое же дело до Альпина, как до капустной кочерыжки, — заметил я.

— О, она это только говорит! — воскликнула Катриона. — А между тем из-за этого имени и благородной крови она припала меня под свое покровительство и была так добра ко мне.

— Нет, я скажу вам, почему она это сделала, — сказал я. — Разные бывают лица на этом свете. Вот, например, у Барбары такое лицо, на которое нельзя смотреть без восхищения. А вот ваше лицо совершенно не похоже на ее лицо. Я до сего дня не понимал, насколько оно не похоже! Вы не можете видеть себя и потому и не можете понять это. Но она из любви к вашей красоте приняла вас под свое покровительство и была добра к вам. И всякий человек сделал бы то же самое.

— Всякий? — спросила она.

— Всякая живая душа! — отвечал я.

— Оттого-то, верно, и солдаты в замке схватили меня! — воскликнула она.

— Барбара научила вас смеяться надо мной, — заметил я.

— Она научила меня гораздо большему. Она сообщила мне очень многое о мистере Давиде, все дурное,

а затем немного и не совсем дурного,—говорила она улыбаясь.— Она рассказала мне все о мистере Давиде, только не то, что он поедет на том же корабле, что и я. А куда же вы едете?

Я ответил ей.

— Значит, мы,— сказала она,— проведем несколько дней вместе, а затем, вероятно, распрощимся навсегда! Я еду в местечко под названием Гельветслуйс, где должна встретиться с отцом, а оттуда — во Францию, чтобы разделить изгнание с нашим вождем.

Я ответил ей только «о!», так как имя Джемса Мора имело способность лишать меня дара слова.

Она сейчас же заметила это и отчасти угадала мои мысли.

— Я прежде всего должна сказать вам одно, мистер Давид,— сказала она,— мне кажется, что поведение двоих моих родственников относительно вас было не совсем безупречно. Один из них — Джемс Мор, мой отец, другой — лорд Престонгрэндж. Престонгрэндж, вероятно, сам говорил в свое оправдание или же за него говорила его дочь. Но за моего отца, Джемса Мора, я должна сказать следующее: он был закован в кандалы и сидел в тюрьме. Он простой, честный солдат и прямодушный гайлэндский джентльмен. Он не мог догадаться, каковы были их намерения. Если бы он только знал, что будет нанесен вред такому молодому джентльмену, как вы, он скорее бы умер... И, помня вашу всегдашнюю приязнь ко мне, прошу вас простить моему отцу и семейству эту ошибку.

— Катриона,— отвечал я,— я и знать не хочу, в чем она состояла. Я знаю только то, что вы пошли к Престонгрэнджу и на коленях молили спасти мне жизнь. О, я отлично знаю, что вы пошли к нему ради вашего отца, но, будучи там, вы и за меня также просили. Об этом я даже не могу говорить. Я никогда не забуду ни вашей доброты, когда вы называли себя моим маленьким другом, ни того, что вы молили спасти мне жизнь. Не будем никогда более говорить об обидах и о прощении.

Мы некоторое время стояли молча. Катриона смотрела на палубу, а я — на нее. Прежде чем мы вновь заговорили, успел подняться северо-западный ветер, и матросы стали разворачивать паруса и вытягивать якорь.

Кроме нас двоих, на корабле было еще шестеро пас-

сажиров, так что наша каюта была переполнена. Трое были солидные купцы из Лейта, Киркальди и Денди, направлявшиеся вместе в Северную Германию, один — голландец, возвращающийся домой, остальные — достойные купеческие жены, попечениям одной из которых была поручена Катриона. К счастью, миссис Джебби, так ее звали, очень страдала морской болезнью и день и ночь вынуждена была лежать. Кроме того, мы были единственными молодыми существами на борту «Розы», если не считать бледнолицего мальчика, который исполнял мою прежнюю обязанность — прислуживал у стола. Случилось так, что мы с Катрионой были совершенно предоставлены самим себе. Мы сидели рядом за столом, где я с необыкновенным удовольствием ухаживал за ней. На палубе я расстилал мое пальто, чтобы ей было мягко сидеть. Так как погода для того времени года была необычайно хороша — с ясными морозными днями и ночами и постоянным легким ветром — и за весь переезд через Северное море едва ли пришлось переменить парус, то мы сидели на палубе, прогуливаясь только для того, чтобы согреться, с восхода солнца и до восьми-девяти часов вечера, когда на небе загорались ясные звезды. Купцы и капитан Сэнг иногда улыбались, глядя на нас, обращались к нам с двумя-тремя веселыми словами и снова оставляли нас одних; большую часть времени они были заняты сельдями, ситцами и полотном или рассуждениями о медленности переезда, предоставив нам заниматься своими делами, которые были совсем для них не важны.

Сначала нам было нужно многое сказать друг другу, и мы считали себя очень остроумными. Я прилагал немало стараний, чтобы разыгрывать из себя франта, а она, я думаю, — молодую леди с некоторым опытом. Но вскоре мы стали обращаться проще друг с другом. Я отставил в сторону свой напыщенный светский английский язык — то небольшое, что знал, — и позабыл эдинбургские поклоны и расшаркивание; она же вернулась к своему простому, милому обхождению. Итак, мы проводили время вместе, точно члены одной семьи, только я испытывал некоторое волнение. В то же время из разговоров наших исчезла серьезность, но мы об этом не горевали. Иногда Катриона рассказывала мне шотландские сказ-

ки; она их знала удивительно много, частью от моего друга рыжего Нэйля. Она очень хорошо рассказывала, и это были красивые детские сказки, но удовольствие мне доставляли главным образом звук ее голоса и сознание того, что она рассказывает, а я слушаю. Иногда мы сидели совершенно безмолвно, не обмениваясь даже взглядами, но чувствуя наслаждение от сознания нашей близости. Впрочем, говорю только о себе. Я не совсем уверен, что когда-либо спрашивал себя, о чем думает молодая девушка, и боялся отдать себе отчет в том, что ощущаю сам. Теперь мне больше нет надобности делать из этого тайну как для себя, так и для читателя: я окончательно влюбился. В ее присутствии для меня меркло солнце. Она, как я уже говорил, очень выросла, но то был здоровый рост; она казалась воплощением крепости, веселья, отваги. Мне думалось, что она ходит, как молодая лань, и стоит, точно березка на горе. С меня было достаточно сидеть рядом с ней на палубе. Уверяю вас, мне и в голову не приходили мысли о будущем. Я был так доволен настоящим, что не давал себе труда думать о своих дальнейших шагах, разве только иногда у меня являлось искушение взять ее руку в свою и так держать ее. Я был похож на скрягу и не хотел рисковать наудачу тем счастьем, которым наслаждался.

Мы говорили по большей части о самих себе и друг о друге, так что если бы кто-нибудь и взял на себя труд нас подслушивать, то счел бы нас за самых больших эгоистов в мире. Случилось как-то, что, разговаривая, по обыкновению, мы стали говорить о друзьях и о дружбе и, как мне теперь кажется, плавали близко к ветру. Мы говорили о том, какая хорошая вещь дружба, и как мало мы об этом знали, и как она делает жизнь совершенно новой, и тысячу подобных вещей, которые с самого основания мира говорятся молодыми людьми в нашем положении. Потом мы обратили внимание на странность того обстоятельства, что, когда друзья встречаются впервые, им кажется, что они только начинают жить, а между тем каждый из них уже долго жил, теряя время с другими людьми.

— Я немного сделала в жизни,— сказала она,— я могу рассказать все в двух-трех словах. Ведь я девушка, а что может случиться с девушкой? Но в сорок пятом году

я сопровождала клан. Мужчины шли со шпагами и ружьями, разделенные на бригады с разными подборками цветов тартана! Они шли не лениво, могу уверить вас! Тут были также джентльмены из южных графств в сопровождении арендаторов верхом и с трубами, и отовсюду звучали боевые флейты. Я ехала на маленькой гайлэндской лошадке по правую сторону моего отца, Джемса Мора, и самого Глэнгиля. Тут я помню одно, а именно, что Глэнгиль поцеловал меня в лицо, потому что, как сказал он: «Вы моя родственница, единственная женщина из всего клана, которая отправилась с нами», а мне было тогда около двенадцати лет! Я видела также принца Чарли и его голубые глаза... Он, право, был очень красив! Мне пришлось поцеловать ему руку на виду у всей армии. Да, то были хорошие дни, но они похожи на сон, от которого я затем проснулась. Далее все пошло тем путем, который вы отлично знаете. Самыми худшими днями были те, когда явились красные солдаты. Мой отец и дядя скрывались в холмах, и мне приходилось носить им еду среди ночи или рано утром, когда кричат петухи. Да, я много раз ходила ночью, и сердце билось во мне от страха в темноте. Странное дело, мне никогда не довелось встретиться с привидением, но говорят, что девушки ничем не рискуют в таких случаях. Затем была свадьба моего дяди. Это было страшно! Невесту звали Джэн Кей. Мне пришлось с ней провести ночь в одной комнате в Инверснайде, ту ночь, когда мы похитили ее у родственников, по старому дедовскому обычаю. Она то соглашалась, то не соглашалась; сейчас она хотела выйти за Роба, а через минуту отказывалась. Я никогда не видела такой нерешительной женщины: вся она как бы состояла из противоречий. Положим, она была вдовой, а я никогда не могла считать вдову хорошей женщиной.

— Катриона,— сказал я,— с чего вы это взяли?

— Не знаю,— отвечала она,— я только говорю вам то, что чувствую в душе. Выйти за второго мужа! Фу! Но она была такая: она во второй раз вышла замуж за моего дядю Робина и ходила с ним в церковь и на рынок. Потом ей это надоело, или, может быть, на нее повлияли ее друзья и уговорили ее, или ей стало стыдно. В конце концов она сбежала и вернулась к своим родственникам. Она рассказывала, что мы удерживали ее

насильно и бог знает что еще. Я с тех пор составила себе очень невысокое мнение о женщинах. Ну, а затем моего отца, Джемса Мора, посадили в тюрьму, а остальное вы знаете не хуже меня.

— И все это время у вас не было друзей? — спросил я.

— Нет, — сказала она, — я была в довольно хороших отношениях с двумя-тремя девушками в горах, но не настолько, чтобы называть их друзьями.

— Ну, мой рассказ еще проще, — заметил я. — У меня никогда не было друга, пока я не встретил вас.

— А храбрый мистер Стюарт? — спросила она.

— О да, я совсем и забыл его, — сказал я. — Но ведь он мужчина, а это совсем другое дело.

— О конечно, — сказала она. — Разумеется, это совсем другое дело.

— А потом у меня был еще другой друг, — сказал я. — Вернее, я когда-то думал, что имею друга, но был обманут.

Она спросила меня, кто она такая.

— Это был он, а не она, — сказал я. — Оба мы были лучшими учениками в школе моего отца и думали, что очень любим друг друга. Настало время, когда он отправился в Глазго и поступил в торговый дом, куда еще прежде отправился служить его двоюродный брат. Я с посланным получил от него два-три письма, потом он нашел новых друзей, и, хотя я писал ему, пока мне не надоело, мои письма остались без ответа. Да, Катриона, я долгое время не мог простить это судьбе. Ничего нет горше, как потерять человека, которого считал своим другом.

Она начала подробно расспрашивать меня о его наружности и характере, так как оба мы очень интересовались всем, что было связано с каждым из нас, пока наконец в недобрый час я не вспомнил о его письмах и не принес их из каюты.

— Вот его письма, — сказал я, — и вообще это все письма, которые я в своей жизни получил. Вот все, что я могу рассказать о себе: остальное вы знаете не хуже меня.

— Вы хотите, чтобы я прочла эти письма? — спросила она.

Я ответил, что да, если «она не жалеет потраченного

труда». Тогда она велела мне уйти, сказав, что прочтет их от первого до последнего. Там были не только письма моего неверного друга, но одно или два послания от мистера Кемпбелла, уезжавшего иногда по церковным делам в город, и, для полноты картины всей моей переписки, также записочка от Катрионы и два письмеца, полученные мною от мисс Грант — на Бассе и на борту этого судна. Но о последних я и не подумал в ту минуту.

Я был так поглощен мыслью о Катрионе, что мне было безразлично, что я делаю и даже нахожусь ли я в ее присутствии или нет. Она была для меня каким-то благородным недугом, не оставлявшим меня ни ночью, ни днем, спал ли я или бодрствовал. Оттого-то и случилось, что, попав на переднюю часть корабля, где вокруг широкого носа поднимались брызги волн, я не так торопился возвратиться, как вы бы думали, точно разнообразя свое удовольствие. Так как до этого времени на пути моем встречалось мало радости, мне, может быть, было простительно отдаваться ей более, чем следовало.

Когда я возвратился к Катрионе, она с таким холодным видом вернула мне письма, что у меня появилось смутное мучительное подозрение, что между нами легла какая-то тень.

— Вы прочли письма? — спросил я. Мне кажется, что голос мой звучал не совсем естественно, так как я сообщал, что бы могло произойти.

— Хотели вы, чтобы я их все прочла? — спросила она.

Я отвечал «да» слабым голосом.

— И даже последнее? — продолжала она.

Я понял, в чем дело, но все-таки не хотел лгать ей.

— Я вам дал все письма без всякой задней мысли, — сказал я. — Я ни в одном из них не вижу ничего дурного.

— Я, вероятно, создана иначе, — сказала она, — и благодарю за это бога. Это не такое письмо, чтобы можно было показывать его мне. Такое письмо не следовало бы и писать.

— Мне кажется, что вы говорите о своем друге, Барбаре Грант? — спросил я.

— Ничего нет горше, как потерять человека, которого считал своим другом, — сказала она, повторяя мое собственное выражение.

— Мне кажется, что иногда дружба бывает только в

воображении! — воскликнул я. — Разве вы считаете справедливым обвинять меня за несколько слов, которые взбалмошная девушка набросала на клочке бумаги? Вы сами знаете, с каким уважением я относился к вам и буду всегда относиться.

— Однако же вы показали мне это письмо, — сказала она. — Мне не нужно таких друзей. Я прекрасно обойдусь без нее и без вас.

— Так вот ваша благодарности! — сказал я.

— Очень признательна вам, — заметила она. — Я прошу вас взять обратно ваши письма. — Последние слова словно застряли у нее в горле и прозвучали как оскорбление.

— Вам не придется два раза просить меня, — сказал я, схватив письма, отошел немного в сторону и бросил их как можно дальше в море. Еще немного, и я, кажется, бросился бы вслед за ними.

Весь день я в бешенстве ходил взад и вперед. Не было такого дурного названия, которого бы я не дал ей до наступления вечера. Поведение Катрионы превзошло все, что я слышал когда-либо о гайлэндской гордости: мне казалось невероятным, чтобы взрослая девушка приняла так близко к сердцу такой пустячный намек, да еще со стороны близкого друга, похвалами которому она успела утомить меня. Я мысленно резко и грубо бранил ее, словно раздосадованный ребенок. Если бы я и вправду поцеловал ее, она, может быть, приняла бы это вовсе не так дурно, но лишь потому, что об этом было написано, да еще в шутовском тоне, она вдруг загорелась таким смешным гневом. Видя, как мало проницательны женщины, я подумал, что ангелам остается только плакать над участью бедных мужчин.

За ужином мы снова сидели рядом, но как все переменялось! Она напоминала скиснувшее молоко, лицо у нее было как у деревянной куклы. Я готов был одновременно и бранить ее, и ползать у ее ног, но она не подавала мне ни малейшего повода ни к тому, ни к другому. Сейчас же после ужина она отправилась ухаживать за миссис Джебби, о которой до сих пор не особенно заботилась. Но теперь она старалась наверстать упущенное и все остальное время переезда была чрезвычайно внимательна к старой леди, а на палубе стала любезничать

с капитаном Сэнгом более, чем я находил разумным. Положим, капитан казался достойным, почтенным человеком, но мне было невыносимо видеть, как она слишком непринужденно болтает с кем-нибудь, кроме меня.

Вообще она так искусно избегала меня и так старательно окружала себя обществом других, что мне пришлось ждать долго, пока я наконец не нашел случай поговорить с ней. Когда же этот случай представился, то я не сумел воспользоваться им, как вы сейчас услышите.

— Не могу понять, чем я оскорбил вас,— сказал я.— Во всяком случае, вы не можете считать мой поступок непросительным. Постарайтесь, не можете ли вы простить мне,

— Мне нечего прощать,— сказала она, и, казалось, слова, точно камни, с трудом выходили у нее из горла.— Весьма благодарна вам за ваше дружеское внимание.— И она чуть заметно присела.

Но я решил ей высказать все.

— Еще одно,— сказал я.— Если я задел вас, показав это письмо, то мисс Грант тут ни при чем. Она писала не вам, но бедному, простому юноше, которому следовало быть умнее и не показывать это письмо. Если вы осуждаете меня...

— Во всяком случае, советую вам больше не говорить об этой девушке! — воскликнула Катриона.— Я не хочу слышать о ней, даже если она будет умирать.— Она отвернулась от меня. Затем, внезапно спохватившись, воскликнула: — Поклянетесь вы мне, что никогда не будете иметь с ней дела?

— Разумеется, я не буду так несправедлив,— сказал я,— и так неблагодарен.

На этот раз уже я отвернулся от нее.

XXII. Гельвутслуйз

К концу переезда погода значительно испортилась. Ветер завывал в вантах, море стало бурным, корабль трещал, с трудом пробираясь среди волн. Выкрики лотового почти не прекращались, так как мы все время шли между отмелей. Около девяти утра я при свете зимнего

солица, выглянувшего после шквала с градом, впервые увидел Голландию — ряд мельниц с вертящимися по ветру крыльями. Я в первый раз видел эти оригинальные сооружения, вселявшие в меня сознание того, что я путешествую за границей и вижу новый мир и новую жизнь. Около половины двенадцатого мы бросили якорь недалеко от пристани Гельвутслуйс, в таком месте, где бушевали волны и сильно кидало корабль. Понятно, что все мы, кроме миссис Джебби, вышли на палубу. Одни надели пальто, другие закутались в брезент; все держались за канаты и шутили, подражая, как умели, старым матросам.

Вскоре к судну подошла лодка, и шкипер стал оттуда по-голландски кричать что-то нашему капитану. Капитан Сэнг, очень встревоженный, обратился к Катрионе, и всем, кто стоял поблизости, стала ясна причина его беспокойства. Дело в том, что пассажиры с нетерпением ждали отплытия «Розы» в Роттердам, потому что вечером оттуда отправлялась почтовая карета в Северную Германию. Ветер был сильный, и капитан надеялся, что успеет к этому сроку. Но Джемс Мор должен был встретить свою дочь в Гельмуте, и капитан взял на себя обязательство остановиться у гавани и, согласно обыкновению, посадить девушку в береговую лодку. Лодка подплыла, и Катриона готовилась сойти в нее, но капитан и кормчий лодки боялись рисковать ее жизнью в такую дурную погоду.

— Ваш отец,— сказал капитан,— вряд ли будет доволен, если мы сломаем вам ногу, мисс Друммонд, а то, может быть, и потопим вас. Послушайте меня,— продолжал он,— и поезжайте с нами до Роттердама. Оттуда вы сможете спуститься по Маасу в Брилли на парусной лодке, а затем в дилижансе вернуться в Гельвут.

Но Катриона и слышать ни о чем не хотела. Она побледнела, увидев летящие брызги, зеленые валы, временами заливавшие бак, и лодку, то стремительно взлетающую на волнах вверх, то погружающуюся вниз. Но она твердо помнила приказание своего отца. «Мой отец, Джемс Мор, так решил»,— все время твердила она. Я находил, что девушке было нелепо упрямыться и не слушаться добрых советов, но дело в том, что у нее были очень важные причины, о которых она не говорила. Па-

русные лодки и дилижанс — прекрасная вещь, но только надо платить, чтобы пользоваться ими, а у нее не было ничего, кроме двух шиллингов и полутора пенни. Итак, вышло, что капитан и пассажиры, не зная о ее бедности — она же была слишком горда, чтобы сознаться в этом, — напрасно тратили слова.

— Но вы не знаете ни голландского, ни французского языка, — сказал кто-то.

— Это правда, — отвечала она, — но с сорок шестого года здесь проживает так много честных шотландцев, что я отлично устроюсь, благодарю вас.

В словах ее было столько милой деревенской простоты, что некоторые рассмеялись; другие казались еще более огорченными, а мистер Джебби ужасно рассердился. Я думаю, он чувствовал (так как жена его согласилась взять девушку под свое покровительство), что его обязанностью было поехать с ней на берег и убедиться, что она в безопасности, но ничто не могло заставить его сделать это, так как он пропустил бы свой дилижанс; мне кажется, что своим громким криком он хотел заглушить упреки совести. Наконец он напал на капитана Сэнга, заявив, что для нас будет позором высадить так Катриону: покинуть корабль, говорил он, означало верную смерть, и мы ни в коем случае не можем бросить невинную девушку на произвол судьбы, оставив ее одну в лодке со скверными голландскими рыбаками. Я тоже так думал. Подозвав к себе штурмана, я сговорился с ним, чтобы он отослал мои сундуки в Лейден по адресу, который я дал ему. Затем я подал сигнал рыбакам.

— Я поеду на берег с молодой леди, капитан Сэнг, — сказал я. — Мне все равно, каким путем отправиться в Лейден. — И с этими словами я прыгнул в лодку, но не сумел сделать это особенно изящно и вместе с обоими рыбаками упал на дно.

Из лодки все казалось еще более страшным, чем с корабля. Он стоял высоко над нами, беспрестанно нырял и своим балансированием все время угрожал нам. Я начинал думать, что сделал глупость, потому что Катриона не сможет спуститься ко мне в лодку и мне придется одному высадиться на берег в Гельвуте без надежды на иную награду, чем объятия Джемса Мора, если бы я пожелал их. Но, подумав так, я не принимал во внимание

храбрость девушки. Она видела, что я прыгнул без видимого колебания, хотя на деле я очень боялся. Понятно, что она не позволила превзойти себя своему оставленному другу! Она поднялась на борт, придерживаясь за трос. Ветер поддувал ее юбки, отчего предприятие становилось еще более опасным, и показал нам ее чулки немного выше, чем то сочли бы приличным в городе. Она не теряла ни минуты, и если бы кто и пожелал помешать ей, то не успел бы. Я же стоял в лодке, раскрыв объятия. Корабль опустился к нам, кормчий приблизил свою лодку ближе, чем, может быть, было безопасно, и Катриона прыгнула в воздух. Я был счастлив, что подхватил ее и при помощи рыбаков избежал падения. Она с минуту крепко держалась за меня, дыша быстро и глубоко; потом — она все еще держалась за меня обеими руками — кормчий провел нас на места, и при рукоплесканиях и прощальных криках капитана Сэнга, экипажа и пассажиров наша лодка направилась к берегу.

Как только Катриона пришла в себя, она, не говоря ни слова, отняла свои руки. Я тоже молчал. Свист ветра и шум волн не благоприятствовали разговорам. Хотя наши гребцы работали очень усердно, мы подвигались медленно, так что «Роза» успела сняться с якоря и уйти, прежде чем мы вошли в гавань.

Не успели мы очутиться в спокойной воде, как кормчий, по безобразному голландскому обычаю, остановил лодку и потребовал плату за проезд. Он спрашивал по два гульдена с каждого пассажира (между тремя и четырьмя английскими шиллингами). Но тут Катриона в большом волнении закричала. Она уверяла, что капитан Сэнг сказал ей, будто проезд стоит один английский шиллинг. «Неужели вы думаете, что я сяду в лодку, не спросив сперва о цене?» — кричала она. Кормчий в ответ тоже кричал на жаргоне, в котором английская брань перемешивалась с голландскими словами. Наконец, увидев, что она готова заплакать, я потихоньку сунул в руку негодяя шесть шиллингов, после чего он взял у нее шиллинг без дальнейших претензий. Я чувствовал себя уязвленным и пристыженным. Я люблю, когда люди бережливы, но не с таким пылом, и поэтому я довольно холодно спросил ее, когда лодка снова направилась к берегу, где она сговорилась встретиться со своим отцом.

— О нем надо справиться в доме некоего Спрота, честного шотландского купца,— сказала она и затем единым духом продолжала: — Я хочу от души поблагодарить вас: вы были мне хорошим другом.

— На это будет достаточно времени, когда я доставлю вас вашему отцу,— сказал я, не подозревая, что говорю так верно.— Я могу рассказать ему хорошую историю о преданной дочери.

— О, я не думаю, чтобы меня можно было назвать преданной дочерью! — воскликнула она со скорбью в голосе.— Я не думаю, чтобы в душе я была преданной.

— Однако мне кажется, что очень немногие решились бы на этот прыжок, для того только, чтобы исполнить приказание отца,— заметил я.

— Я не могу допустить, чтобы вы думали так обо мне! — снова воскликнула она.— Но разве я могла остаться на корабле после того, что вы сделали ради меня? Во всяком случае, на то были и другие причины.— И она с пылающим лицом призналась мне в своей бедности.

— Боже мой,— воскликнул я,— что это за безумная мысль бросить вас на материке Европы с пустым кошельком! Я считаю это едва ли приличным.

— Вы забываете, что отец мой, Джемс Мор, бедный человек,— сказала она.— Он преследуемый изгнанник.

— Но я думаю, что не все ваши друзья преследуемые изгнанники! — возразил я.— Хорошо ли вы поступили по отношению к тем, кто заботился о вас? Хорошо ли это было по отношению ко мне или мисс Грант, которая посоветовала вам ехать и сошла бы с ума, если бы узнала об этом? Даже по отношению к этим Грегорам, с которыми вы жили и которые с любовью относились к вам? Еще счастье, что вы попали в мои руки! Представьте себе, что вашего отца здесь случайно не окажется, что бы вы делали одна-одинешенька в чужом месте? Одна мысль об этом пугает меня,— говорил я.

— Я бы всем им солгала,— отвечала она.— Я бы сказала всем, что у меня много денег. Я так и сказала «ей». Не могла же я унижить Джемса Мора в их глазах!

Я узнал позже, что эта ложь была выдумана отцом, а не дочерью, которая должна была поддерживать ее для спасения его репутации. Но в то время я не знал этого,

и одна мысль о ее нищете и об опасности, которая могла угрожать ей, безумно меня волновала.

— Ну, ну,— сказал я,— вам надо научиться быть благодарнее.

Багаж ее я временно оставил в гостинице на берегу, где на только что выученном французском языке спросил адрес Спрота. Его дом находился недалеко, и мы направились к нему, по дороге с интересом рассматривая местность. Действительно, для шотландцев здесь многое было достойно удивления: каналы, деревья, дома из красивого розового кирпича со ступеньками и камнями из голубого мрамора у каждой двери. Город был так чист, что вы могли бы пообедать на шоссе. Спрот был дома и сидел над счетной книгой в низенькой, очень уютной и чистой гостиной, украшенной фарфором, картинами и глобусом в медной оправе. Это был крупный, здоровый, краснощекий человек с суровым взглядом. Он не был даже настолько вежлив, чтобы предложить нам сесть.

— Джемс Мор Мак-Грегор теперь в Гельвуте, сэр? — спросил я.

— Не знаю никого с таким именем,— отвечал он нетерпеливо.

— Если вы желаете, чтобы я был точнее,— сказал я,— то я спрошу вас, где мы в Гельвуте можем найти Джемса Друммонда, или Мак-Грегора, или Джемса Мора, бывшего арендатора Инверонахилля?

— Сэр,— сказал он,— он может быть хоть в аду, и я очень бы желал этого.

— Эта молодая леди его дочь, сэр,— заметил я.— Согласитесь сами, что в ее присутствии не особенно прилично обсуждать его характер.

— Я не имею никакого дела ни с ней, ни с ним, ни с вами! — закричал он громким голосом.

— Позвольте вам сказать, мистер Спрот,— сказал я,— что эта молодая леди приехала из Шотландии, чтобы встретиться с отцом, и по какому-то недоразумению ей дан был адрес вашего дома. Тут, вероятно, произошла ошибка, но мне кажется, что это налагает на нас обоих — на вас и меня, ее случайного спутника,— строгое обязательство помочь нашей соотечественнице.

— Вы с ума меня хотите свести, что ли? — воскликнул он.— Говорю вам, что ничего не знаю и еще менее

желаю знать о нем и его породе. Говорю вам, что человек этот задолжал мне.

— Очень возможно, сэр,— сказал я, рассердившись теперь сильнее, чем он сам.— Но я, по крайней мере, ничего не должен вам. Молодая леди находится под моим покровительством. Я совсем не привык к подобным манерам, и они мне вовсе не нравятся.

Говоря это, я на шаг или два приблизился к его столу, не думая особенно о том, что делаю, но нашел совершенно случайно единственный аргумент, который смог на него подействовать. Кровь отлила от его здорового лица.

— Бога ради, не будьте так нетерпеливы, сэр! — воскликнул он.— Я не хотел оскорбить вас. Знаете ли, сэр, я ведь очень добродушный, честный, веселый малый: лаю, но не кусаюсь. Из моих слов вы могли бы заключить, что я немного суров, но нет, Сэнди Спрот в душе добрый малый! Вы не можете себе представить, сколько неприятностей и огорчений причинил мне этот человек.

— Прекрасно, сэр! — сказал я.— В таком случае позволю себе побеспокоить вас вопросом: когда вы имели последние известия о мистере Друммонде?

— Рад служить вам, сэр,— сказал он.— Что же касается молодой леди — прошу ее принять мое почтение,— то он, должно быть, совершенно забыл о ней. Видите ли, я знаю этого человека. Он думает только о себе одном. Если он может набить себе живот, ему нет дела ни до клана, ни до корабля, ни до своей дочери, ни даже до своего компаньона. Потому что я, в известном смысле, могу назваться его компаньоном. Дело в том, что мы оба участвуем в одном деле, которое может оказаться очень разорительным для Сэнди Спрота. Хотя человек этот почти что мой компаньон, но, даю вам слово, я не знаю, где он. Он, может быть, вернется в Гельвуг. Он может вернуться завтра, может приехать и через год. Меня ничто не удивит, впрочем, нет, удивит одно: если он возвратит мне мои деньги. Вы видите, в каких мы отношениях. Понятно, что я не желаю иметь дело с молодой леди, как вы называете ее. Она не может остановиться здесь, это несомненно. Я одинокий человек, сэр! Если бы я принял ее, то очень возможно, что этот мошенник, вернувшись, стал бы навязывать ее мне и заставил бы меня жениться на ней.

— Довольно,— сказал я.— Я отвезу молодую леди к лучшим друзьям. Дайте мне перо, чернила и бумагу. Я оставлю Джемсу Мору адрес моего лейденского корреспондента. Он сможет узнать от меня, где ему искать свою дочь.

Я написал записку и запечатал ее в конверт. Пока я был занят этим делом, Спрот, по собственному побуждению, предложил взять на себя заботу о багаже Катрионы и даже послал за ним рассыльного в гостиницу. Я заплатил тому вперед один или два доллара, и он выдал мне письменное удостоверение в получении этой суммы.

После этого мы — я вел Катриону под руку — покинули дом эгого грубияна. Катриона за все время не произнесла ни слова, предоставив мне решать и говорить за нее. Я же старался и взглядом не смутить ее и, хотя сердце мое горело стыдом и гневом, считал своим долгом казаться совершенно спокойным.

— А теперь,— сказала я,— пойдем обратно в ту самую гостиницу, где умеют говорить по-французски. Пообедаем там и справимся относительно дилижансов в Роттердам. Я не успокоюсь, пока вы не будете снова на попечении миссис Джебби.

— Я думаю, что нам придется так поступить,— сказала Катриона,— хотя она, вероятно, совсем не будет довольна этим. И должна вам еще раз напомнить, что у меня всего один шиллинг и три боуби¹.

— А я опять напоминаю вам,— сказал я,— это счастье, что я поехал с вами.

— О чем же я думаю все время, как не об этом? — спросила она и, как мне показалось, немного оперлась на мою руку.— Не я вам, а вы мне верный друг.

XXIII. Скитания по Голландии

Дилижанс — нечто вроде длинного вагона, уставленного скамейками, — через четыре часа доставил нас в большой город Роттердам. Когда мы приехали туда,

¹ Боуби — шотландская мелкая монета, около полпенни.

было уже темно, но улицы были хорошо освещены и переполнены странными чужеземными людьми: евреями с длинными бородами, неграми и целыми толпами уличных женщин, очень неприлично разряженных и хватающих моряков за рукава. От шума и разговоров вокруг у нас закружилась голова, но, что было всего неожиданнее, мы, казалось, так же поражали этих иноземцев, как и они нас. Ради девушки и чтобы поддержать свою честь, я старался принять независимый вид. На самом же деле я чувствовал себя потерянным, как овца, и сердце у меня тревожно билось в груди. Раз или два я спросил, где гавань и где место стоянки судна «Роза», но, вероятно, нападал на людей, говоривших только по-голландски, или мой французский язык казался им неудовлетворительным. Забредя наудачу на какую-то улицу, я увидел целый ряд ярко освещенных домов, двери и окна которых были усеяны раскрашенными женщинами. Они шутили и смеялись над нами, когда мы проходили мимо них, и я радовался, что мы ничего не понимаем по-голландски. Немного далее мы вышли на открытое место около гавани.

— Теперь мы найдем «Розу»! — воскликнул я, завидев мачты. — Пойдем тут, вдоль гавани. Мы, наверное, встретим кого-нибудь, кто говорит по-английски, а может быть, случайно придем к кораблю, который нам нужен.

Случилось нечто другое, но столь же удачное: около девяти часов вечера мы натолкнулись на капитана Сэнга. Он рассказал, что они совершили переезд в поразительно короткий срок, так как ветер дул все так же сильно, пока они не достигли гавани. Благодаря этому все его пассажиры уже успели отправиться в дальний путь. Было невозможно гнаться за Джебби в Северную Германию, а тут у нас не было других знакомых, кроме капитана Сэнга. Тем более нам было приятно, что он оказался очень любезным и полным готовности помочь нам. Он уверял, что здесь очень легко найти какую-нибудь порядочную купеческую семью, где бы могла приютиться Катриона, пока «Роза» не погрузится, и объявил, что он с удовольствием даром отвезет ее тогда в Лейт и доставит мистеру Грегору. Пока же он повел нас в ресторан, где мы получили ужин, в котором сильно нуждались. Я говорил, что он был очень любезен, но

меня чрезвычайно удивило, что он, кроме того, был очень шумен. Причину этого мы скоро увидели. За столом он спросил себе рейнского вина, пил очень много и вскоре совершенно опьянел. Как большинство людей, особенно занимающихся его тяжелым ремеслом, он в подобных случаях терял и ту небольшую долю благовоспитанности, которой располагал в обыкновенное время. Он стал вести себя так скандально с молодой леди, неприлично шутя над ее видом, когда она стояла на борту, что мне осталось только поскорей увести ее.

Выходя из ресторана, она крепко прижалась ко мне.

— Уведите меня, Давид,— сказала она.— Оставьте меня у себя. Вас я не боюсь.

— И не имеете причины, мой маленький друг! — воскликнул я, тронутый до слез.

— Куда вы поведете меня? — продолжала она.— Только не оставляйте меня, никогда не оставляйте.

— Действительно, куда я поведу вас? — сказал я, останавливаясь, потому что я в совершенном затмении все шел вперед.— Надо остановиться и подумать. Но я не покину вас, Катриона. Пусть бог совсем оставит меня, если я брошу или оскорблю вас.

Она в ответ еще теснее прижалась ко мне.

— Здесь,— сказал я,— самое тихое место, какое мы видели в этом шумном, деловом городе. Сядем под этим деревом и сообразим, что нам делать.

Дерево это, которое я вряд ли забуду, стояло у самого берега. Хотя ночь была темная, но в домах и еще ближе, на тихих судах, виднелись огни: с одной стороны ярко сиял город, и над ним стоял гул от многих тысяч людей, гуляющих и разговаривающих; с другой — было темно, и вода тихо плескалась о берег. Я разостлал пальто на камнях, приготовленных для постройки, и посадил девушку. Она все еще держалась за меня, дрожа от нанесенного ей оскорбления, но так как я хотел все серьезно обдумать, то высвободился и стал скорыми шагами ходить перед ней взад и вперед, напрягая ум, чтобы придумать какой-нибудь исход. Среди этих беспорядочных мыслей мне вдруг вспомнилось, что в пылу нашего поспешного ухода я предоставил капитану Сэнгу заплатить за нас в ресторане. Я громко рассмеялся, находя, что он поделом наказан, и в то же время инстинктивным движе-

нием опустил руку в карман, где лежали мои деньги. Мой кошелек пропал; должно быть, это случилось в переулке, где над нами подшучивали женщины.

— Вы, верно, придумали что-нибудь хорошее? — спросила Катриона, увидев, что я остановился.

В том тяжелом положении, в какое мы попали, ум мой внезапно стал ясен, как оптическое стекло, и я увидел, что у нас нет выбора. У меня не было ни гроша, но в бумажнике моем лежало письмо к лейденскому купцу, а добраться до Лейдена мы могли только одним способом, а именно пешком.

— Катриона, — сказал я, — я знаю, что вы мужественны, и думаю, что, наверное, так же сильны. Как вы считаете, смогли бы вы пройти тридцать миль по ровной дороге? (Потом оказалось, что расстояние было на целую треть короче, но тогда я этого не знал.)

— Давид, — ответила она, — если вы будете со мной, я пойду куда угодно и сделаю все, что хотите. Все мое мужество сломилось. Только не оставляйте меня одну в этой ужасной стране, и я готова все сделать.

— Можете ли вы идти целую ночь? — спросил я.

— Я буду делать все, что вы прикажете мне, — отвечала она, — и никогда не стану расспрашивать зачем. Я была скверной, неблагодарной девчонкой, и теперь делайте со мной что хотите! Я нахожу, что мисс Барбара Грант самая лучшая леди в мире, — прибавила она, — и, во всяком случае, не вижу, в чем она может вас упрекнуть.

Все это было для меня так же непонятно, как греческий или еврейский языки, но теперь у меня были заботы поважнее, и главным образом — как выбраться из этого города и попасть на лейденскую дорогу. Это оказалось трудной задачей, и мы разрешили ее не раньше двух часов ночи. Ночь была пасмурная. Когда мы оставили за собой дома, то чуть виднелась только свежая дорога между темными линиями аллеи. Идти, кроме того, было необычайно трудно: ночью подморозило и шоссе превратилось в бесконечный каток.

— Ну, Катриона, — сказал я, — теперь мы похожи на королевских сыновей и на дочерей старых женщин из ваших волшебных гайлэндских сказок. Скоро мы пойдем через «семь холмов, семь долин, семь болот». — Это

было обычным присловием к ее сказкам, которое осталось у меня в памяти.

— О,— сказала она,— здесь нет ни долин, ни холмов! Хотя я не стану отрицать, что деревья и равнины здесь красивы, но наша страна гораздо лучше.

— Желал бы я, чтобы это можно было сказать и про наших земляков,— отвечал я, вспомнив Спрота, и Сэнга, и, может быть, самого Джемса Мора.

— Я никогда не стану жаловаться на страну своего друга,— сказала она так нежно, что мне казалось, будто я вижу в темноте ее взгляд.

У меня перехватило дыхание, и я чуть не упал на лед.

— Не знаю, что вы думаете, Катриона,— сказал я, когда немного оправился,— но пока день этот был все-таки нашим лучшим днем! Мне стыдно говорить это: вам пришлось пережить столько неприятностей и обид, но для меня это был все-таки лучший день.

— Это был хороший день, потому что вы выказали мне столько любви,— сказала она.

— И все-таки мне совестно чувствовать себя счастливым,— продолжал я,— когда вы среди ночи тут, на большой дороге.

— Где же мне быть? — воскликнула она.— Я думаю, что безопаснее всего быть с вами.

— Значит, я совершенно прощен? — спросил я.

— Неужели вы не можете простить мне эти последние дни, чтобы не вспоминать о них более? — воскликнула она.— В моем сердце нет к вам ничего, кроме благодарности. Но я хочу быть искренней,— прибавила она неожиданно,— я никогда не прощу той девушке.

— Вы опять говорите о мисс Грант? — спросил я.— Но вы сами сказали, что она лучшая леди в мире.

— И это действительно правда,— отвечала Катриона.— Но я все-таки никогда не прощу ей. Я никогда, никогда не прощу ей, и не говорите мне больше о ней.

— Ну,— сказал я,— это превосходит все, что мне когда-либо приходилось слышать. Я удивляюсь, как у вас могут быть такие детские капризы. Ведь эта молодая леди была для нас обоих лучшим другом, она научила нас, как надо одеваться и как вести себя. Всякий, кто знал нас прежде и увидит теперь, согласится с этим,

Катриона решительно остановилась посередине шоссе.

— Послушайте,— сказала она,— или вы еще будете говорить о ней, и тогда я вернусь в тот город, и пусть случится, что богу угодно, или вы будете так любезны, что заговорите о другом.

Я совершенно стал в тупик, но вовремя вспомнил, что она нуждалась в моей помощи, что она была почти ребенок и что я должен быть рассудительным за двоих.

— Милая моя девочка,— сказал я,— я в этом ровно ничего не понимаю, но никогда не стану смеяться над вами, боже избави! Что же касается разговоров о мисс Грант, то я вовсе не так жажду их, и, мне кажется, вы сами начали говорить об этом. Моим единственным намерением, когда я возражал вам, было желание вам добра, так как я ненавижу несправедливость. Я не желаю, чтобы в вас совсем не было самолюбия и женской стыдливости: они вам очень к лицу, но вы доводите их до крайности.

— Вы кончили? — спросила она.

— Кончил,— отвечал я.

— Ну и прекрасно сделали,— заметила она, и мы пошли дальше, на этот раз в молчании.

Я не слышал ничего, кроме собственных шагов. Сначала, я думаю, в сердцах наших мы чувствовали некоторую вражду друг к другу, но темнота, и холод, и тишина, прерываемая изредка только пением петухов и лаем дворовой собаки, вскоре совершенно победили наше самолюбие. Что касается меня, то я с восторгом воспользовался бы всяким приличным предлогом для разговора.

Перед рассветом пошел теплый дождик и смыл всю изморозь под нашими ногами. Я протянул Катрионе свой плащ и хотел завернуть ее в него, но она довольно нетерпеливо сказала, чтобы я оставил его себе.

— Конечно, я не сделаю этого,— сказал я.— Ведь я крупный, неказистый малый, выдавший всякую погоду, а вы пежная, красивая девушка! Милая, ведь вы не захотите, чтобы я покраснел от стыда?

Она без возражения разрешила мне закутать себя. Так как было темно, я позволил себе на минуту задержать свою руку у нее на плече, точно обнимая ее.

— Вам надо постараться быть терпеливее с вашим другом,— сказал я.

Мне казалось, что она чуть-чуть прижалась к моей груди, впрочем, я, может быть, только вообразил это.

— Ваша доброта бесконечна,— сказала она.

Мы снова молча пошли дальше, но теперь все переменялось. И счастье в сердце моем разгоралось, как огонь в большом камине.

До наступления дня прошел дождь. Было сырое утро, когда мы пришли в Дельфт. Красные черепичные крыши красиво вырисовывались вдоль каналов. Служанки вытирали и скоблили камни на общественном шоссе. Из сотни кухонь поднимался дым, и я сразу почувствовал, что пора и нам нарушить свой пост.

— Катриона,— сказал я,— кажется, у вас еще остался шиллинг и три боуби?

— Они вам нужны? — спросила она, протягивая мне кошелек.— Хотела бы я, чтобы это было пять фунтов! На что они вам?

— А почему мы шли всю ночь пешком, гочно двое нищих? — спросил я.— Потому что в этом злосчастном Роттердаме у меня украли кошелек и все, что у меня было. Я могу сказать это теперь, так как думаю, что худшее уже позади, но все-таки нам предстоит еще порядочный путь, пока мы придем туда, где я смогу получить деньги. И если вы не купите кусок хлеба, мне придется идти голодным.

Она взглянула на меня широко открытыми глазами. При свете наступавшего дня было заметно, как она побледнела от усталости. У меня сжалось сердце, а она громко рассмеялась.

— Ох мучение! Значит, мы теперь нищие? — воскликнула она.— И вы тоже? О, я бы очень хотела, чтобы так было! Я рада, что могу купить вам завтрак. Но было бы лучше, если бы мне пришлось танцевать, чтобы заработать вам на хлеб! Я думаю, что здесь мало знакомы с шотландскими танцами и стали бы платить за любопытное зрелище.

Я готов был расцеловать ее за эти слова. Мужчины всегда воспаляются при виде женской отваги.

Мы купили молока у деревенской женщины, только что приехавшей в город, а у булочника — чудесный, го-

рочий, вкусно пахнувший хлеб, который мы съели по пути. От Дельфта до Гааги ровно пять миль; дорога идет прекрасной аллеей; с одной стороны ее — канал, с другой — роскошные пастбища. Это действительно было красивое местечко.

— А теперь, Дэви,— спросила она,— скажите, что вы думаете делать со мной?

— Об этом нам надо поговорить,— сказал я,— и чем скорее, тем лучше. В Лейдене я могу получить деньги — тут все будет хорошо. Но затруднение заключается в том, где устроить вас до приезда вашего отца. Мне показалось вчера вечером, что вы не хотите расстаться со мной?

— И не только показалось,— сказала она.

— Вы очень молоды,— продолжал я,— да и я тоже. Вот в чем главная трудность. Как нам быть? Не можете ли вы сойти за мою сестру?

— А почему бы и нет? — спросила она.— Если бы вы только согласились.

— Хотелось бы мне, чтобы это было правдой! — воскликнул я.— Я был бы счастливым человеком, если бы у меня была такая сестра. Но затруднение в том, что вы — Катриона Друммонд.

— А теперь я стану Катрионой Бальфур,— сказала она.— Кто будет знать?.. Здесь все чужие.

— Вы думаете, что это можно сделать? — спросил я.— Сознаюсь, это очень тревожит меня. Мне не хотелось бы дать вам дурной совет.

— Давид, кроме вас, у меня здесь нет друзей,— сказала она.

— Дело в том, что я слишком молод, чтобы быть вашим другом,— отвечал я.— Я слишком молод, чтобы давать вам советы, слишком молод, чтобы вы принимали их. Я не вижу другого выхода, а между тем обязан предостеречь вас.

— У меня нет выбора,— сказала она.— Отец мой, Джеймс Мор, дурно поступил со мной, и уже не в первый раз. Я осталась у вас на руках, как мешок с мукой, и должна думать только о том, чтобы сделать вам приятное. Если не хотите...— Она повернулась и дотронулась рукой до моего локтя.— Давид, я боюсь,— сказала она.

— Я должен предостеречь вас...— начал я, но тут вспомнил, что деньги у меня и что нельзя выглядеть в ее

глазах слишком скупым.— Катриона,— сказал я,— поймайте меня правильно, я стараюсь исполнить свой долг по отношению к вам! Я поехал в чужой город с тем, чтобы жить там одиноким студентом, и вдруг благодаря случаю оказалось, что вы можете поселиться на некоторое время со мной и стать как бы моей сестрой. Вы можете понять, дорогая, что мне бы хотелось иметь вас у себя?

— Ну, я и буду у вас,— сказала она.— Это, значит, решено.

Я знаю, что обязан был говорить яснее. Знаю, что на мою совесть легло пятно, за которое мне, к счастью, не пришлось заплатить слишком дорого. Но я вспомнил, как ее стыдливость была оскорблена упоминанием о поцелуях в письме Барбары. Теперь, когда она зависела от меня, как мог я быть смелее? Кроме того, я действительно не видел другого возможного способа устроить ее.

Когда мы прошли Гаагу, она стала прихрамывать и с трудом двигалась. Два раза она была вынуждена отдыхать и мило оправдывалась, называя себя стыдом Гайлэнды и помехой для меня. Оправданием, говорила она, могло послужить ей то, что она не привыкла ходить обутой. Я посоветовал ей снять чулки и башмаки и идти босиком. Но она обратила мое внимание на то, что все женщины, даже на проселочных дорогах, ходят обутыми.

— Я не должна позорить моего брата,— сказала она весело, хотя лицо ее ясно говорило об усталости.

В городе, куда мы наконец пришли, я оставил Катриону в саду, где было много беседок и аллей, посыпанных песком, а сам пошел отыскивать своего корреспондента. Тут я воспользовался своим кредитом и попросил его рекомендовать мне приличную, спокойную квартиру. Я сказал ему, что, так как багаж мой еще не прибыл, хозяева дома, вероятно, потребуют за меня поручительства, и заявил, что мне понадобятся две комнаты, так как сестра моя на некоторое время будет жить со мной. Все это было прекрасно, но трудность состояла в том, что хотя мистер Бальфур в своем рекомендательном письме сообщал обо мне много подробностей, но ни словом не обмолвился о моей сестре. Я видел, что голландец был чрезвычайно подозрителен. Глядя на меня поверх своих

огромных очков — то был хрупкий, болезненный человек, напоминавший больного кролика, — он начал настойчиво допрашивать меня.

Я порядочно струсил. Что, если он поверит моему рассказу, думал я, пригласит мою сестру к себе, и я приведу ее? Нелегко мне будет тогда распутать этот клубок, и может случиться, что в конце концов мы с Кагрионой попадем в постыдное положение. Тут я поспешил рассказать о странном характере моей сестры: она чрезвычайно застенчива и так боится встречи с чужими людьми, что я оставил ее одну в городском саду. Затем, уже вступив на путь лжи, мне оставалось голько, как это всегда бывает, погрузиться в нее глубже, чем требовалось, прибавляя совершенно ненужные подробности о нездоровье и уединенной жизни мисс Бальфур в детстве. Разглагольствуя таким образом, я сильно покраснел, чувствуя все безобразие своего поведения.

Старый джентльмен был не настолько обманут, чтобы не желать отделаться от меня. Но прежде всего он был деловым человеком и понимал, что, каково бы ни было мое поведение, деньги у меня хорошие. Он любезно предоставил в мое распоряжение своего сына в качестве проводника и поручителя в квартирном вопросе, и поэтому пришлось представить его Катрионе. Бедная милая девушка успела отдохнуть, выглядела и вела себя в совершенстве, брала меня под руку и называла братом гораздо более непринужденно, чем я ее — сесгрой. Но тут возникло еще одно затруднение: желая помочь мне, она, пожалуй, была слишком приветлива с голландцем, и я не мог не подумать, что мисс Бальфур уж слишком внезапно утратила свою застенчивость. Кроме того, в нашем говоре была большая разница. Я говорил на лоулэндском наречии, ясно произнося все слова; она же — на гайлэндском, с акцентом, похожим на английский, но гораздо более красивым, и едва ли могла быть названа профессором английской грамматики, так что для брата и сестры мы были поразительно не похожи. Но молодой голландец был тяжеловесный парень, не имевший даже достаточно ума, чтобы заметить ее миловидность, на что я рассердился. Как только мы нашли себе кров, он оставил нас одних, и это было наибольшей из его услуг.

XXIV. Подробная история книги доктора Гейнекциуса

Квартира, которую мы нашли, находилась на верхнем этаже дома, выходящего на канал. У нас было две комнаты; во вторую надо было проходить через первую; в каждой, по голландскому обычаю, в пол было вделано по камину. Из окон нашей квартиры виднелись верхушка дерева, росшего на маленьком дворике под нами, кусочек канала, дома голландской архитектуры и церковный шпиль на противоположном берегу. На шпиле этом висел целый набор восхитительно звучащих колоколов, а солнце в ясные дни светило прямо в наши комнаты. Из ближайшей таверны нам приносили вкусные обеды и ужины.

В первую ночь мы оба почувствовали сильное утомление, в особенности Катриона. Мы мало говорили и сразу после ужина я уложил ее в постель. На следующее утро я прежде всего написал записку Спроту, прося его выслать вещи Катрионы, а также несколько слов Алану на имя его вождя. Потом, отправив письма, я приготовил завтрак и только тогда разбудил Катриону. Я немного смутился, когда она вышла ко мне в своем единственном платье и в чулках, запачканных дорожной грязью. По справкам, которые я навел, должно было пройти несколько дней, пока ее вещи придут в Лейден, и ей было необходимо сменить одежду. Сначала она не хотела вводить меня в расходы, но я напомнил, что теперь она сестра богача и должна быть подобающе одета. Не успели мы войти во вторую лавку, как у нее заблестели глаза. Мне нравилось, что она так невинно и от всей души радуется покупкам. Но замечательнее всего было то, что и я сам начал с воодушевлением заниматься этим делом. Мне все время казалось, что я купил мало вещей или они недостаточно хороши для нее, и я не уставал любоваться ею в различных нарядах. Я начинал немного понимать увлечение мисс Грант нарядами. Дело в том, что когда наряжаешь красивую особу, то самое это занятие становится красивым. Надо сказать, что голландские ситцы были чрезвычайно дешевы и изящны, но мне как-то совестно написать здесь, сколько я заплатил за чулки. Все-таки я истратил настолько большую

сумму на это удовольствие (не могу иначе назвать его), что долгое время совестился тратить еще, и, чтобы возместить убыток, оставил наши комнаты бедно обставленными. У нас были постели; Катриона была достаточно нарядна; были свечи, при которых я мог видеть ее,—на мой взгляд этого было достаточно.

Окончив наши странствия по лавкам, я оставил ее дома со всеми покупателями, а сам отправился на длинную прогулку, во время которой прочел себе наставление. Я приютил под своей кровлей молодую, чрезвычайно красивую девушку, невинность которой была для нее главной опасностью. Разговор мой со старым голландцем и ложь, к которой я должен был прибегнуть, дали мне некоторое понятие о том, что мое поведение выглядело подозрительным в глазах посторонних. Теперь же, после того как я пришел в восхищение от ее красоты и потратил массу денег на ненужные покупки, я и сам насторожился. Я спрашивал себя: если бы у меня действительно была сестра, стал ли я так компрометировать ее? Затем, считая подобный случай слишком проблематичным, изменил свой вопрос, спрашивая себя, доверил бы я Катриону другому человеку или нет. Ответ на это заставил меня покраснеть. Но раз я уже попал сам и поставил девушку в такое неподходящее положение, тем более я был обязан обращаться с нею в высшей степени бережно. В отношении хлеба и крова она совершенно зависела от меня. Если бы я оскорбил ее чувство стыдливости, у нее не осталось бы другого пристанища. Я был хозяином квартиры и покровителем девушки, и тем менее у меня могло быть оправданий, если бы я воспользовался своим положением, хотя бы для самого честного ухаживания. Даже самое честное ухаживание было бы недобросовестным в этих удобных для меня обстоятельствах, которые никакие благоразумные родители не допустили бы ни на минуту. Я видел, что должен стараться как можно дальше держаться от нее, однако все-таки не слишком далеко. Хоть я не имел права играть роль влюбленного, но должен был постоянно и по возможности приятным образом исполнять роль хозяина. Очевидно, для этого требовалось много такта и умения, может быть, больше, чем то было возможно в мои годы. Но я попал в положение, которого бы даже ангелы испугались, и из него не было

другого выхода, кроме корректного поведения. Я составил целый ряд правил для руководства, помолился, чтобы мне дана была сила следовать им, и в качестве более земной поддержки в этом деле купил себе учебник по законоведению. Так как больше ничего я не мог придумать, то ограничился этими серьезными соображениями. В голове моей стали роиться приятные мысли, и, возвращаясь домой, я, казалось, не шел, а несясь по воздуху. При одной мысли о «доме» и о той, которая ждала меня в этих четырех стенах, сердце забилося у меня в груди.

Беспокойство мое началось с самого моего возвращения. Катриона с явной и трогательной радостью выбежала мне навстречу. Она была одета в новое платье, которое я купил ей, и выглядела в нем еще более красивой. Она все ходила вокруг меня и приседала, желая, чтобы я разглядел ее наряд и полюбовался им. Вероятно, я сделал это очень нелюбезно, так как помню, что даже стал запинаться.

— Ну, — сказала она, — если вас не интересуют мои красивые платья, то посмотрите, что я сделала с нашими комнатами.

Действительно, квартира была хорошо подметена, и в обоих каминах горел огонь.

Я был рад случаю показаться более строгим, чем был на самом деле.

— Катриона, — сказал я, — я очень недоволен вами: вы не должны входить в мою комнату. Один из нас должен быть главой, пока мы живем вместе. Приличнее, чтобы то был я, как мужчина и как старший, и я требую этого от вас.

Она сделала один из своих обворожительных реверансов.

— Если вы будете сердиться, — сказала она, — мне придется стараться угождать вам, Дэви. Я буду очень послушна: ведь каждая ниточка на мне принадлежит вам. Но и вы не будьте слишком сердитым: теперь у меня никого нет, кроме вас.

Я был глубоко тронут, и в наказание самому себе поторопился сгладить впечатление от моих резких слов. Это было сделать нетрудно, тем более что Катриона, весело улыбаясь, повела меня в комнаты. При виде ее милых взглядов и жестов сердце мое совершенно растая-

ло. Мы бесело пообедали и были так нежны друг с другом, что даже смех наш звучал ласково.

Но среди веселья я вдруг вспомнил свои добрые намерения, неловко извинился и сел за учение. Книга, которую я купил, была толстая и поучительная: это было сочинение покойного доктора Гейнексиуса. Я в последующие дни много читал ее и часто радовался, что некому спросить меня о моем чтении. Помню, что Катриона иногда кусала губы, глядя на меня, и это мучило меня. Таким образом она оставалась в полном одиночестве, тем более что сама никогда не держала книги в руках. Но что мне было делать? Вечер прошел почти в совершенном безмолвии.

Я был готов поколотить сам себя. В эту ночь я не мог заснуть и в бешенстве, полный раскаяния, ходил взад и вперед босиком по комнате, пока почти не замерз, так как камин потух, а мороз был очень силен. Сознание, что она тут, в соседней комнате, и даже может слышать, как я хожу, воспоминание о моей грубости и о том, что я должен продолжать в том же духе или совершить бесчестный поступок, лишали меня рассудка. Я находился как бы между Сциллой и Харибдой. «Что она должна думать обо мне?» — эта мысль приводила меня в отчаяние. «Что будет с нами?» — эта мысль снова закаляла мою решимость. То была первая бессонная ночь, полная сомнений и колебаний. Много подобных ночей мне предстояло провести, гуляя взад и вперед как сумасшедший, плача иногда как ребенок, временами молясь, как искренне верующий.

Молиться не особенно трудно. Трудности обыкновенно появляются на практике. В присутствии девушки, в особенности когда я допускал вначале некоторые вольности, я иногда терял над собою власть. А между тем сидеть весь день в одной комнате с ней и притворяться, что занят Гейнексиусом, было выше моих сил. В конце концов я прибегнул к такому средству: я надолго уходил, посещал лекции и слушал профессоров, часто совсем без внимания, доказательство чему я недавно нашел в записной книжке того времени; бросив следить за поучительной лекцией, я царапал на ее страничках очень скверные стихи, хотя латинский язык, которым они были написаны, превзошел мои ожидания. К не-

счастью, польза от этого образа действий была невелика. У меня оставалось меньше времени на искушение, но зато, когда я возвращался домой, искушение еще больше усиливалось. Так как Катриона все дни проводила в одиночестве, то стала с таким возрастающим жаром встречать мое возвращение, что я едва мог противиться ей. Я должен был грубо отталкивать ее дружеские ласки. Иногда это так оскорбляло ее, что мне приходилось нежным вниманием заглаживать свою вину. Таким образом, наше время проходило в постоянной смене настроений, в ссорах и примирениях.

Больше всего меня тревожила необычайная доверчивость Катрионы: она меня удивляла и восхищала и в то же время заставляла жалеть девушку. Катриона, очевидно, совсем не понимала своего положения и не замечала моей борьбы с собой, встречая каждый знак моей слабости с радостью. А когда я снова замыкался в своей крепости, она не всегда умела скрыть печаль. Были минуты, когда я думал: «Если бы она была влюблена по уши и всячески старалась покорить меня, она вряд ли повела бы себя иначе».

Чаще всего мы ссорились из-за ее платьев. Мой багаж вскоре прибыл из Роттердама, а ее вещи — из Гельвута. У нее теперь оказалось два гардероба, и не знаю как, но между нами как бы установилось молчаливое соглашение: когда она была дружески расположена ко мне, она надевала платье, которое я ей подарил: в противном же случае — свое собственное. Это означало, что она недовольна мною. Я в душе понимал это, но обыкновенно бывал настолько разумен, что не подавал виду, будто что-нибудь замечаю.

Раз, однако, я впал в еще большее ребячество, чем она. Случилось это следующим образом. Возвращаясь с лекции и думая о ней с нежностью и любовью, но вместе с тем и с некоторой досадой, я заметил, что досада эта мало-помалу улетучилась. Увидев в витрине магазина цветок, один из тех, которые голландцы так искусно выращивают, я последовал минутному влечению и купил его для Катрионы. Я не знаю названия цветка, помню только, что он был розовый. Я думал, что он понравится ей, и отнес его домой с нежным чувством в сердце. Уходя, я оставил ее в подаренном мною платье, а когда я

вернулся, то и платье было на ней другое, и выражение лица ее совсем изменилось. Я оглядел ее с головы до ног, заскрежетал зубами, распахнул окно и выбросил свой цветок во двор, а затем — то ли в приступе бешенства, то ли из предосторожности — выбежал из комнаты и хлопнул за собою дверь.

На крутой лестнице я чуть не упал. Это привело меня в себя, и я сейчас же понял, как бессмысленно мое поведение. Я пошел не на улицу, как сперва хотел, а во дворик, где обычно никого не было и где я увидел свой цветок, который мне обошелся гораздо дороже своей настоящей стоимости, висящим на безлистном дереве. Стоя на берегу капала, я смотрел на лед. Деревенские жители пробегали мимо меня на копытках, и я с завистью глядел на них. Я не видел выхода из своего положения. Мне не оставалось ничего, как вернуться в комнату, из которой я только что убежал. У меня больше не было сомнения в том, что я обнаружил свои тайные чувства. Что еще хуже, я в то же время — с глупым ребячеством — оказался невежливым по отношению к моей беззащитной гостье.

Она, вероятно, видела меня из открытого окна. Мне казалось, что я не очень долго стоял на дворе, как вдруг услышал скрип шагов по замерзшему снегу и, сердито повернувшись — я не желал, чтобы прерывали мои размышления, — увидел Катриону. Она переделалась снова.

— Разве мы не пойдем гулять сегодня? — спросила она.

Я в смущении глядел на нее.

— Где ваша брошка? — спросил я.

Она поднесла руку к груди и сильно покраснела.

— Я забыла ее, — сказала она. — Я сбегаю за нею наверх, и тогда, не правда ли, мы пойдем гулять?

В этих словах ее слышалась мольба, которая привела меня в замешательство. Я не находил слов, чтобы ответить ей, и лишь молча кивнул головой. Как только она ушла, я влез на дерево и достал цветок, который и преподнес ей, когда она вернулась.

— Я купил его для вас, Катриона, — сказал я.

Она с нежностью, как мне показалось, прикрепила цветок к груди вместе с брошкой.

— Он не стал лучше от моего обращения,— продолжал я, краснея.

— Мне он от этого не меньше нравится, можете быть уверены,— сказала она.

Мы в этот день разговаривали мало. Она казалась настороженной, хотя и не выражала враждебного чувства. Во время нашей прогулки и позже, когда мы пришли домой и она поставила цветок в кувшин с водой, я не переставал думать о том, какая загадка — женщина. То я удивлялся тому, что она до сих пор не заметила моей любви, а то мне казалось, что она уже давно все заметила, но из чувства приличия это скрывает.

Каждый день мы отправлялись гулять. На улицах я чувствовал себя спокойнее, не так следил за собою, а главное, там не было Гейнексиуса. Поэтому наши прогулки были не только отдыхом для меня, но и особенным удовольствием для бедной девочки. Возвращаясь в назначенное время, я обыкновенно заставал ее уже одетой и горящей нетерпением пойти погулять. Она старалась продолжить прогулки до крайних пределов, точно боясь, как и сам я, минуты возвращения. Вряд ли около Лейдена осталось какое-нибудь поле или берег реки, где бы мы не гуляли. За исключением этих прогулок, я не разрешал ей выходить из квартиры, боясь, как бы она не встретила каких-нибудь знакомых, отчего наше положение стало бы чрезвычайно затруднительным. Опасаясь того же самого, я не позволял ей ходить в церковь да и сам не ходил туда, а довольствовался молитвой вместе с Катрионой в нашей комнате, с благим намерением, но, сознаюсь, с большой рассеянностью. Действительно, на меня вряд ли что так действовало, как эти коленопреклонения рядом с нею перед богом, точно мы были мужем и женой.

Как-то раз шел сильный снег. Мне казалось невозможным идти гулять, и я был очень удивлен, найдя ее одетой и ожидающей меня.

— Я не могу отказаться от прогулки! — воскликнула она.— Вы, Дэви, дома никогда не бываете хорошим мальчиком. Я только и люблю вас, что на открытом воздухе. Я думаю, нам лучше стать цыганами и жить на большой дороге.

Это была самая приятная наша прогулка. Когда па-

дали густые хлопья снега, она прижималась ко мне. Снег сыпался и таял на нас; капли снега висели на ее румяных щеках, точно слезы, и скатывались с ее улыбающихся губ. При виде этого у меня точно прибавлялось силы, и я чувствовал себя великаном. Мне казалось, что я мог бы поднять ее и убежать с нею на край света. Во время прогулки мы разговаривали удивительно свободно и нежно.

Было уже совершенно темно, когда мы подошли к двери нашего дома. Она прижала мою руку к своей груди.

— Благодарю вас за эти счастливые часы,— проговорила она растроганным голосом.

Смущение, которое я испытал при этих словах, быстро заставило меня принять меры предосторожности. Не успели мы войти в комнату и зажечь огонь, как она увидела суровое и непреклонное лицо человека, изучающего Гейнекциуса. Катриона, без сомнения, была огорчена более обыкновенного, да и мне было труднее, чем всегда, сохранить свою внешнюю холодность. Даже за едой я едва решился поднять на Катриону глаза и, как только закончился обед, снова занялся законоведением с более рассеянным видом и меньшим пониманием, чем обычно... Мне помнится, что, читая, я слышал, как сердце мое стучало, точно столовые часы. Как я ни притворялся, что занимаюсь, но глаза мои все-таки, скользя над книгой, направлялись к Катрионе. Она сидела на полу около моего большого сундука, пламя камина освещало ее и, отбрасывая на лицо ее удивительные оттенки, заставляло его казаться то пылающим, то совершенно темным.

Она смотрела то на огонь, то опять на меня, и тогда меня обуревал страх за себя, и я начинал переворачивать страницы Гейнекциуса.

Вдруг она громко воскликнула.

— О, почему не приходит мой отец? — и залилась потоком слез.

Я вскочил, швырнул Гейнекциуса в огонь, подбежал к ней и обнял ее.

Она резко оттолкнула меня.

— Вы не любите своего друга,— сказала она.— Я бы могла быть так счастлива!..— И продолжала: — О, что я сделала, за что вы так ненавидите меня?

— Ненавижу вас?! — воскликнул я, крепко держа ее. — О слепая, неужели вы не видите моего несчастного сердца? Неужели вы думаете, что когда я сижу тут и читаю эту дурацкую книгу, которую я только что сжег, черт бы ее побрал, я могу думать о чем-нибудь другом, кроме вас? Каждый вечер сердце мое надрывается, когда я вижу, что вы сидите совершенно одна. А что я могу сделать? Вы здесь под защитой моей чести. Неужели вы хотите наказать меня за это? Неужели вы за это станете отталкивать своего преданного слугу?

При этих словах она слабым, неожиданным движением прижалась ко мне. Приблизив ее лицо к своему, я поцеловал ее; она же склонила голову ко мне на грудь, крепко обнимая меня. Голова моя кружилась, точно у пьяного. И вдруг я услышал ее голос, тихий, заглушенный моей одеждой.

— Вы вправду целовали ее? — спросила она.

Я почувствовал такое сильное изумление, что был потрясен.

— Мисс Грант? — воскликнул я растерянно. — Да, я попросил ее поцеловать меня на прощание, что она и сделала.

— Ну что ж, — сказала она, — во всяком случае, вы и меня тоже поцеловали.

Эти странные и милые слова объяснили мне, в чем дело. Я встал сам и поставил ее на ноги.

— Не годится так говорить, — сказал я, — это невозможно, совсем невозможно! О Кэтрин, Кэтрин!

Последовала пауза, во время которой я не был в состоянии произнести ни слова.

— Ложитесь спать, — наконец сказал я. — Ложитесь спать и оставьте меня.

Она повернулась, послушная, как ребенок, и вскоре остановилась уже в самых дверях.

— Спокойной ночи, Дэви! — сказала она.

— Спокойной ночи, дорогая моя! — воскликнул я, в страстном порыве схватил ее снова и прижал к себе так, что, казалось, мог сломать ее. Через минуту я вытолкнул ее из комнаты, с силою захлопнул дверь и остался один.

Слово вырвалось, наконец правда была сказана. Я, как вор, вкрался в душу молодой девушки. Она, слабое,



Катриона сидела на полу около меня.

невинное создание, была теперь совершенно в моей власти. Какое мне оставалось средство защиты? Точно символом было то, что Гейнексиус, мой прежний защитник, сожжен. Я раскаивался, но между тем в душе не мог порицать себя за эту большую ошибку. Мне казалось невозможным сопротивляться ее наивной смелости или последнему испытанию — ее слезам. Но все эти извинения делали мой грех еще значительнее: девушка была так беззащитна, а положение мое представляло столько преимуществ!

Что теперь будет с нами? Мне казалось, что нам нельзя больше оставаться в одной квартире. Но куда мне уйти? Куда уйти ей? Не по нашему выбору и не по нашей вине жизнь заключила нас вместе в это тесное жилище. У меня появилась дикая мысль немедленно жениться на ней, но я тут же с негодованием отвергнул эту мысль: она была еще дитя, не знала собственного сердца. Я поймал ее врасплох и ни в коем случае не должен воспользоваться этим. Я не только должен сохранить ее невинной, но и свободной, такой, какой она пришла ко мне.

Я уселся перед камином, размышляя, терзаясь раскаянием и тщетно ломая голову в поисках спасения. Когда около двух часов ночи в камине оставалось только три красных уголька и весь город уже спал, я услышал тихий плач в соседней комнате. Бедная девочка, она думала, что я сплю. Она сожалела о своей слабости и о том, что, может быть, — помоги ей бог! — была слишком смела, и в ночной тишине облегчала грудь слезами. Нежные и горькие чувства, любовь, раскаяние и жалость боролись в моей душе. Мне казалось, что я обязан осушить ее слезы.

— О постарайтесь простить меня! — воскликнул я. — Постарайтесь простить меня! Забудем все, попытаемся всё забыть.

Ответа не последовало, но рыдания прекратились. Я еще долгое время стоял со сжатыми кулаками. Наконец ночной холод пронизал меня насквозь, я вздрогнул, и разум мой пробудился.

«Этим ты делу не поможешь, Дэви, — подумал я. — Ложись в постель и постарайся заснуть. Утро вечера мудренее».

XXV. Возвращение Джемса Мора

Утром меня пробудил от тяжелого сна стук в дверь. Я побежал отворить и чуть не лишился чувств: на пороге в мохнатом пальто и огромной шляпе, обшитой га-луном, стоял Джемс Мор.

Мне следовало бы, пожалуй, благодарить судьбу, потому что человек этот некоторым образом словно явился в ответ на мою молитву. Я без конца твердил себе, что мы с Катриной должны расстаться, и до боли в сердце изыскивал возможное средство для разлуки. И вот это средство является ко мне на двух ногах, а между тем я менее всего чувствую радость... Надо, однако, принять во внимание, что, если приход этого человека освобождал меня от заботы о будущем, настоящее мое было мрачно и угрожающе. Очутившись перед ним в рубашке и кальсонах, я, кажется, даже отскочил назад, точно подстреленный.

— А,— сказал он,— я нашел вас наконец, мистер Бальфур,— и протянул мне свою большую, красивую руку, которую я взял очень нерешительно, шагнув снова вперед и остановившись у дверей, точно готовясь к сопротивлению.— Удивительно, право,— продолжал он,— как перекрещиваются наши пути. Я должен извиниться перед вами за неприятное вторжение в ваше дело, в которое меня вмешал этот обманщик Престонгрэндж. Совесть даже признаться, что я мог довериться судейскому чиновнику.— Он совершенно по-французски пожал плечами.— Но человек этот кажется таким достойным доверия...— продолжал он.— А теперь, как выяснилось, вы очень любезно позаботились о моей дочери, узнать адрес которой меня и направили к вам.

— Я думаю, сэр,— сказал я с удрученным видом,— что нам необходимо объясниться.

— Ничего не случилось дурного? — спросил он.— Мой агент мистер Спрот...

— Ради бога, говорите тише! — воскликнул я.— Она не должна ничего слышать, пока мы не объяснимся.

— Разве она здесь? — воскликнул он.

— Эта дверь в ее комнату,— отвечал я.

— Вы были с ней одни? — спросил он.

— Кто же другой мог быть с нами? — воскликнул я.



Должен отдать ему справедливость, он побледнел.

— Это очень странно,— сказал он.— Это чрезвычайно необыкновенный случай. Вы правы, нам следует объясниться.

Говоря это, он прошел мимо меня. Должен сознаться, что старый мошенник в эту минуту выглядел чрезвычайно величественно. Он впервые увидел мою комнату, которую и я теперь рассматривал, так сказать, его глазами. Бледный луч утреннего солнца пробивался сквозь окно и освещал ее. Кровать, чемоданы, умывальник, разбросанная в беспорядке одежда и потухший камин составляли все ее убранство. Комната, несомненно, выглядела пустой и холодной и казалась неподходящим, нищенским приютом для молодой леди. В то же время мне вспомнились платья, которые я купил Катрионе, и я подумал, что этот контраст между бедностью и роскошью не мог не выглядеть подозрительным.

Джемс оглядел комнату, ища стул, и, не найдя ниче-

го другого, уселся на кровать. Закрыв дверь, я вынужден был сесть рядом с ним: чем бы ни кончилось это необыкновенное объяснение, надо было по возможности стараться не разбудить Катриону, а для этого требовалось, чтобы мы сидели близко и говорили шепотом. Не берусь описать, какую мы представляли странную пару: на нем было пальто, вполне уместное в моей холодной комнате; я же дрожал в одной рубашке и кальсонах. У него был вид судьи, я же чувствовал себя в положении человека, услышавшего трубу Страшного суда.

— Ну? — спросил он.

— Ну... — начал я, но понял, что не в состоянии продолжать.

— Вы говорите, что она здесь? — снова заговорил он, на этот раз с некоторым нетерпением, которое, казалось, вернуло мне мужество.

— Она в этом доме, — сказал я. — Я знал, что это обстоятельство покажется вам необычным. Но вы должны сообразить, насколько необычно было все дело с самого начала. Молодая леди высаживается на континенте с одним шиллингом и тремя боуби в кармане. Ее направляют к Спроту в Гельвуте, которого вы называете своим агентом. Могу сказать только, что он богохульствовал при одном упоминании о вас и что я должен был заплатить ему из своего кармана, чтобы он только сохранил ее вещи. Вы говорите о необыкновенном случае, мистер Друммонд... Если угодно, называйте его так. Но подвергать ее такой случайности было варварством.

— Вот чего я совсем не могу понять... — сказал Джемс. — Моя дочь была отдана на попечение почтенных людей, имя которых я забыл.

— Их звали Джебби, — сказал я. — Без сомнения, мистеру Джебби следовало бы поехать с ней на берег в Гельвуте. Но он не поехал, мистер Друммонд, и думаю, что вам надо благодарить бога, что я оказался тут и предложил ей свои услуги.

— Я еще поговорю с мистером Джебби в скором времени, — сказал он. — Что же касается вас, то я думаю, вы могли бы понять, что слишком молоды для этого.

— Но выбирать приходилось не между мной и кем-нибудь другим, а между мной и никем! — воскликнул я. — Никто более не предлагал ей своих услуг. Должен

сознаться, что вы выказываете весьма мало благодарности мне, сделавшему это.

— Я подожду, пока не пойму немного яснее, в чем заключается услуга, которую вы мне оказали.

— Мне кажется, что это и так бросается в глаза,— сказал я.— Вы покинули вашу дочь, почти бросили ее одну посреди Европы с двумя шиллингами в кармане и не знающую двух слов на здешнем языке. Прекрасно, нечего сказать! Я привел ее сюда. Я называл ее своей сестрой и обращался с ней как с сестрой. Вряд ли нужно объяснять вам, что все стоило денег. Я обязан был сделать это для молодой леди, достоинства которой я уважаю, но, кажется, было бы довольно неуместно расхваливать ее собственному отцу.

— Вы молодой человек...— начал он.

— Я уже слышал это,— отвечал я запальчиво.

— Вы очень молодой человек,— повторил он,— иначе вы бы поняли все значение вашего поступка.

— Вам очень легко говорить это! — воскликнул я.— Но как же я мог поступить иначе? Положим, я мог бы нанять какую-нибудь бедную приличную женщину, которая бы жила с нами, но, уверяю вас, мне до сих пор это не приходило в голову! Да и где бы я нашел ее — ведь я чужой в этом городе! Позвольте обратить ваше внимание еще и на то, мистер Друммонд, что это бы стоило мне денег. Дело-то, как видите, главным образом заключается в том, что мне все время приходилось платить за вашу небрежность, и вся история произошла единственно оттого, что вы были так беспечны, что покинули свою дочь.

— Тот, кто сам живет в стеклянном доме, не должен бросать камнями в других,— сказал он.— Прежде окончим расспросы о поведении мисс Друммонд, а потом уже станем судить ее отца.

— Я считаю такую постановку вопроса совершенно неуместной,— сказал я,— честь мисс Друммонд выше всяких подозрений, что должно быть известно ее отцу. То же самое можно сказать и обо мне. Вам остается лишь выбрать одно из двух: выразить мне свою благодарность, как джентльмен джентльмену, и больше не говорить об этом, или же оплатить мне все расходы и уехать.

Он успокоительно замахал рукой.

— Ну, ну,— сказал он,— вы слишком торопитесь, мистер Бальфур. Хорошо, что я научился быть терпеливым. Вы, кажется, забываете, что я еще должен увидаться с моей дочерью.

При этих словах я начал немного успокаиваться, увидев перемену в поведении Джемса, как только речь зашла о деньгах.

— Я думаю, будет лучше, если вы позволите мне одеться в вашем присутствии, чтобы дать мне возможность уйти и предоставить вам встретиться с ней наедине? — спросил я.

— Я ожидал этого от вас! — сказал он очень вежливым тоном.

Я находил, что дело идет все лучше и лучше. Начиная натягивать брюки, я вспомнил, как бессовестно попрошайничал этот человек у Престонгрэнджа, и решил упрочить за собой победу.

— Если вы желаете некоторое время пробыть в Лейдене,— сказал я,— то эта комната в вашем распоряжении. Себе я легко найду другую. Таким образом будет менее беспокойства, потому что придется отсюда выехать только одному.

— Сэр,— сказал он, выпячивая грудь,— я не стыжусь бедности, в которую впал на службе моему королю, не скрываю, что дела мои очень расстроены, и в настоящую минуту мне было бы совершенно невозможно ехать дальше.

— Пока вы не найдете возможности снестись с вашими друзьями,— сказал я,— вам, может быть, будет удобно — для меня же это будет очень лестно — пожить здесь в качестве моего гостя.

— Сэр,— начал он,— на ваше искреннее предложение я считаю обязанностью отвечать так же искренне. Вашу руку, мистер Давид. У вас характер, который я более всего уважаю. Вы из тех, от которых джентльмен может принять одолжение без лишних слов. Я старый солдат,— продолжал он, с видимым отвращением оглядывая комнату,— и вам нечего бояться, что я буду вам в тягость. Я слишком часто ел на краю канавы, пил из лужи и проводил дни и ночи без крова, под дождем.

— Должен сказать вам,— заметил я,— что обыкновенно нам в это время присылают завтрак. Я могу зайти

в таверну, заказать для вас еще одну порцию и отложить завтрак на час, чтобы дать вам время повидаться с вашей дочерью.

Мне показалось, что ноздри его шевельнулись.

— О, целый час! — заметил он. — Это, пожалуй, слишком много. Скажем, лучше полчаса, мистер Давид, или двадцать минут. Уверю вас, что этого совершенно достаточно. Кстати, — прибавил он, удерживая меня за сюртук, — что вы пьете за завтраком, эль или вино?

— Откровенно говоря, сэр, — отвечал я, — я не пью ничего, кроме чистой холодной воды.

— Ой-ой, — сказал он, — это очень вредно для желудка, поверьте старому солдату. Наиболее здорово, может быть, пить нашу домашнюю родную водку, но так как это невозможно, то лучше всего брать рейнское или белое бургундское вино.

— Сочту своим долгом доставить его вам, — отвечал я.

— Ну прекрасно, — сказал он, — мы еще сделаем из вас мужчину, мистер Давид.

Могу сказать, что в это время я обращал на него внимание ровно настолько, чтобы представить себе, каким странным тестем он окажется. Все мои заботы сосредоточивались на дочери, которую я решил как-нибудь предупредить о посетителе. Я подошел к двери и, постучав в нее, крикнул:

— Ваш отец пришел наконец, мисс Друммонд!

Затем я пошел по своим делам, не подозревая, что этими словами сильно испортил наши отношения.

XXVI. Трое

Заслуживал ли я порицания или, скорее, участия, предоставляю судить другим. Проницательность моя, которой у меня так много, не так велика, когда дело идет о дамах. Когда я будил Катриону, я, без сомнения, больше всего думал о действии моих слов на Джемса Мора. Когда я возвратился и мы сели за стол, я из тех же соображений продолжал обращаться к молодой леди с холодной почтительностью. Я и теперь думаю, что поступил

умно: отец ее сомневался в невинности нашей дружбы, и сомнения эти я прежде всего должен был рассеять. Но и Катриона тоже заслуживает извинения. Между нами накануне была страстная и нежная сцена: мы обменялись поцелуями; я резко отбросил ее от себя; я кричал ей ночью из своей комнаты; она целые часы провела без сна, в слезах, и нельзя не предположить, что предметом ее ночных дум был я. И вдруг после всего этого ее разбудили с непривычной церемонностью, назвали мисс Друммонд и так сдержанно с ней разговаривают! Поняно, что это привело ее в заблуждение относительно моих действительных чувств и заставило вообразить, будто я раскаиваюсь и иду на попятный.

Наше взаимное непонимание произошло, видимо, вот почему: едва я увидел большую шляпу Джемса Мора, как стал думать только о нем, о его возвращении и его подозрениях; она же так мало придавала этому значения, что ничего не замечала, а все ее тревоги касались лишь того, что случилось накануне ночью. Это отчасти объясняется невинностью и смелостью ее характера, отчасти же тем, что Джемс Мор, который потерпел неудачу в разговоре со мной и был обезоружен моим приглашением, не сказал ей ни слова на эту щекотливую тему. Во время завтрака уже стало ясно, что мы не понимаем друг друга. Я ожидал увидеть ее в собственном платье, а между тем она, точно забыв о присутствии отца, надела одно из лучших платьев, купленных мною, которое — она знала или думала — очень мне нравилось. Я ожидал, что она будет подражать моей сдержанности, будет холодна и церемонна, а вместо этого увидел ее раскрасневшейся, возбужденной, с ярко блестящими глазами. Она с какой-то вызывающей нежностью называла меня по имени, стараясь угадывать мои мысли и желания, точно заботливая или подозреваемая в неверности жена.

Но это продолжалось недолго. Когда я увидел, как она забывает о своих интересах, которые я поставил под угрозу, что теперь старался исправить, я удвоил собственную холодность, точно желая этим дать ей урок. Чем более она продвигалась вперед, тем более я отступал назад; чем более она обнаруживала близость наших отношений, тем я становился более утонченно вежливым, пока наконец даже отец ее, если бы он не был так погло-

щен едой, мог бы заметить это противоречие. Тогда она вдруг совершенно изменилась, и я с облегчением подумал, что она наконец поняла мой намек.

Весь день я провел на лекциях и в поисках новой квартиры, и, хотя мне мучительно доставало нашей обычной прогулки, я, признаюсь, был счастлив при мысли, что путь мой свободен, девушка снова в подходящих руках, отец доволен или, по крайней мере, примирен, а сам я могу свободно и честно отдаться своей любви. За ужином, как и всегда за столом, разговор поддерживал только Джемс Мор. Надо сознаться, что говорил он хорошо, если бы только можно было верить ему. Но я расскажу о нем подробнее дальше. Когда мы кончили ужинать, он встал, надел пальто и, глядя, как мне показалось, на меня, заметил, что у него есть дела в городе. Я принял это за намек на то, что и мне следует уходить, и встал. Тогда девушка, которая при входе моем едва поздоровалась со мной, взглянула на меня широко раскрытыми глазами, как бы приказывая остаться. Я стоял между ними, поворачиваясь от одного к другому. Казалось, что оба не смотрят на меня. Она глядела на пол, он застегивал свое пальто, и это только увеличивало мое смущение. За мнимым равнодушием Катрионы таился сильный гнев, ежеминутно готовый прорваться. Поняв это, я испугался. Я был уверен, что собирается гроза, и, желая избежать ее, повернулся к Джемсу и отдался, если можно так выразиться, в его руки.

— Могу я чем-нибудь служить вам, мистер Друммонд? — спросил я.

Он подавил зевок, что мне снова показалось притворством.

— Что же, мистер Давид, — сказал он, — если вы так любезно предлагаете свои услуги, то укажите мне дорогу в таверну (он называл ее), где я надеюсь встретить старого товарища по оружию.

Возражать было нечего, и я взял шляпу и плащ, чтобы сопутствовать ему.

— Что же касается тебя, — сказал он дочери, — то тебе лучше всего лечь спать. Я вернусь домой поздно, а рано ложиться и рано вставать — это делает молодых девушек красивыми.

С этими словами он нежно поцеловал ее и, пропустив

меня вперед, направился к двери. Все случилось так, и, по моему мнению, преднамеренно, что я едва успел проститься, однако заметил, что Катриона не глядела на меня, и приписал это страху перед Джемсом Мором.

До таверны было довольно далеко. Он всю дорогу говорил на темы, несколько меня не интересовавшие, а у дверей расстался со мною очень холодно. Я пошел на новую квартиру, где не было ни камина, чтобы согреться, ни иного общества, кроме собственных мыслей. Мысли эти были довольно радостные. Мне пока и в голову не приходило, что Катриона отвернулась от меня. Я воображал, будто мы можем считать себя женихом и невестой, и думал, что мы были слишком близки друг другу и разговаривали слишком нежно, чтобы разойтись из-за поступков, которых требовала самая необходимая осторожность. Более всего меня заботил мой будущий тесть, совсем не отвечавший моим требованиям, а также предстоявшее объяснение с ним. Эта необходимость смущала меня по нескольким причинам. Во-первых, я краснел при одной мысли о своей крайней молодости и почти был готов отступить, но соображал, что если они уедут из Лейдена и я не успею объясниться, то могу совсем потерять Катриону. Во-вторых, я понимал, что положение наше было двусмысленно, а объяснение, которое я дал Джемсу Морю на этот счет утром, было неудовлетворительно. В общем, я решил, что отсрочка ничему не помешает, но не должна быть слишком долгой, и с переполненным сердцем лег в свою холодную постель.

На следующий день Джемс Мор стал жаловаться на мою комнату, и я предложил ему купить еще мебели. Придя на квартиру днем в сопровождении носильщиков, нагруженных стульями и столами, я застал девушку снова одну. Она вежливо поздоровалась со мной, но сейчас же ушла в свою комнату, заперев за собою дверь. Я отдал нужные распоряжения, заплатил носильщикам и отправил их, стараясь, чтобы она слышала, как они уходят, и предполагая, что она сейчас же выйдет поговорить со мной. Я некоторое время подождал, потом постучал в дверь.

— Катриона! — позвал я.

Дверь отворилась, прежде чем я успел произнести ее имя: вероятно, Катриона стояла за ней и слушала.

Она так и осталась неподвижно стоять в дверях, только во взгляде ее, который я не берусь описать, была какая-то мучительная тревога.

— Неужели мы и сегодня не пойдем гулять? — спросил я, запинаясь.

— Благодарю вас, — сказала она, — мне не особенно хочется гулять теперь, когда вернулся мой отец.

— Но мне кажется, что он ушел и оставил вас одну, — заметил я.

— Не кажется ли вам также, что не любезно говорить мне это? — спросила она.

— Я не хотел огорчить вас, — возразил я. — Что с вами, Катриона? Что я вам сделал? Зачем вы отворачиваетесь от меня?

— Я вовсе не отворачиваюсь от вас, — медленно ответила она. — Я всегда буду благодарна другу, который был так добр ко мне. Я всегда, пока это в моей власти, останусь вашим другом. Но теперь, когда вернулся мой отец, Джеймс Мор, многое должно измениться. Мне кажется, что были сказаны слова и совершены поступки, о которых бы лучше забыть. Но я всегда останусь вашим другом и все, что могу, и если это не то, что... не настолько, как... Вам это, вероятно, все равно! Но я не хотела бы, чтобы вы слишком дурно думали обо мне. Вы сказали правду: я еще слишком молода, чтобы поступать обдуманно. Надеюсь, вы не забыли, что я почти ребенок. Во всяком случае, мне не хотелось бы потерять вашу дружбу...

В начале этой тирады она была очень бледна, но потом кровь прилила ей к лицу, так что не только слова ее, но и лицо, и дрожащие руки — все призывало меня к терпению. Я впервые увидел, как был неправ, что поставил ее в такое положение. Она поддалась минутной слабости, а теперь стояла предо мной пристыженная.

— Мисс Друммонд, — сказал я и, запнувшись, повторил эти слова, — мне бы хотелось, чтобы вы видели мое сердце! Вы бы прочли в нем, что уважение мое к вам не уменьшилось, я сказал бы даже, что оно увеличилось, если бы это было возможно. То, что произошло, только результат нашей ошибки: это должно было случиться, и чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше. Обещаю вам, что никогда больше не буду упоминать об

этом. Хотелось бы мне обещать также, что не буду об этом и думать, но не могу: воспоминание это всегда останется дорогим для меня. А друг я вам такой, что готов умереть за вас.

— Благодарю,— сказала она.

Мы некоторое время стояли молча, но печаль понемногу овладела моим сердцем. Все мои мечты были разбиты, любовь моя оказалась напрасной, и сам я, как прежде, был одинок.

— Да,— сказал я,— мы всегда останемся друзьями— это верно. Но мы теперь прощаемся, прощаемся со всем, что было. Я всегда буду знать мисс Друммонд, но я прощаюсь с моей Катрионой.

Я взглянул на нее. Не могу сказать, видел ли я ее, но мне казалось, что она растет и становится более прекрасной в моих глазах. Тут я, должно быть, потерял голову, потому что снова назвал ее по имени и сделал шаг вперед, протягивая к ней руки.

Она отскочила, и лицо ее запылало, точно я ударил ее. При виде этого и у меня кровь прилила к сердцу от раскаяния и досады. Я не нашел слов для извинения, низко поклонился ей и вышел из дому.

Прошло, должно быть, дней пять без всякой перемены. Я видел ее только за столом и, разумеется, в обществе Джемса Мора.

Катриона теперь часто бывала одна. Когда отец ее сидел дома, он был с нею довольно нежен. Но он постоянно уходил по своим делам или ради развлечений, не давая себе труда даже найти для этого подходящий предлог. Когда у него были деньги, он проводил ночи в таверне, и это случалось чаще, чем я мог ожидать. Однажды он не явился к столу, и нам с Катрионой пришлось наконец приняться за еду без него. Это был ужин, по окончании которого я немедленно ушел, сказав, что, вероятно, она предпочитает остаться одна. Она с этим согласилась, и, странно сказать, я поверил ей. Я действительно думал, что ей неприятно видеть меня, так как я напоминал ей минуту слабости, о которой ей совестно было вспоминать. Ей приходилось оставаться одной в комнате, где нам бывало так весело вместе при свете камина, выдавшего столько нежных минут. Она сидела одна и думала о том, что уронила свое девичье достоин-

ство, выказав чувства, которые отвергли. А в то же время я сидел тоже один и читал себе проповеди о человеческой слабости и женской стыдливости. И я думаю, что никогда двое безумцев не были более несчастны из-за недоразумения.

Что касается Джемса, то он ни на что не обращал внимания: он ничем не интересовался, кроме своего кармана, своей утробы да хвастливой болтовни. Не успело пройти и двенадцати часов с его приезда, как он сделал у меня маленький заем. Через тридцать часов он попросил еще денег и получил отказ. Как деньги, так и отказы он принимал с одинаковым добродушием. В нем действительно была какая-то внешняя величавость, которая могла действовать на его дочь. Вид, который он обыкновенно принимал в разговоре, его изящная наружность и широкие привычки — все это очень гармонировало с его обликом. Для меня же после двух первых встреч он был ясен как день: я видел, что это черствый эгоист, наивный в своем эгоизме. Я слушал его хвастливый разговор об оружии и «старом солдате», о «бедном гайлэндском джентльмене» и о «силе моей страны и друзей», точно то была болтовня попугая.

Удивительно, но он, кажется, иногда сам верил отчасти своим рассказам. Он был так лжив, что, пожалуй, едва ли замечал свою ложь. Например, минуты уныния были у него совершенно искренни. Временами он бывал самым молчаливым, любящим, нежным созданием в мире, держал, точно большой ребенок, руку Катрионы в своих руках и просил меня не покидать его, если я хоть немного его люблю. Его, положим, я не любил, но зато любил его дочь. Он настойчиво умолял нас развлекать его беседой, что при наших отношениях было очень трудно, и затем снова принимался за горькие сожаления о родной стране и друзьях, а также за гэльские песни.

— Это одна из меланхолических песен моей родины, — говаривал он. — Вы удивляетесь, что видите солдата плачущим. Это доказывает только, что я считаю вас близким другом. Мотив этой песни в моей крови, а слова идут из сердца. Когда я вспоминаю свои багряные горы, и крики диких птиц, и быстрые потоки, сбегаящие с холмов, я не постыдился бы плакать и перед врагами. — Затем он снова пел и переводил мне слова песен на английский язык

с большими остановками и выражениями досады.—Здесь говорится,— рассказывал он,— что солнце зашло, сражение кончилось и храбрые вожди потерпели поражение. И еще говорится, что звезды видят, как они убегают в чужие страны или лежат мертвые на багряных горах; никогда больше не издадут они военного клича и не омоют ног в ручьях долины. Если бы вы хоть немного знали этот язык, то сами плакали бы, так выразительны эти слова, но передавать их по-английски — похоже на насмешку.

Я находил, что во всем этом была некоторая доля насмешки, но между тем здесь было и настоящее чувство, и за это я, кажется, больше всего ненавидел Джемса Мора. Меня задевало за живое, когда я видел, как Катриона заботится о старом негодяе и плачет сама при виде его слез. Между тем я был уверен, что половина его печали происходила от неумеренной выпивки накануне. Бывали минуты, когда мне хотелось дать ему взаймы крупную сумму с тем, чтобы больше не видеть его. Но в таком случае я не увидел бы также и Катрионы, а это было не то же самое, и, кроме того, совесть не разрешала мне бросать деньги на человека, который был таким плохим отцом семейства.

XXVII. Двое

Прошло, должно быть, дня четыре. Помню, что Джемс находился в одном из своих мрачных настроений, когда я получил три письма. Первое было от Алана — он предполагал навестить меня в Лейдене. Остальные два были из Шотландии и касались одного и того же дела, а именно: извещали меня о смерти моего дяди и о вступлении моем в права наследства. Письмо Ранкэйлора было, разумеется, написано в деловом тоне; письмо же мисс Грант, похожее на нее самое, было более остроумно, чем рассудительно, полно упреков за то, что я не писал ей,— хотя как я мог писать ей в нынешних обстоятельствах?— и шутилых замечаний о Катрионе, которые мне было тяжело читать в ее присутствии.

Я нашел эти письма у себя в комнате, когда пришел пообедать, так что о моих новостях слышали сейчас же,

как только я узнал их. Они послужили нам всем трем желанным развлечением, и никто из нас не мог предвидеть дурных последствий этого. Случаю было угодно, чтобы все три письма пришли в один и тот же день, и он же отдал их в мои руки и в той же комнате, где был Джемс Мор. Все происшествия, произошедшие отсюда, которые я мог бы предупредить, если бы держал язык за зубами, были, несомненно, предопределены заранее.

Первым я, разумеется, распечатал письмо Алана. И что было естественнее, как сообщить о его намерении навестить меня? Но я заметил, что Джемс тотчас же выпрямился и на лице его отразилось напряженное внимание.

— Это тот Алан Брек, которого подозревают в апинском деле? — спросил он.

Я отвечал, что это тот самый, и Джемс некоторое время мешал мне прочесть остальные письма, расспрашивая о нашем знакомстве, об образе жизни Алана во Франции, о чем я сам очень мало знал, и о его предполагаемом визите ко мне.

— Все мы, изгнанники, стараемся держаться друг друга, — объяснил он. — Я, кроме того, знаю этого джентльмена, и хотя его происхождение и не совсем чисто и он, собственно, не имеет права на имя Стюарта, но он прославился во время битвы при Друммоси. Он вел себя настоящим солдатом. Если бы другие, которых я не хочу называть, вели себя так же, то дело это не оставило бы таких грустных воспоминаний. Мы оба в тот день сделали все, что было в наших силах, и это служит связью между нами, — сказал он.

Я едва мог удержаться от желания показать ему язык и дорого бы дал, чтобы Алан был тут и заставил бы Джемса Мора яснее высказаться о его происхождении, хотя, как мне говорили потом, королевское происхождение Алана действительно было сомнительно.

Между тем я открыл письмо мисс Грант и не мог удержать восклицания.

— Катриона, — воскликнул я, в первый раз после приезда ее отца забыв церемонно обратиться к ней, — я вступил во владение наследством, я действительно лэрд Шоос! Мой дядя наконец умер!

Она, ударив в ладоши, вскочила со стула. В следую-

шую минуту мы оба сразу поняли, как мало радостного было для нас в этом известии, и стояли, грустно глядя друг на друга.

Но Джемс сейчас же проявил свое лицемерие.

— Дочь моя,— сказал он,— разве ваша кузина учила вас так вести себя? У мистера Давида умер близкий родственник, и нам прежде всего следует выразить сочувствие его горю.

— Уверяю вас, сэр,— сказал я, сердито оборачиваясь к нему,— я не умею так притворяться. Смерть его для меня самое приятное известие, какое я когда-либо получал.

— Вот здравая философия солдата! — отвечал Джемс. — Это общий удел смертных — все мы должны умереть, все. А если этот джентльмен так мало пользовался вашим расположением, то что же? Прекрасно! Мы, по крайней мере, должны поздравить вас со вступлением во владение наследством.

— Я и с этим не могу согласиться,— возразил я с прежним жаром. — Положим, у меня будет хорошее поместье, но для чего оно одинокому человеку, у которого и без этого достаточно средств? При моей бережливости мне было достаточно и прежнего дохода. Но если бы не смерть этого человека, которая, со стыдом признаюсь, очень радует меня, я не смог бы сказать, кому будет лучше от этой перемены.

— Ну, ну,— сказал он,— вы более взволнованы, чем желаете показать, иначе вы не стали бы считать себя таким одиноким. Вот три письма: это значит, что есть трое желающих вам добра. Я мог бы назвать еще двоих, находящихся здесь, в этой комнате. Я знаю вас не особенно давно, но Катриона, когда мы остаемся одни, не перестает восхвалять вас.

При этих словах она взглянула на него немного удивленно, и он сразу переменял тему, заговорив о величине моего поместья, и с большим интересом продолжал этот разговор в течение почти всего обеда. Но напрасно он старался притворяться: он слишком грубо коснулся этого вопроса, и я знал, чего мне ожидать. Едва мы успели пообедать, как он сразу открыл мне свои планы. Он напомнил Катрионе о каком-то поручении и послал ее исполнить его.

— Тебе не следует опаздывать,— прибавил он,— а наш друг Давид останется со мною до твоего возвращения.

Она безмолвно поспешила повиноваться ему. Не знаю, понимала ли она, в чем дело. Я думаю, что нет. Я же был очень доволен и приготовился к тому, что должно было последовать.

Не успела за ней закрыться дверь, как Джеймс Мор откинулся на спинку стула с хорошо разыгранной развязностью. Его выдавало только лицо; оно вдруг покрылось мелкими капельками пота.

— Я рад, что могу переговорить с вами наедине,— сказал он.— Так как при нашем первом свидании вы не поняли некоторых моих выражений, я давно хотел объясниться с вами. Дочь моя стоит выше подозрений, вы тоже, я готов подтвердить это с оружием в руках против всех клеветников. Но, милейший Давид, свет очень строго ко всему относится. Кому же знать это, как не мне, с самой смерти моего покойного отца — упокой его, господи! — подвергавшемуся постоянным щелчкам клеветы. Нам надо помнить об этом, надо обоим принять это в соображение.— И он потряс головой, точно проповедник на кафедре.

— Куда вы клоните, мистер Друммонд? — спросил я.— Я был бы вам очень благодарен, если бы вы приблизились к сущности дела.

— Да, да,— смеясь, сказал он,— это похоже на вас! Это мне больше всего в вас нравится. Но, мой милый, сущность иногда очень щекотливо высказать.— Он налил в стакан вина.— Но мы с вами такие близкие друзья, что это не должно бы особенно затруднять нас. Мне едва ли надо говорить, что суть — в моей дочери. Я первым делом должен заявить, что и не думаю упрекать вас. Как иначе могли бы вы поступить при таких неблагоприятных обстоятельствах? Право, я сам не могу сказать.

— Благодарю вас,— сказал я, насторожившись.

— Я, кроме того, изучил вас,— продолжал он.— У вас хорошие способности, вы обладаете небольшим состоянием, что не мешает делу. Сообразив все, я рад объявить вам, что из двух оставшихся нам выходов я решил на второй.

— Боюсь, что я очень недогадлив,— сказал я.— Но какие это выходы?

Он сильно нахмурил брови и расставил ноги.

— Я думаю, сэр,— отвечал он,— что мне нет надобности называть их джентльмену с вашим положением. Я или должен драться с вами, или вы женитесь на моей дочери.

— Вам наконец угодно было выразиться ясно,— заметил я.

— Мне кажется, я с самого начала выражался ясно! — яростно воскликнул он.— Я заботливый отец, мистер Бальфур, но благодаря богу терпеливый и рассудительный человек. Многие отцы, сэр, сразу же потащили бы вас или под венец, или на поединок. Мое уважение к вам...

— Мистер Друммонд,— прервал я,— если вы питаете ко мне хотя какое-либо уважение, то прошу вас не повышать голоса. Нет никакой надобности орать на человека, который находится в той же комнате и слушает вас с большим вниманием.

— Совершенно верно,— заметил он внезапно изменившимся голосом.— Простите, пожалуйста, отцу его волнение.

— Игак, я понимаю...— продолжал я.— Не стану обращать внимание на второй выход, о котором вы совершенно напрасно упоминаете. Я понимаю из ваших слов, что могу ждать поощрения в случае, если захочу просить руки вашей дочери.

— Вы прекрасно выразили свою мысль,— сказал он,— я вижу, что мы отлично поладим.

— Это еще увидим,— отвечал я.— Я, однако, не скрываю, что питаю к леди, о которой вы упоминаете, самую нежную привязанность и что даже во сне мне не снилось большее счастье, чем получить ее руку.

— Я знал это, я был уверен в вас, Давид! — воскликнул он, протягивая мне руку.

Я отстранил ее.

— Вы слишком торопитесь, мистер Друммонд,— сказал я.— Надо выяснить еще некоторые условия. Здесь есть одно препятствие — не знаю, как нам удастся устранить его. Я уже говорил вам, что ничего не имею против

этой женитьбы, но имею основание предполагать, что молодая леди найдет много возражений.

— На это нечего обращать внимание,— сказал он.— Я ручаюсь за ее согласие.

— Вы, кажется, забываете, мистер Друммонд,— заметил я,— что даже в обращении со мной вы употребили два-три невежливых выражения. Я не хочу, чтобы вы подобным образом говорили с молодой леди. Я должен говорить и думать за нас обоих! Примите к сведению, я вовсе не желаю, чтобы ее приневольили выйти за меня, так же как не хотел бы, чтобы меня принудили жениться на ней.

Он сидел и глядел на меня с сомнением и гневом.

— Вот как мы решим,— заключил я.— Я с радостью жепшусь на мисс Друммонд, если она согласится выйти замуж за меня добровольно. Но если у нее есть хоть малейшее возражение, чего я имею основания опасаться, я никогда не женюсь на ней.

— Хорошо, хорошо,— сказал он,— это легко выяснить. Как только она вернется, я расспрошу ее и надеюсь успокоить вас...

Я снова прервал его:

— Прошу вас не вмешиваться, мистер Друммонд, или вы можете в другом месте искать жениха для вашей дочери,— сказал я.— Я буду действовать один, и предоставьте мне судить. Я сам разужнаю все подробно. Никто другой не должен вмешиваться в это дело, и менее всего вы.

— Честное слово, сэр,— воскликнул он,— по какому праву вы будете судьей?

— По праву жениха, как мне кажется,— ответил я.

— Это придирки! — закричал он.— Вы уклоняетесь от фактов. Дочери моей не остается выбора. Репутация ее испорчена.

— Прошу прощения...— сказал я.— Пока это дело известно только вам и мне, то ничего не испорчено.

— Кто мне поручится за это? — воскликнул он.— Разве я могу допустить, чтобы репутация дочери моей зависела от случая?

— Вам следовало гораздо раньше подумать об этом,— отвечал я,— прежде чем вы так неосторожно покинули ее, а не тогда, когда уже было слишком поздно.

Я отказываюсь считать себя ответственным за вашу небрежность и никому не дам запугать себя. Мое решение твердо, и что бы ни случилось, я ни на волос не отступлю от него. Мы останемся здесь вдвоем до ее возвращения; потом, без слова или взгляда с вашей стороны, она и я уйдем переговорить. Если она скажет, что согласна, я сделаю этот шаг; если же нет, то не сделаю.

Он вскочил со стула как ужаленный.

— Я понимаю вашу хитрость,— воскликнул он,— вы будете стараться, чтобы она вам отказала!

— Может быть, да, может быть, нет,— сказал я.— Во всяком случае, таково мое решение.

— А если я не соглашусь! — воскликнул он.

— Тогда, мистер Друммонд, придется прибегнуть к поединку,— отвечал я.

Я не без страха произнес эти слова. Не говоря уже о том, что он был отец Катрионы, его высокий рост, необыкновенно длинные руки, почти такие, как у его отца, его умение фехтовать — все это делало его опасным противником. Но я напрасно тревожился. Бедная обстановка моей квартиры — он кажется, не обратил внимания на платья дочери, которые, впрочем, все были новы для него, — а также то, что я не хотел давать ему займы, навели его на мысль, что я очень беден. Неожиданное известие о моем наследстве открыло ему глаза. Ему так понравился его новый план, что он, я думаю, согласился бы на что угодно, только бы не драться со мной.

Он еще некоторое время продолжал спорить, пока я не сказал фразы, которая заставила его замолчать.

— Если вы так противитесь моему свиданию наедине с молодой леди,— сказал я,— то, вероятно, у вас есть причины думать, что я прав, опасаясь ее отказа.

Он пробормотал какое-то извинение.

— Все это чрезвычайно раздражает обоих нас,— прибавил я,— и мне кажется, нам было бы лучше благо-разумно помолчать.

Мы так и сделали и молчали до самого прихода де-вушки. Если бы кто-нибудь видел нас, то нашел бы, я думаю, что мы представляли очень смешную пару.

XXVIII. Я остаюсь один

Я отворил Катрионе дверь и остановил ее на пороге.

— Ваш отец желает, чтобы мы пошли погулять,— сказал я.

Она взглянула на Джемса Мора, кивнувшего ей головой, и, как дисциплинированный солдат, повернулась и пошла со мной.

Мы шли по одной из наших прежних любимых дорог, где часто ходили вместе и где были так счастливы. Я шел немного позади и мог незаметно наблюдать за ней. Стук ее маленьких башмаков по дороге звучал необыкновенно мило и грустно. Мне казалось странным, что сейчас должна решиться моя судьба, и я не знаю, слышу ли эти шаги в последний раз, или же звук их будет сопровождать меня, пока нас не разлучит смерть.

Она избегала глядеть на меня и шла все вперед, точно догадываясь о том, что будет. Я понимал, что должен поскорее высказаться, пока еще не лишился храбрости, но не знал, как начать. В этом затруднительном положении, когда девушку почти насильно заставляли выйти за меня замуж, излишняя настойчивость с моей стороны была бы неприличной, а между тем мое молчание свидетельствовало бы о равнодушии к ней. Я беспомощно стоял между этими двумя крайностями, и когда наконец решился заговорить, то заговорил наудачу.

— Катриона,— сказал я,— я нахожусь в очень тяжелом положении... нет, скорее оба мы. Я был бы очень благодарен вам, если бы вы обещали дать мне сперва высказаться и не прерывали бы меня до конца.

Она обещала мне это.

— То, что я должен сказать вам,— продолжал я,— очень затруднительно, и я знаю отлично, что не имею никакого права говорить вам это после того, что произошло между нами в прошлую пятницу. Мы так запутались, и все по моей вине. Я отлично знаю, что мне следовало бы держать язык за зубами. Это я и намерен был сделать и не имел и в мыслях снова тревожить вас. Но теперь поговорить уже необходимо, ничего не поделаешь! Видите ли, тут явилось это поместье, которое сделало меня выгодным женихом, и дело теперь выглядит уже не так глупо, как выглядело бы прежде. Я лично нахожу,

что наши отношения настолько запутаны, что, как я говорил, их лучше бы оставить так, как они есть. По-моему, все это чрезвычайно преувеличено, и я, на вашем месте, не стал бы затрудняться выбором. Но я должен был упомянуть о поместье, потому что оно несомненно повлияло на Джемса Мора. Затем я нахожу, что мы вовсе уже не были так несчастны, когда жили здесь вместе. Мне даже кажется, что мы отлично ладили. Если бы вы только посмотрели назад, дорогая...

— Я не стану смотреть ни назад, ни вперед,— прервала она.— Скажите мне только одно: это все устроил мой отец?

— Он одобряет это,— сказал я,— он одобряет мое намерение просить вашей руки.

Я продолжал говорить, стараясь подействовать на ее чувства, но она не слушала меня и прервала на середине.

— Это он уговорил вас! — воскликнула она.— Нечего отрицать, вы сами признались, что ничего не было дальше от ваших мыслей. Он сказал вам, чтобы вы женились на мне!..

— Он первый заговорил об этом, если вам угодно знать,— начал я.

Она шла все быстрее и быстрее, глядя прямо перед собой. При последних словах она покачала головой, и мне показалось, что она хочет бежать.

— Иначе,— продолжал я,— после ваших слов, сказанных в прошлую пятницу, я никогда не решился бы потревожить вас моим предложением. Но когда он почти приказал мне, то что же оставалось мне делать?

Она остановилась и повернулась ко мне.

— Во всяком случае, я отказываю,— воскликнула она,— и делу конец!

И снова пошла вперед.

— Думаю, что я не мог ожидать ничего лучшего,— сказал я,— но вы могли бы постараться быть добрее напоследок. Не понимаю, почему вы так резки. Я очень любил вас, Катриона. Ничего: ведь я называю вас так в последний раз. Я поступал как мог лучше... Я стараюсь и теперь поступать так же и жалею, что не могу сделать ничего большего. Мне кажется странным, что вам нравится быть жестокой ко мне.

— Я думаю не о вас,— сказала она,— я думаю об этом человеке — о моем отце.

— Тут я тоже могу вам помочь,— сказал я,— и помогу вам. Нам надо с вами посоветоваться насчет вашего отца. Джемс Мор очень рассердится, когда узнает о результатах нашего разговора.

Она снова остановилась.

— Он считает, что я скомпрометирована? — спросила она.

— Так он думает,— сказал я,— но я уже просил вас не обращать на это внимания.

— Мне все равно,— воскликнула она,— я предпочитаю быть скомпрометированной!

Я не знал, что ответить ей, и стоял молча.

Казалось, будто что-то закипело в ее груди, и она вдруг закричала:

— Что все это значит? Почему на мою голову пал этот позор? Как вы смели сделать это, Давид Бальфур?

— Что же мне было делать, милая моя? — сказал я.

— Я не ваша милая,— возразила она,— и запрещаю вам произносить подобные слова.

— Я не выбираю слова,— отвечал я.— У меня сердце болит за вас, мисс Друммонд. Что бы я ни говорил, будьте уверены, что ваше тяжелое положение вызывает во мне сочувствие. Но я просил бы вас подумать об одной вещи, которую следует обсудить спокойно: когда мы вернемся домой, произойдет столкновение. Поверьте моему слову, нам обоим придется постараться, чтобы мирно закончить это дело.

— А! — сказала она. На щеках ее выступили красные пятна.— Он хотел драться с вами? — спросила она.

— Да,— отвечал я.

Она засмеялась ужасным смехом.

— Только этого не доставало! — воскликнула она. Затем, обращаясь ко мне, продолжала: — Я и отец составляем прекрасную парочку, но благодаря богу есть на свете человек, еще более скверный, чем мы. Благодарю бога, что он показал мне вас в таком свете! Нет на свете девушки, которая не стала бы презирать вас.

Я довольно терпеливо переносил многое, но это было уже слишком.

— Вы не имеете права так говорить со мной,— ска-

зал я.— Разве я не был добр к вам или не старался быть добрым? И вот награда! Нет, это слишком.

Она продолжала глядеть на меня с улыбкой ненависти.

— Трус! — сказала она.

— Ни вы, ни ваш отец не смеете произносить это слово! — закричал я.— Я еще сегодня, защищая вас, бросил ему вызов. Я снова вызову эту гнусную лисицу. Мне безразлично, кто из нас будет убит. Пойдемте вместе домой, покончим со всем этим, со всем вашим гайлэндским отродьем! Увидим, что вы подумаете, когда я буду убит.

Она покачала головой с той же самой улыбкой, за которую я готов был побить ее.

— Смейтесь, смейтесь! — кричал я.— Отцу вашему сегодня было не до смеха. Я не хочу сказать, что он трусил, — поспешно прибавил я, — но он предпочел другой выход.

— О чем вы говорите? — спросила она.

— О том, что я предложил ему драгся со мной, — отвечал я.

— Вы предложили Джемсу Мору драться с вами? — воскликнула она.

— Да, — сказал я, — и он не пожелал этого, иначе мы не были бы здесь.

— Вы на что-то намекаете, — заметила она. — Что вы хотите сказать?

— Он хотел заставить вас выйти за меня замуж, — отвечал я, — а я не хотел. Я сказал, что вы должны быть свободны и что я переговорю с вами наедине: я не предполагал, что произойдет подобный разговор! «А что, если я не позволю?» — спросил он. «Тогда придется прибегнуть к поединку, — сказал я. — Я так же мало хочу, чтобы меня навязали молодой леди, как не желал бы, чтобы мне навязали невесту». Вот мои слова. Это были слова друга. И хорошо же вы отплатили мне за них! Теперь вы отказали мне по собственной свободной воле, и никакой отец в Гайлэнде или в другом месте не может приневолить меня к браку. Я позабочусь, чтобы ваше желание было исполнено. Я буду делать то же, что делал до сих пор. Но мне кажется, что вы хотя бы из приличия могли выказать мне хоть некоторую благодарность. Я думал, право, что вы лучше знаете меня! Я не совсем

хорошо поступил с вами... О, то была минутная слабость! Но считать меня трусом — и таким трусом! — о милая моя, это было для меня большим ударом!

— Разве я могла знать, Дэви? — воскликнула она. — О, это ужасно! Я и мои родственники, — при этом слове она отчаянно вскрикнула, — я и мои родственники недостойны говорить с вами! О, я готова на улице стать перед вами на колени и целовать ваши руки, умоляя о прощении.

— Я сохраню те поцелуи, которые уже получил от вас! — воскликнул я. — Поцелуи, которые я хотел получить и которые имели цену. Я не желаю, чтобы меня целовали из раскаяния.

— Что вы можете думать о такой дурной девушке? — спросила она.

— Да я все время говорю вам об этом! — сказал я. — Вам лучше оставить меня. Вы не могли бы сделать меня более несчастным, чем теперь, если бы даже захотели. Обратите внимание на Джемса Мора, вашего отца, с которым вам еще предстоит трудное объяснение.

— О, как ужасно, что мне приходится остаться на свете одной с этим человеком! — воскликнула она, с большим усилием стараясь овладеть собой. — Но не беспокойтесь больше об этом, — сказала она. — Он не знает моего характера. Он дорого заплатит за этот день, дорого, дорого заплатит!

Она повернулась, направляясь домой. Я сопровождал ее. Вдруг она остановилась.

— Я пойду одна, — сказала она. — Я должна увидеться с ним наедине.

Я некоторое время в бешенстве бродил по улицам, называя себя самым несчастным человеком в мире. Злоба душила меня. Хотя я глубоко дышал, но мне казалось, что в Лейдене не хватает для меня воздуха. Я думал, что задохнусь. Остановившись на углу улицы, я целую минуту так громко смеялся сам над собой, что прохожий оглянулся. Это привело меня в чувство.

«Я слишком долго был простаком, бабой и тряпкой, — думал я. — Теперь этого больше не будет. Это мне хороший урок — не связываться больше с проклятым женским полом, который погубил человека в начале мира и будет губить его до скончания века. Видит бог, я был

достаточно счастлив, пока не увидел ее. Клянусь богом, я могу быть снова счастливым, когда расстанусь с ней».

Больше всего я теперь желал, чтоб они уехали. Меня не покидала эта мысль. Я с какой-то злой радостью представлял себе, в какой бедности им придется жить, когда Дэви Бальфур перестанет быть для них дойной коровой. Вдруг, к моему великому удивлению, настроение мое совершенно изменилось. Я все еще сердился, все еще ненавидел ее, но считал себя обязанным позаботиться о том, чтобы она не терпела нужды.

Я быстро пошел домой, где увидел за дверью упакованные чемоданы, а на лицах отца и дочери прочел следы недавней ссоры. Катриона была похожа на деревянную куклу. Джеймс Мор тяжело дышал, лицо его было покрыто белыми пятнами, а нос как-то свернуло на сторону. Как только я вошел, девушка взглянула на него пристальным, угрожающим взглядом. Этот взгляд был красноречив, и, к моему удивлению, Джеймс Мор подчинился безмолвному приказу. Было ясно, что его хорошо пробрали и что в девушке было больше энергии, чем я предполагал, а в мужчине больше малодушия, чем я ожидал от него.

Он заговорил, называя меня мистером Бальфуром и, очевидно, повторяя чужие слова. Он не успел сказать многого, так как после первой торжественной фразы его прервала Катриона.

— Я объясню вам, что хочет сказать Джеймс Мор,— проговорила она.— Он хочет сказать, что мы пришли к вам, как нищие, не особенно хорошо поступили с вами и стыдимся своего неблагодарного и дурного поведения. Теперь мы хотим уехать и быть забытыми. Но мой отец так плохо вел свои дела, что мы не можем сделать и этого, если вы опять не дадите нам милостыни. Вот что мы такое — нищие и блюдолизы.

— С вашего позволения, мисс Друммонд,— сказал я,— мне надо поговорить с вашим отцом наедине.

Она пошла в свою комнату и заперла дверь — без слова и взгляда.

— Извините ее, мистер Бальфур,— заметил Джеймс Мор,— она невоспитанна.

— Я пришел не для того, чтобы рассуждать с вами об этом,— отвечал я,— но чтобы расквитаться с вами.

А для этого мне приходится говорить о вашем положении. Мистер Друммонд, я посвящен в ваши дела больше, чем вы бы того желали. Я знаю, что у вас были свои деньги в то время, как вы занимали их у меня. Знаю также, что с тех пор, как вы в Лейдене, вы получили что-то еще, хотя и скрыли это даже от своей дочери.

— Будьте осторожны! Я не позволю больше раздражать меня! — вспыхнул он. — Вы оба мне надоели. Что за проклятая штука быть отцом! Она позволила себе относительно меня выражения... — Тут он остановился. — Сэр, у меня сердце солдата и отца, — продолжал он снова, приложив руку к груди, — оскорбленное в обоих этих качествах. Будьте осторожны, прошу вас.

— Если бы вы дослушали меня до конца, — сказал я, — вы увидели бы, что я хлопочу о вашей же пользе.

— Дорогой друг, — воскликнул он, — я знаю, что могу положиться на ваше великодушие!

— Дадите ли вы мне наконец высказаться? — сказал я. — Дело в том, что я ничего не выигрываю от того, бедны вы или богаты. Но мне кажется, что ваши средства, происхождение которых таинственно, не совсем достаточны для вас. А я не хотел бы, чтобы ваша дочь терпела в чем-либо недостаток. Если бы я мог говорить об этом с ней, то мне, конечно, и в голову не пришло бы довериться вам, потому что я знаю, что вы любите только деньги, и всем вашим громким словам не придаю никакого значения. Но я все-таки верю, что вы по-своему любите свою дочь, и мне приходится довольствоваться этой уверенностью.

Затем мы согласились, что он будет извещать меня о своем местопребывании и о здоровье Катрионы, взамен чего я обязался выплачивать ему небольшое пособие.

Он выслушал все это с большим вниманием и, когда я кончил, воскликнул:

— Дорогой мой, милый сын мой, это действительно достойно вас! Я буду служить вам с солдатской верностью...

— Довольно об этом! — сказал я. — Вы довели меня до того, что при одном слове «солдат» мне делается тошно. Наша сделка совершена. Теперь я уйду и вернусь через полчаса. Надеюсь найти квартиру свободной от вас.

Я дал им достаточно времени на сборы, боясь больше всего еще раз увидеть Катриону. Втайне я чуть не плакал, хотя и поддерживал в себе гнев из чувства достоинства. Прошло, должно быть, около часу. Солнце зашло, и узкий серп молодого месяца выплыл на фоне огненно-красного заката; на востоке показались звезды, и когда я наконец вошел в свою квартиру, в ней уже царил темнота. Я зажег свечу и осмотрел комнаты. В первой не оставалось ничего, чтобы могло вызвать воспоминание об уехавших, но во второй я в углу на полу увидел небольшой узел, при взгляде на который у меня чуть не выпрыгнуло сердце из груди. Она оставила, уезжая, все, что получила в подарок от меня! Этот удар я почувствовал сильнее всего оттого, может быть, что он был последним. Я упал на эту грудку платья и вел себя настолько глупо, что мне даже совестно говорить об этом.

Уже поздно ночью, когда стало очень холодно и зубы мои начали стучать, ко мне вернулось некоторое мужество, и я стал соображать. Я не мог переносить вида этих несчастных платьев и лент, рубашек и чулок со стрелками. Я понял, что должен избавиться от них до утра, если хочу обрести душевное равновесие. Сперва я хотел развести огонь и все сжечь, но, во-первых, я всегда был врагом расточительности, во-вторых, мне казалось жестокостью сжечь те вещи, которые она носила! В комнате был шкаф, и я решил сложить вещи туда. Я чрезвычайно долго и неумело складывал их, но сколь возможно тщательно, по временам смачивая их слезами. Меня покинуло всякое мужество. Я чувствовал себя усталым, точно пробежал несколько миль, и все члены мои болели, как будто кто-то побил меня. Вдруг, складывая косынку, которую она часто носила на шее, я заметил, что один угол ее был старательно вырезан. Эта косынка была очень красивого цвета, и я часто на это обращал внимание! Помню, что раз, когда Катриона надела ее, я в шутку сказал, что она носит мои цвета. В душе моей забрезжил проблеск надежды, и я почувствовал прилив нежности. Но через минуту я снова впал в отчаяние — я увидел, что этот уголок, свернутый и скомканный, валялся в другом месте на полу.

Однако рассудив хорошенько, я опять начал на что-

то надеяться: она вырезала этот уголок из ребяческого, но, очевидно, нежного чувства. Не было ничего удивительного в том, что потом она его бросила. Я был склонен останавливаться более на первой догадке, чем на второй, и больше радовался тому, что ей пришла мысль оставить себе такой знак памяти, чем горевал оттого, что она швырнула его в минуту естественной досады.

XXIX. Мы встречаемся в Дюнкерке

В общем, я в последующие дни, несмотря на свое несчастье, пережил много счастливых и полных надежды минут. С большим прилежанием я возобновил свои записки и всячески старался не унывать, пока не придет Алан или пока не получу известия от Джемса о Катрионе. За время нашей разлуки я имел от него всего три письма. В первом Джемс объявлял о своем прибытии в город Дюнкерк, во Франции, откуда он в скором времени уехал один по какому-то секретному делу. Он ездил в Англию на свидание с лордом Гольдернэс, и мне всегда было горько думать, что мои деньги пошли на расходы по этой поездке. Но тот, кто побратался с чертом или, что то же, с Джемсом Мором, должен быть готов на многое. Во время его отсутствия настал срок отправки второго письма. А так как письмо это служило условием высылки ему пособия, то Джемс предусмотрительно заготовил его заранее и поручил Катрионе отослать его. Наша с ним переписка показалась ей подозрительной, и не успел он уехать, как она сломала печать на конверте. Письмо начиналось страницами, написанными рукой Джемса:

Дорогой сэр, ваше почтенное послание со вложением условленной суммы получено мною своевременно, что сим и подтверждаю. Все будет истрачено на мою дочь, которая здорова и просит напомнить о себе своему дорогому другу. Я нахожу, что она в довольно меланхолическом настроении, но надеюсь, что с божьей помощью поправится. Мы ведем довольно уединенную жизнь, но утешаемся песнями родных гор и прогулками по берегу

моря, ближайшему к Шотландии. Для меня было лучше, когда я с пятью ранами лежал в поле у Гладсмуйра. Я нашел себе занятие на конном заводе французского дворянина, где ценят мою опытность. Но, дорогой сэр, жалование настолько ничтожно, что мне совестно даже говорить о нем, так что ваши посылки необходимы для комфорта моей дочери, хотя, конечно, еще лучше было бы увидеть старых друзей.

Остаюсь, дорогой сэр, вашим любящим, покорным слугой

Джемсом Мак-Грегором Друммонд.

Далее было написано рукой Катрионы:

Не верьте ему, все это ложь.

К. М. Д.

Она не только сделала эту приписку, но даже, как мне кажется, собиралась задержать это письмо: оно пришло с большим опозданием, а вслед за ним я получил и третье письмо. В промежутке между ними приехал Алан и своими веселыми разговорами внес радость в мою жизнь. Он представил меня своему двоюродному брату, служившему в полку «голландских шотландцев», который пил больше, чем я считал возможным, и ничем другим не отличался. Меня приглашали на много веселых обедов, я сам задавал их, в свою очередь, но это не прогоняло моей печали. И оба мы—я говорю о себе и Алане, а вовсе не о двоюродном брате—много толковали о моих отношениях к Джемсу Мору и его дочери. Я из скромности не входил в детали, и комментарии Алана по поводу того, что я рассказывал, ничуть не меняли моего настроения.

— Я ничего не могу понять,— говорил он,— но мне кажется, что ты свалял дурака. Редко кто имеет такой опыт, как Алан Брек, а между тем я не припомню, чтобы когда-либо слышал о девушке, похожей на твою Катриону. Невозможно, чтобы дело обстояло так, как ты его описываешь. Ты, должно быть, ужасно напутал, Дэви.

— Иногда мне самому так кажется,— отвечал я.

— Странно то, что ты, пожалуй, действительно любишь ее! — заметил Алан.

— Очень люблю, Алан,— сказал я,— и думаю, что унесу это чувство с собой в могилу.

— Ну, ты совсем запугал меня! — заключил он.

Я показал ему письмо с припиской Катрионы.

— А! — воскликнул он.— Нельзя отрицать, что в этой Катрионе есть некоторая порядочность, не говоря уже об уме! Что же касается Джемса Мора, то он трещит, как барабан: он весь — утроба и пустые слова. Однако не могу отрицать, что он хорошо сражался при Гладсмуйре. То, что он говорит о пяти ранах,— правда. Но худо, что он хвастун.

— Видите ли, Алан,— сказал я,— мне неприятно оставлять девушку в таких бесчестных руках.

— Трудно найти хуже,— согласился он.— Но что ты можешь поделывать? Так всегда бывает между мужчиной и женщиной, Дэви: у женщин совсем нет разума. Они или любят мужчину, и тогда все идет хорошо; или же они ненавидят его, и тогда, хоть умирай за них, ты ничего не поделаешь. Их можно разделить на две категории: одни готовы продать для тебя свои платья, другие не хотят даже смотреть на дорогу, по которой ты идешь. Иных женщин не бывает. А ты, кажется, такой дуралей, что не можешь отличить одних от других.

— Боюсь, что это действительно так,— сказал я.

— А между тем нет ничего легче! — воскликнул Алан.— Я легко мог бы научить тебя этому, но ты, должно быть, родился слепым, и в этом все затруднение.

— А вы не можете помочь мне? — спросил я.— Ведь вы так хорошо изучили это дело.

— Видишь ли, Давид, меня тут не было,— отвечал он.— Я похож на офицера, у которого все разведчики и фланкеры слепые. Разве он может что-нибудь знать? Мне думается, что ты сделал какой-то промах, и я, на твоём месте, снова попробовал бы счастья.

— Правда, Алан? — спросил я.

— Разумеется,— отвечал он.

Третье письмо я получил, когда мы вели подобные разговоры, и вы сейчас увидите, как оно пришлось кстати. Джемс писал, что его беспокоит здоровье дочери, которое, как мне думается, никогда не было лучше. Он рассыпался передо мной в любезностях и в заключение приглашал меня в Дюнкерк.

Вы теперь, вероятно, находитесь в обществе моего старого товарища мистера Стюарта,— писал он.— Отчего бы вам не проводить его до Дюнкерка, когда он будет возвращаться во Францию? У меня есть к мистеру Стюарту секретное дело, и, во всяком случае, я буду рад встретиться с таким энергичным товарищем-солдатом, как он. Что же касается вас, дорогой сэр, то и дочь моя и я будем счастливы принять вас, нашего благодетеля, на которого мы смотрим, как на брата и сына. Французский дворянин оказался грязным скупцом, и я был принужден оставить конский завод. Вследствие этого вы найдете нас в скромной, почти бедной гостинице некоего Базена на дюнах. Но местоположение ее очень красиво, и я не сомневаюсь, что мы проведем здесь несколько очень приятных дней: мистер Стюарт и я будем вспоминать нашу службу, а вы и дочь моя сможете развлекаться более свойственным вашему возрасту образом. Прошу, по крайней мере, мистера Стюарта приехать сюда: у меня к нему очень важное дело.

— Что этот человек хочет от меня? — воскликнул Алан, прочитав письмо.— От тебя он хочет денег — это ясно. Но что ему нужно от Алана Брека?

— О, это только предлог! — сказал я.— Он все еще надеется устроить нашу свадьбу, и я от души желаю, чтобы это наконец нам удалось. А вас он приглашает к себе, потому что, как он думает, я без вас не захочу приехать к ним.

— Хотелось бы мне знать наверное, что ему от меня надо,— сказал Алан.— Мы с ним никогда не собирались вместе, чтобы зубоскалить. Секретное дело, пишет он! Да у меня, может быть, для него найдутся кулаки, прежде чем мы покончим с этим делом! Честное слово, интересно будет поехать и посмотреть, что ему надо! И, кроме того, я увидел бы твою Катриону. Что ты на это скажешь, Дэви? Хочешь ты ехать с Аланом?

Можете быть уверены, что я не возражал, и мы немедленно отправились в путь, так как отпуск Алана приближался к концу.

В сумерках январского дня мы наконец приехали в Дюнкерк. Мы оставили своих лошадей на почтовой станции и взяли проводника до гостиницы Базена, располо-

женной за городскими стенами. Было уже совсем темно, когда мы последними покинули город и, пройдя по мосту, услышали, как за нами захлопнулись ворота. По другую сторону моста находилось освещенное предместье. Мы его прошли, а затем повернули по темной дороге и вскоре очутились в полном мраке. Мы слышали только скрип песка под ногами и близкий рокот моря. Некоторое время мы шли, ничего не видя, следуя за нашим проводником по звуку его голоса. Я начинал уже думать, что он заблудился, когда мы наконец взойшли на вершину небольшого склона и увидели тусклый свет в окошке дома.

— Вот гостиница Базена,— сказал проводник.

Алан чмокнул губами.

— Немного уединенное место,— сказал он, и по тону его я догадался, что он не особенно доволен.

Немного позже мы очутились в большой комнате, занимавшей весь нижний этаж дома. Скамьи вдоль стен и столы посредине составляли всю ее мебель. Дверь сбоку вела в номера. В одном конце комнаты был очаг, в другом — полки с бутылками и лестница, ведущая в погреб. Базен, высокий человек, подозрительный на вид, сообщил нам, что шотландский джентльмен ушел неизвестно куда, но что молодая леди наверху и он позывает ее.

Я вынул из кармана косынку с отрезанным уголком и повязал ею шею. Я чувствовал, как у меня сжалось сердце. И когда Алан стал хлопать меня по плечу, приговаривая смешные прибаутки, я едва мог удержаться от резкого слова. Но ждать пришлось недолго. Я услышал шаги Катрионы над головой и увидел ее на лестнице. Она спустилась вниз и спокойно поздоровалась со мною, но лицо ее было бледно. Меня поразила особенная серьезность в ее чертах.

— Мой отец Джеймс Мор скоро вернется. Он будет очень рад видеть вас,— сказала она.

И вдруг лицо ее вспыхнуло, глаза загорелись, слова замерли на губах: я был уверен, что она заметила косынку. Смущение ее длилось только минуту, и она с оживлением обратилась к Алану.

— А вы его друг, Алан Брек?! — воскликнула она.— Много, много раз он говорил мне о вас, и я полюбила вас за вашу храбрость и доброту.

— Ну, ну,— сказал Алан, держа ее за руку и разглядывая,— так вот наконец молодая леди! Ну, Давид, ты очень плохо описываешь.

Я не помню, чтобы он когда-нибудь говорил так задумчиво: голос его звучал как пение.

— Как, разве он описывал меня? — воскликнула она.

— С тех пор как я приехал из Франции, он только и делал это,— отвечал он,— не говоря уже об одной ночи, проведенной в Шотландии, в лесу около Сильвермилльса. Но радуйтесь, милая, вы красивее, чем это можно представить себе по его описаниям. А теперь вот что: мы с вами должны стать друзьями. Я точно паж Давида, я как собака у ног его: что интересует его, должно интересоваться и меня, и, клянусь богом, его друзья должны любить меня! Теперь вы знаете, как относиться к Алану Бреку, и увидите, что вряд ли потеряете от такой сделки. Он не особенно красив, милая, но верен тем, кого любит.

— От души благодарю вас за ваши добрые слова,— сказала она.— Я чувствую такое уважение к храброму, честному человеку, что не нахожу слов для ответа ему.

Пользуясь привилегией путешественников, мы не стали ждать Джемса Мора и сели за ужин втроем. Около Алана сидела Катриона и угощала его. Он заставил ее выпить первой из его стакана и все время мило ухаживал за нею, не давая мне, впрочем, никакого повода ревновать. Он завладел разговором и поддерживал его в таком веселом тоне, что и она и я забыли свое смущение. Если бы кто-нибудь увидел нас, то подумал бы, что Алан — старый друг, а я — чужой. У меня было много оснований любить и уважать этого человека, но я никогда не любил и не восхищался им более, чем в этот вечер. Я не мог не заметить, хотя иногда забывал об этом, что у него было не только много жизненной опытности, но и своеобразного врожденного такта. Катриона казалась совсем очарованной им. Смех ее звучал как колокольчик, и лицо ее было весело, как майское утро. Сознаюсь, что хоть я и был в хорошем настроении, но мне немножко взгрустнулось — таким я показался себе скучным и необщительным в сравнении с моим другом.

Мне казалось, что я недостойн того, чтобы играть какую-то роль в жизни девушки, чью веселость я так легко омрачал.

Вскоре я заметил, что таким человеком был не я один. Едва домой вернулся Джемс Мор, как Катриона словно окаменела. Пока она, извинившись, не пошла спать, я не спускал с нее глаз. Могу поручиться, что она больше ни разу не улыбнулась, еле-еле говорила и все смотрела на буфет перед собой. Я чрезвычайно удивился, увидев, как такая сильная привязанность к отцу, какую я видел прежде, превратилась в ней в ненависть.

О Джемсе Море нет надобности говорить много. Вы знаете об этом человеке все, что о нем можно знать, а повторять его лживые слова мне надоело. Достаточно сказать, что он много пил и очень мало говорил толкового. Дело его к Алану было отложено до следующего дня, когда он должен был секретно сообщить его.

Устложить это было тем легче, что Алан и я порядочно устали от поездки и вскоре вслед за Катрионой ушли спать.

Мы остались в комнате, где стояла только одна кровать, которую мы должны были с ним разделить. Алан посмотрел на меня со странной улыбкой.

— Ах ты осел! — сказал он.

— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул я.

— Что я хочу сказать? Прямо удивительно, Давид, — сказал он, — что ты так глуп.

Я попросил его высказаться яснее.

— Вот что я хочу тебе сказать, — отвечал он. — Я говорил тебе, что есть два сорта женщин: те, которые продали бы для тебя последнюю рубашку, и остальные. Попробуй догадаться сам, мой милый! Что это за косынка у тебя на шее?

Я объяснил ему.

— Я и думал, что это что-нибудь в этом роде, — сказал он.

Больше он не хотел сказать ни слова, хотя я еще долго продолжал приставать к нему.

XXX. Письмо с корабля

При свете дня мы увидели, как уединенно стояла гостиница. Она находилась очень близко к морю, которого, однако, не было видно, и со всех сторон была окружена

неровными песчаными холмами. Только в одном месте открывалось нечто похожее на красивый вид — там, где над склоном виднелись два крыла ветряной мельницы, точно два уха осла, который сам оставался скрытым. Поутру была мертвая тишина, потом поднялся ветер, и странно было видеть, как эти два громадных крыла над пригорком завертелись одно за другим. Дорог здесь почти не было, но в траве по всем направлениям пролегалo множество тропинок, шедших от двери мистера Базена. Дело в том, что он занимался многими ремеслами, среди которых не было ни одного честного, и расположение его гостиницы благоприятствовало его занятиям. Ее посещали контрабандисты; политические агенты и лишенные прав люди ожидали здесь возможности отправиться за море; думаю, что бывали дела и хуже, так как тут можно было убить целое семейство так, что никто и не узнал бы об этом.

Я спал мало и беспокойно. День еще не наступил, как я уже выскользнул из постели, в которой еще лежал мой товарищ. Я пробовал согреться у огня, потом походил взад и вперед перед дверью. Рассвет был пасмурный, но немного позже с запада подул ветер, прогнавший тучи, так что выглянуло солнце и крылья мельницы пришли в движение. Чувствовалось что-то весеннее в солнечном свете, а может быть, и в моем сердце. Большие крылья, появлявшиеся одно за другим из-за холма, очень забавляли меня; по временам я слышал даже скрип мельницы. Около половины девятого утра в доме раздалось пение Катрионы. При этих звуках я готов был бросить шляпу в воздух, и это скучное, пустынное место показалось мне раем.

Но время шло, никто не приближался к гостинице, и я стал испытывать какое-то беспокойство, которое не сумел бы объяснить. Казалось, вокруг было что-то тревожное: вращавшиеся над холмом крылья ветряной мельницы словно высматривали что-то; и, даже отбросив в сторону воображение, надо было сознаться, что дом и его окрестности — странное место для пребывания молодой леди.

Во время позднего завтрака было заметно, что Джемс Мор в каком-то затруднении или чего-то боится, а также, что Алан настороже и внимательно наблюдает за ним.

Притворство одного и бдительность другого держали меня точно на горячих углях. Не успел кончиться завтрак, как Джемс, очевидно приняв какое-то решение, начал извиняться. У него было назначено конфиденциальное свидание в городе с французским дворянином, сказал он, и он просил разрешить ему удалиться часов до двенадцати. Затем, отозвав дочь в дальний угол комнаты, он, казалось, говорил с ней очень серьезно, а она слушала его без особой охоты.

— Мне все менее нравится этот Джемс,— промолвил Алан.— Что-то в нем неладное, и мне думается, что Алану Бреку следует понаблюдать за ним сегодня. Мне бы очень хотелось посмотреть на французского дворянина, Дэви. А ты, я думаю, мог бы сам себе найти занятие, а именно: выведать у девушки что-либо относительно твоего дела. Говори с ней совсем откровенно, скажи ей, что ты осел. А затем я бы на твоём месте, если бы ты только мог сделать это естественно, намекнул ей, что я в какой-нибудь опасности: все женщины любят это.

— Я не умею лгать, Алан, я не могу делать это «естественно»,— отвечал я, передразнивая его.

— И очень глупо,— заметил он.— Тогда можешь сказать ей, что я тебе это посоветовал,— это рассмешит ее и, может быть, окажется столь же полезным. Но взгляните только на них! Если бы я не был так уверен в девушке и в том, что она очень рада нам, в особенности Алану, то подумал бы, что они готовят мне ловушку.

— Разве она так рада вам, Алан? — спросил я.

— Она обо мне чрезвычайно высокого мнения,— сказал он.— Я не похож на тебя, я умею разбираться в этом. О, она действительно очень высокого мнения об Алане. И, честное слово, я сам разделяю это мнение. С твоего позволения, Шоос, я пойду немного на холмы, чтобы видеть, куда отправится этот Джемс.

Все ушли, и я остался один за столом. Джемс отправился в Дюнкерк; Алан пошел выслеживать его, а Катриона поднялась в свою комнату. Я отлично понимал, что она будет избегать меня, но от сознания этого мне было не легче, и я решил добиться с ней свидания до возвращения Алана и Джемса. Я подумал, что мне лучше всего поступить так же, как Алан. Если я скроюсь из виду среди песчаных холмов, то чудное утро выманит ее из дому.

А как только она будет на воздухе, я постараюсь встретиться с ней.

Сказано — сделано. И не успел я немного просидеть под защитой пригорка, как Катриона показалась в дверях гостиницы, оглянулась вокруг и, не видя никого, пошла по тропинке, которая вела прямо к морю. Я следовал за ней. Я не торопился открыть ей свое присутствие. Чем дальше она уйдет, тем дольше ей придется слушать мои признания. А так как почва была песчаная, то легко было неслышно следовать за ней. Тропинка поднималась в гору и привела наконец на вершину холма. Отсюда я в первый раз ясно увидел, в каком пустынном, диком месте пряталась гостиница: поблизости не было видно ни одной живой души и ни одного строения, кроме дома Базена и ветряной мельницы. Немного далее виднелось только море и на нем — два или три корабля, красивые, как на картине. Один из них стоял очень близко, и я вздрогнул, узнав оснастку «Морского коня». Зачем было английскому судну находиться так близко к французскому берегу? Зачем завлекли Алана в такое соседство, в место, где нельзя было надеяться на помощь? Случайно или с тайным намерением вышла сегодня дочь Джемса Мора на морской берег?

Я следом за ней вышел из-за песчаных холмов и вступил на берег. В этом месте он был узкий и пустынный; неподалеку стояла лодка, спущенная с военного корабля, которую сторожил офицер, шагавший взад и вперед по песку, точно ожидая чего-то. Я сейчас же опустился в прибрежную траву, которая почти скрыла меня, и ждал, что будет дальше. Катриона направилась прямо к лодке; офицер вежливо приветствовал ее; они перекинулись несколькими словами; я видел, как он передал ей письмо; потом Катриона пошла обратно. В то же время, точно ей ничего больше не оставалось делать на суше, лодка отплыла, направляясь к «Морскому коню». Я заметил, однако, что офицер остался на берегу и исчез среди холмов.

Мне все это очень не понравилось. Чем больше я думал, тем больше у меня являлось подозрений. Кто был нужен офицеру: Алан или Катриона? Она приближалась ко мне с опущенной головой, со взглядом, устремленным на песок, и казалась мне такой трогательной, что я не в силах был сомневаться в ее невинности. Но вот она

подняла голову и увидела меня; она остановилась, немного поколебавшись, и снова продолжала идти, но медленнее, чем раньше, и с изменившимся цветом лица. И при виде ее все остальное — опасения, подозрения, забота о жизни друга — все исчезло, я встал и, опьяненный надеждой, стал ждать ее.

Когда она поравнялась со мной, я во второй раз пожелал ей доброго утра, и она с большим самообладанием ответила мне.

— Вы простите мне, что я последовал за вами? — спросил я.

— Я знаю, что вы всегда желаете мне добра, — отвечала она. Затем, вспыхнув, продолжала: — Но зачем вы посылаете деньги этому человеку? Не надо этого.

— Я никогда не посылал их для него, — сказал я, — но для вас, как вы сами знаете.

— Вы не имеете права посылать их ни ему, ни мне, — отвечала она. — Это нехорошо, Давид.

— Сознаю, что нехорошо, — сказал я, — и молю бога, чтобы он помог этому глупцу, если только возможно, устроить все лучше. Катриона, вам нельзя вести более такую жизнь, и простите меня, но ваш отец недостойн того, чтобы заботиться о вас.

— Не говорите мне о нем! — воскликнула она.

— Мне больше нечего о нем говорить. Я думаю не о нем, поверьте мне! — сказал я. — Я думаю только об одном. Все это долгое время я провел один в Лейдене, и, хотя был занят учением, беспрестанно думал о том же. Затем приехал Алан. Я бывал в обществе военных, присутствовал на их обедах, но меня все не покидала та же мысль. Так же было и прежде, когда вы были со мной. Катриона, видите эту косынку на моей шее? Вы отрезали от нее уголок, а потом бросили его. Теперь это ваши цвета, и я ношу их в сердце. Дорогая моя, я не могу жить без вас! О, постарайтесь терпеливо переносить меня! — Я стал перед нею, чтобы помешать ей идти дальше. — Постарайтесь переносить меня, — продолжал я, — и мириться с моим характером.

Она все еще молчала, и в душе моей начинал подниматься смертельный страх.

— Катриона, — воскликнул я, пристально глядя на нее, — неужели я опять ошибся?! Неужели все потеряно?



Она, едва дыша, подняла ко мне лицо.

— Вы действительно хотите, чтобы я была вашей женой, Дэви? — спросила она так тихо, что я едва расслышал ее вопрос.

— О да! — воскликнул я. — Вы сами знаете, как я желаю этого.

— Мне нечего отказывать вам или не отказывать, — сказала она. — Я с первого дня была ваша, если бы вы только захотели позвать меня с собой.

Мы стояли на вершине склона. Место было ветреное и открытое; нас можно было видеть даже с английского корабля. Но я опустился перед ней на песок, обнял ее колени и разразился такими рыданиями, что казалось, они убьют меня. Сильное волнение прогнало все другие мысли. Я не знал, где нахожусь, и я не понимал, почему я так счастлив. Я знал только, что она наклонилась ко мне, прижала мою голову к своей груди, и как в каком-то вихре я слышал ее слова.

— Дэви, — говорила она, — о Дэви, так вот что вы думаете обо мне? Так вот как вы любили меня, бедную? О Дэви, Дэви!

Тут и она заплакала: слезы наши смешались, и мы были совершенно счастливы.

Было около десяти часов, когда я наконец ясно понял, какое счастье выпало на мою долю. Сидя рядом с Катрионой, держа ее руки в своих, я глядел ей в лицо, громко смеялся от радости, точно ребенок, и называл ее самыми нежными именами. Я никогда не видал такого красивого места, как эти холмы у Дюнкерка, а скрип крыльев ветряной мельницы, вертевшихся над холмом, казался мне чудной музыкой.

Не знаю, сколько времени мы бы еще находились в таком состоянии, забыв обо всем на свете, кроме самих себя, если бы я случайно не заговорил об ее отце. Это возвратило нас к действительности.

— Мой маленький друг,— повторял я, находя удовольствие этими словами напоминать о прошедшем,— мой маленький друг, вы теперь совсем моя, навсегда моя, мой маленький друг, вы совсем не принадлежите больше этому человеку.

Вдруг лицо ее страшно побледнело, и она отняла у меня руки.

— Дэви, заберите меня от него! — воскликнула она.— Здесь творится что-то неладное: он нечестен. Я знаю: случится что-то дурное. Я чувствую ужасный страх в душе. Какие у него могут быть дела с королевским судом? Что написано тут? — И она показала мне письмо.— Я предчувствую, что здесь кроется что-то дурное для Алана. Откройте его, Дэви, откройте и прочтите.

Я взял письмо, посмотрел и покачал головой.

— Нет,— сказал я,— я не способен на это: я не могу открывать чужие письма.

— Даже для того, чтобы спасти друга?! — воскликнула она.

— Не могу сказать,— отвечал я.— Думаю, что нет. Если б я только знал наверное!

— Вам стоит только сломать печать! — сказала она.

— Знаю,— сказал я,— но я не могу этого сделать.

— Дайте письмо сюда,— попросила она,— я сама открою его.

— И вам этого делать нельзя,— сказал я,— вам в особенности. Это письмо имеет отношение к вашему отцу и

к его чести, дорогая, в которой оба мы сомневаемся. Разумеется, это место опасное, за нами, может быть, следят с английского судна, а тут еще и это письмо к вашему отцу, и офицер, который остался на берегу! Он, вероятно, не один, с ним должны быть и другие. Да, без сомнения, письмо следует открыть, но только открыть его должны не вы и не я.

Меня уже начинал одолевать страх и предчувствие скрытой опасности, когда я увидел Алана, одиноко шедшего среди песчаных холмов. На нем был мундир, придававший ему очень изящный вид, но я содрогнулся при мысли, как мало этот мундир сможет помочь ему, когда его поймут, бросят в лодку и отправят на «Морского коня» в качестве дезертира, мятежника и человека, обвиняемого в убийстве.

— Вот,— сказал я,— вот кто имеет право открыть письмо, если найдет это нужным.

С этими словами я окликнул Алана, и мы с Катрионной встали, чтобы он мог увидеть нас.

— Если это правда, если это новое бесчестие, сможете ли вы перенести его? — спросила она, глядя на меня сверкающими глазами.

— Мне уже ставили подобный вопрос, когда я только увидел вас впервые,— сказал я.— Как вы думаете, что я ответил? Что если я буду любить вас, как любил тогда,— о, теперь я люблю вас гораздо больше! — то женюсь на вас даже у подножия виселицы.

Кровь бросилась ей в лицо. Она подошла совсем близко и прижалась ко мне, держа меня за руку, и в этом положении мы ожидали Алана.

Он подошел, улыбаясь лукавой улыбкой.

— Что я говорил вам, Давид? — сказал он.

— Всею свое время, Алан,— отвечал я,— а теперь время серьезное. Что вам удалось узнать? Вы можете говорить откровенно при нашем друге.

— Я прогулялся понапрасну,— сказал он.

— Мне кажется, что мы в таком случае сделали больше,— заметил я,— по крайней мере, есть многое, что нам следует обсудить. Видите ли вы это? — продолжал я, указывая на корабль.— Это «Морской конь», его капитана зовут Паллизер.

— Я тоже знаю его,— сказал Алан.— Он доставил

мне немало затруднений, когда стоял в Форте. Но зачем ему понадобилось подходить так близко?

— Я скажу вам, зачем он пришел сюда,— сказал я.— Он привез это письмо Джемсу Мору. А почему он продолжает стоять, когда письмо уже доставлено, почему между холмами прячется офицер, и один ли он, или нет — это вы сообразите сами.

— Письмо адресовано Джемсу Мору? — спросил он.

— Да,— отвечал я.

— Ну, могу сказать вам еще больше,— сказал Алан.— Прошлою ночью, когда ты крепко спал, я слышал, как человек этот разговаривал с кем-то по-французски и как затем дверь гостиницы отворилась.

— Алан,— воскликнул я,— вы спали всю ночь, я могу доказать это!

— Ну, нельзя никогда поручиться, спит ли Алан или нет! — сказал он.— Однако дело выглядит довольно скверно. Покажите мне письмо.

Я дал ему.

— Катриона,— сказал он,— прошу у вас прощения, но дело идет о моей жизни, и мне придется сломать печать.

— Я хочу этого,— отвечала Катриона.

Он открыл письмо, прочитал и всплеснул руками.

— Подлый негодяй! — воскликнул он, скомкав бумагу и сунув ее в карман.— Скорей соберем наши вещи — это место для меня сушая смерть.— И он пошел по направлению к гостинице.

Катриона заговорила первая.

— Он продал вас? — спросила она.

— Продал, милая моя,— сказал Алан,— но благодаря вам и Дэви я еще могу перехитрить его. Только бы мне добраться до моей лошади,— прибавил он.

— Катриона должна ехать с нами,— сказал я,— она не может более оставаться с этим человеком. Я женюсь на ней.

Тут она прижала к себе мою руку.

— Так вот как у вас обстоит дело! — сказал Алан, оглядываясь на нас.— Это самое лучшее, что вы когда-либо могли сделать. Должен вам сказать, моя милая, вы и вправду составляете прекрасную пару.

Тропинка, по которой он шел, привела нас к ветряной

мельнице, где я заметил человека в матросских брюках. Спрятавшись за нею, он, казалось, наблюдал. Но мы, конечно, видели его.

— Смотрите, Алан! — сказал я.

— Тсс...— отвечал он,— это мое дело.

Человек, вероятно, был немного оглушен шумом мельницы, так как не замечал нас, пока мы не подошли совсем близко. Тогда он обернулся, и мы увидели, что это высокий матрос со смуглым лицом.

— Надеюсь, сэр,— сказал Алан,— что вы говорите по-английски?

— Non, monsieur¹,— отвечал он с невероятно дурным французским акцентом.

— «Non, monsieur»! — передразнил его Алан.— Так-то вас учат французскому языку на «Морском коне». Ах ты толстобрюхое животное! Вот тебе шотландский кулак для твоей английской спины!

И, подскочив к нему, прежде чем тот смог убежать, нанес ему удар, от которого матрос упал ничком. Загем Алан с жестокой улыбкой стал смотреть, как тот поднялся на ноги и удрал за песчаные холмы.

— Однако мне давно пора убраться отсюда,— сказал Алан и быстрым шагом продолжал путь к задней двери гостиницы Базена.

Мы следовали за ним.

Случилось так, что, войдя в одну дверь, мы лицом к лицу встретились с Джемсом Мором, входившим в другую.

— Скорей,— сказал я Катрионе,— ступайте наверх и собирайте свои вещи — это для вас неподходящая сцена.

Между тем Джемс и Алан встретились на середине длинной комнаты. Катриона прошла мимо них. Поднявшись немного по лестнице, она оглянулась, но не остановилась. Действительно, на них стоило посмотреть. Когда они встретились, в Алане, несмотря на самый любезный и дружеский вид, чувствовалось что-то несомненно воинственное, так что Джемс почуял опасность — так же, как по дыму узнают, что в доме пожар,— и стоял готовый ко всему.

Время было дорого. Положение Алана, окруженного

¹ Нет, сударь (франц.).

врагами в этом пустынном месте, устрасило бы даже Цезаря. Но в нем не было заметно никакой перемены, и он начал разговор в своем обычном насмешливом тоне.

— Доброго-утра еще раз, мистер Друммонд,— сказал он.— Какое же у вас было ко мне дело?

— Так как дело это секретное и рассказывать его довольно долго,— сказал Джемс,— то, я думаю, лучше будет отложить его на после обеда.

— Я не вполне уверен в этом,— отвечал Алан.— Мне думается, что это должно случиться теперь или никогда. Я и мистер Бальфур получили письмо и думаем скоро уехать.

Я заметил удивление в глазах Джемса, но он сдержался.

— Одного слова моего достаточно, чтобы удержать вас,— сказал он,— одного названия моего дела.

— Тогда говорите,— возразил Алан,— нечего стесняться Дэви.

— Это сделало бы обоих нас богатыми людьми,— продолжал Джемс.

— Неужели? — воскликнул Алан.

— Да, сэр,— сказал Джемс.— Это — сокровище Ключи.

— Не может быть! — воскликнул Алан.— Вы что-нибудь узнали о нем?

— Я знаю место, мистер Стюарт, и могу указать его вам,— сказал Джемс.

— Это лучше всего! — воскликнул Алан.— Я, право, рад, что приехал в Дюнкерк. Так вот ваше дело, не так ли? Мы поделим богатство пополам, надеюсь?

— Это и есть мое дело, сэр,— сказал Джемс.

— Отлично, отлично! — продолжал Алан. Затем с тем же детским интересом он спросил: — Так оно ничего не имеет общего с «Морским конем»?

— С чем? — сказал Джемс.

— Или с тем малым, которого я только что бросил на землю за этой мельницей? — продолжал Алан.— Ну, любезный, довольно вам лгать! У меня в кармане письмо Паллизера. Кончено, Джемс Мор! Вам никогда больше нельзя будет показываться в обществе порядочных людей!



Джемса это застало врасплох. Он стоял с минуту бледный, неподвижный; затем вдруг в нем запылал страшный гнев.

— Вы смеете говорить это мне, пашенок? — зарычал он.

— Грязное животное! — воскликнул Алан и закатил ему звонкую пощечину.

В следующий миг они оба уже скрестили свои шпаги.

При первом звуке обнаженной стали я инстинктивно отскочил. Следующее, что я увидел, был удар, который Джемс отпарировал так близко, что я испугался за его жизнь. В уме моем промелькнуло, что он отец Катрионы и некоторым образом мой, и я подбежал, стараясь разнять их.

— Отойди, Дэви! Что ты, с ума сошел? Да отойди же, черт возьми!

Я дважды сбивал их шпаги. Пошатнувшись, я ударился об стену, но вскоре опять был между ними. Они не обращали на меня внимания, нападая друг на друга как бешеные. Я не могу понять, как я не был ранен сам и не ранил одного из этих двух Родомонтов¹. Все кружилось вокруг меня точно во сне. Вдруг посреди драки я услышал громкий крик на лестнице, и Катриона одним прыжком очутилась перед отцом. В ту же минуту острие моей шпаги воткнулось во что-то мягкое. Когда я вытащил шпагу, на ней была кровь, так же как и на платке девушки. Я остановился в отчаянии.

— Вы хотите его убить у меня на глазах? Ведь я все-таки его дочь! — воскликнула она.

— Я покончил с ним счеты, милая моя, — сказал Алан и сел на стол, скрестив руки и держа в руке обнаженную шпагу.

Она некоторое время стояла задыхаясь, с широко открытыми глазами, затем быстро обернулась к отцу и взглянула ему в лицо.

— Вон! — закричала она. — Я не могу видеть вашего позора: оставьте меня с честными людьми. Я дочь Альпина! Вон отсюда, позор Альпина!

Она произнесла это с таким жаром, что я пришел в себя после ужаса, в который меня повергла моя окровавленная шпага. Оба они стояли друг против друга: она с красным пятном на косынке, он же бледный как полотно. Я хорошо знал его и понимал, что слова ее должны были поразить его в самое сердце. Однако он принял вызывающий вид.

— Что же, — сказал он, вкладывая шпагу в ножны, хотя все еще не спуская глаз с Алана, — если спор окончен, то я только возьму свой чемодан...

— Никто не увезет отсюда чемодана, кроме меня, — сказал Алан.

— Сэр! — воскликнул Джемс.

— Джемс Мор, — сказал Алан, — эта леди, ваша дочь, выходит замуж за моего друга Дэви, и потому я позволяю вам убраться живым. Но послушайте моего совета: не попадайтесь мне на глаза и не сердите меня. Что бы вы ни думали, но есть границы и моему терпению.

¹ Родомонт — действующее лицо поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», храбрый, но хвастливый король Алжира.

— Черт возьми, сэр, но там мои деньги! — воскликнул Джемс.

— Мне очень жаль, сэр, — отвечал Алан с забавной гримасой, — но, видите ли, теперь они принадлежат мне. — Затем прибавил серьезно: — Слышите, Джемс Мор, уходите из этого дома!

Джемс, казалось, с минуту соображал: но, вероятно, он не захотел более испытывать на себе шпагу Алана, потому что вдруг снял шляпу и с видом осужденного, поочередно попрощавшись с каждым из нас, ушел.

В то же время я почувствовал, что как будто чары рушились.

— Катриона, — воскликнул я, — это я, это моя шпага! Очень сильно вы ранены?

— Я знаю, Дэви, и еще больше люблю вас. Вы сделали это, защищая моего отца, этого дурного человека. Посмотрите, — сказала она, показывая мне царапину, из которой текла кровь, — смотрите, вы сделали из меня мужчину! У меня рана, как у старого солдата.

Я обнимал ее, целовал ее рану, радуясь тому, что она легкая, и восхищаясь храбростью Катрионы.

— А меня разве не поцелуют, меня, никогда не упускавшего такого случая? — спросил Алан и, отстранив меня, взял Катриону за плечи. — Милая моя, — сказал он, — вы настоящая дочь Альпина. Он, по слухам, был прекрасный человек и может гордиться вами. Если я когда-нибудь женюсь, то буду искать в матери моим сыновьям женщину, подобную вам. А я ношу королевское имя и говорю правду.

Он сказал это с серьезным восхищением, которое было чрезвычайно лестно для девушки и, следовательно, и для меня. Казалось, слова его снимали с нас бесчестие Джемса Мора. Через минуту Алан снова вернулся к прежней манере.

— С вашего позволения, милые мои, — сказал он, — все это очень хорошо. Но Алан Брек намного ближе к кви-селице, чем ему хотелось бы. И, честное слово, я думаю, что это место следует возможно скорее покинуть.

Эти слова призывали нас к благоразумию. Алан побежал наверх и возвратился с нашими дорожными сумками и чемоданом Джемса Мора. Я поднял узел Катрионы, который она бросила на лестнице. Мы уже уходили из

этого опасного дома, когда Базен, крича и размахивая руками, загородил нам дорогу. Когда были обнажены шпаги, он спрятался под стол, но теперь стал храб как лев. Счет не был оплачен, стул сломан, Алан перевернул посуду на столе; Джеймс Мор убежал, уверял он.

— Вот вам,— воскликнул я,— получайте! — и бросил ему несколько луидоров, считая, что теперь не время производить подсчеты.

Он схватил деньги, и мы выбежали из дому. С трех сторон на нас наступали матросы; в отдалении Джеймс Мор махал шляпой, словно торопил их. А как раз за ним, точно поднявший руки человек, виднелась ветряная мельница с вертящимися крыльями.

Алан взглянул и пустился бежать. Он нес тяжелый чемодан Джеймса Мора, но, я думаю, скорее лишился бы жизни, чем отдал бы свою добычу. Он мчался с такой быстротой, что я едва поспевал за ним, восхищаясь девушкой, бежавшей рядом со мной.

Как только мы появились, противная сторона отбросила осторожность, и матросы с криками стали гнаться за нами. Нам предстояло пробежать около двухсот ярдов. Матросы были неуклюжие малые и не могли сравниться с нами в беге. Я думаю, что они были вооружены, но не хотели пускать в дело пистолеты на французской территории. Едва я заметил, что мы не только сохраняем расстояние, но даже немного удаляемся, как совершенно успокоился насчет исхода дела. Но Дюнкерк был еще далеко. В это время мы взбежали на холм и увидели, что по другую сторону его маневрирует рота солдат, и я отлично понял слова Алана, когда он сразу остановился и, вытирая лоб, сказал:

— Эти французы действительно славный народ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как только мы очутились в безопасности в стенах Дюнкерка, то стали держать военный совет. Мы оружием отняли дочь у отца. Всякий судья немедленно вернул бы ее ему и, по всей вероятности, засадил бы меня с Аланом в тюрьму. И хотя письмо капитана Паллизера могло бы

служить нам оправданием, ни Катриона, ни я не имели особенного желания предавать его огласке. Самым благоразумным было отвезти девушку в Париж и передать ее на попечение вождю ее клана, Мак-Грегору Богальди, который охотно поможет своей родственнице и не захочет позорить Джемса.

Мы ехали довольно медленно, так как Катриона не так хорошо ездил верхом, как бегала, и с сорок пятого года едва ли когда-либо сидела в седле. Но, наконец, путешествие кончилось. Мы прибыли в Париж в воскресенье рано утром и с помощью Алана быстро отыскали Богальди. Он занимал прекрасный особняк и вел роскошный образ жизни, имея пенсию из шотландского фонда, а также личные средства. Он встретил Катриону как родственницу и казался очень вежливым и скромным, но не особенно откровенным. Мы спросили его о Джемсе Море. «Бедный Джемс!» — с улыбкой сказал он, покачивая головой, и я подумал, что он знает о нем больше, чем говорит. Затем мы показали ему письмо Паллизера, при виде которого у него вытянулось лицо.

— Бедный Джемс! — снова повторил он. — Однако бывают люди похуже Джемса Мора. Он, должно быть, совершенно забылся! Это чрезвычайно нежелательное письмо. Но, джентльмены, не вижу, для чего нам предавать его гласности. Только дурная птица марает собственное гнездо, а мы все шотландцы и гайлэндеры.

С этим мы все согласились, исключая, может быть, Алана. Еще проще разрешился вопрос о свадьбе, которую Богальди взял на себя, точно Джемса Мора совсем не существовало, и вручил мне Катриону с большим изяществом и приятными французскими комплиментами. Только когда церемония была окончена и все выпили за наше здоровье, он объявил нам, что Джемс находится в Париже, что он прибыл сюда несколькими днями раньше нас и теперь болен и, может быть, умирает. По лицу моей жены я увидел, чего ей хотелось.

— Пойдем навестим его, — сказал я.

— Как вам будет угодно, — отвечала Катриона. (То были первые дни супружества.)

Он жил в том же квартале, что и его вождь, в большом угловом доме. До чердака его нас довел звук гайлэндской флейты. Оказалось, что он взял несколько

флейт у Богальди, чтобы развлекаться во время болезни, и хотя и не был таким искусным флейтистом, как брат его Роб, но все-таки играл довольно хорошо. Было странно видеть, как французы толпились на лестнице, слушая и иногда смеясь. Джемс лежал в постели. При первом же взгляде на него я увидел, что он не выздоровеет. Без сомнения, странно ему было умирать в подобном месте, но спокойно писать об его конце я не могу. Богальди, разумеется, подготовил его. Джемс знал, что мы обвенчаны, поздравил нас и благословил, точно патриарх.

— Меня никогда не понимали,— сказал он.— По зрелом размышлении я прощаю вам обоим.

После этого он начал разговаривать, как обычно, и был так любезен, что сыграл нам одну или две песенки, а когда я уходил, занял у меня небольшую сумму. Во всем его поведении я не увидел ни малейшего намека на стыд, но прощать он очень любил. Казалось, ему всегда было это внове. Мне кажется, что он прощал меня при каждой нашей встрече. Когда же он через несколько дней скончался в каком-то ореоле доброты и святости, я готов был рвать на себе волосы от бешенства. Я похоронил его, но не мог придумать, что бы написать на его памятник, пока наконец не решил лучше всего поставить только дату смерти.

А теперь, мисс Барбара Бальфур (дамам первое место) и мистер Алан Бальфур, наследник Шооса, моя история благополучно кончена. Если вы хорошенько подумаете, то вспомните, что многих участников ее вы видели и даже разговаривали с ними. Ализон Хэсти из Лимекильнса качала вашу колыбель, когда вы были так малы, что не могли это помнить, и гуляла с вами, когда вы подросли. Красивая важная леди, крестная мисс Барбары,— та самая мисс Грант, которая так дурачила Давида Бальфура в доме лорда-адвоката. Не знаю, помните ли вы маленького, худощавого, веселого джентльмена в парике и плаще, который под именем Джемисона пришел в Шоос поздно ночью. Вас еще разбудили и принесли вниз, чтобы представить ему. Неужели Алан забыл, что он сделал по просьбе мистера Джемисона? За это, по букве закона, его можно бы повесить — он не более не менее, как пил за здоровье короля за морем. Это было ужасно для хорошего вигского дома! Но мистер

Джемисон пользуется особыми привилегиями и мог бы даже поджечь мой хлебный сарай. Во Франции он известен под именем шевалье Стюарта.

А что касается Дэви и Катрионы, я буду хорошенько наблюдать все эти дни, чтобы видеть, посмеете ли вы смеяться над папой и мамой. Правда, мы не были так умны, как бы могли быть, и из ничего создали себе много горя. Но когда вы подрастаете, то увидите, что даже лукавая мисс Барбара и храбрый мистер Алан будут немногим умнее своих родителей. Жизнь человеческая — смешное занятие. Говорят о том, что ангелы плачут. Я думаю, что они чаще помирают со смеху, глядя на нас. Но, начиная этот длинный рассказ, я твердо решил, что расскажу вам все так, как оно действительно случилось.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В Воеводин. ТУЗИТАЛА (Роберт Льюис Стивенсон. 1850—1894)	5

ПОХИЩЕННЫЙ

Посвящение	19
I. Я отправляюсь в Шоос-гауз	21
II. Я достигаю места назначения	25
III. Я знакомлюсь со своим дядей	30
IV. Я подвергаюсь большой опасности в Шоос-гаузе	37
V. Я иду в Куинзферри	46
VI. Что случилось в Куинзферри	52
VII. Я ухожу в море на «Конвенте» из Дайзерта	57
VIII. Капитанская каюта	64
IX. Человек с поясом, полным денег	69
X. Осада капитанской каюты	79
XI. Капитан признает себя побежденным	85
XII. Я слышу о Красной Лисице	89
XIII. Гибель брига	97
XIV. Островок	102
XV. «Мальчик с серебряной пуговицей» По острову Маллу	111
XVI. «Мальчик с серебряной пуговицей». По Морвену	118
XVII. Смерть Красной Лисицы	125
XVIII. Разговор с Аланом в Леттерморском лесу	130
XIX. Дом страха	138
XX. Бегство сквозь вересковые заросли. Скалы	145
XXI. Бегство. Ущелье Корринаки	153
XXII. Бегство. Степь	160
XXIII. «Клетка Ключи»	167
XXIV. Бегство. Ссора	177
XXV. В Бальуйддере	187
XXVI. Конец бегства. Мы переправляемся через Форт	193
XXVII. Я прихожу к мистеру Ранкэйлору	204
XXVIII. В поисках наследства	212
XXIX. Я вступаю в свои владения	218
XXX. Прощание	224

КАТРИОНА

Перечень предыдущих приключений Давида Бальфура, описанных в романе «Похищенный»	231

Часть первая.

Лорд-адвокат

I. Нищий стал богачом	234
II. Гайлэндский стряпчий	241
III. Я отправляюсь в Пильриг	252
IV. Лорд-адвокат Престонгрэндж	259
V. В доме адвоката	269
VI. Бывший лорд Ловат	276
VII. Я не сдержал свое слово	283
VIII. Наемный убийца	293
IX. Страна вереска в огне	301
X. Рыжий человек	307
XI. Лес около Сильвермилльса	316
XII. Я снова в пути с Аланом	322
XIII. Джилланские пески	330
XIV. Утес Басс	339
XV. Рассказ Черного Энди о Тодде Лапрайке	346
XVI. Отсутствующий свидетель	356
XVII. Докладная записка	364
XVIII. Мяч	376
XIX. Я попадаю в дамское общество	385
XX. Я продолжаю возвращаться в хорошем обществе	395

Часть вторая.

Отец и дочь

XXI. Путешествие в Голландию	405
XXII. Гельвутслуйс	415
XXIII. Скитания по Голландии	422
XXIV. Подробная история книги доктора Гейнекциуса	432
XXV. Возвращение Джемса Мора	443
XXVI. Трое	448
XXVII. Двое	455
XXVIII. Я остаюсь один	462
XXIX. Мы встречаемся в Дюнkerке	470
XXX. Письмо с корабля	476
З а к л ю ч е н и е	490

СТИВЕНСОН Р. Л.

ПОХИЩЕННЫЙ. КАТРИОНА

Ответственный редактор *О. А. Лаврова*
Художественный редактор *С. И. Нижняя*
Технический редактор *И. П. Данилова*
Корректоры *Э. Н. Сизова* и *К. П. Тягельская*.

Сдано в набор 7/V 1966 г. Подписано к печати 2/VII 1966 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ л. 15,5 Усл печ. л. 26,04. Уч -изд. л. 25,63. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Цена 1 р. 01 коп на бум. № 1

Издательство «Детская литература».

Москва, М Черкасский пер, 1

Фабрика «Детская книга» № 1 Росглаво-
лиграфпрома Комитета по печати при Со-
вете Министров РСФСР. Москва, Суще-
ский вал, 49. Заказ № 4176.

